ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ
о Великой
Отечественной
войне
Мы —
советские
люди

СЕРИЯ КНИГ О КОММУНИСТАХ

МЫ — СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

Сборник повестсй и рассказов «Мы — советские людн» посвящен героизму коммунистов в период Великой Отечественной войны.

На передием крае борьбы с фашнзмом стоялн лучшие сыны Коммунистнческой партии. Они несли в себе непоколебимую увсреиность в победе. Всех их объединяла высокая цель, убежденность в правоте дела, за которое каждый готов был отдать жизнь. Онн первыми поднимались в атаку, увлекая за собой бойцов, учили их мужеству, бесстрашию.

Сорок лет прошло с того исторического дня, когда Великая Отечественная войиа завершилась парадом Победы на Красной площади. Но чем дальше отдаляются суровые годы, тем отчетливее видится и осознается историческое значеиие подвига, свершенного партией, народом, армией.

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ
о Великой
Отечественной
войне

Мы — Советские люди

«СОВРЕМЕННИК» МОСКВА 1985

Составитель **В. Заливако**
Рецензент **В. Василевский**

М94 **Мы — советские люди:** Повести и рассказы о Великой Отечественной войне/Сост. В. Заливако.— М.: Современник, 1985.—495 с.— (Сыновья века. Серия книг о коммунистах).

В пер.: 2 р. 40 к.

В сборник включены лучшие произведения советских писателей, прославивших в своем творчестве подвиг советского человека, вставшего на смертельную битву с фашизмом. В центре внимания авторов — образы коммунистов, героев войны, вдохновителей Победы. Многие произведения книги вошли в золотой фонд отечественной литературы.

$М\frac{4702010100—356}{М106(03)—85}113—85$

ББК 84 Р7
Р2

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ

Рассказ

— Подавай, Катя, подавай...

Она торопливо, лихорадочно подавала патроны. Из-под платка выбились волосы. Алексей не оглядывался, припав к пулемету, бросал:

— Подавай, Катя, подавай...

Трещал пулемет, двигалась длииная лента, Катя торопливо хватала следующую, держа ее иаготове.

— Катя!..

— Да.

— Иди, еще раз позвони.

— Да.

— Скажи полковнику, слышишь? Все скажи.

— Да.

— Осторожио, Катя, по земле...

— Да, Алеша, да.

Оиа ползла кустами. За пригорком пустилась бегом, добежала до дому. К телефону.

— Город давай, город, тридцать пять.

— Не отвечает.

— Давай! Давай тридцать шесть...

— Не отвечает.

Телефои щелкиул. Катя заломила руки. Бросилась к окну. Там, за кустами, гремели залпы, хлопали выстрелы. Она еще раз дрожащей рукой схватила трубку.

— Милай, дорогая... говорит Орловка... Орловка... Милая, дорогая, дай город, тридцать пять...

— Не отвечает.

— Милая, милая, пойми, говорит Орловка, Орловка! Город... Все равио какой телефон, город!

— Постараюсь, подождите,— сказал вдруг голос в трубке.

Катя преодолевала дрожь; где-то там, далеко, она слы-

шала треск включаемых проводов и приятный голос телефоиистки, упорно повторяющий:

— Город... Город... Город...

— Алло, Орловка!

— Я здесь, Орловка, Орловка...

— Связь с городом прерваиа. Поправляют. Надо подождать.

Оиа опустила руки. Связь прерваиа.

Катя сиова выбежала из дому. До кустов ползком, иа животе. Вот оиа добралась до своих. Алексей повериул от пулемета потиое, закопчениое лицо.

— Ну как?

— Связь прерваиа. Чиият.

Он сжал зубы.

— Катя, посмотри, со стороны Гриши ничего не слышио.

Она поползла направо, на пригорок. Молоденький пограиичник лежал лицом к земле. Оиа осторожио косиулась губами мальчишечьей щеки. Щека была еще теплая. Она суиула руку под гимиастерку — сердце ие билось.

— Мертвый,— сказала оиа Алексею.

— Девять,— отозвался ои.— Подавай патроиы, Катя.

Оиа подавала. Расширенными глазами смотрела туда, на другую стороиу: узеикая речушка и мосток. Там, за мостком, иа зеленом фоие взрывались красные огоньки выстрелов — иемцы.

— Подавай, Катюша, подавай...

Оии лежали, прижавшись к земле, спрятаиные за кустами, за буйио растущей травой. И без перерыва, без памяти палили в ту стороиу. В двухстах — трехстах шагах от иих засели немцы.

Катя машииальио подавала патроиы и машинально считала:

— Да, девять, Гриша ведь уже не в счет...

Рядом, совсем близко, кто-то застоиал. Теперь уже не девять, а только восемь. Как его звали? Коля... Ну да, Коля...

— Катя, попробуй еще, еще попробуй, может, поправили.

Она вскочила, побежала.

— Орловка... Говорит Орловка... Милая, хорошая, давай город!

— Связь будет через два часа.

Катя бросила трубку. Бегом назад.

— Алексей, связь будет через два часа.

— Через два часа нас уже не будет, Катюша.

Она торопливо сосчитала. Семеро. Ну да, семеро

— Катюша, возьми платок и посмотри, что там с Платоном.

Она поползла за кусты, платком обвязала раненую руку

— Ползите отсюда, вы ранены...

— Ничего, ничего, Катюша. Ничего.

— Катя!

Она услышала голос мужа и бросилась к нему.

— Слушай, Катя...

Он не смотрел на жену, он не отрывал глаз от зеленых зарослей там, за мостком, где расцветали красные взрывы

— Слушай, Катя, внимательно.

— Да.

— Сумеешь вывести машину из сарая?

Она отшатнулась, словно ее толкнули в грудь.

— Сумеешь?

Он не смотрел на нее. Он смотрел туда, в зелень зарослей, расцветающую красными огнями.

— Да,— сказала она глухо.

— Слышишь, Катя?

— Да.

— В шкафу документы. Все документы в машину

— Да.

— И в город. Отдашь полковнику, понимаешь?

— Да.

— Иди, Катя, скорей.

— Алеша!

— Что?

— Алеша, я останусь... Не могу...

— Катя, немедленно! Понимаешь? Немедленно Через минуту может быть поздно. Документы, все, что в шкафу Понимаешь, Катя?

— Да.

— Он не взглянул на нее ни разу. А она не решилась коснуться его руки, протянутой за новой пулеметной лентой

— В машину — и полный ход. Гони, как можешь. Возьми наган, слышишь? Помни, Катя, семь патронов — последний оставь на всякий случай, понимаешь?

— Да...

Она тихо поползла к кустам. Вдруг он позвал снова.

— Катя, подожди, мой партийный билет возьми. Собери у всех. Отвезешь партбилеты.

Она взяла красную книжечку. Потом поползла от одного

к другому. Пятеро — пятеро ей подали свои партийные билеты.

— У тех тоже нельзя....

Она обыскала карманы убитых. Вот они, маленькие красные книжечки.

— Помни, Катя, приготовь бензин, в случае чего, облить и поджечь... И седьмой патрон помни. Иди скорей, Катя, скорей...

Теперь он наконец взглянул на нее. Серые, любимые глаза... Она почувствовала отчаянную, безудержную, безумную любовь к этому человеку.

— Алеша...

— Ничего, ничего, Катя. Иди поскорей. Это и есть любовь, Катя.

Это и есть любовь. Она закусила губы. Осторожно поползла, чувствуя на груди жесткое прикосновение красных книжечек.

А потом бегом. За домом сарай, в нем грузовик.

Катя завела мотор. Там, за кустами, наверняка слышат его гуденье. Слышит Алексей.

Это и есть любовь. «Вот это и есть любовь»,— как в бреду повторяла она сухими губами. Выехала на дорогу.

Она наклонилась над рулем. Дорога была ровная, гладкая. Катя дала полный ход. Ветер свистел в ушах.

Мелькали зеленые деревья, белые избы. Она неслась, неслась вперед, повторяя про себя слова Алексея:

— Скорей! Может быть слишком поздно.

На распутье пришлось остановиться, спросить дорогу. Она ведь не знала эти края — первый раз здесь. Один день и одна ночь после шестимесячной разлуки с Алексеем.

Наконец город. Ее задерживали, спрашивали. Она автоматически отвечала.

Ей показали дорогу. Она тяжело шла по лестнице. Один этаж, другой... Ах, какая длинная лестница... Одна дверь, другая дверь, третья... Военные, милиционеры, полно людей. Зеленые шапки. Сердце сжалось при виде зеленых шапок пограничников.

— Комендант, Алексей Назаров, велел мне отвезти документы.

— А вы кто? — спросил человек за столом.

— Екатерина Назарова.

— Жена?

Катя удивилась вопросу. Как же могло быть иначе, как можно еще спрашивать?

— Жена.

Она подавала бумаги, портфели, пакеты. Руки за столом брали все по очереди, спокойно, старательно складывали.

— А теперь сядьте, отдохните.

Она хотела сказать, что не устала, но ноги подгибались. Она тяжело опустилась на стул. В голове еще гремели выстрелы и нестерпимо грохотал мотор грузовика.

Человек за столом взял телефонную трубку.

— Дайте Орловку.

Катя ждала.

— Орловку, Орловку — немедленно!

Она ждала. Тот тоже ждал. Глазами, полными одного страстного желания, она пыталась прочесть что-нибудь в его глазах, крепко-крепко сжимала пальцы.

— Так, так.

Он медленно положил трубку.

— Что, что?

Он вышел из-за стола. Взял в свои руки ее холодные, крепко стиснутые пальцы.

— Что? Что?

— Орловка не отвечает.

— Еще нет связи?

Она чувствовала, как стынут ее пальцы, как леденеют ноги, леденеет все тело.

— Милая, храбрая... Что ж делать? Война... В Орловке немцы...

Как эхо, как отдаленное воспоминание, пронеслись в голове слова песни. Кто же это пел и когда? Алексей, чернобровый, светлоглазый, милый, любимый, любимый Алексей!

> Жалко только волюшки во широком полюшке,
> Солнышка на небе, любови на земле...

Она уже совладала с собой.

— Я пойду...

— Куда?

— Мне надо в обком.

Ей показали, как пройти.

— Пропуск?

Но, взглянув ей в лицо, милиционер смутился.

— Позвоните секретарю, я приехала из Орловки. Екатерина Назарова.

Она ждала. Милиционер тотчас положил трубку.

— Проходите.

Снова письменный стол, снова человек за столом. И сно-

ва у иее сжалось сердце. На кого ои похож? Ах да, иа Гришу, иа молодеиького Гришу, что пал первым.

— Я приiесла партийные билеты

Оиа вытащила их из-за пазухи Десять ярких, красиых киижечек.

— Чьи партийиые билеты?

Катя выпрямилась. Увереииым, сильиым голосом сказала.

— Партийиые билеты десяти товарищей пограиичииков, погибших иа посту в борьбе с иемцами сегодия иа рассвете.

Секретарь встал. Партийиые билеты лежали иа письмеиом столе. Десять красных киижечек, сверкавших иа зелеиом сукие словио пятна живой крови

1941

БОРИС ГОРБАТОВ

НЕПОКОРЕННЫЕ

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Все иа восток, все на восток... Хоть бы одиа машина на запад!

Проходили обозы, повозки с сеном и пустыми патроиными ящиками, санитарные двуколки, квадратные домики радиостаиций; тяжело ступали заморенные кони; держась за лафеты пушек, брелн серые от пылн солдаты — все на восток, все иа восток, мимо Острой Могилы, на Красиодои, на Камеиск, за Севериый Доиец... Проходилн н нсчезалн без следа, словио их проглатывала зелеиая н злая пыль.

А все вокруг было объято тревогой, иаполиеио криком и стоном, скрипом колес, скрежетом железа, хриплой руганью, воплями раиеных, плачем детей, н казалось, сама дорога скрипит н стоиет под колесами, мечется в испуге меж косогорами...

Только одии человек у Острой Могилы был с виду спокоен в этот июльский день 1942 года — старый Тарас Яцеико. Ои стоял, грузио опершись иа палку, и тяжелым, неподвижиым взглядом смотрел иа все, что творилось вокруг. Ни слова ие произиес ои за целый деиь. Потухшими глазами из-под седых иасуплеиных бровей глядел ои, как в тревоге корчится и мечется дорога. И со стороиы казалось — был этот камеиный человек равиодушио чужд всему, что свершалось.

Но, вероятио, среди всех мечущихся на дороге людей ие было человека, у которого так бы металась, ныла и плакала душа, как у Тараса. «Что же это? Что ж это, товарищи? — думал ои.— А я? Как же я? Куда же я с бабами и малыми виучатами?»

Мимо иего в облаках пылн проиосилнсь машнны —

все на восток, все на восток; пыль оседала на чахлые тополи, они становились серыми и тяжелыми.

«Что же мне делать? Стать на дороге и кричать, разметав руки: «Стойте! Куда же вы?.. Куда же вы уходите?» Упасть на колени середь дороги, в пыль, целовать сапоги бойцам, умолять: «Не уходите! Не смеете вы уходить, когда мы, старики и малые дети, остаемся тут!..»

А обозы все шли и шли — все на восток, все на восток — по пыльной горбатой дороге, на Краснодон, на Каменск, за Северный Донец, за Дон, за Волгу.

Но пока тянулась по горбатой дороге ниточка обозов, в старом Тарасе все мерцала, все тлела надежда. Вдруг навстречу этому потоку людей откуда-то с востока, из облаков пыли появятся колонны и бравые парни в могучих танках понесутся на запад, все сокрушая на своем пути. Только б тянулась ниточка, только б не иссякала... Но ниточка становилась все тоньше и тоньше. Вот оборвется она, и тогда... Но о том, что будет тогда, Тарас боялся и думать. На одном берегу останутся Тарас с немощными бабами и внучатами, а где-то на другом — Россия, и сыны, которые в армии, и все, чем жил и для чего жил шестьдесят долгих лет он, Тарас. Но об этом лучше не думать. Не думать, не слышать, не говорить.

Уже в сумерках вернулся Тарас к себе на Каменный Брод. Он прошел через весь город — и не узнал его. Город опустел и затих. Был он похож сейчас на квартиру, из которой поспешно выехали. Обрывки проводов болтались на телеграфных столбах. Было много битого стекла на улицах. Пахло гарью, и в воздухе тучей носился пепел сожженных бумаг и оседал на крыши.

Но в Каменном Броде все было, как всегда, тихо. Только соломенные крыши хат угрюмо нахохлились. Во дворах на веревках болталось белье. На белых рубахах пятна заката казались кровью. У соседа на крыльце раздували самовар, и в воздухе, пропахшем гарью и порохом, вдруг странно и сладко потянуло самоварным дымком. Словно не с Острой Могилы, а с работы, с завода возвращался старый Тарас. В палисадниках, навстречу сумеркам, распускались маттиолы — цветы, которые пахнут только вечером, цветы рабочих людей.

И, вдыхая эти с младенчества знакомые запахи, Тарас вдруг подумал остро и неожиданно: «А жить надо!.. Надо жить!» — и вошел к себе.

Навстречу ему молча бросилась вся семья. Он окинул

ее широким взглядом — всех, от старухи жены Евфросиньи Карповны до маленькой Марийки, внучки, и понял: никого сейчас нет, никого у них сейчас нет на земле, кроме него, старого деда; он один отвечает перед миром и людьми за всю свою фамилию, за каждого из них, за их жизни и за их души.

Он поставил палку в угол на обычное место и сказал как мог бодрее:

— Ничего! Ничего! Будем жить. Как-нибудь...— и приказал запасти воды, закрыть ставни и запереть двери.

Потом взглянул на тринадцатилетнего внука Леньку и строго прибавил:

— И чтоб никто — никто! — не выходил на улицу без спросу!

Ночью началась канонада. Она продолжалась много часов подряд, и все это время ветхий домик в Каменном Броде дрожал, точно в ознобе. Тонко дребезжала железная крыша, жалобно стонали стекла. Потом канонада кончилась, и наступило самое страшное — тишина.

Откуда-то с улицы появился Ленька, без шапки, и испуганно закричал:

— Ой, диду! Немцы в городе!

Но Тарас, предупреждая крики и плач женщин, строго крикнул на него:

— Тсс! — и погрозил пальцем.— Нас это не касается!

2

Нас это не касается.

Двери были на запоре, ставни плотно закрыты. Дневной свет скупо струился сквозь щели и дрожал на полу. Ничего не было на земле — ни войны, ни немцев. Запах мышей в чулане, квашни на кухне, железа и сосновой стружки в комнате Тараса.

Экономя лампадное масло, Евфросинья зажигала лампадку пред иконами только в сумерки и каждый раз вздыхала при этом: «Ты уж прости, господи!» Древние часы-ходики с портретом генерала Скобелева на коне медленно отстукивали время и, как раньше, отставали в сутки на полчаса. По утрам Тарас пальцем переводил стрелки. Все было как всегда — ни войны, ни немца.

Но весь домик был наполнен тревожными скрипами, вздохами, шорохами. Изо всех углов доносились до Тараса приглушенный шепот и сдавленные рыдания. Это Ленька

приносил вести с улицы и шептался с женщинами по углам, чтоб дед не слышал. И Тарас делал вид, что ничего не слышит. Он хотел ничего не слышать, но не слышать не мог. Сквозь все щели ветхого домика ползло ему в уши: расстреляли... замучили... угнали... И тогда он взрывался, появлялся на кухне и кричал, брызгая слюной:

— Цытьте вы, чертовы бабы! Кого убили? Кого расстреляли? Не нас ведь. Нас это не касается,— и, хлопнув дверью, уходил к себе.

Целые дни проводил он теперь один, у себя в комнате: строгал, пилил, клеил. Он привык всю жизнь мастерить вещи — паровозные колеса или ротные минометы, все равно. Он не мог жить без труда, как иной не может жить без табака. Труд был потребностью его души, привычкой, страстью. Но теперь никому не нужны были золотые руки Тараса, не для кого было мастерить колеса и минометы, а бесполезные вещи он делать не умел.

И тогда он придумал мастерить мундштуки, гребешки, зажигалки, иголки,— старуха обменивала их на рынке на зерно. Ни печеного хлеба, ни муки в городе не было. На базаре продавалось только зерно — стаканами, как раньше семечки. Для размола этого зерна Тарас из доски, шестерни и вала смастерил ручную мельницу. «Агрегат! — горько усмехнулся он, оглядев свое творение.— Поглядел бы ты на меня, инженер товарищ Кучай, поглядел бы, поплакали б вместе, на что моя старость и талант уходят». Он отдал мельницу старухе и сказал при этом:

— Береги! Вернутся наши — покажем. В музей сдадим. В отделение пещерного века.

Единственным, что мастерил он со страстью и вдохновением, были замки и засовы. Каждый день придумывал он все более хитрые, все более замысловатые и надежные запоры на ставни, цепи, замки и щеколды на двери. Снимал вчерашние, устанавливал новые, пробовал, сомневался, изобретал другие. Он совершенствовал свою систему запоров, как бойцы в окопах совершенствуют оборону,— каждый день. Старуха собирала устаревшие замки и относила на базар. Раскупали моментально. Волчьей была жизнь, и каждый хотел надежнее запереться в своей берлоге.

И когда однажды вечером к Тарасу постучался сосед, Тарас долго и строго допытывался через дверь, что за человек пришел и по какому делу, и уж потом неохотно стал отпирать: со скрежетом открывались замки, со звоном падали цепи, со стуком отодвигались засовы.

— Дот,— сказал, войдя и поглядев на запоры, сосед.— Ну чисто дот, а не квартира у тебя, Тарас.— Потом прошел в комнаты, поздоровался с женщинами.— И гарнизон сурьезный. А этот,— указал он на Леньку,— в гарнизоне главный воин?

Соседа этого не любил Тарас. Сорок лет прожили рядом крыша к крыше, сорок лет ссорились. Был он слишком боек, быстр, шумлив и многоречив для Тараса. Тарас любил людей медленных, степенных. А сейчас и вовсе не хотел видеть людей. О чем теперь толковать? Он вздохнул и приготовился слушать.

Но сосед уселся у стола и долго молчал. Видно и его придавило, и он притих.

— Оборону занял, Тарас? — спросил он наконец.

Тарас молча пожал плечами.

— Ну-ну! Так и будешь сидеть в хате?

— Так и буду.

— Ну-ну! Так ты и живого немца не видел, Тарас?

— Нет. Не видел.

— Я видел. Не приведи бог и глядеть! — Он махнул рукой и замолчал опять.

Сидел, качал головой, сморкался.

— Полицейских полон город,— вдруг сказал он.— Откуда и взялись! Все люди неизвестные. Мы и не видали таких.

— Нас это не касается,— пробурчал Тарас.

— Да... Я только говорю: подлых людей объявилось много.

— Думают, как бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу.

— Да...

И опять оба долго молчали. И оба думали об одном: как же жить? Что делать?

— Люди болтают,— тихо и нехотя произнес сосед,— немцы завод восстанавливать будут...

— Какой завод? — испуганно встрепенулся Тарас.— Наш?

— Та наш же... Какой еще!

— Быть не может! Где же немец руки найдет?

— Тебя заставит.

— Меня? — Тарас медленно покачал головой.— Моими руками завод строился, моими — разрушался. Не будет моих рук в этом деле. Нехай отсохнут лучше.

— Могут заставить,— тихо возразил сосед.

Он поднялся с места, сгорбленный, старый, стал прощаться.

— Ну, бувай, Тарас. Живи. Сиди. Гарнизон у тебя сурьезный,— грустно пошутил он уже на пороге.

Тарас тщательно запер за ним двери — на все засовы, на все замки. «Нас это не касается!»— сказал он себе. Но это была неправда. Весть, принесенная соседом, слишком близко касалась его. Дверь запереть можно — душу как запрешь?

Семья и завод — вот чем была жизнь Тараса. Ничего больше не было. Семья и завод. Что же осталось? Семья? Где они, сыны мои, мои подмастерья? Нет сынов. Одни бабы остались. Сурьезный гарнизон. Завод? Где он, завод, цехи мои, мои ровесники? Нет завода. Развалины. Вороньи гнезда.

Что ж осталось? Одна вера осталась. Моими руками строилось, моими рушилось, моими и возродится. Фашисты, как болезнь, как лихолетье, помучат и исчезнут. Это временное.

И сейчас впервые с ужасом подумал Тарас: «А что, как надолго?..» И тотчас же отбросил эту мысль: «Того быть не может!» Но она назойливо лезла в душу: «А что, как это навсегда? И завод задымит, как прежде? И может, еще Гартман объявится или его наследники? И словно ничего не было — ни Клима, ни Пархоменко, ни Острой Могилы, ни эшелонной войны восемнадцатого, ни голодной ярости двадцать первого, ни штурмовых ночей тридцать первого?» Он ходил по комнате, думая все об одном и том же: «Неужели это навсегда? Неужели подлые руки найдутся?» И отвечал себе: «Может, найдутся, да не мои! Сыны мои в обороне не устояли. Я устою. Я дождусь». И он все ходил да ходил по комнате, и ветхие половицы тихо скрипели под его тяжелыми ногами. А с циферблата древних часов, из-под копыта коня генерала Скобелева, с тяжким стуком падали в вечность секунды, капля за каплей, капля за каплей...

3

Капля за каплей, капля за каплей...

Ровно в шесть часов утра пронзительно резко звенел будильник в комнате Тараса и будил его. Старик торопливо вскакивал и вспоминал: торопиться некуда. Но он вставал и первым делом сверял часы и переводил пальцем стрелки на ходиках, отстающих на полчаса. Начинался день, а с

ним и тревоги. И каждый новый день приносил новые тревоги.

Немцы объявили, что все работники бывших городских учреждений обязаны немедленно выйти на работу на свои места. Антонина, жена среднего сына Андрея, сказала об этом Тарасу. Но он только отмахнулся рукой:

— Нас это не касается!

— Но меня касается...— робко возразила она. До немцев она была бухгалтером жилотдела.

— Не касается, не касается! — свирепо закричал на нее Тарас и не стал больше слушать об этом.

Через несколько дней Антонина получила повестку. Городская управа строго предлагала ей явиться на работу. «Началось! — екнуло сердце Тараса.— Подлых рук ищут!» Он отобрал у Антонины повестку, скомкал ее и выбросил.

— Не будет моя фамилия служить врагу! Не будет! — закричал он на Антонину, словно она во всем была виновата.— И тебе не позволю. И себе не позволю. Так и знай!

А еще через несколько дней домик в Каменном Броде затрясся от ударов в дверь. Пришла полиция. Запоры Тараса не помогли — пришлось отворять.

Они вошли в его дом как к себе в хату, прямо в комнаты, в шапках, в черных шинелях. На Тараса и не поглядели. Сели без спросу.

— Кто Антонина Яценко?

— Я,— дрожа всем телом, отозвалась Антонина.

— Паспорт!

Она отдала паспорт. Рыжий, кривой на один глаз полицейский взял паспорт и сунул его в карман. Потом молча встал и пошел к дверям.

— А паспорт? — кинулась к нему Антонина.

— Получишь на бирже.

Тарас, еле сдерживаясь от ярости, попробовал было вступиться:

— Не знаю, как величать вас, господин...

Но полицейский сверкнул на него единственным глазом:

— Ты сюда не касайся, старик. Твой черед будет. Ты у меня на заметке! — Потом рванул дверь так, что замки и цепи загремели.— Ишь запираются еще от власти! — и вышел.

Пять минут продолжалась эта сцена, а Тарасу показалось, словно двадцать пять лет. Словно отбросило его на двадцать пять лет назад, и опять ночные стуки в Каменном

Броде, хриплые голоса через дверь: «Телеграмма!»— и бряцанье шашек о сапоги...

— А я думал,— сказал он, скривив губы и качая головой,— что так и умру, не услышав больше слова «полиция»...

Утром Антонина ушла за паспортом на биржу труда и вернулась только к вечеру. Тарас взглянул на нее и ни о чем не спросил. Спрашивать было нечего.

Антонина молча опустилась на лавку и словно застыла. Так сидела она в сумерках кухни, бессильно опустив руки, и молчала. Бабка Евфросинья подсела к ней.

— Били? — шепотом спросила она.

— Только что не били, а то всего было,— отозвалась Антонина.— За всю жизнь на коленях наползалась.

— Отпросилась?

— От Германии отпросилась, а на службу — идти.

— Идти? — всплеснула руками бабка.— Что старик ска жет? Да ты б им, поганым, в рожу плюнула...

— Плюнешь! Как же! Кровью плюют на этой бирже люди. Сама видела. Нет, мама, не героиня я. Я ползала.

В эту ночь она плохо спала. Все чудились ей за стеной тяжелые шаги Тараса. «Ходит и ходит. Ходит и ходит,— мучилась она.— Меня проклинает». А потом мерещился Андрей, весь в крови; он глядел не на нее, а куда-то сквозь нее, словно была она пустая и прозрачная. Она падала на колени перед ним. «Никогда я тебе не изменяла, Андрей, ни душой, ни помыслом». Но он все глядел через нее и ничего не говорил, словно ее не было. А за дверью все звучали шаги Тараса и чей-то насмешливый голос дразнил: «Измена в твоем гарнизоне, Тарас! Измена!»

Утром, собираясь на службу, она старалась не встречаться глазами с Тарасом, но всею кожею чувствовала, как он следит за ней. Следит молчаливым, тяжелым взглядом — никуда от него не скрыться.

И, уходя уже, взявшись рукой за щеколду двери, Антонина умоляюще произнесла:

— Не судите меня, Тарас Андреич!.. Я... я не могу когда бьют....

4

«Я не могу, когда бьют». Она жила теперь в вечном страхе и ожидании ударов. Каждый громкий окрик заставлял ее спину вздрагивать. Спина была сейчас самой чуткой

частью ее тела. Все притупилось и одеревенело в ней. Только спииа жила.

Деиь иа бирже труда лишь оглушил и растоптал ее, все остальиое пришло потом.

Служба в жилотделе управы сиачала успокоила ее. Работать иикто ие хотел. Сиделн и грызли семечки. Шелуху сплевывали в пустые ящики письмеиных столов.

— Плюйте, девочки, плюйте,— говорила им Зоя Яковлевиа, главбух отдела.— Только убедительио вас прошу, когда иемец войдет, делайте вид, что вы работаете. Делайте вид, убедительио вас прошу.

Но появлялся комеидаит. Требовалось вставать и клаияться, и ждать, пока иемец ответит кивком. Ои медлил, Ои иарочио медлил. Обводил ледяиым взглядом спины, ждал, пока склоиятся еще ииже.

— Ниже, ииже! — шептали Аитоииие подруги. Оиа ие умела клаияться, оиа иикогда ие клаиялась так. И спииа ее иачииала дрожать, ожидая удара.

У старика архитектора была одышка. Когда он склонялся в поклоие, кровь приливала к его дряблым щекам и его иачииал мучить кашель. Ои давился им и склоиялся еще ииже. «Когда-иибудь я так и умру!»— думал он при этом.

Накоиец комеидаит отвечал иебрежиым кивком и проходил мимо, к себе. Аитоииа старалась не глядеть на подруг, подруги ие глядели иа иее. Старик архитектор грузио опускался на стул и прииимался долго и мучнтельио кашлять.

Постепеиио Аитоииа успокаивалась, только спииа иасторожеиио вздрагивала при каждом стуке дверей. «Только бы ие били! Только бы не били!» Подруги успокаивали ее: «Дурочка, кто же стаиет иас бить? Мы же служащие городской управы». Городская управа казалась им убежищем.

Но одиажды утром в жилотдел ворвался сииний от злости иемецкий лейтеиаит. Брызгая слюиой, ои кричал что-то бессвязиое и все тыкал в свои часы. Иижеиер Марицкий попытался объясииться с иим. Дрожа всем телом, он бормотал, что через полчаса, всего через полчаса, рабочие прндут на квартиру господииа лейтеиаита н сложат печь. Он сам, инжеиер, придет и, еслн угодио, сам все сделает. Если ои н опоздал на полчаса — всего иа полчаса, господии лейтеиаит,— то только потому, что господии полковиик приказал послать людей на его квартиру, а рабочнх рук иет, н хотя мы объясияли господину полковиику, что господнн лейтеиант...

Лейтеиаит слушал его оправдаиия и медлеино расстегн-

вал свой поясиой ремеиь. «Что он хочет делать? — удивлялась Аитоиииа.— Зачем он расстегивается?» И вдруг услышала свист ремия в воздухе и крик. И тогда оиа сама закричала в ужасе и закрыла лицо руками. Ее спина мучительно заиыла, словно это били ее. А в воздухе все свистел и свистел ремеиь и с тяжелым стуком падал иа что-то мягкое.

Все, кто был в комиате, отвериулись или потупились, чтобы не видеть, как хлещут ремием большого, взрослого, всем в городе известиого человека. Было стыдио... иевозможно смотреть. И только молоденькая Ниночка, счетовод, широко раскрытыми от удивлеиия и ужаса глазами смотрела на эту сцеиу. Впервые в своей жизии видела оиа, как бьют человека.

А немец все продолжал и продолжал хлестать Марицкого ремнем, и теперь уже ие со злобой, а методичио, деловито, как машииа, по лицу, плечам и спине. Ииженер стоял перед ним согиувшись, большой, широкоплечий. Он ие уклонялся от ударов, ие кричал, ие плакал. Ои только втяиул голову в плечи, съежился и старался руками закрыть лицо. Плечи его вздрагивали.

Странная тишииа царила в комнате. Молчали люди у своих столов. Молча бил иемец, молча прииимал удары инжеиер. Страшиое, постыдиое молчаиие.

Потом немец спокойио и медлеиио надел ремень, одернул мундир и вышел. Все продолжали молча стоять у своих столов. Антоиина плакала. Марицкий смущеино подиял глаза. Он попытался улыбиуться, чтобы скрыть смущеиие и боль, но мускулы его лица судорожио дрогиули, ие выдержали, и вместо улыбки получилась жалкая, больная гримаса. Ои закрыл лицо руками и разрыдался при всех.

С тех пор и стала вздрагивать спииа Антоииины при каждом громком окрике, при стуке дверей, при звоне шпор на лестиице. Оиа не ходила теперь по улицам, а шмыгала. Прижималась к стеиам. Боялась перекрестков. Оиа теперь всех боялась, даже Тараса. Ей было страшио в городе, вчера еще, до иемцев, родиом и веселом. Ей было страшно дома, вчера еще, до немцев, уютном и милом. Ей было страшио на земле.

Оиа плакала теперь часто и по всякому поводу. Плакала на службе, плакала дома, глядя на Марийку, дочку, плакала в постели, слыша шаги Тараса. Она подуриела и состарилась от слез. Боялась глядеться в зеркало. «Нельзя плакать! — убеждала оиа себя.— Я совсем стаиу старой. Как

я покажусь Андрею, когда он вернется?» Но при мысли об Андрее она снова принималась плакать.

А за стеной всю ночь напролет шагал Тарас. Его шаги гулко отдавались в скрипучей тишине домика. «Все ходит и ходит. Все ходит и ходит. Меня проклинает».

Но Тарас теперь редко думал о ней.

5

Он думал теперь о Насте, о дочке. Он следил за нею тайком, исподлобья, острым, внимательным взглядом. Она удивленно спрашивала:

— Вы чего, папа?

— Ничего,— отвечал он и вздыхал.

Но какая-то тайная мысль мучила его, не давала покоя. Он спросил однажды жену, недовольно морщась:

— Не пойму я, мать, вроде наша Настька красивой стала? А?

— Хорошая,— гордо ответила Евфросинья.— И похвалить не грех — хорошая.

— Да-да...— горько вздохнул Тарас.— И я гляжу...

В другой раз он спросил:

— А сколько ей лет... нашей Настьке-то?

— Восемнадцать, отец. Неужели забыл?

И опять он тяжко вздохнул:

— Да, восемнадцать, как забыть, помню. Ох-хо-хо!

Раньше Тарас и не замечал Насти среди других ребят, наполнявших дом. Своя и чужая детвора шумела и возилась во всех углах, он глядел только, чтоб его инструмента не касались. Всем остальным занимались школы да комсомолы. Дети росли, стаптывали сапоги, сами находили свое счастье. А сейчас никого не было — ни комсомола, ни школы. Он был один, Тарас,— глава фамилии. И судья, и учитель. Он один отвечал за души детей.

На беду, некстати, не ко времени вдруг расцвела и созрела в эту горькую весну Настя. Налилось весенним соком тело, стало упругим и жадным. Пришла ее пора любить, страдать, ждать своего девичьего счастья.

Какого счастья? У Тараса сердце ныло, когда он глядел на Настю. Ее дома не видно было и не слышно. Она ходила тихо, и работала тихо, и разговаривала тихо, больше молчала. Сядет у окошка, на лавку и — молчит. Сидит и молчит. «Почему молчит?»— мучился он. Сидит и молчит. Сидит и молчит. И странно так, тяжко молчит, о своем

думает. О чем? О каком счастье мечтает? Молчит все.

Он следил за ее каждым шагом.

— Не ходи на улицу,— строго говорил он, заметив, что она надевает платок.

— Хорошо,— покорно отвечала она, аккуратно складывала платок и садилась у окошка на лавку. А он ходил тяжелыми шагами по дому и мучился. Потом напускался на дочь.

— Ты чего сиднем сидишь? Пойди прогуляйся. Да старенькое платье надень, чего наряжаться не по времени!

И она покорно надевала старенькое, повязывала голову рваным платочком, обувала стоптанные туфли. Но и из этих обносков, всему наперекор, неукротимо и победно рвалась ее молодая краса. И Тарас тревожно вздыхал: «Вот до чего дожил! Красе родной дочери не рад!»

Но душа ее оставалась для него загадкой. «Что они за племя такое, что за народ эти молодые, нынешние?» Совсем он их не знал. Незнакомое племя. Но и не зная, он сомневался в них. «Где уж им! На папашины деньги учились, горя не видели, с Александром Яковлевичем Пархоменко в поход не хаживали, почем фунт лиха — не знают». И теперь он проклинал себя, что раньше детьми не занимался, и как с ними говорить — не знает, и как в их душу войти — не знает, а отвечать за них перед людьми и миром придется ему.

— Ты чего молчишь? Чего молчишь все? — крикнул он однажды на дочь.

Настя удивленно подняла глаза и, пожав плечами, ответила:

— А чего мне говорить, папа? Вы спрашивайте.

А он и не знал, о чем и как ее спросить. Он присматривался к Настиным подругам строго и придирчиво. Всякие были, хорошие и плохие. Но одну он люто невзлюбил, Лизку. Впрочем, она уже называла себя Луизой.

Когда Тарас впервые заметил и разглядел это взбалмошное существо, он от удивления даже рот раскрыл. И наряд на Луизе был какой-то пестрый, крикливый, и юбка выше колен, и прическа какая-то не русская — белобрысые локоны как-то смешно и нелепо скручены на лбу,— и все в ней было и не русское, и не немецкое, а какое-то обезьянье.

— Ты чья такая? — уставился на нее Тарас.

— Антона Лукича дочка... Луиза,— бойко ответила Лизка.

— Брысь, паскуда! — гаркнул Тарас.— Вот я твоему от-

цу, старому дураку, скажу, чтоб он тебя выдрал.— Но тотчас же опомнился и украдкой виновато глянул на Настю. Настя молчала. Тарас хлопнул дверью и вышел.

Луиза, однако, продолжала бывать в доме Тараса. Сначала она старика побаивалась, околачивалась где-то на кухне, поближе к порогу, разговаривала с женщинами шепотом и все поглядывала с опаской на двери Тараса,— ее самое еще смущали и наряд, и локоны; потом она осмелела, обнаглела даже. А однажды набралась храбрости и напустилась на Тараса:

— Вы что ж, Тарас Андреевич, Настю на улицу не пускаете? Ее дело молодое, ей гулять хочется.

Тараса чуть удар не хватил от бешенства. Но он сдержался. Подошел к Насте и посмотрел на нее грустным-грустным, долгим взглядом.

— Тебе гулять хочется, дочка? — спросил он ласково, так ласково, как никогда не говорил с ней, и голос его дрогнул.

Она удивленно подняла на отца глаза и тотчас же опустила их.

— Нет, папа.

— Слышишь? — обратился к Лизе Тарас.— Не хочется ей гулять. Не такое, Лиза, время, чтоб гулять.

— Измена! — фыркнула Лизка.

— Измена,— так же коротко и серьезно ответил Тарас.— Хуже измены. Вот умер бы у тебя отец, горе в доме, пошла б ты гулять? А у нас нынче в каждом доме — горе. Не до гулянок. Не простят нам наши, если мы гулять тут будем.

— Война все спишет!

— Нет! — убежденно покачал головой Тарас.— Нет, врешь, Лиза. Не спишет. Все запишет война. Ничего не простит, ничего не забудет. Поимей это в виду, девушка! Вернутся наши, поставят нас перед собой и своими чистыми глазами в душу глянут. В самую душу. И все увидят: кто ждал, кто верил, а кто — продал, забыл.

— Когда ж они придут?

— Не могу тебе сказать, девушка. Но придут. И имей в виду — обязательно придут.

— А молодость пройдет! — вздохнула Лизка.— Самая лучшая пора пройдет. Наши вернутся и на нас, старух, и глядеть не станут. Нет,— тряхнула она локонами,— уж лучше хоть как-нибудь, а отгулять...

А Настя молчала.

Откуда-то из темноты вынырнул Ленька — главный воин гарнизона Тараса — и, озорно усмехаясь, сказал:

— Дедушка! Тут про таких,— он сверкнул на Лизку глазами,— песня сложена, в городе поют. Я всю знаю.

— Какая песня?

— Называется «Позор девушке, гуляющей с немцем».— Он встал в позу и мальчишеским звонким голосом запел.

Молодая девушка немцу улыбается.
Позабыла девушка о своих друзьях.
Только лишь родителям горя прибавляется,
Горько плачут, бедные, о милых сыновьях.
Молодая девушка, скоро позабыла ты,
Что когда за родину длился тяжкий бой,
Что за вас, за девушек, в первом же сражении
Кровь пролил горячую парень молодой.
Где-то там над речкою, над широкой Волгою,
Был убит за родину молодой герой,
Только ветер волосы развевает русые,
Словно их любимая теребит рукой.
Вымоет старательно дождик кости белые
И засыплет медленно мать сыра земля.
Так погибли юные, так погибли смелые,
Что дрались за родину, жизни не щадя.
Лейтенанту-летчику молодая девушка
Со слезами верности весною поклялась,
Но в пору тяжелую сокола забыла ты
И за пайку хлеба немцу продалась.
Под немецких куколок прическу ты сделала,
Красками накрасилась, вертишься иглой.
Но не нужны соколам краски твои, локоны,
И пройдет с презреньем парень молодой.
Да, вернутся соколы, смелые, отважные.
Как тогда ты выйдешь молодца встречать?
Ведь торговлю ласками и торговлю чувствами
Невозможно, девушка, будет оправдать.

Слушая эту песню, бабка Евфросинья вздыхала. Антонина тихо плакала, Лиза краснела и ежилась, а потом вдруг сама разрыдалась и выбежала вон.

А Настя побледнела и сказала:

— Не все девушки такие. И другие бывают.

Больше она ничего не сказала. И опять не мог понять Тарас, что за этими словами скрыто, как не понимал раньше, что скрывается за ее молчанием. О чем она думает, о чем молчит, чего ждет? «Ох-хо-хо! — вздыхал он.— Посматривать за нею надо, посматривать!»

Да как уследишь за ними! Даже бабка Евфросинья ушла тайком куда-то утром и вернулась только в обед, злая, весь день плевалась и грохотала горшками.

— Ты чего плюешься, чего плюешься? — не выдержав, спросил Тарас. — Ты где все утро была?

— В церкви.

— Ну?

— Тьфу!

— Что ж тебе не понравилось в божьем храме? — усмехнулся Тарас.

— Тебе, безбожнику, все одно.

Но вездесущий Ленька вылез и тут.

— Ей, дедушка, поп не понравился.

— Поп? Какой поп?

— А немцы своего попа поставили.

— Откуда ж взяли?

— А из сада. Костя, что в саду в бильярдной шары подавал, теперь немецкий поп.

— Костя? Этот старый пьянчуга — поп? — удивился Тарас и посмотрел на жену. Евфросинья молча двигала горшками в печи. Тарас рассердился: — Над тобой издеваются, дура. Над богом твоим, над храмом твоим и над верой твоей, а ты ходишь. Молись дома, если надо, а к немецкому попу не ходи! Слышишь?

В другой раз, вечером, вся в слезах пришла Антонина. Была в кино. Пошла с подругами, чтоб не идти домой: в этот вечер она особенно боялась Тараса, ее измучили его шаги за стеной.

В кино показывали немецкую военную хронику. Под пронзительные вопли фанфарных маршей двигались по экрану немецкие танки, били немецкие пушки. По всем углам зала сидели полицейские в черных шинелях и настороженно, как кобчики, следили за публикой: боялись демонстраций. Но никто не кричал, не свистел, не шикал. Случилось другое, странное: зал начал плакать. И чем громче били пушки, тем горше рыдал зал. Немцы никак не могли понять, отчего русские женщины плачут, когда на экране так весело, совсем не как на войне, бьют пушки. Офицеры злились на русских женщин, а русские женщины плакали все громче и громче. Каждой казалось, что это в ее мужа, сына, брата, бьет немецкая пушка. И каждая плакала о своем. Кричать было нельзя — они плакали.

Офицер из гестапо не выдержал, вскочил и заорал:

— Прекратить слезы! Здесь не похороны! Улыбайтесь! Улыбайтесь же, русские свиньи!

Зажгли свет в зале. Из всех углов выползли полицейские. Офицер, размахивая стеком, кричал:

— Улыбайтесь, ну! Улыбайтесь, свиньи, свиньи!

А женщины продолжали плакать...

— Что ж ты не улыбалась? — криво усмехнулся Тарас, выслушав рассказ Антонины.— Раз уж пошла в немецкое кино — улыбайся! А со своими слезами дома сиди Не видишь разве — издеваются фашисты над твоими слезами!

Они над всем издеваются — над Евфросиньиной верой, и над Антонининым горем, и над молодостью Лизы-Луизы, и над ее локонами; они все топчут, они и Настю растопчут, если не уберечь, и Леньку, и маленькую Марийку,— раздавят душу каблуками своих кованых сапог и пройдут... Как уберечь, как уберечь их?

— Каждый думает, как бы спасти свою жизнь, а надо бы думать, как спасти свою душу.

6

Каждый думает, как бы спасти свою жизнь, а надо бы думать, как спасти свою душу...

Тарас «спасался» в своем доме. Он по-прежнему сиднем сидел дома, за закрытыми ставнями. Что там творилось в городе — того он не знал.

Но город властно тянул его, звал, мучил: ты видел меня в славе, погляди — вот я распят на кресте. Коснись моих ран, Тарас. Раздели мои муки.

Он не мог больше сидеть за замком, взял палку и пошел

И вот открылся перед ним город на холмах, ни на какой другой в мире не похожий, но такой, каким был всегда: крыши и трубы, крыши и трубы; те же улицы, падающие с окраин вниз, в центр; те же дома под железом и черепицей, те же акации в городском саду. И так же, в назначенную пору, летит с тополей веселый и легкий пух, кружится над улицами и падает на крыши. Как снег. Как теплый розовый снег.

— Все как было! — горько покачал головой Тарас.— Все как было!

А хозяином в городе — немец!

Оскорбленный и потрясенный шел Тарас по городу. «Что ж это за люди? Что ж это за люди?»— гневно думал он и только сейчас заметил, что людей на улицах нет. Пусто и тихо. Так тихо, словно не в городе, а на кладбище. Словно у города вырвали язык, и не может он ни кричать, ни петь, ни смеяться, а только тихо стонет, как глухонемой, которому от его немоты больно.

Какие-то тени мелькают вдоль забора, торопливо перебегают перекресток, скрываются в подворотнях. Где-то там, за закрытыми ставнями, шевелится, ворочается жизнь, но ни громкий голос, ни песни, ни плач не пробиваются сквозь щели. Даже дым из печей — тощий и бледный: может быть, оттого, что топить нечем; может быть, оттого, что варить нечего. Дымок подымается, дрожит в небе и тает быстро и пугливо.

Мимо Тараса пробежало несколько знакомых, он окликнул их почему-то шепотом,— словно и на него уже действовала настороженная тоскливая тишина улиц, и он уже говорил шепотом в своем родном городе,— они не услышали его и не обернулись. У людей появилось какое-то странное движение шеей, такого и не было никогда: быстрое, испуганное от привычки озираться. Люди боялись встреч.

Подле пепелища городского театра Тарас лицом к лицу столкнулся с доктором Фишманом, лечившим всех его детей и внуков. Тарас, по привычке, снял картуз, чтобы, как всегда, поздороваться, но увидел на рукаве Фишмана желтую повязку с черной шестиугольной звездой — клеймо еврея — и поклонился низко-низко, как не кланялся никогда.

Этот поклон испугал врача. Он отпрянул в сторону и инстинктивно закрылся рукой. Тарас молча стоял перед ним.

— Это вы мне... мне поклонились? — шепотом спросил наконец врач.

— Вам, Арон Давыдович,— ответил Тарас.— Вам и мукам вашим.

— А... да... да...— растерянно пробормотал Фишман.— Здравствуйте... Мое почтенье... Как поживаете? Я — ничего себе...— Но что-то сдавило вдруг его горло, он взмахнул руками и вскрикнул: — Спасибо вам, человек! — и побежал прочь не оглядываясь.

Тарас долго смотрел ему вслед. На пустынной улице все маячила согбенная спина врача, подпрыгивала и дергалась... А вокруг, как всегда: крыши и трубы, крыши и трубы; те же дома под железом и черепицей; и улицы, падающие с окраин вниз, в центр, и акации в городском саду. И так же, как всегда, в назначенную пору летит с тополей веселый и легкий пух, кружится над улицами и падает на крыши, как снег.

«Куда же тебе еще пойти, Тарас? На что тебе еще поглядеть? Не довольно ли видел?» Но он все шел да шел по

мертвым, распятым улицам города, из которого вырвали веселую живую душу. Вырвали и растоптали. И нет ее, ничего нет — город глухонемых и нищих.

Один Тарас идет, и громкий стук его палки о камни тротуара будит и скликает воспоминания. Они, как эхо, слетаются к нему со всех сторон, от каждого камня, от каждого дома, с каждого перекрестка. Здесь он родился. Здесь женился. Здесь состарился. Бывало, здесь, на площади, шумели горячие митинги. Клим говорил, потрясая рукой. Пархоменко уходил отсюда в бессмертие. Комсомольцы пели «Паровоз» и делали паровозы. И день и ночь висели над городом веселый звон железа, и песня за рекой, и детский смех в саду.

Ныне все стихло: задавили песню, расстреляли смех. Воспоминания — единственно живое, что оставалось здесь.

Тарас и не заметил, как нечаянно забрел на базар. Бывало, скрипели тут возы и суетились, толкались люди; башни полосатых арбузов высились рядом с горами теплого, дымящегося мяса; в горшечном ряду сияли глиняные солнца обливных макитр, глечиков, кувшинов; продавец игрушек на все лады пробовал свои свистульки,— незатейливая музыка вплеталась в базарный гам; и, покрывая все шумы, голоса, свисты и скрипы, гремел над базаром отчаянно ликующий, радостный, оголтелый крик петухов из птичьего ряда,— без петуха нет базара.

И хоть был Тарас заводской человек, базары он любил. Он любил в воскресенье, после получки, приходить сюда с женой и важно шествовать вдоль рядов, чувствуя себя хозяином всех вещей, выставленных на продажу. Он все мог купить. Базар был богат, но богат был и Тарас-мастер.

Сейчас покупать было нечего и не на что. У редких возов стояли понурые очереди: постаревшие, осунувшиеся женщины в стоптанных туфлях, небритые мужчины, обросшие седой щетиной. На лотках одиноко лежали бородавчатые картофелины, похожие на старушечьи лица, и сморщившаяся морковка, недоступная, как заморский апельсин. Здесь зерно продавали стаканами, картофель — штуками, сахар — кусочками — горькою мерою нищеты.

Нищета разоренных сел пришла сюда, на базар, и встретилась с голодной нищетой распятого города. Нищета принесла на базар все, что еще можно было выскрести со дна заветных сундуков. Подвенечное платье с увядшими цветами, кацавейку, усыпанную серебряной мишурой нафталина, потертый коврик, детское одеяльце с голубыми ленточками,

последнюю рубаху с тела. А те, у кого н этого не было, прннесли на рынок совсем бесполезные, никому ие иужиые вещи: подсвечники, поржавевшие от старостн н плесенн, зеленые самовары с побитымн бокамн, детскне нгрушкн — какого-нибудь облезшего плюшевого зайца нли иелепо счастливую куклу.

Владельцы этих ииkому не нужиых вещей и сами сознавали их ненужность и даже ие предлагали нх покупателям. Молча стоялн оин весь деиь на рынке, вытянув перед собой свои тускло-зелеиые подсвечнннкн, н с тоскливой мольбой гляделн на прохожнх. И казалось, каждая вещь крнчнт за своего хозяиiа: «Купнте! Это последиее, что у него есть. Завтра ои умрет с голода».

Страшиый язык иужды! Перед Тарасом словно вывернулн виутреиности города, сведенного судорогой голода н отчаяиия. Он узнавал людей н вещи, тенн людей, обломки вещей. Эти самовары ои видел некогда на чайиых столах в палисадииках, под тихими акацнямн; мнриые, счастлнвые субботиие чаепитня! Он узнавал коврики, безделушки с комодов, камчатные скатерти, фарфоровые статуэтки, патефонные пластиики — снмволы простого, сытого счастья. Он знал, что за этими снмволами скрыта частная жизнь целого поколеиия. Ныиче это за горсть зериа продается на рынке. Нищий покупает у иищего, голодный обменивается с голодным. Оии делают это молча. На толкучке не слышио былого шума, иет веселой суеты. Тишииа отчаяиия. Какой-то пожилой человек в пеисне и с пустой кошелкой долго стонт перед лотком с картошкой, потом медленно снимает с себя пиджак, вертит его в руках, зачем-то встряхивает и отдает продавцу. Тарас узиает человека в пенсне и отворачнвается. Это директор техинкума, где учился Никифор.

Тарас встречает здесь миого зиакомых — горькие встречи! Людн ие узнают друг друга, всем стыдио н скверно. Зиаменитый мастер литейного цеха продает свой патефон-премию. Химик из заводской лабораторин торгует самодельнымн спичками. Где-то здесь н Евфросннья меияет на хлеб замки Тараса.

Тут же иа базаре, под ногами живых людей, где-нибудь у тротуара, лежат, скорчившись, мертвые. Живые осторожио обходят их и отворачиваются, стараются не глядеть — в стекляииых глазах покойиика им чудится их собственный завтрашиий деиь. В городе привыкли к мертвым.

Растрепаниые цыгаикн в грязных цветастых платках прнстают: «Дай погадаю!» Мужчнны грустно отмахивают-

ся. Бабы соглашаются. Озираясь по сторонам, нет ли немца или полицейского, гадалки бормочут страстным, убежденным шепотом:

— Твой сокол жив, голубушка. Жди, вернется. Многие муки принял он. В реке тонул — не утонул, в огне горел — не сгорел, враг его не убил, и пуля не взяла, и бомба пролетела, не задела. Вернется он, голубушка, с первым снегом, по санному пути, ты надейся.

— Дай-то бог! — вздыхают и крестятся бабы.

Подле слепца, гадающего по выпуклой книге, особенно много баб. Слепец водит пальцами по невидимым буквам и пророчит. Бабам жутко.

— Кровавые реки прольются,— монотонно читает слепец,— и в тех реках захлебнется враг рода человеческого. И случится это...— он с усилием нащупывает выпуклые буквы, а бабы, замерев от страха и надежды, ждут ответа.

Над базаром, как и над городом, висит больная, немощная тишина: голосам и звукам не хватает силы, словно здесь не люди бродят, а призраки. И только итальянские солдаты торгуют шумно и весело. Они великолепны, эти королевские мушкетеры в шапочках с перьями, когда, обвешанные бабьими тряпками и барахлом, кипят они в торговом азарте, продают свое и ворованное, меняют, покупают и тут же продают купленное.

Но вдруг взламывается, раскалывается тишина базара. Кто-то исступленно крикнул: «Облава!»— и все всполошилось и заметалось вокруг. Мимо Тараса побежали люди. Он увидел искаженные ужасом лица. Он услышал выстрелы и вопли. Кого-то били головой о мостовую. Страшно кричала женщина с рассеченным лбом, ее черные волосы слиплись от густой крови. Над базаром низко и тревожно летали галки. Схваченный автоматчиками парень бился в железных лапах, не веря еще тому, что схвачен. Он рвался из цепких рук молча и исступленно, скрипел зубами, не желая тратить силу в бесполезных криках, но все его большое тело кричало, выло о свободе и рвалось из плена. Его били зло, ожесточенно, а он все рвался, все не верил, что это конец. И вдруг, обессилев, обмяк и затих. В последний раз обвел парень страстно-тоскующим взором вольный мир молодости. Все было кончено для него. Теперь Германия, каторга и — вероятнее всего — смерть.

А мимо Тараса все бежали и бежали охваченные ужасом люди. Они бежали, вины за собой не чуя. Вся вина их была в том, что они — люди, а это охота на людей. И Тарас

был человек, н за инм охотились, н ои бежал, хрипя и задыхаясь, ожндая что вот-вот лопнет, не выдержав, сердце. Ои вбежал в какую-то подворотию и там перевел дух. Мимо него пронеслась вся свора н где-то затнхла вдалн.

Под воротамн н во дворе столпнлось много людей. Все они тяжело дышалн. Кто-то сказал, сплевывая кровь:

— Автоматов бы нам! Автоматов!

— Ннчего! — отозвался Тарас.— И топоры годятся.

По улнце прошел эсэсовскнй патруль, н все затихли. В тншнне было слышно, как стучат о камин тротуара кованые сапоги немцев. Казалось, камни стонут под сапогами, камнн кричат. А из всех окон, щелей, ворот глядят вслед глаза, горячне, ненавидящне... Гнтлеровцы ндут по мертвым улицам. Пустынны площадн. Молчнт глухоиемой город. Страшная тншнна внснт иад иим — тншниа затаеииой иенавистн. В этой тншнне — как проклятие, как кошмар, как бред — цокот кованых сапог о камнн. И, заслышав этот цокот — днем лн, иочью лн,— нспуганно замнрает жнзнь, прячется все жнвое, затнхают дети, скрываются в погреба женщины. Мужчнны сжнмают кулакн: ие за мной лн? не мой ли черед? Уже невозможно слышать этот тяжелый неиавнстиый стук сапог.

Над всем городом внснт этот страшиый солдатскнй запах — запах казармы н вонючего табака.

Жнть было невозможно.

7

Жить было иевозможно.

На семью Тараса еще не обрушнлся топор фашнстов. Никого не убилн нз близкнх. Ннкого не замучнли. Не угиали. Не обобралн. Еще ин один немец не побывал в старом домнке в Каменном Броде. А жнть было невозможно.

Не убнлн, но в любую минуту могли убнть. Моглн ворваться ночью, могли схватнть средь бела дня на улнце. Моглн швыриуть в вагон н угиать в Германню. Моглн без внны н суда поставнть к стенке; моглн расстрелять, а могли н отпустить, посмеявшись иад тем, как человек на глазах седеет. Онн всё могли. Моглн — н это было хуже, чем еслн б уж убнлн. Над домнком Тараса, как н над каждым домнком в городе, черной теиью распластался страх.

Законов ие было. Не было суда, права, порядка, строя. Былн только прнказы. Каждый прнказ грознл. Каждый запрещал. Прнказы точно определялн, какнх прав лишен го-

рожанин. Это была конституция лишения прав человека. Человеческая жизнь стала дешевле бумажки, на которой было напечатано: «Карается смертью».

Дом больше не служил убежищем человеку. Замки не оберегали ни его жизнь, ни его имущество. Люди редко жили или спали в домах. Они прятались в погребах и сараях. Заслышав цокот кованых сапог, они забивались в щели. Если б были пещеры в городе, люди ушли бы в пещеры, зарылись бы в норы, только б не жить под «новым порядком».

Вся жизнь обывателя состояла теперь в том, чтобы спрятаться. Спрятаться от немца, посторониться, когда он шагает по улице, укрыться, когда он входит к тебе в дом, уклониться, когда он тебя ищет.

А гитлеровец шагал и шагал по городу, выпятив грудь, вытянув, как цапля, ноги, надвинув на низкий лоб каску, шагал с тупым воодушевлением автомата и все давил, мял, топтал — жить было невозможно.

Жить было невозможно, но надо было жить.

Как жить? Этого вопроса нельзя было отмахнуться. Нельзя было сказать себе: «Нас это не касается». Перед каждым человеком в городе встал этот вопрос: как жить, что делать? И каждый человек должен был сам его решить для себя и для своей совести.

Теперь часто по вечерам приходил к Тарасу сосед, Назар Иванович. Сорок лет прожили рядом, крыша в крышу, сорок лет ссорились. А сейчас общая беда соединила их — сидели все вечера вместе, курили, вздыхали...

Обычно разговор начинал Назар. Беспокойный человек, он целыми днями слонялся по городу.

— Иду я сегодня по улице,— рассказывал он,— вижу, тротуары чинят. Сердце у меня так и упало. Боже ты мой, думаю, неужто навсегда, навеки упрочается в нашем городе немец?

— Этого быть не может. Тротуары! — фыркал Тарас.— Тротуары — видимость. Тротуар они могут переделать, а душу мою переделать могут? Могут они меня или тебя в немцев превратить? Память мою они вытоптать могут? Нет! — Он с силой качал головой.— Нет, не хозяева они в нашем городе — пришельцы. Как пришли, так и уйдут.

Назар пожимал плечами:

— Давно и стрельбы не слышно и самолетов наших не видать. Хоть побомбили бы нас, что ли, все на душе веселее б стало. Далеко фронт ушел, ох далеко! Под Волгу.

— Фронт ушел, фронт и придет. Верить надо.

— Ох, верить, верить!

Махорочный дым полз по низкому потолку, бился о ставни...

— Как жить, Тарас Андреич? — тоскливо спрашивал Назар.— Нет, ты мне скажи: как жить? что делать?

— А это решай каждый, как совесть велит,— отвечал Тарас.

— Совесть драться велит! А драться чем? Безоружные мы с тобой старики, Тарас.

— Топор есть — стариковское оружие, верное.— Тарас задумчиво качал головой.— К партизанам бы путь найти! Хоть и стары мы с тобой, Назар, а все послужили б! — Наклонялся к Назару и шептал: — Надо выход душе дать, ой надо! Терпеть, Назар, у меня мо́чи нет.

И каждый человек в городе о том же думал: как жить, боже мой, как же жить, что делать?

8

— Если я правильно понимаю политическую обстановку,— сказал своей жене Старчаков Яков Васильевич, бывший завхоз треста,— сейчас настало мое время, время коммерции. Мы открываем комиссионный магазин!

Жена не удивилась. Она знала, что в заячьем теле ее мужа живет душа тигра. Может быть, и в самом деле настало время Старчаковых — золотое время частной коммерции? В местной газете появилось объявление: «С разрешения немецкого командования господин Старчаков открывает комиссионный магазин». Объявление было набрано жирным шрифтом.

Ковры и подсвечники изменили свой маршрут, они плыли теперь не на рынок, а в магазин Старчакова. Они плыли густой и плотной массой, как бревна по реке в большую воду. Старчаков не успевал выписывать квитанции. Он ликовал. Он принимал, щупал, ласкал, оценивал вещи. Ему казалось, что все эти вещи принадлежат ему. Ему уж было тесно в этом городишке. Он мечтал о магазине в Берлине на Унтер-ден-Линден.

Вещи запрудили маленький магазин. Старчаков объявил, что прием вещей на комиссию прекращен. Теперь он ждал покупателей. Покупателей не было.

Он ходил по своему магазинчику, переставлял вещи в витрине, ждал. Он ждал покупателей. Покупателей не было. Коммерция не произрастала на скудной почве голодного

города Комиссионера все чаще стало искушать странное желание: взять и повеситься на антикварной люстре, среди текинских ковров, которые все хотят продать, а никто купить не может.

В местной газете появилось новое объявление: «С разрешения немецкого командования господин Старчаков ликвидирует свой комиссионный магазин. Просьба ко всем сдавшим вещи на комиссию получить их обратно». Объявление было набрано бледным петитом. Между этими двумя объявлениями протекла и отшумела вся недолгая карьера первого поднемецкого коммерсанта: его величие и падение.

Когда владельцы вещей, сданных на комиссию, явились за своими вещами, они увидели: магазин был пуст. Немцы «конфисковали» вещи; ненужные переломали. Под ногами хрустели осколки фарфора. На стене, на одном крюке, качалась распоротая ножом картина: «Бой у Острой Могилы».

Эту картину написал местный художник. Он издавна жил и работал здесь. Во многих дворцах культуры, клубах и школах висели его панно. Каждое воскресенье, бывало, он ходил на свидание с ними. Он надевал праздничный пиджак и шляпу. «Я иду на свидание с моими детьми»,— говорил он. Они жили теперь своей жизнь — его картины, его дети. Каждая имела свой возраст, свой характер, свою биографию. Одни дались ему легко, другие, рождаясь, измучили его. Он любил их неодинаковой любовью — одних больше, других меньше. Были любимцы и были уродцы. Но все они были дороги ему.

Когда немцы обосновались в городе, он захотел узнать, что сталось с его детьми.

И он их увидел. Растоптанные, загаженые, вырванные из рам, они корчились и умирали на свалке; ему осталось только плакать над их трупами.

Он хотел умереть в эту ночь, его спасли близкие. Кто-то сурово сказал ему:

— Вы должны жить, чтоб написать то, что видели. Страшную картину должны написать вы для потомков.

— Да, да...— бормотал он.— Надо жить... Надо жить...

Он не умер. Он остался жить, чтобы видеть и запомнить. Он бродил по улицам, кладбищам, пустырям и видел страшные картины. Но сейчас он не мог писать: его руки были в плену, его тело было в плену, и только память художника, горячая, честная, была свободна и проклинала скованные цепями руки.

Чтобы ие умереть с голоду, ои писал пестрые акварельки, изображавшие украииский пейзаж, каким ои никогда ие был,— но только это и покупали итальяиские солдаты. Им иравились акварельки, иамалеваииые художником. Оин посылалн их в Италию: вот земля, которую завоевал ваш сын.

Механически фабриковал художиик эти мельиицы, речки и хатки, а в воскресенье на базаре продавал их поштучно и оптом, как продают капусту. Надо жить, иадо жить, говорил ои себе. Надо жить, чтобы видеть и запомнить.

Одиажды его пригласили в гестапо.

— Нам нужиы хорошие художники,— сказали ему там.— Пишите для нас плакаты, и мы сделаем вам сытую жизиь.

Ои усмехиулся:

— Я ие умею писать плакаты. Только акварельки... речка... хатки...

— Жаль. Вы могли бы быть сыты.

— Я сыт,— задыхаясь, ответил ои.— Я по горло сыт.— И вспомнил свои картииы, распоротые фашнстскнмн ножами.

Он прншел к себе домой в мастерскую н там одни, в пустой, гулкой комнате, долго плакал. Плакаты? Да, я умею писать плакаты. Я буду писать плакаты. Я сам буду развешивать нх на площадях. Я сам готов внсеть рядом с иими. Страшиые плакаты буду я писать!

Распятый, окровавлеииый город. Вокзал, омытый слезами. Сииие руки матерей. Зелеиые вагоиы с решетками. Черные тополя, заплакаииые, как вдовы. И девушкн, прощающиеся с отчизиой, с молодостью, с волей. «Плач полоняиок»— вот как будет называться эта картина. Он станет ее пнсать немедля. Он ие может больше ие писать.

Плач полонянок. Ои стучнтся в его ушн. Он стучится в его сердце. Над всею Украиною звеиит этот горестиый девичий вопль. Вдовий плач матерей. Горький крик полоияиок.

Все чаще и чаще уходят иа запад невольннчьн эшелоиы. Все пустыиней и пустыиней становятся города. Из десятого класса «Б», где до немцев училась Настя, шесть девушек уже распростились с родииой. Их везут сейчас в вагоиах с решетками. Что ждет их в иеволе? Что ждет Настю? Что всех нх ждет, девочек из десятого «Б»?

Их было пятеро подруг, боевая пятерка: Настя, Ларнса, Лиза, Галя, Мария. В эту весиу они должиы были окончить школу. Они ходили обиявшись по парку и мечталн Жизнь

казалась им прямой и ясиой, как эта аллея, небо — близким и доступным, как вершиииа этого тополя, будущее — веселым и кудрявым, как эта береза.

Пришли немцы. Под тяжелыми гусеиицами танков хрустиули девичьи мечты и надежды. Девочки из десятого «Б» не успели даже собрать осколков. «Прощайте, девочки! — писала Галя с дороги.— Крылья оборваны, руки скованы, надежд иет. Прощай, жизнь, прощай, молодость, прощай, родина!»

Чей завтра черед? Лариса, чтоб ее не угиали в Германию, поступила в театр «Кабаре», открытый немцами. Она всегда собиралась стать актрисой. У нее был иежиый девичий голос. Она пела грустиые песеики и всегда, когда пела, плакала. И ее подруги тоже.

Но Ларисе ии разу еще ие удалось допеть до коица свою песеику в театре — немецкие солдаты, шикая и свистя, прогоияли ее со сцеиы. Им ие иужиы были ее песни. Им нужны были ляжки. Они аплодировали только ляжкам. На холодной сцене окочеиевшие девочки тоскливо плясали. Немцы недовольно кричали: «Живей! Живей! Кобылы!» Офицер щелкал стеком, как иаездник киутом. Девочки ожесточенней дрыгали сииими ногами. Только бы не угнали в Германию!

За кулисами все время толпились немецкие и итальянские офицеры. Кулисы казались им цирковой коиюшней. Оии бесцеремоино хлопали девушек по спине и приглашали ужииать.

— Свииьи, свииьи! Боже, какие это свииьи! — с отвращением и ужасом говорила Лариса Насте.— Я умру, если один такой приблизится ко мие. Лучше в петлю!

Лиза-Луиза перестала бывать у Насти в доме. Немецкий офицер подарил ей кофточку. Великолепную кофточку из голубой аигорской шерсти: ни у кого в городе ие было такой. Когда Лиза-Луиза прогуливалась по главиой улице, иа нее все смотрели. Какая-то жеищииа неотступно следовала за нею три квартала и глаз ие отрывала от кофточки.

У этой женщины были сумасшедшие глаза, тоскующие, черные. Лиза-Луиза возмутилась. Это иахальство — идти за ней и смотреть! Слишком миого сумасшедших развелось в городе.

— Вы что на меия смотрите? — прикрикиула она на женщину.

— У вас красивая кофточка, девушка.

— Ну? А вам что?

— Ничего,— растерянно улыбнулась женщина.— Носите. Носите. Это была моя кофточка. Мне когда-то подарил ее муж. Потом его убили, и я перестала носить. К нам в дом пришел немец и взял ее. И другие вещи тоже. Моя девочка Ирочка заплакала, глупенькая, и немец убил ее. Но это ничего, ничего. Вы носите кофточку... Она красивая. На ней пятна Ирочкиной крови, я потому и смотрю. Это очень красиво — красное на голубом.

Луиза в ужасе отшатнулась от женщины и убежала. «Это очень красиво: красное на голубом!» — кричала ей вслед женщина. Луиза прибежала домой и разрыдалась. Она долго не могла успокоиться. Кофточку она сняла. Но ей казалось теперь, что и на юбке, и на чулках, и на ботинках черные пятна крови. И на губах не помада, а кровь. И на ногтях не лак, а кровь. На всем ее теле — пятна, пятна крови...

— Что ж подружек твоих не видать у нас? — насмешливо спросил как-то Настю Тарас.— Тихо даже стало. Небось устроились?

— Да...— коротко ответила Настя.— Устроились.

— То-то я и гляжу — нет их. Куда же они устроились, твои Катьки, Машки?

— Галю в Германию угнали.

— А-а!

— А Мария здесь устроилась лучше всех.— Настя грустно усмехнулась.— У немцев она теперь на всем готовом. На казенных харчах.

— В тюрьме? — удивился Тарас.— За что же такую девочку в тюрьму?

— Не знаю... Говорят, за листовки...— нехотя ответила Настя и отвернулась.

Тарас пытался вспомнить Марию. Вспомнилось что-то курносое, веснушчатое, озорное... А может, он путал? Много их тут, босоногих, бегало. «В тюрьме! — произнес он про себя.— Ишь ты!» В первый раз с уважением подумал он о незнакомом молодом племени. А Настя? Какой путь изберет Настя, каким пойдет? Путем Гали, Луизы или Марии?

Она молчала. Молчала по-прежнему: душа за семью замками. Но Тарас видел: она уже избрала свой путь. Только он не знал — какой.

— Каждый человек в городе искал свой путь для себя и для своей совести.

— Как жить, как жить, Тарас Андреич? — тоскливо

спрашивал сосед Назар.— Нет, ты скажи мне: как жить, что делать? Терпеть?

— Не покоряться! — отвечал Тарас, и перед ним все мелькало чье-то курносое, веснушчатое, озорное лицо.— Не покоряться!

9

Не покоряться!

Фашистский топор повис и над семьей Тараса — старика потребовали на биржу труда. Он не пошел.

— Я не хочу работать,— сказал он полицейскому, пришедшему за ним.

Первый раз в жизни произнес он эти слова: я не хочу работать. Его руки тосковали по напильнику. Его легким нужен был железный воздух цеха, его ушам — веселый звон молотов в кузнице, его душе — труд. Но он сказал полицейскому: я не хочу, я не буду работать. Сейчас труд был изменой. Сейчас голодать — значило не покоряться.

С ним поступили так же, как со всеми: его заставили прийти на биржу труда.

Только гитлеровцы умеют мирные слова наполнить ужасом. Только они умеют все превратить в застенок. Застенком, где пытали ребячьи души, была школа. Застенком, где немецкие врачи на русских раненых пробовали свои яды, была больница. Застенком был лагерь для военнопленных. Застенком были театр, церковь, улица.

Но в рабочем городе, где жил Тарас, самым ужасным застенком была биржа труда — первый этап невольничьего пути.

Сюда никто не приходил по доброй воле. Сюда волокли схваченных в облаве, изловленных на улице, вытащенных из погребов и подвалов. Еще час назад у этих людей были имя, семья, дом, надежды. Еще час назад этот мальчик играл с товарищами, эта девочка прижималась к теплым коленям матери. Сейчас все будет кончено для них. Вместо имени — бирка, вместо дома — вагон с решетками, вместо семьи — чужбина. Только надежда остается у раба. Надежда и ненависть.

Здесь, на бирже, происходило расставание людей — в судорогах и борьбе. Людям казалось, что здесь, в воротах невольничьего пути, ещё можно упереться, отсюда еще можно вырваться. Можно вымолить себе волю, выползать на коленях, вырвать зубами. Они с ужасом отталкивали от

своей шеи ярмо. Они кричали о своих правах человека, показывали мятые бесполезные справки, просили, доказывали, грозили, плакали. Напрасно. Отсюда нельзя было вырваться. Здесь непокорную шею сгибали, непокорную душу вышибали вон.

Тараса заставили ждать череда. Его еще не били, но вся его душу была уже в синяках. Он видел стены, забрызганные кровью, он слышал стоны и вопли.

Беременная женщина с большим острым животом валялась в ногах чиновника и умоляла не забирать единственного сына. Над нею стоял ее сын, четырнадцатилетний бледный мальчик, и говорил:

— Встаньте, мама! Встаньте! Не надо! — По его губам текла струйка крови, он отирал ее рукавом и снова просил, и умолял, и требовал: — Встаньте, встаньте, мама! Не надо!

Чиновника он ни о чем не просил.

Вдруг чиновник взвизгнул:

— Щенков плодите, а для великой Германии жалеете? Падаль! — и пинком сапога в живот отшвырнул женщину.

Дико закричала она и схватилась за живот. Ее крик ударился о четыре стены комнаты, о стекла, о потолок и затих. И снова поползла она по полу, бережно придерживая руками живот, поползла к сапогам чиновника, к ножкам его дубового стола, умолять, просить, плакать. Только смерть могла бы заставить ее отказаться от борьбы за сына.

А перед чиновником уже стояла молодая пара: муж и жена. Он говорил, она плакала. Он прерывал свою речь и утешал ее: «Что ж ты плачешь, Катя? Это ж ошибка, сейчас все выясним»,— видно, слезы жены мучили его и мешали связно говорить.

— Здесь ошибка, господин начальник,— убежденно доказывал он.— Мы законные муж и жена. Вот документы. Мы — законные... Как же нас разлучать? Мы согласны ехать. Но как же врозь? Ведь мы законные... Ведь и ваш бог и наш бог одинаково за закон брака... Об одном только просим: не разлучайте нас!

— Странно, странно, майн готт! — смеялся чиновник.— Но что же вам делать вместе в публичном доме? — И он хохотал, хлопая себя по бедрам, и, изнемогая от смеха, падал животом на стол.

Распахнулась дверь кабинета коменданта биржи, и оттуда вышвырнули комок крови и мяса. Комок шлепнулся об пол. Все в ужасе расступились. А комок корчился на полу и хрипел:

— Врешь! Врешь, не покорюсь!

И Тарас, сжимая свою суковатую палку, решал про себя. «Бить я себя не позволю! Лучше — смерть».

Но его и не собирались бить. Его пригласили наконец в кабинет коменданта, и сам комендант биржи вежливо поднялся ему навстречу. Тарас узнал в коменданте местного немца Штейна.

— Садитесь, господин Яценко,— пригласил комендант.

Тарас подумал, подумал и сел. Палку он поставил меж колен и оперся на нее.

— Вам пришлось ждать, Тарас Андреич? Извините меня Дела!

— Ничего...— проворчал Тарас.

— Вы нам нужны, господин Яценко. Поэтому начну прямо с дела. Немецкое командование решило восстановить завод.

Тарас вздрогнул.

— Это грандиозная строительная задача. Мы с вами немолодые люди, мы отбросим политику в сторону. Для мастера нет политики, есть дело. Мы предлагаем вам дело, мастер. Вы будете сыты, ваша семья обеспечена...

— Я не мастер,— тихо ответил Тарас.— Я черный рабочий.

— Что? — удивленно уставился на него Штейн и расхохотался.— А, хорошая шутка! Я понимаю. Шутка мастера.

— Я черный рабочий! — строго повторил Тарас.

Штейн посмотрел на него и увидел упрямые, суровые стариковские складки у рта и острый подбородок, упершийся в палку.

— Руки! — вдруг закричал он исступленно.— Покажи руки, свинья!

Тарас, усмехаясь, протянул ему свои руки. Сильные, жилистые руки в давних бугорках отвердевших мозолей, ладони, в которых навеки въелась железная пыль и машинное масло.

— Это чернорабочего руки? — крикнул Штейн.— Это руки мастера, господин Яценко. Это золотые руки. Им цены нет Но Германия умеет ценить такие руки.

— Я черный рабочий! — опять повторил Тарас и встал, опираясь на палку.

Штейн тоже встал. Их взгляды скрестились. Штейн был здешний немец. Он хорошо понимал не только русский язык, но и русский взгляд.

— Хорошо! — задыхаясь, закричал он.— Чернорабочий?

Отлично. Нам нужны и чернорабочие. Пойдешь чернорабочим. Не пойдешь — понесут. Будешь упираться — живым закопаем в землю.

Штейн сдержал свое слово. Теперь каждое утро за Тарасом заходил полицейский гнать на работу. Тарас надевал какое-то тряпье, брал палку и выходил. Ни разу он не надел своей спецовки: «Я свой рабочий мундир не опозорю!» Полицейский обходил еще несколько квартир, пока не собиралась вся партия непокорных заводских стариков. Так, под конвоем, их и гнали через город. Так, под конвоем, пригоняли на завод.

Они входили в старые, знакомые заводские ворота. Перед ними лежал труп завода. Скорчившееся, обуглившееся железо. Глыбы мертвого камня.

Старики шли по заводу... Высокой травой заросли дорожки. На стенах выступил лягушачий мох. Черные вороньи гнезда в стропилах. Хмурое дырявое небо. Рыжий бурьян бушует там, где некогда бушевало раскаленное железо. Вдруг падает ржавая балка: подпоры прогнили и рухнули. Облака бурой пыли подымаются над руинами. Испуганно взлетают вороны. Кричат хрипло и тревожно. Бьются крыльями о стропила. И долго-долго еще носятся и кружатся над развалинами цеха, как над трупом.

Мастера идут под конвоем по кладбищу завода, сами похожие на скелеты. Все опустили головы: страшно глядеть на развалины. Вокруг запах мертвого железа, тяжелая тишина. Только шарканье ног по ржавым плитам.

Непокорных стариков пригоняют к развалинам электростанции. Их заставляют разбирать полуразрушенные стены и расчищать площадку. Ну что ж! Ломать стену они будут, строить — никогда. Они делают это медленно и насмешливо. Немец-надсмотрщик злится: русский не умеет работать! Русский есть ленивый осел! Тарас усмехается: поглядел бы ты, немец, как русский «лентяй» шуровал здесь, когда сам себе был хозяином, как ворочал тяжким молотом Петр Лиходид, какой азарт кипел здесь, какой пот был на рубахах

Когда немец уходит, старики сразу бросают «работу» Кряхтя, усаживаются на камни. Закуривают. Знаменитые мастера сидят тут на развалинах. Они сложили эти цехи. Они их и разрушили. Кому из них доведется воскрешать.

— Сколько тебе лет, Тарас? — спрашивает старик Артамонов, пенсионер.

— Шестьдесят, Пал Петрович,— почтительно отвечает Тарас

— Молодой еще! — вздыхает Артамонов.— Здоровый. Ты доживешь.

И все с завистью глядят на ширококостого, кряжистого Тараса. Да, дожить, дожить бы! Дождаться! Дни, недели остались до освобождения, у стариков каждый час — последний.

— Не доживем! — горько качает головой Назар.— Все скелеты стали, все скелеты. Гляжу я и удивляюсь: чем только люди живы?

— Верой живы, Назар,— строго отвечает Тарас,— верой.

— Завод можно быстро пустить! — говорит старик Артамонов.— Я б перво-наперво...— И он начинает выкладывать свой проект. У каждого старика есть свой проект. Продуманный, выстраданный, выношенный, как мечта. Каждый начал бы восстановление завода со своего цеха. Они доказывают друг другу, что так вернее. Они спорят, горячатся, сердятся. И все — мечтают.

Дожить. Дожить бы! Увидеть, как заструится первый робкий желтоватый дымок над силовой... Услышать, как громыхнет первый молот в кузнице...

Но ни один из них не перенес бы, если бы задымил завод для врага. Нет, этого допустить нельзя. Лучше видеть родной завод трупом, чем рабом. Пусть лучше лежит мертвый до поры. Его не дадим унизить.

Бранясь, возвращался немец-надсмотрщик. Старики принимались за работу. Медленно разбирали стену. Кряхтя, волочили камни. Перекладывали кирпич с места на место. Битый кирпич. Разрушенная стена. Мертвые камни, могильные плиты.

10

Мертвые камни, могильные плиты...

Умер старик Артамонов: волочил камень, упал и не поднялся больше. Так и остался лежать, обняв камень старческими руками. Артамонова похоронили тихо, торопливо, не так, как хоронили бы на заводе. Немцы украли у старого мастера не только почетную жизнь, но и почетную смерть.

Только девять стариков шли за его гробом. Беспокойный человек, Назар по дороге на кладбище рассказывал страшные вести: на шахте Свердлова фашисты расстреляли семьсот человек шахтеров, их жен, стариков и детей.

— Все шурфы трупами забиты. Такой, говорят, смрад над шахтой стоит — горе! — И, качая головой, предсказы-

вал: — Всех истребят, помяните мое слово, всех. И до нас дойдет! Сперва евреев изничтожат, потом нас.

Похоже было, что его слова сбываются. Однажды утром Тарас увидел, как по улицам гонят огромную толпу евреев.

Они идут, окруженные частоколом штыков, испуганные, раздавленные люди. Они не знают, куда и зачем их ведут: на смерть, на дыбу, на каторгу? Но обреченные, они покорно бредут, куда их гонят. Не слышно ни криков, ни плача. Мокрый, холодный ветер хлещет людей. Дождь, как кнут, падает на спины и плечи.

Женщины, спотыкаясь на мокрых камнях, несут больных детей. Старики и калеки ковыляют в хвосте колонны и боятся отстать и остаться один на один со штыками конвоиров. Упала старуха и забилась в припадке на мостовой, но кричать и звать на помощь боится. Молча бьется она на мокром булыжнике, судорожно хватает руками воздух, а мимо нее бредут и бредут обреченные люди. Сгибаются под тяжестью мокрых узлов. Волочат пожитки. Все брошено — родной дом, очаг, добро. От большой, годами сколачиваемой жизни только и осталось — жалкий узел. Но людям сказали явиться с вещами, и они обрадовались. Значит, не смерть. Значит, еще не смерть. И они цепляются за свои узлы, как за самую жизнь, как за образ трепетной и теплой жизни.

Только один человек идет без вещей, без пожитков, отрешенный от всей суеты земной — старый доктор Фишман. Ничего у него нет с собой, кроме старенького докторского саквояжика. Словно не на смерть он идет, а на утренний обход больных.

Вокруг него бредут, задыхаясь под тяжестью вещей, его соплеменники. Они не знают и не верят, что это их последний день, последний час, последний туман над городом, последний дождь на крышах. И они хлопочут о своих узлах, об одеялах, о пуховом шарфике для простуженной дочки.

А он знал. Он знал, что это его последний путь. В последний раз шел он по городу, где родился и вырос. И был до горечи дорог ему этот русский мокрый ветер в черных тополях, и запах русской земли, покрытой жухлой листвой, и русские заплаканные крыши, и русский осенний дождь, падающий над городом.

Тарас долго смотрел ему вслед. Молча колыхалась толпа, даже дети стихли. Равнодушно, молча шли полицейские и автоматчики. Падал туман, и дождь, как кнут, стегал да стегал улицу...

— Прощай, доктор Арон Давыдович! — прошептал Тарас.— Не осуди: ничем я тебя выручить не могу. Сами ждем казни.

Евреев расстреляли где-то за городом. Чудом уцелевшие одиночки прятались в русских семьях. Русские люди охотно, не страшась, прятали мучеников: это был долг совести.

Улица, на которой жил Тарас, прятала шестилетнюю девочку. Полицейские дознались о ней и рьяно искали. Этого даже Тарас уразуметь не мог. «Неужто,— усмехнулся он,— германское государство рухнет, если будет жить на земле шестилетняя девочка?» Но полицейские продолжали рыскать по домам. У них появился охотничий азарт. Они, как псы, вынюхивали след. Улица не сдавалась.

Каждый вечер девочку, закутанную в темный платок, переносили на новое место от соседа к соседу. В каждом доме был освобожден для нее сундук и в нем постелька. Девочка и жила, и ела, и спала в сундуке; при тревоге крышку сундука захлопывали. Ребенок привык к своему убежищу, оно больше не казалось ему гробиком. От девочки пахло теперь нафталином и плесенью, как от древней старушки.

Марийка от подружек узнала об этой девочке: детвора говорила о ней шепотом. Когда ребенка принесли в дом Тараса, Марийка, замерев, спросила деда: «Это девочка из сундука?»— и Тарас не знал, что ей ответить.

Девочка из сундука была бледненькой и хилой. В ее больших черных глазах жил испуг. Годы понадобятся, чтобы успокоить и развеселить такие глаза! Марийка вдруг обняла девочку и прижалась к ней. Черненькая и беленькая головки...

— Будем в куклы играть,— сказала Марийка и оглянулась на Тараса.— Можно? Мы в сундуке будем в куклы играть! — поспешила она прибавить, и Тарас отвернулся, чтобы смахнуть слезу.

Ночью в домик Тараса ворвались полицейские. Они перевернули вверх дном все комнаты и чуланы, нашли и взломали сундук. Девочка спала. Она продолжала спать даже на руках полицейского, безмятежно улыбалась во сне и тихонько чмокала губами. Грубый толчок разбудил ее. Она увидела чужие страшные лица и черные шинели. Она закричала, так закричала, что Тарас не выдержал и бросился на полицейского.

Когда, обливаясь кровью, Тарас поднялся наконец с пола, он прежде всего вспомнил о девочке, о беленькой девоч-

ке, о своей, о Маринке. Он оглянулся на нее и увидел ее глаза. Огромные, синие, они были расширены ужасом. «Что ж это? Что ж это, дедушка? За что?» — спрашивали ее глаза.

Но слез в них не было.

Слез не было. Дети научились не плакать. Они отвыкли смеяться и научились не плакать.

11

Дети старели. Они на глазах превращались в маленьких старичков и старушек. Иногда Тарасу казалось, что они с Маринкой ровесники. Как маленькая старушка, нахмурив лобик и сложив на животе ручки, сидела Маринка где-нибудь в углу и думала. О чем она думала? Тарас боялся ее спросить.

— Дедушка,— спросила она однажды,— а скоро русские придут?

— А ты кто ж, не русская? — рассердился Тарас.

— Нет. Немецкие мы теперь. Да?

— Нет! Русская ты! И земля эта русская. И город наш был и будет русский. Надо так, Маринка, говорить: наши придут. Наши скоро придут! Наши немца прогонят.

Он учил ее этим словам, как молитве. И она знала уже, что слова эти надо держать в душе, немец их слышать не должен.

В школу она не ходила. Она была там только раз и вернулась хмурая, заплаканная.

— Ты чего? — встревоженно спросил дед.

— Я больше... не пойду... в школу...— прошептала она так горько, что Тарас вздрогнул.

Целый год мечтала Маринка о том, как пойдет в первый раз в школу. Старшие девочки много рассказывали ей о школе, но запомнилось и в мечты вошло только одно: в школе дети поют хором. А теперь пришла Маринка в школу, весь урок просидела, а песен не дождалась. На переменке запели было девочки сами, учительница прибежала и замахала на них руками: «Тшш! Тшш! Нельзя петь!» — И школа померкла для Маринки.

— А ты пой одна,— посоветовал ей Тарас.

— Не,— покачала она головой, совсем как маленькая старушка.— Нельзя. Немец услышит.

Только перед сном, в постельке, она сама себя убаюкивала песенкой, которую сама же и сочинила: «Придут на-

а-аши... Дети пойдут в шко-о-олу. Будем песни спи-ва-а-ать...» И опять сначала и много раз. «Придут на-а-аши. Дети пойдут в шко-о-олу... Будем песни спива-а-ать...»

Леньке тоже не понравилась школа. Он пришел оттуда угрюмый, долго ходил вокруг деда, не зная, с чего начать. Наконец сказал:

— Теперь, дедушка, школа платная будет. Вязанка дров в неделю, два ведра угля и еще деньгами...

Тарас нахмурился, постучал пальцами по столу:

— А когда ж я вам средств жалел на науку? — спросил он обиженно.

Ленька еще потоптался на месте и, глядя в пол, произнес:

— Только я, дедушка, все одно в школу эту ходить не буду. Там на нас теперь смотрят как на одноклеточных. Или как на скотину. Учить будут только читать, писать да считать. Вот и вся нам наука.

— А каких тебе еще наук надобно? — сердито отозвалась бабка Евфросинья.

Ленька презрительно посмотрел на нее и ответил:

— А мне, бабушка, многие науки надобны. Мне желательно географию изучать про нашу страну, а также историю и физику. Только этому нас немцы обучать не будут.— Он опять повернулся к деду и спросил уже умоляюще: — Так я в эту школу ходить не буду, дедушка? Мне...— он запнулся, хотел сказать: «мне обидно», а сказал: — Мне совестно.

— Не ходи! — коротко ответил Тарас.

На этом и закончилась для Леньки и Марийки учеба — в ребячьих душах прибавился еще один горький рубец.

Немцы теперь часто бывали в домике Тараса. Через город на фронт под Сталинград сплошным потоком шли колонны. Останавливались на короткий отдых, на ночь, иногда на день.

Немцы были хмурые, злые. Они боялись степи. Они боялись самого слова «Сталинград» и произносили его неохотно, редко. По ночам они вздыхали, ворочались, бредили во сне. Однажды Тарас услышал даже, как немец плакал.

В эти дни Марийка редко выходила на улицу, сидела в уголке на своей скамеечке, подперев кулачками подбородок, и думала. Вся душа ее была в кровавых рубцах. По ночам с ней часто случались странные припадки — припадки страха. Она начинала кричать, плакать, метаться в постельке, ей мерещились ужасы, кровь, девочка из сундука. Она успо-

каивалась только на руках Тараса. Он один мог успокоить ее, словно от него исходила какая-то спокойная, уверенная сила. Марийка прижималась к груди старика и, цепко охватив ручонками его плечи, засыпала.

Он бережно клал ее в постельку, садился рядом на табурет и так сидел часами.

«Все можно залечить, восстановить, поправить,— думал он, глядя на сведенное в больной гримаске лицо девочки.— Война кончится, и все раны зарубцуются, все заводы отстроятся, вся жизнь обновится. Но чем вылечишь окровавленную, искалеченную, оскорбленную душу ребенка?»

— Где же вы, сыновья мои? Где вы?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

— Где же вы, сыновья мои? Где вы?

Было у Тараса три сына — нет вестей ни от одного. Живы ли они? Он старался думать, что живы. Он ждал их.

Это было большое ожидание, в нем сроков нет,— это была вера. Жива наша армия, живы и мои дети. Вернется армия, а с нею вернутся и сыновья. Вернутся сыновья, а с ними и армия. Без армии они не могли вернуться. Врозь он и не ждал их.

Андрей пришел один. Он пришел осенью, поздними сумерками, худой, бородатый, черный,— его и не узнали сперва. И одежда на нем была чужая — какая-то серая крестьянская свитка, таких и не носят теперь; и пыль на его лице, бороде и лаптях — чужая, нездешняя, бог весть с каких дорог; и весь он был чужой, незнакомый, горький. В синих впадинах под глазами, в острых изжелта-черных скулах, в злых складках у рта залегла горечь одному ему известных разочарований и мук.

— Ну, здравствуйте! — сказал он, грустно усмехнувшись, и, сняв шапку, осторожно стал стряхивать пыль с нее, как гость.

Страшно закричала Антонина, бросилась мужу на шею.

Заплакала бабка Евфросинья. Всполошились дети. Растерянный Тарас так и застыл на пороге с коптилкой в руке.

— Это кто? — испуганно спросила Марийка у Леньки.

— Это папка твой.

— Не похожий какой папка! — огорченно сказала Марийка и недоверчиво подошла к отцу.

Андрея провели в комнату, усадили за стол. Вокруг него собралась вся семья. Испуганно прижалась к непохожему отцу Марийка. То плакала, то смеялась Антонина, суетилась возле мужа и, наконец, припав к его коленям, успокоилась и затихла. У печи и стола хлопотала бабка Евфросинья.

Андрей сидел все еще чужой, нездешний, нерешительно гладил волосы Антонины, неумело прижимал к себе Марийку, что-то говорил, восклицал не к делу и не к месту, как все восклицали сейчас, и бродил растерянным, но жадным взглядом по комнате, словно спрашивал себя: верно ли, дома ли я, не померещилось?

И раньше всего пришли к нему знакомые с детства запахи: запах мышей в чулане, квашни на кухне, железа и сосновой стружки в комнате Тараса. Потом он увидел семейные фотографии, в рамках из ракушек, часы-ходики с генералом Скобелевым на коне, горку с глечиками и обливными расписными тарелками, лампадку на медно-зеленой цепи перед киотом. Всё на месте, ни единого пятна на стене.

— А у вас все — как было! — сказал он не то удивленно, не то обрадованно.

Вокруг колебалось все, все было непрочно, неверно, шатко, и самого Андрея мотало между жизнью и смертью; представлялось ему, носит он в себе целый мир, мятущийся и окровавленный, а оказалось — носил в своей душе только эту комнату. Только о ней одной думал. Только к ней одной стремился. Чтобы вот так сидеть у стола, а вокруг — знакомые стены, знакомые запахи, знакомые, дорогие лица, семья... Он и сам не знал, что так любит свой дом.

Все пройдет — и война и колебание мира. Только это вечно: семейные фотографии на стене, запах квашни на кухне.

Он обрадованно, легко засмеялся, потер руки и в первый раз почувствовал себя дома.

— Папка пришел, значит, наши в городе? — шепотом спросила Марийка у Леньки.

— Нет, это только твой папка пришел.

Тарас ни слова еще не сказал с тех пор, как Андрей пришел. Тяжелым взглядом следил он за каждым движением сына, и когда тот сидел у стола, и когда он стал мыться, радуясь теплой воде и удивляясь, как быстро она побурела от грязи, и когда чуть не заплакал, приняв от Антонины белье — свое, собственное, заждавшееся его, пахнущее

крахмалом, домом, суидуком, заботливыми женскими руками...

И только когда вымытый, переодевшийся и сияющий от полиоты счастья Аидрей уселся сиова за стол, Тарас иакоиец иарушил свое тяжелое молчаиие.

— Ты откуда же взялся, Аидрей? — тихо спросил ои.

Андрей вздрогиул. Тарас сиова иастойчиво повторил свой вопрос.

— Из плена...— чуть слышио ответил Аидрей.

И вдруг стал торопливо рассказывать о плеие. Аитониия сжала его руку, вся семья притихла. А ои, все больше и больше возбуждаясь, рассказывал о том, чтó вытерпел в плеиу, и сам теперь удивлялся, как ои все это выиес и не погиб.

Но отец перебил его:

— Как же ты в плен попал, Андрей?

— Как? — иевесело усмехиулся сыи.— Как все попадают. Ну, окружеиие... Налетели иемцы... Я иа виитовку поглядел: что с ией делать? Бесполезиое оружие!.. Я ее бросил и сдался...

— Сдался? — закричал Тарас.— Сдался, чертов сын?

Андрей побледнел. Наступило трудиое молчаиие.

— Эх, дядя! — с досадой сказал Леиька, отводя от Андрея глаза.— Как же это ты? Я б иипочем ие сдался.

И тогда Андрей рассердился:

— Не сдался б? Ты! Щеиок! Вояка! Все вы тут, погляжу, вояки! Смерти не нюхали, иемца ие видели, а тоже... рассуждаете. Что ж, я одии против иемца? Их сила... А я?

— А умереть у тебя совести не было? — крикиул иа иего Тарас.

— Умереть? — вскрикиула Аитониия и обеими руками уцепилась за Андрея. Словио его уж отрывали от иее и вели иа смерть.

— Умереть? — криво усмехиулся Аидрей.— Легко вы говорите, отец... Умереть я, коиечио, мог... Это дело иехитрое...— ои обвел всю семью иедобрым взором и прибавил: — Может, и верио, лучше бы мне умереть!

Все молчали. Только Аитоиииа еще крепче вцепилась в руку Аидрея.

— Вишь ты! — сиова невесело усмехиулся он.— Из плеиа шел... иа крыльях... думал, дома ждут. Думал, радость домой прииесу. А вишь ты, прииес... иеудобство.

— Мы тебя ие таким ждали,— сказал, качая головой, Тарас.

— Несправедливый вы, Тарас Андреич! — вдруг дрожащим от слез голосом произнесла Антонина.— Вы ко всем несправедливы. Всегда. Что ж, он один за всех умирать должен? Хорошо, что живой пришел,— и она оглянулась на женщин, ища в них поддержки.

Бабка Евфросинья, как всегда, непонятно качала седой головой. Настя молчала.

— Квочка! — презрительно сказал Тарас.— Ты б лучше детей уложила... Чего не спят? — закричал он, срывая на них свое отчаяние.— Ну, приехал! Ну, живой! Представление кончено! Спать!

Бабка Евфросинья и Антонина стали укладывать ребят. Маринка легла в постельку сразу — она была напугана и утомлена приходом непохожего отца. Ленька еще долго бушевал и спорил — не хотел спать. Андрей молча сидел у стола, катал хлебные шарики... Вот он и дома, а дома нет Тарас тяжелыми шагами ходил по комнате.

— Если ты из плена ушел,— вдруг спросила молчавшая все время Настя,— значит, уйти можно?

— Что? — очнулся Андрей и досадливо повел плечами

Настя повторила вопрос. Подошла Антонина и села подле Андрея. Взяла его руку в свою.

— Бабы выручили...— нехотя объяснил он.— Бабы нас жалели... Чужие бабы жалели нас! — повторил он с упреком и вызовом отцу.— Совсем неизвестные, темные бабы, а жалели...— Но тут же вспомнил, как их жалели бабы: «несчастненькими» называли их они, и это была горькая, презрительная жалость к своим, но незадачливым мужикам.

А они шли через села горестной толпой, и вид у них теперь был и не мужиков, и не солдат, а — пленных. Черт его знает откуда появляется у пленного человека этот вид — шинель без хлястика, без ремня, взгляд исподлобья, руки за спиной, как у каторжан. Так они шли безоружной толпой через села. Через те самые села, по которым еще месяц назад проходили стройным и грозным воинством. Тогда их тоже жалели бабы, провожали за околицу, плакали втихомолку. Только несчастненькими их не звали тогда, нет!

Вдруг он сказал отцу:

— Думаешь, мне этот плен легко дался? Я, может, сам себя сто раз проклял, что не помер в бою. Помереть легче! Гнали нас по большаку... Чуть отстанешь — бьют прикладами. И ноги в крови, и морда в крови, кровью умываешься. Много перемерло нашего брата в дороге. Кто сам помереть не мог, того немцы приканчивали... Потом пригнали нас в

лагерь. Под Миллерово. Просто пустырь обиесеи колючей проволокой — вот и весь лагерь. Если дождь льет, значит, под дождем живешь. Если холод, значнт, в холоде. Спали на сырой земле. Ели...— ои махнул рукой.— Есть ие давали. То, что бросят нам за проволоку бабы, то и ладио. Дралнсь меж собой нз-за куска. Как звери. И опять тут много нас перемерло. А я, вишь, на беду, уцелел.

Он говорил теперь горячо и быстро, и перед ним вставали страшные картины лагеря, и снова в его ушах хрнпели предсмертные стоны товарищей, свнст бича и вечный похоронный звон колючей проволоки под ветром...

— А вокруг всего лагеря сидели бабы... И день сидели. И ночь. Своих мужиков высматривали. Плакали ж оии, бабы, ох, страшно плакали! Выли! И мы начниали выть. Кто жить хотел, тот выл. А были такие — умирали молча. И это страшней всего. А я выл. Как волк воет. И все мие мерещился дом... и Антонина... и Марийка... И чем горше стаиовилось, чем смерть ближе — тем больше я жить хотел. И жнл. А как жил, чем — теперь и объяснить не могу.

— Но как же ты все-таки из плена ушел, Аидрей? — снова, со странной настойчивостью повторила свой вопрос Настя.

— Бабы и выручили. У немцев, видишь лн, политика хитрая. Нас в этих лагерях померло тысячи — этого никому не видно. А онн одного выпустят, ои пока домой дойдет — об этом звону, звону. Вот они и распорядились, что бабы могут, в случае еслн своего мужа или брата среди пленных разглядят, брать его к себе, на волю. Ну, справка, коиечно, иужна от старосты. Да это дело легкое! Есть бабы, которые в разных лагерях до ста «мужей» вот этак-то освобождали.— Ои усмехнулся.— Ну, а меня кто же выручит? Своих близко нет. А иа волю, иа волю хочется!.. Чувствую, помру я здесь, как щенок слепой, и иикто не вспомиит И проволока эта колючая так меня измучила, словно она мне в душу впилась, колючками душу рвет до крови. Ну вот... Я и бросил бабам за проволоку записку. Выручайте, мол, еслн добрая душа найдется! И свое имя, отчество, фамилию, откуда родом...— Он остановился на мииуту, задумался и вдруг тихо, ласково улыбнулся.— Нашлась добрая душа. Лукерья Павловна... Луша... Высвободила... Взяла меня к себе, в хозяйство... У нее без мужчииы все покосилось, повалилось...— ои запнулся, покрасиел, потом, собравшись с духом, закончил: — Ты меия, Антоиииа, суди как хочешь, только я с этой жеищииой жнл... как с женой...

Антонина вздрогнула испуганно и как-то очень беспомощно посмотрела на мужа и невольно выдернула свою руку из его руки.

— Ведь я...— пробормотал Андрей,— я ведь не знал: живы ли? здесь ли?.. Все сейчас на земле пошатнулось, пошло враскос...

— Ничего! Ничего! — зло расхохотался Тарас.— Чего, брат, с женой стесняться! России изменил, так чего уж тут жена? Только вот что я тебе скажу, Андрей. Жена простит, она существо бессловесное, кроткое. Простит ли Россия?

— А перед Россией моей вины нет...— глухо пробурчал Андрей.

— Врешь! Врешь! — закричал на него Тарас.— Всех ты обманул! И Россию, и жену, и меня, старого дурака, и мое ожидание.— Он круто повернулся и ушел к себе, сильно хлопнув за собой дверью.

Воцарилось молчание. Грустно сидела, опустив голову на руки, подавленная Антонина. Молчала Настя. Сжалась в комочек безответная бабка Евфросинья, горько качала головой.

И чтоб как-нибудь развеять это невыносимое молчание, Андрей спросил:

— Ну, а вы тут как живете?

Ему никто не ответил. Только Настя пожала плечами. Андрей взглянул на склоненную голову жены и вдруг увидел: голова седая. Он не поверил. Еще раз взглянул: под робким светом коптилки тускло блеснули серебряные нити. «Боже ты мой! — ужаснулся Андрей.— Что же с ней сделали?» Он испуганно оглянулся вокруг. Молчала Настя. Что-то бормотала себе под нос мать. Молитву?

Вот дом — и нет дома! Те же бури и беды, что свистели над ним, Андреем, ломали, корежили его тело и душу, прошумели и над тихим домиком в Каменном Броде, Антонину состарили, Тараса ожесточили. Все здесь с виду осталось прежним: и фотографии под тусклыми стеклами, и тихий свет лампад — а прежней жизни нет. И дома нет. И покоя нет. И счастья нет, как не было.

Андрею вдруг захотелось потянуться к жене, обнять ее, взять в ласковые руки ее бедную, усталую седую голову, прижать к своей груди, заплакать вместе: «Ну, что было — было! Ничего! Ничего! Тоня! Теперь я здесь, теперь я с тобою. Проживем как-нибудь. Переждем войну, не навеки же». Но он не сделал этого. Зачем? И сам он в свои слова не верит, и Тоня не верит. Неправда его слова.

Нет, не вырвался он из плена! Вот она — колючая проволока. По-прежнему и он в плену, и семья в плену, и весь город в плену у немцев. Душа его в плену. Все опутано колючей проволокой. Колючки впились в душу.

А у старика, у отца, душа свободна. Ее в цепи не закуешь. Ее колючей проволокой не опутаешь, бессмертную, ожесточенную душу Тараса. И сын вдруг горько позавидовал отцу.

В эту ночь в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...

2

В эту ночь в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...

Как ни рано поднялся Андрей, многие встали еще раньше. Скрипели половицы, изо всех углов ползли шорохи. Андрей встал и оделся. Антонина сделала вид, что спит. Андрей поглядел на нее и вздохнул. Вот и прошла его первая ночь дома после разлуки... Не так прошла, как мечталось... Ну что же! Все теперь на земле не так... Он вышел умываться в сени.

Там уже возилась мать. В самодельную ручную мельницу она засыпала зерна и молола их. Шестерни тоскливо скрипели.

— Это отец смастерил,— объяснила мать, заметив, что сын загляделся на ее работу.— И названье этому выдумал: агрегат. А по-моему, горе это наше, а не агрегат. Одно горе, больше нет ничего...

Ставни были еще закрыты. Сквозь щели протискивался тощий и словно помятый утренний свет.

— Открыть ставни, что ли? — вызвался Андрей.— Темно, как в могиле.

— Так и живем! — отозвалась мать.— Глядеть не на что.

Теперь, утром, все дома показалось Андрею не таким, каким было прежде. На него вдруг глянуло страшное лицо нужды, вчера он ее не заметил. Он и сам не сумел бы объяснить, в чем он ее увидел: в агрегате ли Тараса, в кислых лепешках, заменяющих хлеб, или в том, что самовар пылился в углу («Значит, нет в доме ни сахару, ни чаю. Как же мать без чаю живет, чаевница?»),— но нужда хозяйничала здесь, это он увидел ясно и принял почему-то

как упрек себе. Словно он, Андрей, был виноват в том, что война, и немцы в городе, и нет хлеба.

Понемногу к столу стала собираться семья — все хмурые, молчаливые. Даже Ленька глядел на дядьку исподлобья, с явным неодобрением. Дольше всех не выходила Антонина.

А когда наконец вышла и, странно волнуясь, подошла к мужу, он понял, отчего задержалась она: пудрилась.

Но и пудра не могла скрыть, как постарела и осунулась Антонина. Особенно постарели ее глаза, стали тусклыми, испуганными. «Плачет много»,— догадался Андрей и отвернулся.

Завтрак прошел быстро и хмуро. Все молчали. Только маленькая Марийка щебетала и ластилась к Андрею.

— Ты в школу ходишь? — спросил он.

— Не...— удивленно ответила Марийка.— Теперь же немцы!

— Да, да...— пробормотал он.— Я не подумал.

Он и это принял как упрек себе: словно он виноват, что теперь нельзя Марийке ходить в школу.

— Ну, я с тобой сам заниматься буду! — торопливо посулил он дочке.

После завтрака Тарас стал собираться на завод. Торжественно вытащил свое рванье, стал одеваться.

— Что, отец в заводе работает? — удивленно спросил Андрей у сестры.

— Да... вроде...— усмехнулась та.

— Под конвоем дедушку водят на завод! — закричал Ленька.— Вот! А без конвоя он не ходит.

Его голос услышал и Тарас у себя в комнате.

— Да, да! — отозвался он оттуда.— Почет! Почет мне на старости лет от немцев за мое непокорство. Как губернатора меня ведут на завод. Под конвоем.

— И ты служишь? — спросил Андрей у Насти.

— Я? Нет!

— А что же делаешь?

— Я прячусь.

— Прячешься? От кого же?

— От всего. От Германии. От службы. От немецкого глаза.

— Как же ты... прячешься?

— А так... Хоронюсь, не высовываюсь. У меня теперь вся жизнь в том, чтобы прятаться,— загадочно усмехнулась она.

И Андрей с удивлением и даже завистью подумал: «А они тут свою войну с немцами ведут; малую, конечно, войну, но, гляди-ка, какую непримиримую».

— Что-то мой полицай опаздывает! — сказал Тарас, выходя из комнаты и поглядев на часы. Был одет Тарас в неописуемое рванье, где только добыл такое! И Андрей понял: это старик нарочно.

— Опаздывает полицай! — насмешливо повторил Тарас.— Непорядок! Конечно, извинить можно — полицейских рук у них теперь недостача. Непокорства в народе много, не управляются!

Он посмотрел на сына и спросил, словно невзначай, небрежно:

— Ты теперь в полицию служить пойдешь, Андрей, а?

Андрей побледнел.

— Как вы обо мне думаете, отец! — пробормотал он обиженно.— Даже странно!

— А куда же тебе еще идти? — беспощадно продолжал старик.— Ты свой путь выбрал. Теперь меченый...— Он сердито фыркнул в усы.— Это мне на тебя обижаться надо, тебе на меня обижаться не из чего.

В Андрее вдруг вспыхнула злость. Что это отец, в самом деле? «Не пряниками меня немцы одаривали — плетью.. Вы и во сне того не видели, что я пережил». Ему вдруг вспомнился лагерь. Этого никогда не забыть! За это никогда не расплатиться!.. Ему захотелось все это зло яростно швырнуть в лицо отцу. «Ну, давай, давай, старик, посчитаемся, у кого душа круче заварена злобой, давай!» Но тут вдруг раздался стук прикладом в дверь и голос: «Эй! Выходи!»

— А-а! Пришел-таки! — усмехнулся Тарас и надел картуз.— Иду! Погляди и ты, Андрей, какой ноне старикам почет. Иди, иди! — прикрикнул он на сына, видя, что тот остался на месте.— Тебе на это поглядеть надо.

Андрей послушно вышел за отцом на крыльцо. На улице уже стояли старики, опершись на палки. «Словно пленные»,— подумал Андрей. Он узнал всех. Как не узнать! Мастера!

Несговорчивые старики, они много крови испортили Андрею в былое время, когда он сам стал молодым мастером подле них. Они всегда были для него стариками. Они всегда говорили ему «ты», он им всегда «вы». Как не узнать! Их знали все. Академики с ними советовались. Директора их побаивались. Новый директор представлялся сперва им, по-

том обкому. Их можио было убедить, реже — уговорить, приказать им было иельзя.

Тарас занял свое место в ряду, полицейский махнул рукой, и старики пошли.

Оии шли, крепко опираясь иа палки. И теперь было видио Аидрею: постарели, подались мастера. И отец сдал, самый молодой из иих. Рваиое пальто болталось иа его тощих плечах так беспомощио, так по-стариковски. Но каждый держал голову высоко и прямо. Видио, из последних сил, из непокорства, которое самой силы крепче, старались они идти гордо и достойио. Словно и впрямь был для иих этот конвой почетом.

«Нет, это ие плеииые,— невольно подумалось Андрею.— Это... это — иепокореииые».

Тарас, как всегда, шел рядом с Назаром.

— Что, Тарас,— сразу же спросил Назар, как того Тарас и боялся.— Не Аидрея ли я иа крылечке видел?

— Его! — буркиул Тарас.

— А-а... Зиачит, с гостем тебя, Тарас! С сыиом! По старому бы времеии, магарыч...

— Не с чего!

— Да, да... Это так... коиечио... Ну, и что ж рассказывает Андрей? Как? Армия иаша где?

— Теперь какие рассказы!

— Ну да... все-таки... Это так...— ие уиимался Назар.— Ои откуда ж пришел, Андрей?

— Из окружеиия,— соврал Тарас. Слово «плеи» выговорить бы ие смог.

— А! Ну да... да... Теперь миогие из окружения выходят. Вот и мы воевали в гражданскую, а такого слова чего-то ие помию, ие слышал: «окружеиие». А? Али забыл?

Дальше шли молча.

— Да...— задумчиво произиес Назар.— Разбежались наши кто куда... Окружеиие... Да без вести — неизвестные... Может, и армии-то иашей больше иет, а, Тарас? Одии мечтаиия иаши? Может, вся оиа, как и твой сыиок, разбежалась по окружеииям да по домам... а? А мы ждем.

Тарас сам об этом думал с тех пор, как Андрей пришел, но теперь иичего ие ответил Назару. Шли молча.

— Эй! Э! — закричал вдруг идущий в первом ряду старик Булыга.— Эй, полицай, ты ие той дорогой ведешь. Слышь-ка!

— Молчать! — рявкиул иа иего полицейский и погрозил ему автоматом.

Старики заволновались.

— Это куда ж нас ведут? — забеспокоился Назар.— Уж не в тюрьму ли?

— Все одно! — отозвался Тарас.

— Да нет... Все-таки...

— Если на расстрел,— вдруг сказал литейщик Омельченко Захар Иваныч,— так я спасибо скажу. Все равно не дожить нам до светлого дня. А чем так жить...— он махнул рукой.

Но привели их не в тюрьму, не на расстрел, а на ремонтный заводик. Это был маленький, почти кустарный заводишко, его при эвакуации и не разрушали. Сейчас из его единственной трубы поднимался бледно-желтый дымок.

Полицейский ушел куда-то, недоумевающие старики остались одни. Из цеха вдруг выбежал к ним какой-то человек в немецкой спецовке, в котором Тарас по виду признал русского мастерового.

— А-а! — радостно закричал мастеровой, увидев стариков.— Смена прибымши...

— Постой! — строго остановил его старик Булыга.— Ты кто здесь?

— Я-то? — засмеялся человек.— Я мастер тут.

— Мастер! — пробурчал Тарас.— Сукин ты сын, а не мастер... Иуда!

— Постой! — опять властно прервал Булыга.— А нас сюда зачем?

— Догадываюсь: за тем же... Мастера?

— Ну, мастера, допустим.

— Ну вот! Догадываюсь так: работать будете! Работа срочная есть...

— Мы работать не будем! — сказал Назар.

— Будете! Заставят! Военный заказ! Тут разговоры короткие,— вздохнул мастер в немецкой спецовке.— Видите ли, пригнали откуда-то пропасть битых танков...

— Немецких?

— Конечно! Чьих же? То есть такую пропасть! Я и целых у немцев столько не видал. Ну, а своих рук у них, видно, не хватает. Которые танки поменьше побиты, те, конечно, в своих мастерских ладят. А эти — ну одно произведение искусства, честное слово, так побиты! Стало быть, их нам в ремонт...

— Постой, постой! — прервал его удивленный Тарас.— Битые танки! Кем же битые?

— Ну, не могу сказать, кем,— засмеялся здешний мас-

тер.— Догадываюсь, конечно: мастерами биты! Ну, теми, с кем война идет! — Он оглянулся по сторонам.— Ну, как сказать? Противником.

Из цеха к старикам торопливо вышел важный и толстый немец в пенсне и в военной форме.

— А! — весело крикнул он.— Карашо! Вы есть русский майстера? О! Да! Здравствуйт, русский майстера!

Старики негромко прогудели:

— Здравствуйте!

— Будем знакомы! — сказал веселый немец.— Я здесь инженер. Вы есть русский майстера. Очень карашо! И есть один работ... О! Великий работ! Надо ремонтирт танки... Скоро! Как это? А, да — срочно! Две недели! Нет — расстрел.

— Надо работу поглядеть,— негромко сказал Тарас.

— Что? А? Это есть справедливо! Майстер должен видеть работ.— Инженеру нравилось, что он умеет хорошо говорить по-русски с русскими мастерами.— Вы увидаль работ. Битте!

Стариков ввели в цех. Они увидели длинный ряд переломанных, покореженных, побитых немецких машин. Это были уже не те танки, что пугали их на городских площадях. Это было беспомощное, бессильное, мертвое железо.

— Дас ист есть,— торжественно сказал веселый инженер.— Как это? Могучественный немецкий техника. Он есть сейчас больной. Мы с вами есть доктора. А? — засмеялся он своей шутке.

— Аккуратная работа! — восхищенно сказал Тарас, разглядывая пробоины в броне.— Ничего не скажешь! Чисто! Это где их так, сердешных? Под Сталинградом?

— Не ваше дел! — крикнул инженер, и его лицо стало багровым.— Молчайт! Молчайт! Молчайт!

— Я молчу,— пожал плечами Тарас.

— Молчайт! — еще раз, но уже тише крикнул инженер. Он вспомнил, что умеет говорить по-русски с русскими мастерами, и сказал уже спокойно:

— Эти танки должны скоро идти в бой. Нет — расстрел.

— Мы эту работу сделать не можем,— негромко сказал старик Булыга.

— Вас? — закричал инженер.— Что? Как это... не можем?

— Не можем мы! — прогудели теперь все.

Немец остолбенело поглядел на них. Он не ждал отказа. Он даже пенсне снял и зачем-то повертел в руках.

Вдруг он понимающе улыбнулся:

— А, да-да! Я понимай... Это есть справедливо. Майстер должен кушайт... Вы,— он ткнул пальцем в худого Булыгу,— вы есть скелет... Я буду кормить майстера. Это есть справедливо...— Он два слова выговаривал особенно вкусно: «справедливо» и «расстрел».

— Нет,— усмехнулся Булыга,— нас уже не накормишь... Сыты!..

— Мы эту работу сделать не можем,— твердо сказал Тарас,— мы не мастера.

— Как не майстера? — удивленно закричал инженер.

— Мы черные рабочие.

— Как черный рабочий? — завопил немец.— Мне сказаль: майстера! — Он оглянулся на мастера в немецкой спецовке, но тот, страшно побледнев и вспотев, отвернулся.

— Не мастера мы! — умильно сказал Назар, глядя прямо в глаза немцу.— Самоучки... Невежество... Черные рабочие... И потом, возьмите в рассуждение, господин,— какие мы работники теперь? Старики! Шкелеты! И кормить нас уж ни к чему, только корму перевод... Так и живем, повестки ждем от смерти. Увольте нас. Какие мы мастера.

Немец растерянно выслушал его, обвел взглядом всех:

— Все черный рабочий? — спросил он.

— Все! — хором подтвердили старики.

Немец посмотрел на них недоверчиво и даже обиженно.

— Я буду карашо кормиль! — нерешительно сказал он.

Мастера не шелохнулись. Они по-прежнему стояли молча и покорно, склонив головы и не покорясь ни в чем,— и это больше, чем их слова, убедило немца в том, что эти работать не будут.

— Марш! — исступленно закричал он тогда и замахнулся рукой, словно хотел ударить. Потом круто повернулся и ушел к себе.

Старики продолжали неподвижно стоять на месте.

— Что ж мне теперь делать с вами? — рассердился полицейский.— Ну до чего ж вы, старики, вредные, скажу я вам! И помереть никак не помрете! Куда мне вас теперь вести? — Он подумал и махнул рукой: — Ладно, идите пока по домам. А я господину коменданту доложу о вас, нехай распорядится. Расстрелять вас всех надо, другого выхода нет.

— Спасибо за доброе слово, господин полицейский! — кротко поклонился Булыга.

Уже у заводских ворот Тараса нагнал мастер в немецкой спецовке. Он был бледен.

— Извините меня,— прошептал он, хватая Тараса за рукав.— Уж вы извините меня за мою малую душу. Не сумел я отказаться от этого ремонта, да и не подумал. А теперь уж поздно... Только вы хоть то поимейте в виду,— торопливо прибавил он,— что я вас сейчас не выдал. Учтите хоть это!.. Ведь я же знаю, какие вы мастера.

— Я не поп и не судья,— непримиримо покачал головой Тарас.— Каждый человек живет по своей совести.

Дома Тарас застал только Андрея, женщин не было.

— Тебя-то мне и надо! — сказал Тарас сыну.— Садись.

Тот сел.

— Ты, Андрей,— начал Тарас,— хоть какой-никакой, а все-таки человек военный... Так?

— Ну, так...— ответил сын и тоскливо подумал: «Долго он надо мной издеваться будет? Иль это теперь навсегда?»

— Не вояка, конечно, об этом говорить не будем,— продолжал Тарас,— а все-таки кое-чему тебя учили? Так?

— Ну, так.

— Вот ты мне и скажи: с какого расстояния надо гранату кинуть так, чтобы танк разворотить?

— А вам зачем? — усмехнулся Андрей.— Кидать гранаты собрались?

— А может, и собрался! Был бы помоложе — кидал бы. В плен не сдавался б, будь спокоен.

— С пяти, с десяти метров вернее всего...— зло ответил Андрей.

— Так близко? — удивился Тарас.— Это что ж — значит, жди, пока на тебя танк наползет? Так, что ли?

— Ну, почти так...

— Большая смелость для такого подвига нужна. Тут надо душу иметь железную!

— Д-да... Разумеется...

— И что же,— спросил Тарас,— находятся такие смелые люди, а?

— Есть, конечно... Да вам-то что? — насторожился сын.

— Да-а... Есть...— вздохнул старик.— Счастливые те отцы, у которых такие дети! Ну, ладно! Теперь другой вопрос: а броня? Броню танка гранатой ведь не возьмешь? Выходит, тут пушкой надо брать? А?

— Ну, пушкой...

— И не всякой пушкой, заметь! Тяжелый танк легкой пушкой не возьмешь?

— Конечно.

— Значит, должны тяжелые пушки, мощные быть? Так?

— Ну, так...

— Выходит, и пушки есть. Значит, есть! Есть! — торжествующе крикнул старик и ударил ладонью по столу.— Есть, чертов ты сын, наша армия! А я из-за тебя чуть веры не лишился!

— Послушайте! — в бешенстве вскочил Андрей.

— Нет! — оборвал его отец.— Теперь ты меня слушай. Мой приказ.— Он встал из-за стола перед Андреем, грозя ему черным узловатым пальцем.— Под Сталинградом или в другом месте, про то не ведаю, набито много немецких танков. Немцы сюда их привезли. Чинить. Подлых рук ищут. Так вот тебе мой последний сказ, Андрей. Ты что хочешь с собой можешь делать, хоть в полицию иди служить. Мне до тебя дела нет! Я тебя из своей души вырубил. Но на завод... Слышишь? На завод...— он остановился, захлебнувшись кашлем.

Бледный Андрей молча стоял перед отцом.

— Я тебя мальчонкой,— продолжал Тарас,— на завод привел и к своему верстаку поставил. Я тебе, чертов ты сын, свой напильник дал и показал, как его держать в руках надобно. И объяснил я тебе, чертов ты сын, какой напильник к чему — какой драчевый, какой личной, какой бархатный. Так? И если ты, сукин сын, теперь отцовским напильником посмеешь... посмеешь... Я тебя сам, своими руками! А в остальном,— устало махнул он рукою,— живи как сам знаешь. Что хочешь делай!

3

— Что хочешь делай! — сказал ему отец, а Андрей и не знал, что ему с собой делать.

Сам лишенный всех человеческих прав, он не мог быть семье ни заступником, ни кормильцем. Он был лишний рот, ничего больше.

Его жизнь теперь не имела ни смысла, ни оправдания, ни даже цели. Зачем ты живешь на земле, Андрей? На это ему ответить было нечего.

Даже в плену у него была цель жизни: выбраться, вырваться из-за колючей проволоки. Ну, выбрался! Живя у Лукерьи, он лелеял новую цель: добраться, во что бы то ни стало добраться до семьи! Ну, добрался! И повис на шее

семьи тяжелым грузом... Дальше что? Ои не зиал, что дальше...

Отец его, Тарас, жил и терпел муки и берег семью ради того, чтоб дождаться прихода иаших. Ждать, ни в чем не покоряясь врагу,— вот ради чего жил, стиснув зубы, старый Тарас.

Аидрей ие имел права ждать. Ждать, пока тебя — здорового человека воеииого возраста — придут и освободят? С какими же глазами ты к освободителям выйдешь?

Но и ждать было невыиосимо: голод повис над семьей. Андрей голову ломал над тем, как беде помочь, ио придумать иичего ие мог. Идти иа работу? Куда? Да и работа иа врага не кормит, а сушит. Не в полицию же идти служить, в самом деле.

Полицейские пронюхали про возвращеиие Андрея. Долго вертели его бумаги в руках. Придирались. Требовали, чтоб стал иа учет, определился на место. Андрей отговаривался болезиью. Потребовали справку от врача, но иамекнули, что можио обойтись и «по-хорошему»— взяткой. Но взятку давать было не из чего. Андрей отдал полицейскому зажигалку, которую от нечего делать смастерил для себя. Полицейский взял.

«К Лукерье в деревию пойти, что ли, добыть хлеба для семьи?»— подумал как-то Андрей и долго потом иосился с этой мыслью. Но жене побоялся сказать. Ни слова ие проронила тогда Антонина в ответ иа его призиаиие и потом не обмолвилась ни разу, но Андрей чувствовал: касаться этого не надо, нельзя.

Лукерья Павловна сама пришла в дом Тараса. Неожиданио. В полдеиь, когда дома были только бабка Евфросииья да Антонина.

Робко отворила калитку.

— Что, Андрей Тарасович Яцеико здесь проживает? — конфузясь, спросила она у Антоиины.

— Д-да...— удивленно отозвалась та и стала разглядывать незиакомую гостью: ее деревенский иаряд, узелок в руках.

— А его видеть... можно?

— Его дома нет. Но он скоро будет. Вы подождите.

— А вы кто же будете?..— опасливо спросила жеищина.— Жена?

Что-то в ее голосе заставило Аитонину ответить:

— Н-нет... Сестра.

— А! — обрадовалась женщина и облегчеиио вздохну-

ла.— Значит, дошел он? Живой? — И она радостно засмеялась.

Они всё еще стояли у калитки.

— Вы Лукерья Павловна? — тихо спросила Антонина и вдруг почувствовала, что все лицо ее заливается краской.

— Да! — удивленно ответила гостья.— А что, вам про меня рассказывал Андрей Тарасович?

— Да... Рассказывал...— не глядя на нее и комкая край фартука, сказала Антонина.— Да вы что же стоите здесь? — встрепенулась она вдруг.— Вы проходите, проходите в комнаты...

— Нет, ничего. Вы не беспокойтесь! Вы не беспокойтесь! Я и тут подожду. Значит, живой? — снова повторила она и опять радостно вздохнула.

Антонина ввела ее в комнату, усадила за стол. Лукерья Павловна осторожно повела взглядом вокруг.

— А где же жена?..— спросила она, с трудом произнося слова.— Что, нашел жену Андрей Тарасович?

— Н-нет...— запинаясь, ответила Антонина.— Жены у него нет.

— Как нет? Он сказывал, жена есть.

— Д-да... Но она уехала... Эвакуировалась. Пропала без вести... Так и нет вестей...

— А! — покачала головой Лукерья.— А уж он убивался по ним как, по жене да по девочке! Он ведь знаете какой? — застенчиво улыбнулась она.— Он ведь нервный да нравный...

— Да, знаю...

— Значит, живой! — в третий раз повторила она и опять тихо, счастливо улыбнулась.

В это время и вошел Андрей. Увидев Лукерью рядом с женой, он испуганно отшатнулся. Потом подошел... Лукерья радостно поднялась ему навстречу, краснея и прижимая руки к горлу, но вдруг, случайно взглянув на Антонину, остановилась. Что-то — она и сама не знала что — заставило ее догадаться, что Антонина не сестра Андрею... Она опустилась на стул, оробела и вся сжалась в комочек.

— Вы уж извините...— сказала она, болезненно улыбаясь.— Конечно, каждой бабе своего счастья хочется... хоть приблизительно...

— Ничего,— грустно вздохнув, отозвалась Антонина.— Горе у нас общее.

«Нехорошо как вышло! — подумал Андрей, садясь.—

Очень нехорошо! Некрасиво! А кто виноват? Я ли один, или уж время такое... лихолетье, война?»

Неожиданно пришел Тарас. Ему, видимо, бабка уже сказала о гостье. Он шагнул прямо к ней и низко-низко ей поклонился.

— Спасибо тебе, женщина! — сказал он, и голос его дрогиул.— За душу твою спасибо. За твое человечество. Только не того ты человека спасла. Не стоит этот человек того...— Он презрительно взглянул на сына и вышел.

Всем стало еще более неловко.

— Сердитый у нас дед...— извиняясь, сказала Антониа.— Принципиальный... Вы уж не взыщите. Такой...

— Нет, я ничего... Ничего...— торопливо сказала Лукерья.— Я что же? Я ведь только поглядеть зашла, убедиться: живой ли. А теперь я пойду,— заторопилась она.

— Куда же вы? — испугалась Антонина.— Оставайтесь у нас. Переночуйте. Погостите. Как же так? Так нельзя,— и она оглянулась на мужа. Тот стоял молча, потупившись.

— Нет, нет, спасибо, спасибо, не беспокойтесь...— засуетилась Лукерья.— Я тут у сродственницы.— Она встала и хотела уйти, но не знала, что делать ей с узелком, который все время лежал у нее на коленях.— Извините,— нерешительно сказала она, подымая узелок,— это я... в подарок,— она посмотрела на Андрея, потом на Антонину и протянула узелок ей.

— Нет, иет, не надо, что вы! — отшатнулась та и замахала иа нее руками.

— Не обижайте! — тихо проговорила Лукерья.

Аидрей пошел провожать ее. Антонина молча смотрела с крыльца, как шли оии рядом. Она вздохнула и опустилась иа ступеньки...

— Какая женщина хорошая! — умильно сказала бабка Евфросинья, развязывая узелок.— Вот подумала про нас. Гостинчик припасла. А семье — все поддержка.

Тарас услышал это и выбежал из своей комнаты, багровый от стыда.

— Догони! — закричал он сердито.— Отдай! Что же, мы иищими уже стали? Милостыню берем? — Но тут он увидел Марийку: девочка бескорыстно счастливыми глазами, как на чудо, смотрела на яйца. Тарас махнул рукой и вышел во двор.

«Нищие! Хуже нищих!»— подумал он и, покачав головой, оглядел дом и хозяйство. Все покосилось... Сарай, как старик, сгорбился, дом еле дышит... иадо бы чинить, да где

уж!.. «Человека тоска ест, металл — ржа, а дерево — черви. Так уж заведено. Все прахом пошло. Впору для всей фамилии гробы готовить. Да и на гробы,— горько усмехнулся он,— леса нет. Только и есть всего три сосновых доски в хозяйстве».

4

Три сосновых доски... Из них даже гроба не сделаешь! Но Тарас и не собирался сколачивать гроб для себя. Он еще не хотел умирать, он еще не лишился веры.

Из сосновых досок он сколотил ящик. Приделал к нему колесо. Прибил ручки. Получилась тачка.

Бабка Евфросинья тревожно следила за работой мужа.

— Идти собрался, Тарас?

Он не ответил.

— Может, обойдемся? — нерешительно сказала она.

Он досадливо передернул плечами:

— Э! Пустые слова!

— Сам пойдешь?

— А кто же? Больше идти некому.

— Может, Андрей? — осторожно спросила она.

— Андрей до нас не касается! — хмуро отмахнулся старик.

Бабка Евфросинья грустно покачала седою головой.

— Не такие твои годы, чтоб идти, Тарас...— вздохнула она.

— Да,— криво усмехнулся Тарас.— Не такая мне старость причитается за мой труд на земле. Ну, да что толковать! Не умели свое право защитить, не сумели своих сынов воспитать — теперь обижаться не на кого.

Вечером бабка Евфросинья и Настя собирали Тараса в дальнюю дорогу. Вытаскивали из заветных сундуков платья, костюмы, белье, стряхивали нафталин, разглядывали вещи на свет: возьмут ли в деревне, что дадут за них? О каждой вещи, вытащенной из сундука, бабка Евфросинья могла бы рассказать целую историю: как откладывались из получки деньги, как долго совещались все женщины дома и как потом, всей семьей, шли покупать. Но об этом лучше было не вспоминать. Бабка Евфросинья и не вспоминала, а только вздыхала тайком от Тараса, складывая вещи в тачку.

Но один сундук она долго не хотела отпирать. Все обходила его и снова к нему возвращалась.

— Тут Настюшкино приданое,— сказала она наконец.

— Вот как! — удивилась Настя.— А у меня и приданое было?

— А как же? — обиделась мать.— Не хуже, чем у добрых людей.

— А я и не знала! — засмеялась Настя.— Ну, отпирайте, мама! Женихов все равно нет. Не идут женихи, задержались за Доном. Отпирайте!

Настюшкино приданое тоже пошло в тачку.

Ночью пекли Тарасу на дорогу лепешки из последней муки.

— Ты с рассветом пойдешь, Тарас? — осторожно спросила жена.

— А что? — насторожился Тарас. Он и сам думал выйти с рассветом.

— Днем, я думаю, некрасиво будет с тачкой пойти... Люди нашу бедность увидят.

— А мне стыдиться нечего! — закричал Тарас.

— Прежде ты бедности стеснялся...

— Прежде! — проворчал он.— Прежде тот беден был, кто работать не хотел. А теперь мне стыдиться нечего. Днем пойду! — закричал он в бешенстве.— В самый полдень. Пусть все мою тачку видят!

И он, простившись с семьей и даже не взглянув на Андрея, вышел из дому ровно в полдень.

Высоко подняв голову и раздув седые усы, пошел он, толкая тачку, через весь Каменный Брод, через весь город, по самым людным улицам. Знакомые молча глядели ему вслед.

А он шел, ни на кого не глядя. Торжественный и печальный, весь черный от горечи, сжигающей его.

Так прошел он через весь город и вышел на большую дорогу. У перекрестка он остановился, чтобы разогнуть спину. Но то, что он увидел на дороге, заставило его обо всем забыть.

Тачки, тачки, тачки — насколько хватало глаз, одни тачки да спины, согбенные над ними. Спины и тачки — больше ничего не было, словно то была дорога каторжников. Скрипя и дребезжа, катились тачки по камням и тащили за собой людей, измученных, потных, черных от пыли. Казалось, это не люди идут, а сами тачки с прикованными к ним человеческими руками.

Словно никогда не было на земле ни железных дорог, ни автомобилей, ни пара, ни электричества и человек еще не

приручил лошадь; словно никогда не было на земле магазинов и люди всегда брели за хлебом туда, где его сеют, словно никогда ничего не было на земле — только тачки, да горбатые спины, да пыльная дорога впереди...

Подле тачек устало и безнадежно брели люди. Старики и женщины. Шли семьями. Муж и жена по очереди толкали тачку. Восьмилетняя девочка несла на руках маленького брата и прижимала его к себе бережно и любовно, как мать. В тачке сидел малыш и навзрыд плакал, раздирая пальцами опухшие от пыли глаза. Ничего уже не было на земле у этой семьи — ни родного города, ни дома, ни своей крыши.

Для них не было ни высокого неба, ни крылатых облаков на нем, ни зеленых верхушек деревьев. Клочок пыльной дороги впереди — вот и все. И они проклинали дорогу. Они ощущали солнце только затылком, немилосердное, злое солнце,— и они проклинали солнце. Их плечи дрожали и ежились под внезапными дождями — и они проклинали дожди. Их окровавленные, стертые руки уже не могли толкать тачку — и они проклинали руки. Но того, кто был единственным виновником их горя, нельзя было проклинать вслух. И они, измученные дорогой и тачкой, проклинали Гитлера каждым вздохом усталой груди, каждым плевком обметанного зноем и пылью рта, каждым стоном ребенка.

Тарас стоял на перекрестке и растерянно глядел на дорогу: «Боже ты мой! Боже ты мой!»— повторял он, качая головой. Он и не представлял себе раньше размеров народного бедствия. «Боже мой! Боже ты мой!» И пред этим океаном народного горя свое горе показалось ему маленьким, ничтожным.

И как ручеек, откуда бы он ни бежал, в конце концов всегда вливается в море, так и старый Тарас влился в океан народного горя — и растворился в нем...

Человеческий поток принял его, закрутил, согнул над тачкой и понес. Теперь и у него была только тачка да клочок дороги впереди. И для него уже не было ни неба, ни леса. Весь народ шел, прикованный к тачке, шел и старый Тарас.

Через несколько часов он почувствовал, что устал. Поясница нестерпимо ныла, руки, натертые деревом, горели. «Не привык еще»,— усмехнулся Тарас и свернул с дороги. В канаве отдыхали люди. Какой-то юркий седоватый человек с веселыми глазами тотчас же спросил Тараса:

— Откуда?

Тарас сказал.

— Куда же вы идете? — удивленно всплеснул руками юркий человек.

— Как куда? — пожал плечами Тарас.— На Днепропетровщину...

— А зачем?

Тараса рассердил этот вопрос, он не ответил.

— Если вы идете туда за хлебом,— торопливо сказал юркий,— так я вас не понимаю! Я сам из города Днепропетровска. Честь имею, Петушков, Яков Иванович, парикмахер. Если бывали в нашем городе, то обязательно брились у меня. Знаете, парикмахерская Красного Креста на...

— Нет, не бывал!

— Да? Жаль! И вы идете в Днепропетровск? — всплеснул руками парикмахер.— Я иду оттуда. Это нищая область.

Тарас недоверчиво пожал плечами.

— Вы мне не верите? — обиженно вскричал Петушков.— Вы сомневаетесь, как такая область могла стать нищей? Так я вам скажу! — Но тут он вдруг спохватился и опасливо поглядел по сторонам.— Нет, я вам ничего не скажу! Идите! Идите!

— Ваш город давно... э... под властью... э... фюрера? — послышался вдруг голос из кювета, и оттуда приподнялся пожилой человек в пенсне.

— Наш? — переспросил Тарас.— Четыре месяца.

— А-а! — загадочно усмехнулся человек в пенсне.— А мы уже ровно год...

Тарас понял и опустился рядом со своей тачкой. Человек в пенсне и парикмахер сочувственно смотрели на него.

— А вы куда идете? — спросил он глухо.

— К Дону,— ответил парикмахер.— Там еще должен быть рай...

— Рай! Э...— усмехнулся человек в пенсне.— Мне достаточно и полного амбара.

— Рай! — закричал яростно Петушков.— Мне для моего продукта обязательно нужен рай! На меньшем не помирюсь.

Тарасу было все равно, куда идти — к Днепру ли, к Дону. Он вытащил тачку на дорогу и, подумав немного, зашагал на восток. Теперь солнце было у него на затылке. Впереди маячила верткая спина парикмахера, сзади тяжело дышал, сопел и кашлял человек в пенсне, которого звали Петром Петровичем.

Вечер застал их в поле за Донцом.

— Здесь ночевать будем? — спросил парикмахер.

— Надо бы в село...— нерешительно сказал Тарас.

— В село? Э, нет. Туда нашему брату... э... бродяге, на ночь хода нет... Запрет.

— Чей?

— Чей же? Их!

— Партизанов боятся...— шепотом произнес парикмахер и тихо засмеялся.

На поле уже кое-где дымились костры тачечников, и, завидев их мирный дымок, с дороги стали сворачивать люди. Выбирали себе место на поле, ставили тачку и валились подле нее без сил.

Поле давно было вытоптано. В то жестокое лето через него не раз перекатывались армии и народы. Повсюду были видны следы боев и следы кочевий: сожженная трава, расщепленные деревья, окопы, воронки, пепел, черные остатки костров...

Прокатились через это поле беженцы и рассеялись по лицу земли. Только трупы павших лошадей у дороги остались да следы повозок, глубокие и горькие, как морщины.

Прошли по этому полю армии, истоптали его, борясь, похоронили покойников, подобрали раненых и прошли дальше, поля этого не запомнив. Только раненые помнят: их кровь на этой черной траве...

И вот раскинулся здесь теперь диковинный лагерь тачечников. Баба, сняв с себя ситцевую кофточку, стирает ее в воронке. Вода ржавая. Говорят, от глинистой почвы. А может, и от крови? Дети спят в окопах. На остатках старых костров раздуваются новые. И уже ползет к небу горький сиротский дым... Догорает закат невиданный, багрово-черный, словно впитал всю кровь и все горе земли, пламя ее битв и дым ее костров. А с дороги приходят все новые и новые толпы людей с тачками. Уже тесно на поле. Уже спят люди в кюветах. Жмутся один к другому. Из Харькова, из Полтавы, из Донбасса, из Запорожья. Артемовцы с мешком соли на тачке, кременчугцы с краденным на фабрике табаком, рубежане с банками краски. Словно все города Украины сбились на этом поле. Словно весь народ пошел кочевать за тачкой, искать хлеба. Хлеба!

«Украина ты моя! Украина! — горько покачал головой Тарас.— Бедолаги мы с тобой!»

Меж тем парикмахер раздул костер и теперь, любуясь,

глядел, как кучерявится и завивается пламя, словно то была лучшая прическа его работы.

Со всех сторон к огню потянулись руки. Человек в клетчатом пальто и мягкой шляпе, сидевший в стороне, тоже невольно потянулся к огню, но не подвинулся, не подошел.

— А вы, гражданин, откуда идете? — любезно крикнул ему общительный парикмахер, как бы приглашая к огню и к беседе.

— Простите... гм...— глухо отозвался человек в мягкой шляпе.— Я на улице... гм... не разговариваю,— и уткнул лицо в воротник пальто.

— Интеллигент,— обиженно сказал Тарасу Петушков.— Интеллигент с высшим образованием! А коли ты интеллигент,— крикнул он яростно,— так сиди дома, нечего на дорогу выходить.

— Простите... гм...— произнес человек в шляпе,— я вижу, вы не поняли... Я — певец... Гм... Я должен горло беречь... Здесь сыро...

Петушков расхохотался:

— Ну, голос надо было дома беречь!

— Мне выбирать не приходится,— кротко возразил актер.

— Да, выбирать не приходится,— вздохнул Петр Петрович.— Если б мне два года назад приснился сон, что я, пожилой человек, бухгалтер Востриков, стану... э... бродягой,— я подумал бы: экой дурной сон! А вот... э... сбылся. Да вы подсаживайтесь, подсаживайтесь! — крикнул он актеру.— Огонь бесплатно!

— Благодарствуйте,— ответил тот, приподнимая шляпу, и пересел ближе к огню.

— Что ж это вы так? — усмехаясь, спросил Тарас.— Говорят, немцы артистов любят.

— Какая компания! — восхищенно воскликнул парикмахер.— Какое общество собралось у нашего огонька! А, Петр Петрович? И в хорошее время не каждый день соберешь такое общество.

— Да...— мечтательно крякнул бухгалтер,— к этому обществу да графинчик... с лимонной корочкой.

— С апельсинной...— коротко вставил актер.

— Зачем же с апельсинной? Общепринято с лимонной. От дедов.

— Апельсины мягче. Иначе не могу... Простите... гм... голос.

Парикмахер подбросил веток в костер. Сырые, они корчились в огне, как клубок змей, и шипели.

— Яичница с помидорами,— сказал парикмахер,— вот мое любимое блюдо, если угодно знать.

Ему никто не ответил. Он снова подбросил веток в огонь.

— А этот бурак можно варить,— послышался вдруг робкий женский голос.

— Что? — обернулся парикмахер.

Бочком к огню, положив голову на свою тачку, сидела женщина. Она повторила:

— Я говорю... вот бурак на поле... его можно варить.

— Позвольте,— всполошился актер,— но это кормовой бурак. Это корм свиньям...

— Э, батенька! — возразил бухгалтер.— Чем же люди хуже свиней? Ведь мы свинину едим?

— Ели,— поправил Тарас.

— Ну, ели! Значит...

— Только люди уж, видно, весь бурак повытаскали,— грустно сказала женщина.

— А вот мы поищем! — воскликнул парикмахер и ринулся в поле.

Он скоро вернулся, потный и всклокоченный.

— Да...— сказал он, выкладывая перед женщиной все, что собрал.— Из-за бурака и то драка. Зверь стал народ.

— Голод...

— А в чем же варить? — спросила женщина.

— Да, в чем же варить? Я и не подумал.— Парикмахер беспомощно огляделся вокруг себя. Было темно, но от костров падали наземь огненные пятна.— Э! Вот! — Он наклонился и поднял что-то с земли.— Каска! — Он подал ее женщине.— Вари в ней.

Женщина повертела каску и вдруг всхлипнула.

— Что вы? — всполошились все.

— Пробитая...— она показала каску, и все увидели черную дырочку в звезде.

У костра стало тихо.

— Я другую найду! — нервно усмехнулся парикмахер и начал шарить руками в траве.

Скоро бурак сварился. Тарас достал пол-лепешки, остальные — что у кого было.

— Смотрите! — удивленно сказал парикмахер.— Вкусный бурак!

— Голод — лучший кулинар. Э-это известно...— засмеялся Петр Петрович.

— Я не возражаю против голода! — вдруг взволнованно сказал актер.— Артист должен быть немного голодным — иначе поет желудок, а должна петь душа. Но я не могу, когда люди жрут! — закричал он.— Чавкают! Я служил в харьковской опере... Хорошо, пусть немцы. Я знаю немцев. У них был Вагнер. Но это... это — не немцы! Нет! Не спорьте со мной! Они заставляли меня петь у них на ужинах... и чавкали... и кричали: «К черту Вагнера!» И требовали от меня песенок, которые поются у них в борделях,— он вдруг остановился, взялся рукою за горло и зябко повел плечами.— Простите... гм... я не должен волноваться. Голос. Должен беречь. Я еще надеюсь спеть Вагнера... Один раз в жизни... Когда...— он не докончил, но все поняли и вздохнули.

— Вам сырые яйца надо глотать...— сочувственно сказал парикмахер.— Каждый день сырые яйца... Я близкий к искусству человек, я понимаю...

— Да, это хорошо... яйца...— расслабленно произнес актер.

— Мы найдем богатое село! — вдохновенно продолжал парикмахер.— Мы найдем такое место, где еще есть яйца!.. И амбары, полные хлеба!.. И нас встретят как желанных гостей... и....

— Нет таких сел, Яков Иваныч,— покачал головой бухгалтер.

— Есть! — закричал Петушков.— Должны быть! Для моего продукта мне нужно село богатое, неразоренное, веселое...

— А что у вас за продукт? — спросил Тарас.

— О! У меня продукт психологический! — уклончиво ответил парикмахер.

— Восемьдесят четыре картошки и сто семнадцать ложечек муки,— вдруг тихо прошептала женщина.

— Что? — встрепенулись все и оглянулись на нее. Женщина смутилась. Она не заметила, что произнесла это вслух.

— Нет, позвольте! — пристал к ней неугомонный Петушков.— Вы сказали что-то про картошку?

И он выпытал всю ее историю. У женщины — ее звали Матреной — на шахте остались две девочки. Старшенькой — десять, меньшенькой — пять лет. Она оставила им немного муки и картошки, по счету. И приказала брать в день три картофелины и класть в суп три ложечки муки. Старшенькая, Любаша, поклялась, что не потратит больше. Те-

перь у них осталось сто семнадцать ложечек муки и восемьдесят четыре картошки.

— А я еще и полпути не прошла,— вздохнула шахтерка.

— Да, и нас дома ждут голодные...— глухо сказал бухгалтер.— Сколько уж мы ходим, Яков Иваныч, с тобой...

— Так ведь не с пустыми руками ждут, с хлебом. Что мы им без хлеба? Надо найти село богатое, неразоренное, чтоб обменяли мы свое барахло с пользой...

— Где же такое село найти? — вздохнул бухгалтер.— И найдем ли?

— Найдем! — уверенно ответил парикмахер.

— Ну-ну!

И, переночевав подле тлеющего костра, они с рассветом все вместе отправились искать землю неразоренную...

5

Поиски земли неразоренной... Никогда Тарас и помыслить не мог, что наша земля так велика и бескрайна, что столько на ней сел и станиц, хуторов в коричневом вишенье, одиноких лесных избушек, столько дорог. И широкие, как бульвары, грейдерные, с акациями в два ряда; и старые, травой заросшие чумацкие шляхи; и новенькие, строгой профилировки, с кюветами, полными воды; и горбатые проселки с навеки окаменевшими колеями в грязи; и веселые, опушенные золотою соломою, как казацкими лампасами, полевые дорожки; и бойкие, в рытвинах и ухабах, большаки, непроезжие в грязь; и робкие, путаные степные тропки; и, как стрела тугие, прямые просеки в лесу... Много дорог. По всем по ним прошли Тарас и его товарищи, а все еще не нашли земли неразоренной.

Неунывающий Петушков вел их и все сулил счастливую землю впереди. Но не было этой земли на горизонте. Горели села, мычали угоняемые немцами стада, плакали бабы, качались у дорог повешенные, их синие босые ноги не доставали травы.

И часто теперь к костру тачечников приходили искать пристанища бабы с детьми из сожженных сел.

— Пустите погреться, люди добрые! Ничего у нас нема. Нема хаты, нема добра. Одна душа осталась.

— Шестьдесят шесть картошек и девяносто девять ложечек муки...— шептала Матрена, глядя на детей погорельцев.

Петушков теперь то и дело расспрашивал встречных тачечников про края, из которых они идут.

— Ну, как там, а? Меняют?..

— Да, меняют...— неохотно отвечали люди.— Христа ради меняют... У самих ничего нет...

— То есть как нет? — удивлялся Петушков.— Куда же делось?

— Куда, куда! Известно, куда девается...— и исчезали в дорожной пыли, безнадежно махнув рукой.

После таких разговоров было еще труднее идти и верить, что есть на свете земля неразоренная.

— Нет ее, нет! — твердил Петр Петрович, но шел, как и все...

— Должна быть! — кричал парикмахер.— Не могут же фашисты такую жирную землю обглодать, как косточку...

— Фашисты всё могут! — качал головой Тарас.

— Шестьдесят картошек и девяносто три ложечки муки,— шептала, вздыхая, Матрена.

Дымил костер... Тлели старые, палые листья. И не было земли неразоренной.

Тарас почернел от пыли, похудел, стал совсем молчаливым. Чем больше чужого горя видел он вокруг, тем меньшим казалось свое. Ему было все равно, куда идти. Ему было все равно, что есть — бураки, лесную ягоду, грибы, кору с деревьев. Спина его сгорбилась над тачкой, кровавые мозоли на руках отвердели. Он шел за одержимым мечтою Петушковым и сам не знал, верит ли он, что есть земля неразоренная, или уже не верит...

По ночам у костров Петушков вдохновенно рассказывал о жирной, нетронутой земле, что ждет их впереди. Тарас молчал, бухгалтер спорил. Актер сам загорался мечтой.

— Да, да!..— говорил он.— Это прекрасно! — и с тревогой заглядывал в глаза парикмахера.— Но дойдем ли, дойдем? — Его пальто истрепалось в дороге, к нему пристали репей да колючки, мягкая шляпа, в которой он спал, давно потеряла форму. Он был худой и старый человек, небритый, с большим кадыком: никто бы не узнал в нем знаменитого харьковского баритона.

— Дойдем! — убежденно отвечал парикмахер.— За Доном земля богатая.— И он принимался рассказывать об этой земле, и чем дольше не было сел на их пути, тем ярче и фантастичнее были его рассказы.

— Таких сел нет и никогда не было! — спорил с ним бухгалтер.

— Были,— защищал актер.— Мы давали концерт однажды, и я помню столы под вишнями... И горы душистого белого хлеба. Кувшины с молоком. Золотистый мед в прозрачных чашах... Яичница, как вечерний закат...

— Да, жили, жили! — вздыхал Тарас.

А Петр Петрович все никак не мог вспомнить, отчего он был раньше недоволен жизнью.

— Определенно помню,— недоумевал он,— был я недоволен. А чем, отчего — хоть убей, не вспомню.

И никак не мог вспомнить, из-за чего не ладил со своим директором.

— Я из-за него и не эвакуировался. Нет, говорю, не поеду! Мне лучше с немцами жить, чем с вами, директор. А из-за чего ссорились? Э... не помню. Определенно помню: хам он был, скотина. А теперь доведись встретиться... э... расцеловал бы его, хама! Честное слово, расцеловал бы!

— Да, жили, жили...

— Пятьдесят четыре картошки и восемьдесят семь ложечек муки...

А земли неразоренной все не было.

Они вошли уже в донские степи. «Теперь скоро, скоро!»— говорил Петушков. Он повеселел. Иногда, сгорбившись над тачкой, он свистел даже.

Они шли теперь по жирной, черной, доброй земле. По вечерам над нею поднимался такой густой и сытный пар, что Петушков уверял, будто его можно мазать на хлеб, как масло. Но у них не было хлеба. Они, как воробьи, питались падалицей. Вокруг них на сотнях верст осыпались и гнили пшеничные поля,— тачечники собирали и ели гнилые зерна. «Теперь скоро, скоро!»— уверял Петушков. Он положительно опьянел от запахов жирной земли, клевера и гречишного меда. Он во всем видел и угадывал приметы счастливой земли, как моряк в тумане моря угадывает приметы близкого берега.

— Вишь, какие станицы пошли! — говорил он.— Большие, хозяйственные...— И он показывал на останки колхозных дворов и тракторных станций, на веселые крыши под железом и черепицей, на теплые, крытые скотные дворы. Его смущало, правда, что не слышно тут ни рева стада, ни кудахтанья птицы.

— Дальше, дальше все будет! — убеждал он. И все теперь верили ему. Запах гречишного поля и гниющей пшеницы раздувал их жадные ноздри...

На донских дорогах наши тачечники столкнулись с пото-

ком из России. Появились люди из Курска, из Белгорода, из вороиежских городов. Россия встретилась с Украиной, поставили рядом тачки, сели, закурили цигарки из прошлогодней сухой травы, растертой тут же на кровавых от тачки ладонях.

— В большие стаиицы ие ходите,— советовали они друг другу,— там немецкие гариизоиы стоят... И достать иичего ие достаиете, да еще и последиее иемцы отымут.

— Да, уж после них ходить иечего... Аккуратио едят... Как саранча...

— Ну, как у вас? — расспрашивал Тарас людей из Курска.

Те только рукой отмахивались в ответ:

— Да как и у вас! Похвастаться иечем.

— Лютуют?

— Об этом уж ие будем говорить...

И Тарас задумался, толкая свою тачку: есть ли мера людскому горю, есть ли сроки?

— Сорок восемь картошек и восемьдесят одиа ложечка муки,— тревожио шептала Матреиа.— Боже ты мой, боже!..

А иеразоренной земли все ие было.

На другой деиь Петушков вывел их с большака на автомобильиую дорогу.

— Теперь скоро! — объявил ои, словио ему было, как пророку, даио видеть сквозь туманиые дали.— Теперь скоро!

Оии втащили свои тачки иа крепкий, сухой, укатаииый грунт грейдера, и первое, что там увидели, была распростертая жеищииа.

Оиа лежала у обочииы, подле своей тачки, лицом вииз, на запад...

— Мертвая! — удивлеиио сказал бухгалтер.

Они столпились иад ией, растеряииые и подавлеииые. Окочеиевшие руки жеищииы цепко впились в куль зериа... Мешок свалился с тачки и прорвался, из него высыпались наземь хлебиые зериа,— казалось, мертвые руки жеищииы пытаются собрать их и собрать ие могут.

— Не дошла!..— тихо прошептала Матреиа.

Осторожио, чтоб не задеть мертвую колесами, обошли тачечники труп и молча побрели дальше. И сиова была перед иими дорога, рыжая от пыли.

В эту иочь холодиый дождь заставил их спрятаться в скирдах сена. К трем мокрым скирдам сбилось миожество тачечииков. Оии облепили их жалким мушииым роем, за-

бились в сено, жались друг к другу, одинаково мокрые и дрожащие. Над скирдами стоял непрерывный кашель, хриплый, больной... Никто не мог уснуть. А дождь падал и падал... Начиналась пора осенних дождей, а все не было земли неразоренной...

И Петушков вдруг подумал: «А может, ее и нет вовсе? Одно мечтание?» Но сейчас же бросился к тачке: «Промокнет продукт!»— и лег на тачку всем телом. А бухгалтер Петр Петрович задыхался в кашле и думал: «Не дойду! Разве в мои годы бродяжат?» Он давился кашлем и сплевывал густую, склизкую мокроту. Всю ночь мерещилась Матрене мертвая женщина, как лежала она, царапая окоченевшими пальцами землю, и все пыталась собрать зерна, и не могла собрать... «А дома, поди, как и у меня, голодные рты ждут. Теперь и не дождутся». Актер громко откашливался: «Гм! Гм!» Он хотел убедиться, что есть еще у него голос. Он даже крикнул что-то хрипло, простуженно. А струйки все ползли по его телу. И всю ночь стояла перед Тарасом мертвая женщина. Стояла во весь рост, протянув к нему руки, как к судьбе. «Определи, Тарас, меру за мои муки!» И он отвечал ей: «Такой меры, женщина, нет».

Утром дождь кончился, взошло солнце, на редкость молодое и веселое. Петушков воспрянул духом.

— Я всю ночь не спал, думал,— торопливо сообщил он.— И знаете, я нашел, отчего нам не везет!

Все молча смотрели на него.

— Мы все бьемся около больших дорог. Ну, ясно, тут — немцы. После них нечего искать. А нам надо в глушь! — крикнул он.— В глушь! Куда нога не ступала!

Он говорил много и горячо, и ему опять поверили и пошли за ним.

Они ушли с большой дороги и стали пробиваться напрямик, к Дону. Петушков вел их. Одержимый лихорадкой мечты, сжигающей его яростным пламенем, он торопил их, злился, кричал: «В глушь! В глушь!»

И они ползли за ним, опухшие, больные,— спотыкались, падали, но ползли.

И вот однажды, в полдень, измученные тачечники вдруг услышали то, чего уж давно не слышали: кричали петухи.

— Слушайте! — ликующе завопил Петушков и, подняв над головой руку, замер.

Но все уж и без того услышали. И остановились. И тоже замерли, не веря тому, что слышат.

Кричали петухи. Кричали так звонко, так весело, так не-

истово, что на всех лицах невольно появилась теплая, застенчивая улыбка, и каждый вдруг вспомнил самое лучшее, самое счастливое, что было в его жизни: кто детство, кто свадьбу, кто первую удачу. Городские люди, они вспоминали каждый свое. Петушков стоял на цыпочках, замерев от восторга, на его лице были написаны счастье и гордость. Матрена сложила руки на груди, как перед молитвой. Актер снял шляпу. Так стояли они молча и благоговейно.

И вот из лесной чащи выплыла к ним счастливая земля. Старые седые волы медленно тащили возы и глядели на мир недоверчиво, исподлобья. И на возах вздыбились горы серебристой капусты; тугие, как бубны, арбузы, глухо гудели, ударяясь друг о друга; из огромных мешков выпирала грудастая картошка; помидоры сочились кровью; в клетках метались неистовые петухи, солидно крякали утки; розовые поросята с тупым удивлением взирали на мир; хмурые мужики длинной хворостиной сердито стегали волов; а подле возов медленно шагали немецкие солдаты и все жевали.

Обоз полз медленно и долго. Мимо тачечников всё плыли и плыли высокие возы, проплывали коровы с печальными, покорными глазами, бестарки с золотой пшеницей, хмурые мужики, бабы с заплаканными глазами, жующие немцы... Проплывали и исчезали вдали. Вот и последний воз скрылся в лесной чаще. Прошла, прошумела и растаяла счастливая земля. Актер медленно опустился на тачку и, уткнувшись в шляпу, заплакал.

— Как я их ненавижу! Как я их ненавижу! — сдавленным шепотом произнес Петушков и сжал кулаки.— Я их и бриты не мог. Щеки брею — ничего. А как дойдет до горла...

— Тридцать три картошки и шестьдесят шесть ложечек муки,— прошептала Матрена и заплакала.— Боже ж ты мой!

Больше никто ничего не сказал.

Матрена вдруг встала, вытерла рукавом глаза и низко поклонилась Петушкову, потом остальным.

— Спасибо вам, товарищи, за компанию, за доброту вашу. Низкое спасибо!

— Ты что? — испуганно спросил ее Петушков.

— Нельзя мне! — строго сказала Матрена.— Назад пойду. Мои последний запас едят.

— А... а хлеб как же? Что ж привезешь домой?

— Уж как есть. Обменяю где-нибудь или выпрошу заради Христа.

— Ну, иди! — тихо сказал Петушков и нерешительно

обвел глазами спутников.— А мы еще пойдем... немного...

Матрена взялась за тачку и вытащила ее на дорогу.

— Может, покойникам хлеб привезу...— сказала она,— а все идти надо.

— Прощай, Матрена! — негромко сказал Тарас.— Тебе надо дойти.

— Авось дойду! — вздохнула шахтерка.

Тачечники долго смотрели ей вслед. Вот она скрылась..

— Ну-с! — как можно веселее сказал парикмахер и вдруг увидел лицо актера. Тот сидел, закрыв глаза; дряблый подбородок его отвис и дрожал мелко и часто.

«А он не дойдет! — испуганно подумал парикмахер.— Он никуда не дойдет».

— Вам что, плохо? — сочувственно спросил он, осторожно трогая актера за плечо.

— А? Да... Извините... Ослаб! — сознался актер. Он попытался, как всегда, улыбнуться, но улыбка не вышла. Он виновато развел руками.— Вот ведь подлость какая! А? Извините...

Он извинялся за свою немощность, а Петушков вдруг в первый раз почувствовал свою вину перед ним и перед всеми. «Что же я тащу их, старых людей, неведомо куда? Может, и нет на свете неразоренных сел?»

«А какая хорошая мечта была! Красивая!»— пожалел он и, вздохнув, сказал:

— Ну что ж! Зайдем в ближнее село. Поглядим!

Ближнее село оказалось большой полупустой станицей. Много хат было заколочено досками, крест-накрест, еще больше стояло без крыш и дверей, словно лежали среди села трупы непогребенных.

Парикмахер выбрал хату побогаче и постучал в окошко. Выглянула женщина с добрым и больным лицом. Увидев тачечников, она грустно покачала головою.

— Войти можно? — вежливо спросил парикмахер.

— Та можно! — ответила женщина и отперла калитку.

Они вкатили свои тачки в широкий и пустой двор, весь усыпанный желтой листвой, как ковром.

— Ну вот! — весело сказал парикмахер.— Принимай купцов, хозяйка!

— Купцы пришли, а покупателей черт ма! — грустно ответила баба.

— Нет, ты товар погляди, товар! — закричал Петушков.— Ну, давайте! — и обернулся на актера. Тот обессиленно опустился на тачку.

— Что же вы? — шепотом спросил его парикмахер.— Давайте!

Актер только безнадежно махнул рукой в ответ.

— Ну, давайте тогда я... покажу ваше...— Петушков заглянул в тачку актера и вытащил оттуда узлы.

— Напрасно развязывать будете, беспокоиться,— сказала женщина.— Ничего у нас нет, извините.

— Нет, вы поглядите, поглядите! — не унимался Петушков и, развязав узел, широким жестом распахнул перед женщиной все богатство его. Тут были костюмы актера, добротные, щегольские, сразу вызывавшие в памяти всех то далекое, довоенное время, когда и они, тачечники, как люди, ходили в концерты, покупали обновки, обсуждали с портным покрой костюма, как судьбы мира.

— Богато ходили! Чисто! — почтительно сказала женщина и с уважением пощупала сукно костюма.

— Это мой концертный фрак. .— слабым голосом произнес актер и отвернулся.

— Вы знаете, кто это? — прошептал Петушков, наклоняясь к казачке.— Это артист! Его весь мир знает. Он сам эти костюмы носил. Ведь это только ценить надо.

— Сочувствую,— сказала женщина.— Всею душой сочувствую...— Она с грустью посмотрела на костюмы и опять пощупала сукно.— Только нет у нас ничего, поверьте! Все забрали...

Актер дрожал теперь, точно в ознобе. Он поднял воротник пальто и втянул плечи. Но его трясло и шатало от слабости, старости и голода. Подбородок теперь прыгал, и актер никак не мог совладать с ним.

Казачка испуганно посмотрела на него.

— Больны они? — спросила она шепотом.

Петушков только горько махнул рукой в ответ.

Женщина вдруг метнулась в хату и тотчас же вышла оттуда, неся каравай хлеба, кувшин и тарелку с тоненько нарезанными ломтиками сала. Она поставила все это перед актером. Тот испуганно отпрянул.

— Кушайте, будьте добры! — поклонилась ему казачка.— Не побрезгуйте. Корову взяли, так что только коза... уж извините...

— Нет, нет! — замахал на нее руками актер.— Я не могу даром... Что вы?

— А денег я не возьму...— тихо сказала казачка.

Петушков жадно взглянул на еду. Давно, давно не ели

они печеного хлеба. Он проглотил слюну и подошел к актеру.

— Ешьте! — убежденно сказал он.— Ничего! Ешьте!

На лице актера проступили багровые пятна.

— Но как же!..— прошептал он.— Я — артист... Меня знают... Я горд... Я не могу милостыню... Спасибо, но...

Он взглянул на женщину. Она стояла перед ним, низко опустив голову, и теребила руками фартук.

Актер медленно поднялся с тачки, снял шляпу, посмотрел куда-то вверх, в сизое холодное осеннее небо, прижал шляпу к груди — и вдруг запел. Из его горла вырвались слабые, хриплые, больные звуки, но он не заметил этого и продолжал петь. И Тарас с удивлением увидел, как на его глазах молодеет человек и голос начинает крепнуть, вот уже звенит металлом. А может, только показалось ему? Казачка благоговейно замерла на месте и, сложив на груди руки, смотрела прямо в лицо актера, не мигая. У плетня стали собираться соседи — мужчины и бабы. Протискивались во двор. Бабы уже плакали, дивчата вытирали глаза косынками, старики опустили головы на палки и сняли шапки... Актер все пел, протянув перед собой шляпу, арии и песни — все подряд. Он благодарил казачку. И не за вдовий хлеб ее — за добрую душу. Он всех благодарил своею песней. Всех, кто слушал его, старого, больного русского артиста, кто прощал ему простуженное горло и вместе с ним плакал над его песнями, как только русские люди умеют плакать...

Он кончил и обессиленно опустился на тачку. Все молчали. Только бабы все еще всхлипывали и вытирали глаза углами косынок.

Из толпы вдруг выступил старый дед и строго посмотрел на всех.

— Этот человек кто? — спросил он, ткнув пальцем в сторону актера. Потом укоризненно покачал головой.— Этот человек, граждане, артист. Вот кто этот человек. Не похвалит нас наша власть, если мы такого человека не сберегем. Так я говорю, га? — Он снова строго посмотрел на односельчан, потом обернулся к актеру: — Вы у нас оставайтесь, прошу я вас. Если сила есть, еще споете, а мы поплачем. А нет — живите так... Га?

— Живите! — сказала актеру хозяйка-казачка...

— Ну-с? — спросил Петр Петрович, когда, простившись с актером, тачечники вышли из села.— Ну-с, а мы? Может,

э... по дворам пойдем? А? С рукой протянутой? — Он посмотрел на Петушкова.

Парикмахер вдруг озлился.

— Мне что? — закричал он тонким, петушиным фальцетом.— Я из-за кого стараюсь? Мой продукт в любом селе бабы с руками оторвут. И, уж будьте уверены, полной мерой заплатят...

— Что же это за продукт? — недоверчиво спросил Тарас.

Парикмахер тихонько засмеялся и подмигнул всем.

— Пудра,— шепотом сказал он,— пудра, если угодно знать.

— Пудра? — оторопел Тарас.

— Что? А? Хитро пущено? — ликовал Петушков.— А-а? То-то! Психологический продукт! Вы скажете: война. А я вам отвечу: женщина. Женщина всегда остается женщиной, ей всегда пудра нужна.— Он нежно поглядел на свою тачку.— С руками оторвут.

— Да-а...— сказал бухгалтер.— Продукт — первый сорт. Только... э... куда же дальше идти? Дальше... э... некуда.

Действительно, дальше было некуда. Они всю землю прошли от Днепра до Дона,— не было неразоренных сел. Дальше начиналась обожженная прифронтовая полоса. Идти было некуда.

Теперь и Петушков понял это. Но он еще не хотел расставаться с мечтой.

— К вечеру,— загадочно сказал он,— мы наконец придем.

Попутчики недоверчиво посмотрели на него, но пошли. К вечеру они вошли в станицу. Она была, как и сотни других оставшихся позади, такая же полувымершая, сонная, пустая, с тоскливо нахохлившимися избами, с мокрой соломой на крыше, с тощими дымками из труб, но Петушков сделал вид, что это и есть то, чего они искали.

— Ну, вот! — ликующе закричал он, украдкой поглядывая на попутчиков.— Вот оно, вот оно, то самое!

Они притворились, что верят и его словам и его радости. Только бы уж конец, дальше идти некуда.

— А ну, налетай, налетай! — весело закричал Петушков бабам у колхозного двора.— Прошу внимания. Имею предложить красным девушкам, а также молодайкам секрет красоты и вечной молодости. Вот! — ловко выхватил он из тачки свой мешок.— А ну, налетай.

Его сразу же окружили девки и бабы, радуясь веселому человеку.

— Что это, что? — заверещали они.

— Это — пудра! — во всю силу своих легких крикнул Петушков.

Стало тихо.

Молодая простоволосая казачка, ближе всех стоявшая к Петушкову, недоверчиво покосилась на его мешочек.

— Пудра?

— Лебяжий пух! — ответил Петушков.

— Это что ж? — тихо спросила казачка.— В насмешку?

— Нет, почему же? — растерялся парикмахер.— Я всей душой...

— Над вдовьим горем нашим надсмеяться пришел? — покачала головой казачка.— Ай-яй-яй-яй, стыдно тебе, пожилой ты человек!

— Нет, ты скажи, для кого нам пудриться? — зло закричала пожилая баба и рванула с головы платок.— И без пудры поседели от горя нашего!

Теперь зашумели все:

— Ты мужиков наших верни, а тогда — пудру...

— Ты нам прежнюю жизнь верни!

— Для кого нам пудриться, для немцев?

Они подступали к нему, яростные, беспощадные, как потревоженные осы,— он горе их разбередил. Петушков отмахивался от них обеими руками и бормотал:

— В городе нарасхват брали...

— Шлюхи брали! — закричала простоволосая казачка.— А мы закон знаем, бесстыдник ты, срамник.

— Сам пудрись! А у нас — радости нет!

Тарас и бухгалтер подхватили парикмахера и чуть не на руках вынесли его из толпы.

Вслед им полетели комья грязи и глины...

— Так! — приговаривал Тарас, когда комок шлепнулся подле них.— Правильно, бабы! Грязью нас, грязью! Мы вам грязь принесли, и вы нас — грязью. Так!

Петушков, согнувшись, брел за своей тачкой...

— Ну-с! — как всегда насмешливо, начал Петр Петрович, но, взглянув на Петушкова, только рукой махнул.

Ночевали на большой дороге...

Где-то, словно дальний гром, гремели орудия. Тарас снял шапку, прислушался. По его лицу прошло легкое, счастливое облачко...

— Хоть голос услышал,— сказал он.— Вот и недаром шел.

Какой-то человек, неподалеку от него, негромко говорил людям:

— А вы слухам веры не давайте. Сталинград как стоял, так и стоит, и стоять будет.

— А вам откуда известно? — спросил ехидный голос из темиоты.

— А что зиаю, то говорю,— спокойио ответил человек, и Тарас стал прислушиваться к его голосу.— У иемцев под Сталинградом иеустойка вышла. Крепок орешек, не по зубам!

Тарас обериулся к Петру Петровичу и тихо попросил его:

— Тому человеку, что говорит, скажите — пусть ко мие подойдет.

Петр Петрович удивлеиио взгляиул на Тараса.

— Убедительио прошу! — тихо, ио взволиованно прибавил Тарас.

Бухгалтер пошел и сейчас же вернулся с тем, кого звал Тарас. В темиоте лица его не было видио.

— Кто меия звал? — сказал человек в темноту.— Зачем?

— Я звал,— иегромко ответил Тарас.— Здравствуй, Степан.

— А-а! — с секуиду длилось молчаиие. Потом человек сказал тоже иегромко: — Здравствуйте, батя!

Это был старший сын Тараса, Степан.

6

Да, это был старший сын Тараса, Степаи.

— Ну, здравствуй, отец! — сиова удивлеиио повторил ои.— Что же ты тут делаешь... иа дороге?

— Ищу землю неразорениую,— усмехиулся Тарас в усы.

— А! И ие нашел?

— Нет! Отчаялся.

— Да-да... А неразореиная земля недалеко... За Волгой.

— Недалеко, а ходу туда нет.

Оии сели в сторoике от людей — Тарас иа пень, Степан прямо так, иа траву.

— Про тебя ие спрашиваю,— сказал Тарас.— Я землю неразоренную ищу, а ты тут, гляжу, души неразоренные ищешь?

— Да,— засмеялся Степан.— Пожалуй, что так.

— И находишь?

— Много.

— Много? — недоверчиво протянул отец.— Я не встречал...

— Значит, плохо ищещь...

— Я и не ищу! — отмахнулся старик.— Каждый по своей совести живет. Я про свою душу знаю, а что до чужой — мне дела нет.

— Вот оно и выходит: причина вся — все мы в одиночку чистые...

Тарас не ответил. Они помолчали немного.

— А я тебя в армии считал,— сказал отец.— А ты, выходит, вот где?..

— Да... Так вышло...

— А мне говорил: в армию иду!

— Ну, отец, всего сказать нельзя было...— пожал плечами Степан.

— Это отчего ж? — хмуро спросил старик.

— Да ведь дело-то мое...— ответил Степан, оглядываясь,— секретное... партийное... Так вдруг и не расскажешь!

— А в этом деле беспартийных нет! — сердито проворчал старик.— Мог и сказать. Не чужому. Теперь все партийные! Немцы выучили...

— Да,— засмеялся сын.— Теперь я бы сам сказал... И меня кой-чему выучили...

— Ну, а Валя где? Эвакуирована?

— Нет... Здесь...

— Где здесь? — удивился старик.

— Ну, вообще здесь... Тоже, как и я, ходит,— он наклонился ближе и прошептал: — Она сейчас там... на неразоренной земле... У наших... Я ей навстречу иду... Должны встретиться.

— Скажи-ка! — протянул Тарас.— Вот те и Валя! Так ведь она ж... женщина!

— Вот, как видишь!

— И не молоденькая!

— Я ей сам говорил... Вот тоже, как и ты, ответила: теперь беспартийных нет. Так и ходит.

— Ходит! — воскликнул Тарас и ударил себя по коленям.— А? Скажи пожалуйста. А мне хоть бы слово, хоть намек... сукины вы дети! Не прощу!

Степан усмехнулся, ничего не сказал.

— Что ж ты про сына не спросишь? — проворчал старик.— И отца забыл и сына? Вот вы какие...

— Да я знаю о нем... немного... Жив ведь Ленька, здоров?

— Ну, здоров,— ответил Тарас и вдруг спохватился: — Постой, постой. Да ты от кого знаешь?

— Ну, от Насти...— неохотно выдавил сын.— Пишет она мне... иногда... Люди приносят...

— Та-ак...— горько покачал головой Тарас.— Заговорщики! Ну, Степан, вовек я тебе этого не прощу. Не прощу, нет. А Настю — приду — выпорю.

— Так ведь я ж свою ошибку признал,— засмеялся сын.— Видишь вот, не таюсь.

— Не таюсь! Еще бы от родного отца таиться. Да кто тебя человеком сделал, а? Да я, если хочешь знать, я тебя в большевики вывел!

— Тсс!

— Верно ведь? — шепотом спросил все еще злой Тарас.

— Верно, отец, верно. Все верно!

— Нет мне от сынов радости, чертовы вы дети! — проворчал он, не унимаясь.— Один в плен попал, еле выдрался. Другой от отца таится. От третьего вестей нет. Один я, как пень, старый дурак, хожу по свету.

Он снова посмотрел на сына. В темноте было смутно видно его лицо, только глаза блестели.

— Ну, давай! — дрогнувшись голосом сказал старик.— Давай, как люди, поцелуемся хоть.— Он обнял голову сына, привлек к себе и прошептал прямо в ухо: — Спасибо, сын! Спасибо, что не обманул... Я на тебя надеялся больше, чем на всех... Спасибо! — И он поцеловал его, потом легонько оттолкнул и добродушно проворчал: — Эть, бородатый какой! Только по голосу тебя и признал. Голос — мой. Ну, пойдем! — сказал он, подымаясь.— Покажу я тебе моих попутчиков.

Они подошли к костру, и Тарас представил Степана.

— Вот. Земляка встретил.

— А-а! — равнодушно отозвался Петр Петрович.— Ну, садитесь, грейтесь!

Петушков скользнул по лицу Степана неопределенным взором и тотчас же забыл о нем. Охватив голову руками, он раскачивался над огнем, вздыхал, бормотал что-то...

— Вы что, больны? — вежливо спросил Степан.

— А? Да, да... Больной... больной я...— пробормотал парикмахер.— Старый, маленький, глупый человек... Это я...

Пожалуйста... И мне ничего не надо на земле. Ничего... Только гранату. Одну гранату. Больше я ничего не скажу.

Степан усмехнулся. Все разговоры на большой дороге кончались тоской по гранате, это он отлично знал. Он за то и любил большую дорогу, что люди здесь разговаривали вольно, не таясь, не то что в городах и селах, где глядят на незнакомого человека недоверчиво и заранее боятся и того, что он скажет, и того, о чем он умолчит.

На большой дороге всегда говорят о гранатах, и Степан не раз думал, что если б каждое ненавидящее Гитлера русское сердце швырнуло бы во врага одну гранату — только одну,— от немецкой армии мокрого места не осталось бы. Но голая ненависть не швыряет гранат, это он тоже знал. Гранаты кидает мужество.

Степан лежал сейчас у костра, глядел на огонь, а перед ним, шумя, проходили все эти месяцы борьбы и хождения по мукам.

7

Хождение по мукам? Нет, так будет неправильно сказать. Были, были муки. И сомнения были, холодные, колючие. И, бывало, схватывало за горло отчаяние. Все было! Но зато и минуты восторга, необыкновенного, полного счастья, когда вдруг где-нибудь на дороге, во мраке, встретишь незнакомого, но родного человека, и он распахнет перед тобой, доверясь, все богатство своей души, непокоренной, красивой русской души, и спросит: «Как же быть, товарищ? Научи, что делать?»— и ты вложишь оружие в его тоскующие руки. Нет, не хождение по мукам. Старик отец хорошо сказал: «поиски душ неразоренных». Да, поиски...

Когда в июле стояли они с женой на дороге и мимо них, окутанные пылью, проходили на восток последние обозы, он вдруг почувствовал на минуту — но долгой была эта минута,— как у него из-под ног медленно и неотвратимо уползает земля...

— Валя! — сказал он, не глядя на жену.— Тебе еще не поздно! А?..

Она тихо засмеялась.

— Отчего вы все, мужья, такие? Ей-богу, хуже матери. Мать благословила бы...

А он чувствовал, как уползает, уползает из-под ног земля, на которой было так легко и привычно жить.

— Ты бы уехала, Валя, а? И без тебя все сделается.

— А я не хочу, чтоб без меня,— сказала она, хмурясь.— Сейчас беспартийных нет...

Он обнял жену за плечи, погладил ее седеющие волосы. Последние обозы проходили на восток и пропадали в пыли...

В тот же вечер Степан и Валя Яценко ушли в подполье; это было как переселение в другой мир. Степану оно далось куда трудней, чем Вале.

Он не сразу осознал, что произошло. Еще вчера ходил он, Степан Яценко, по земле плотно, уверенно, властно — сегодня должен красться тайком. По своей земле!

Эта земля... Он знал ее всю, на сотни верст вокруг, ее морщины, ее складки и рубцы, ее видные всем богатства и известные только ему одному болезни и нужды. Он ставил на ней города, прорубал новые шахты, он планировал, где и что рожать полям, и стоял над ними нежный, как муж, и заботливый, как строитель. И за это облекла его она властью над собой и над людьми, живущими на ней, и нарекла хозяином.

Он был беспокойным и строгим хозяином. Он любил во все входить сам. Он ничего не прощал ни себе, ни людям. Часто останавливал он машину ночью на дороге, вылезал из нее и кричал: «Не так пашете! Не так мост кладете! Не так гатите гать! Сделайте так и так. При мне! Чтоб я видел». И люди не спрашивали, по какому праву приказывает им этот незнакомый грузный человек. От его большого, могучего тела исходил ток власти. В его голосе, густом и сильном, была власть. В его глазах, цепких, острых, горячих, была власть. И люди послушно ей покорялись.

А сейчас Степану надо согнуть свое большое тело. Надо стать незаметным. Научиться говорить шепотом. Молчать, хотя б душа твоя кричала и плакала. Потушить глаза, спрятать в покорном теле свою непокорную душу.

Один только Степан знает, каких трудов и мук ему это стоило. Да Валя знает. Никогда, за долгие годы семейной жизни, не были они так близки, как сейчас. Валя все видела, все понимала.

— С чего же мы начнем, Валя? — спросил он в первый же день их подпольной жизни. Спросил невзначай, небрежно, словно и не ее, а самого себя вслух, а она услышала и поняла: растерялся Степан, не знает... мучится...

Да, растерялся...

Раньше он всегда знал, с чего начинать, как запустить в ход большую громоздкую машину своего аппарата. И день

и ночь дрожал, фыркал у подъезда мотор запыленного, забрызганного грязью «голубого экспресса». Трепетали барышни на телефонной станции. Сотни людей были под руками, ждали приказаний.

А сейчас Степан был один. Он да Валя. Маленькая, худенькая женщина. Да где-то там, во мраке ночи, еще десяток таких, как он, сидят, забившись в щели, ждут: придет человек, который скажет, как начинать дело. Они не знают, кто этот человек. Они знают только: он должен прийти.

Этот человек он — Степан.

Против него — враг сильный и беспощадный. У него, а не у Степана власть. У него, а не у Степана земля. У него, а не у Степана армия.

— Вот что, Валя,— нерешительно сказал он,— пожалуй, поступим так... Ты оставайся тут... как центр... А я пойду к людям.

— Ну что ж! — сказала она, внимательно на него глядя.— Иди. Это правильно.

Они просидели до утра, рядышком, словно это была их первая ночь. Но о любви они не говорили. Они вообще говорили мало, но каждый знал, о чем думает, и о чем молчит другой, и о чем старается не думать. Из слов, сказанных в эту ночь, немногое уцелело в памяти Степана,— да и не было их, значительных слов! — но навеки запомнилась рука Вали, теплая и покойная; как лежала эта рука на его плече и успокаивала, и ободряла, и благословляла: иди.

Утром он пошел, а она осталась здесь, на хуторе, у своих стариков. Прощаясь, он сказал ей:

— К тебе тут люди будут приходить... Так ты принимай их... говори...

— Хорошо,— сказала она.

Все это он сказал ей и ночью раз десять.

Он потоптался еще на пороге.

— Ну, прощай, хозяйка!

— Иди!

Он пошел, не оглядываясь. Но, и не оглядываясь, знал он: подняв руку, стоит жена на пороге. Он шел и думал об этой руке.

Ему не надо было спрашивать дороги — он шел по своей земле. Никогда не покидал ее. Был с ней и в пиры, и в страду. Вот он с ней в дни ее горя. Больше не был он ей хозяином,— что ж, остался ей верным сыном.

И земля отвечала ему теплой и тихой лаской. Словно вздох, подымался над ней утренний туман и таял, и тогда

открылась перед Степаном вся степь без конца и без края. И звенела она, и пела, и ластилась к его ногам. А он шел через серебристые ковыли и жадно вдыхал ее запахи, густые, тягучие, жаркие. Горькая полынь смешивалась с медовым клевером, кладбищенский чебрец с нежной мятою, запах жирной, черной сырой земли с знойным дыханием степного ветра. А на горизонте синели далекие острые конусы глеевых гор, оттуда приходил запах тлеющего угля. Все детство в нем, в этом запахе, вся жизнь в нем — для человека, рожденного на дымной донецкой земле. Она и в горе хороша, родная земля! В горе ее бережнее любишь.

— Хальт! Хальт!

Степан остановился.

К нему подошли два немца.

— Где ишель?

— С окопов иду... Окопы рыл...— ответил он.

— Папир?

Он протянул бумаги. У него были хорошие, надежные справки. Он не боялся патрулей. Немцы стали вертеть бумажки. Степан молча ждал: «Вот они, немцы!»

— Сапоги! — сказал вдруг немец.

Степан не понял.

— Эй! Кидай! — нетерпеливо закричал солдат.

Степан снял сапоги. Немец, тот, что был побольше, примерил их. Они были чуть великоваты ему, но он радостно сказал: «Гут!»— и похлопал рукой по голенищам.

«Вот так они и в землю нашу влезли, как в мои сапоги,— нахально! — с горечью подумал Степан и сжал кулак.— Схватить вот этого за горло и задушить. Хоть одного из них! Хоть этого!»

Но тут он вспомнил Валину руку и словно почувствовал на своем плече ее теплые, покойные пальцы. Он сгорбился и пошел. Немцы подозрительно смотрели ему вслед. Ему еще надо учиться ходить.

К концу третьего дня он пришел наконец на шахту Свердлова — в первый пункт своего маршрута. Он пошел по поселку — здесь его знали. На площади на него вдруг упала огромная, мрачная тень виселицы. Он невольно вскрикнул и поднял глаза. На виселице стыли трупы, и среди них человек, к которому он пришел: Вася Пчелинцев, кучерявый комсомольский вожак.

— А давайте-ка споем, товарищи,— говорил он, бывало, на заседаниях, когда все осовело клевали носом от усталости, а ворох дел все не иссякал.— Ведь как это говорится:

«Песня строить и заседать помогает». Ну? — и, не обращая виимаиия иа иеодобрительные взгляды солидных товарищей, первый подымал песню.

Вот он висит, кучерявый Вася Пчелинцев, скорчившийся, сииий, ие похожий на себя...

— Как он попался? — спросил Степаи у старика Пчелиицева, которого тем же вечером нашел.

— Выдали...— глухо ответил старик.

— Кто выдал?

— Предполагаю, Филиков.

— Как, Филиков? — чуть ие закричал Степаи.

— Больше некому. Филиков у них теперь служит.

— У иемцев? Филиков?

Степаиу показалось, что покачиулся мир... Филиков! Предшахткома! Еще бородка у иего лопаточкой. Когда, бывало, Вася запевал, Филиков первый подтягивал добродушиым, дребезжащим баском. Вот Пчелиицев висит, а Филиков служит фашистам...

Это была первая виселица, которую видел Степаи, и первая измеиа, о которой ои слышал. Потом их было много. На всем пути качались на виселицах его товарищи, глядели на иего стеклянииыми глазами...

— Запомии, Степаи, запомии,— скрипели виселицы.— Помстись!

— Запомню,— отвечал ои в душе своей.— И лица и имеиа... запомню.

Ему рассказывали об измеииках, о тех, кто отрекся от партии и иарода, предал товарищей, пошел служить фашисту... Ои хмурил брови и переспрашивал:

— Как фамилия? — и повторял имя про себя.— Запомню!

— Вы машиистку у иас в исполкоме помните? Клаву Пряхииу? — Ои иапрягал память, морщил лоб. Вспоминалось что-то тихое, безответиое... Действительио, когда приезжал ои в этот исполком, какая-то девица была... Ои слышал, как оиа стучит иа своем уидервуде. Голоса ее он не слышал иикогда.

— Когда ее вешали,— рассказывали ему,— оиа кричала: «Не убить, чериые вы гады, нашей правды. Народ бессмертеи!»

— Клава Пряхииа? — удивлеино шептал Степан. А он и вспомиить ее ие может.

— А Никита Богатырев...

— Что, что Никита? — беспокойно спросил он. Никиту

он знал. Огромный, в сером пыльнике с балахоном, в сапогах, от которых всегда пахло дегтем, он, бывало, шумел в кабинете Степана: «Не боюсь я тебя, секретарь, никого не боюсь! А как правду-матку резал, так и буду резать». Степан предполагал поставить Никиту командиром партизанского отряда.

— Когда Никиту притащили в гестапо,— рассказывал, протирая очки, сутуловатый Устин Михалыч, завучетом райкома,— он по полу ползал, офицеру сапоги целовал, плакал...

— Никита?!

Значит, плохо ты людей знал, Степан Яценко. А ведь жил с ними, ел, пил, работал... И повадки их знал, и характеры, и капризы, и кто какой любит табак. А главного в них не знал — души их. А может быть, они и сами про себя главного не знали? Клава считала себя робкой тихоней, а Никита Богатырев — бесстрашным бойцом. Он нашей власти не боялся — ее бояться нечего! — а перед врагом задрожал. А Клава боялась председательского взгляда — а врага не испугалась, плюнула ему в лицо...

— Великая людям проверка идет! — качал головой Устин Михалыч.— Великая огнем очистка.

— Что Цыпляков? — спросил Степан.

— Про Цыплякова не знаю! — осторожно сказал Устин Михалыч.— Цыпляков особо живет.

— К тебе не ходит?

— Он ни к кому не ходит... Запершись сидит...

В тот же вечер Степан пошел к Цыплякову и долго стучался в его ставни и двери.

— Кто? Кто? — испуганно спрашивал Цыпляков через дверь.

— Я это. Я! Отвори!

— Кто я? Я никого не знаю.

— Да это я, Степан.

— Какой Степан? Никакого Степана не знаю! Уходите!

— Да отвори! — яростно прохрипел Степан и услышал, как испуганно звякнули и упали запоры.

— Ты? Это ты! — попятился Цыпляков, увидев его, и свеча в его руках задрожала...

Степан медленно прошел в комнату.

— Что же неласково встречаешь? — горько усмехаясь, спросил он.— Гостю не рад?

— Ты зачем?.. Ты зачем же пришел? — простонал Цыпляков, хватаясь за голову.

— По твою душу прншел, Матвей,— сурово сказал Степаи.— По твою душу. Есть еще у тебя душа?

— Ничего нет, ничего нет!..— истерическн закричал Цыпляков н, повалнвшись иа диваи, заплакал.

Степаи брезгливо поморщился:

— Что ж ты плачешь, Матвей? Я уйду.

— Да, да... Уходи, прошу тебя...— заметался Цыпляков.— Все погибло, сам видишь. Бондареико замучили... А я Кориакова повесили... Бондареико замучили... А я Кориакову говорил, говорил: сила солому ломнт. Что прячешься? Иди, идн в гестапо! Объявись. Простят. И тебе, Степан, скажу,— бормотал он,— как другу... Потому что люблю тебя... Кто к ним сам приходит своею волей и стаиовится иа учет, того оии ие трогают... Я тоже стал... Партбилет зарыл, а сам стал... на учет... И ты зарой, прошу тебя... иемедлеиио... Спасайся, Степан!

— Постой, постой! — гадливо оттолкнул его Степаи.— А зачем же ты партбилет зарыл? Уж раз отрекся, так порви, порви его, сожги...

Цыпляков опустил голову.

— А-а! — зло расхохотался Степаи.— Смотрнте! Да ты и иам и немцам не верншь. Не верншь, что устоят оии на иашей земле! Так кому же ты верншь, Канн?

— А кому верить? Кому верить? — взвизгиул Цыпляков.— Наша армия отступает. Где она? За Доиом? Немцы вешают. А народ молчит. Ну, перевешают, перевешают всех нас, а пользы что? А я жить хочу! — вскрнкиул он и вцепился в плечо Степаиа, жарко дыша ему в лицо.— Ведь я иикого ие выдал, ие измеиил...— умоляюще шептал ои, нща глаза Степаиа.— И служить я у них не буду... Я хочу только, пойми меня, пережить! Пережнть, переждать.

— Подлюка! — ударнл его кулаком в грудь Степан. Цыпляков упал иа диваи.— Чего переждать? А-а! Дождаться, пока иашн вериутся? И тогда ты отроешь партбнлет, грязцу с него огородиую счистишь и выйдешь вместо нас, повешеииых, встречать Красную Армию? Так врешь, подлюка! Мы с виселиц прндем, про тебя иароду расскажем...

Ои ушел, сильно хлопнув за собой дверью, и в ту же ночь был уже далеко от поселка. Где-то впереди н для иего уже была припасеиа иамылеииая веревка, н для него уже сколотнли виселицу. Ну что ж! От виселицы ои ие уклонялся. Но в ушах все ныл н иыл шепоток Цыплякова: «Перевешают иас без пользы; а верить во что?»

Ои шел дорогами н проселками истерзаииой Украины и видел: запрягли немцы мужнков в ярмо и пашут на ннх.

А народ молчит, только шеей туго ворочает. Гонят по дороге тысячи оборванных, измученных пленных — падают мертвые, а живые бредут, покорно бредут через трупы товарищей дальше, на каторгу. Плачут полонянки в решетчатых вагонах, плачут так, что душа рвется,— а едут. Молчит народ. А на виселицах качаются лучшие люди... Может, без пользы?

Он шел теперь придонскими степями... Это был самый северный угол его округи. Здесь Украина встречалась с Россией, границы не было видно ни в степных ковылях, одинаково серебристых по ту и по другую сторону, ни в людях...

Но прежде чем повернуть на запад, по кольцу области, Степан, усмехнувшись, решил навестить еще одного знакомого человека. Здесь, в стороне от больших дорог, в тихой лесистой балке спряталась пасека деда Панаса, и Степан, бывая в этих краях, обязательно заворачивал сюда, чтобы поесть душистого меду, поваляться на пахучем сене, услышать тишину и запахи леса и отдохнуть и душою и телом от забот.

И сейчас надо было передохнуть Степану — от вечного страха погони, от долгого пути пешком. Распрямить спину. Полежать под высоким небом. Подумать о своих сомнениях и тревогах. А может, и не думать о них, просто поесть золотого меду на пасеке.

— Да есть ли еще пасека? — усомнился он, уже подходя к балке.

Но пасека была. И душистое сено было, лежало копною. И, как всегда, сладко пахло здесь щемящими запахами леса, липовым цветом, мятой и почему-то квашеными грушами, как в детстве,— или это показалось Степану? А вокруг дрожала тонкая, прозрачная тишина, только пчелы гудели дружно и деловито. И, как всегда, зачуяв гостя, вперед выбежала собака Серко, а за ней вышел и худой, белый, маленький дед Панас в полотняной рубахе с голубыми заплатками на плече и лопатках.

— А! Доброго здоровья! — закричал он своим тонким, как пчелиное гуденье, голосом.— Пожалуйте! Пожалуйте! Давно не были у нас! Обижаете!

И поставил перед гостем тарелку меду в сотах и решето лесной ягоды.

— Тут еще ваша бутылка осталась,— торопливо прибавил он.— Цельная бутылка чимпанского. Так вы не сомневайтесь — цела.

— А-а! — грустио усмехнулся Степан.— Ну, бутылку давай!

Старик принес чарки и бутылку, по дороге стирая с нее рукавом пыль.

— Ну, чтоб вериулась хорошая жизнь наша и все воины домой здоровые! — сказал дед, осторожио принимая из рук Степаиа полиую чарку. Закрыв глаза, выпнл, облнзал чарку и закашлялся.— Ох, вкусиая!

Они выпили вдвоем всю бутылку, и дед Панас рассказал Степаиу, что иыиче выдалось лето богатое, щедрое, урожайное во всем — и в пчеле, и в ягоде, а немцы сюда, на пасеку, еще ие заглядывали. Бог бережет, да и дорогн не знают.

А Степаи думал про свое.

— Вот что, дед,— сказал ои вдруг,— я тут бумагу напишу, в эту бутылку вложим и зароем.

— Так, так...— ничего ие понимая, согласился дед.

— А когда иаши вериутся, ты им эту бутылку и передай.

— Ага! Хорошо, хорошо...

«Да, иаписать иадо,— подумал Степан, доставая нз кармаиа караидаш и тетрадку.— Пусть хоть весть до иашнх дойдет о том, как мы здесь... умирали. А то и следа не останется. Цыпляковы наш след заметут».

И он стал писать. Ои старался писать сдержаиио н сухо, чтобы ие заметили в его строках и следа сомнеиий, ие приняли б горечь за паиику, не покачали б насмешливо головой над его тревогами. Им все покажется здесь ииым, когда оии вернутся. А в том, что оии вернутся, он ии мнуты не сомневался. «Может, и костей иаших во рвах не отыщут, а вериутся!» И ои писал им строго и сдержанио, как воин воииам, о том, как умирали в застенках и на виселицах лучшие люди, плюя врагу в лицо, как ползали перед немцами трусы, как выдавали, проваливали подполье нзмеинкн и как молчал иарод. Ненавидел, но молчал. И каждая строка его письма была завещаиием. «И не забудьте, товарищи,— писал он,— прошу вас, не забудьте поставнть памятник комсомольцу Василию Пчелиицеву, и шахтеру-старику Оиисиму Беспалому, и тихой девушке Клавдии Пряхиной, и моему другу, секретарю горкома партии Алексею Тихоновичу Шульженко,— оии умерли как герои. И еще требую я от вас, чтобы вы в радости победы и в суете строительных дел ие забыли покарать изменников Миханла Филикова, Никиту Богатырева и всех тех, о ком я выше иаписал. И если явится к вам с партийным билетом Матвей Цыпля-

ков — не верьте его партбилету, он грязью запачкан и нашей кровью».

Надо было еще прибавить, подумал Степан, и о тех, кто, себя не щадя, давал приют ему, подпольщику, и кормил его, и вздыхал над ним, когда он засыпал коротким и чутким сном, а также о тех, кто запирал перед ним двери, гнал его от своего порога, грозил спустить псов. Но всего не напишешь.

Он задумался и прибавил: «Что же касается меня, то я продолжаю выполнять возложенное на меня задание». Ему захотелось вдруг приписать еще несколько слов, горячих, как клятва,— что, мол, не боится он ни виселицы, ни смерти, что верит он в нашу победу и рад за нее жизнь отдать... Но тут же подумал, что этого не надо. Это и так все про него знают.

Он подписался, сложил письмо в трубку и сунул в бутылку.

— Ну вот,— усмехаясь, сказал он,— послание в вечность. Давай лопату, дед...

Они закопали бутылку под третьим ульем, у молоденькой липки.

— Запомнишь место, старик?

— А как же? Мне тут все места памятные...

Утром, на заре, Степан простился с пасечником.

— Хороший у тебя мед, дед,— сказал он и пошел навстречу своей одинокой гибели, навстречу своей виселице.

Эту ночь он решил пробыть в селе, в Ольховатке, у своего дальнего родственника дядьки Савки. Савка, юркий, растрепанный, бойкий мужичонка, всегда гордился знатным родственником. И сейчас, когда в сумерках заявился к нему Степан, дядька Савка обрадовался, засуетился и стал сам тащить на стол все из печи, словно по-прежнему почетным гостем был для него Степан из города.

Но они и сесть за стол не успели, как без стука отворилась дверь и в хату вошел высокий пожилой мужик с седеющей бородой и с глазами острыми и мудрыми.

— Здравствуйте! — сказал он, в упор глядя на Степана.

Степан встал.

— Это кто? — тихо спросил он Савку.

— Староста...— прошептал тот.

— Здравствуйте, товарищ Яценко! — усмехаясь, сказал староста и подошел к столу. Степан побледнел.— Смело вы по селу ходите. Я из окна увидал, узнал. Ну, еще раз

здравствуйте, товарищ Яценко.— И староста спрятал насмешливую улыбку в усы.

«Вот и все! — подумал Степан.— Вот и виселица!» Но он по-прежнему спокойно, не двигаясь, продолжал стоять у стола.

Староста грузно опустился на лавку под иконами и, положив на стол большие узловатые руки с черными пальцами, посмотрел на Степана.

— Сидайте,— сказал он, усмехаясь.— Чего стоять? В ногах правды нет.

Степан подумал немного и сел.

— Так,— сказал староста.— А вы меня не узнали?

Степан посмотрел на него. «Где-то видел, конечно,— мелькнуло в памяти.— Должно быть, раскулачивал я его... Не помню».

— Та где там! — засмеялся староста.— Нас, мужиков, много, а вы — один. Як колосьев во ржи... А вы даже беседы со мной имели — правда, в опчестве,— напомнил он,— наедине не приходилось. Агитировали вы меня в колхоз. Шесть лет меня все агитировали. А я шесть лет не шел. Несогласный я, кажу, и все тут. Так меня с тех пор Игнатом Несогласным и зовут.

Савка подобострастно хихикнул. Степан теперь вспомнил этого мужика. Кремень.

— Несогласный я,— продолжал староста.— Это так. А на седьмой год я сам пришел в колхоз. А отчего пришел? Га?

— Ну, сагитировали, значит...— пожал плечами Степан.

— Не-ет,— покачал головой Игнат.— Меня сагитировать немысленно. Убедился я, потому и пришел. Сам убедился. И так кинул, и так положил — выходит, в колхоз выгоднее. И я согласился, пришел.

Степан не понимал, к чему ведет свой рассказ староста, и нетерпеливо ерзал по лавке. «Будут селом вести — удеру, вырвусь. Рук вязать не дам».

— Теперь немец нам листки кидает,— продолжал староста,— обещает землю дать в вечное и единоличное пользование. Как думаешь,— прищурился он,— даст?

— Не даст...— ответил Степан.

— Не даст? Гм...— пожевал усы Игнат.— И я так думаю: не даст! Обманет. Помещикам своим отдаст. Ну, а может, кой-кому и даст, га? Для блезира? Ну, старательным мужикам... Опять же старостам... Даст, а?

— Ну, такому, как ты, даст,— ответил Степаи со злостью.— За усердие.

— Даст? Ага! — подхватил Игиат, делая вид, что тоиа Степаиа ие поиял.— И я так прикидываю: такому, как я, даст. А я ие возьму! — вдруг торжествующе закричал ои и хлопнул ладоиью по столу.— Не возьму я! Га?

Степаи оторопело посмотрел иа иего.

— Не возьму. Ты это поиять можешь? Э,— махиул ои вдруг рукой,— где тебе поиять. Ты, товарищ, городской человек. А я мужик. Я в эту землю кориями, когтями, душою врос. Сухота моя — эта земля. И вся моя жизиь в ией же. И отцов моих, и дедов, и прадедов. Мие без земли иельзя! А только,— виезапио успокоившись, докоичил ои,— едиииоличиой земли мие ие иадо. Невыгодио мие. Не подходит. Морока. И мачтаб ие тот. Моей хозяйской душе без колхоза теперь жизии иема.

— Постой,— иичего ие поиимая, пробормотал Степаи.— Нет, ты постой! Ты за что же стоишь?

— Я за колхоз стою,— твердо ответил староста.

— Ну, зиачит, и за Советы? За иашу власть?

Игиат вдруг лукаво прищурился, огляиулся иа Савку, подмигиул Степаиу и сказал, усмехаясь в усы:

— Ну, поскольку иет иа земле другой власти, согласиой иа колхозы, окромя иашей, Советской,— так и для меия другой власти иет.

Степаи улыбиулся и облегчеиио вздохнул.

— Ты как,— тихо спросил, иаклоияясь к иему, Игиат,— сам от себя ходишь? Спасаешься? Или уполиомочеииый?

— Уполиомочеииый,— ответил Степан, улыбаясь.

— Бумаг мие твоих ие надо,— махиул рукой Игиат.— Зиаю тебя. Ну, раз ты есть от власти иашей уполиомочеииый, могу тебе сказать, а ты передай: колхоз иаш, скажи власти, живет! Как бы это сказать? Подпольио живет. Есть у иас и председатель. Прежиий. Ордеиоиосец. Замаскироваи иами. И счетовод есть, кииги ведет. Кииги могу показать тебе. И все добро колхозиое попрятаио. Вот хоть у сродствеииика спроси. Так, Савко?

— Так, так, истиино,— радостио удивляясь, подтвердил дядька Савка.— Хитро сделаио. Государствеиио.

— А иемцы с иашего села ии зериа ие взяли! — крикиул Игиат.— Что сами пограбили, то и есть. А мы им ии зериа не дали. А как? Про то моя спииа зиает,— ои задумался, опустив голову. Забарабаиил чериыми пальцами по столу. По губам его, прикрытым седыми усами, поползла усмеш-

ка.— Староста. Немецкий староста я на склоне моих лет... Позор! Кругом старосты звери и мироеды. Кулаки. А я людям кажу: «Уважьте! Старость уважьте мою! У меня дети в Красной Армии». Не согласились со мной мужики, упросили.

— Всем миром просили,— вздохнул Савко.

— Не миром,— строго поправил его Игнат,— колхозом просили меня. У тебя, говорят, Игнат, душа непокорная, несогласная с неправдой. Постой за всех. И вот — стою. Немцы мне кричат: где хлеб, староста? А я кажу: нема хлеба. А почему рожь осыпается, староста? Нема чем убирать! А почему скирды стоят, под дождем гниют, староста? Нема чем молотить! Мы тебе машины дадим, староста. Людей, кажу, нема, хоть убейте! Ну и бьют! Бьют старосту смертным боем, а хлеба все нема.

— Не могут они его душу покорить, вот что! — проникновенно, со слезой сказал Степану Савка.

— Что душу! — усмехнулся Игнат.— Спину мою и ту покорить они не могут. Непокорная у меня спина,— сказал он, распрямляясь.— Ничего, выдюжит.

— Спасибо тебе, Игнат! — взволнованно сказал Степан, подымаясь с лавки и протягивая руку.— И прости ты меня, бога ради, прости.

— В чем же прощать? — удивился Игнат.

— Нехорошо я о тебе думал... И не о тебе одном... Ну, в общем — прости, а в чем — я сам знаю.

— Ну, бог простит,— улыбнулся Игнат и ласково обнял Степана, как сына.

На заре староста сам проводил подпольщика до околицы. Здесь постояли недолго, покурили.

— Если власти нашей,— тихо сказал Игнат,— или партизанам хлеб нужен, дай весточку, хлеб дадим.

— Хорошо. Спасибо.

— Не мне спасибо. Хлеб не мой. Колхозный. Расписку возьмем.

— Хорошо.

— Ну, иди...

Степан протянул ему руку. Игнат взял ее, крепко зажал в своей.

— Еще вот что спрошу тебя...— прошептал он, заглядывая в глаза Степана.— Скажи — наши вернутся? Не спрошу тебя, скоро ли и когда, бо того ты и сам не знаешь. Спрошу только: вернутся ли вообще? Правду скажи! — И он впился в его глаза.

— Вернутся! — взволиоваиио ответил Степан.— Вернутся, Игиат, и скоро!

— Ну вот! — облегчеиио вздохиул староста.— А спина моя выдержит, не сомиевайся! — И ои засмеялся, пожимая в последиий раз Степаиову руку.

Степаи шел полевой дорожкой меж массивов осыпающейся ольховатской ржи и всю дорогу весело ругал себя: «Чиновиик ты! Цыплякову поверил, а в народе усомиился, чернильиая твоя душа? Вот ои, иарод,— иепокориый, могучий. Бюрократ ты, кресло потертое! Не молчит он — звеиит! Как сухое дерево, звеиит иеиавистью, по искре тоскует. А тебя, бумажиая твоя душа, сюда спичкой и поставили. Да иет, ие спичкой! Спичка чиркиула и погасла. Кремием. Кремием должен ты быть, Степаи Яцеико, чертова твоя душа! Чтоб от тебя искры летели и раздувалось пламя иародиой мести».

Обо всем этом и рассказал Степаи Вале, когда они наконец встретились.

Оии проговорили всю иочь.

У Вали тоже был ворох вестей для Степаиа.

— От Максима приходил человек,— сказала оиа.

— От Максима? — обрадовался ои. Максим, как и ои, был поставлеи обкомом для работы в подполье.— Ну, что Максим?

— Пока жив! — улыбнулась Валя.— Большие дела у него! Шахтерских отрядов несколько... Три комсомольских...

— Вот как! — даже позавидовал Степаи.— Это хорошо.

— Приходили от Иваиа Петровича...

— Ну, иу?

— Толком ничего ие сказали. Видио, меия опасаются. Но явку дали. Иваи Петрович просит передать — у иего в хозяйстве урожай сам-семеро...

— А-а! — усмехиулся Степаи.— Иван Петрович всегда был мужик агротехиический! Ишь уродило как!

— Ну, это все вести от людей, тебе известиых. А есть и от иеизвестиых. Никому ие известиых.

Степаи ие понял.

— То есть как?

— В Бельске кто-то красиый флаг поднял иа парашютиой вышке. Целый день висел. Немцы боялись — замииировано. Об этом флаге только и говорят вокруг!

— Кто же флаг поднял?

— Никто ие зиает! Я же тебе говорю: иикому ие известные люди.

— Этих неизвестных людей иадо иайти.

— Немцы тоже ищут...

— Ну, немцы могут и не найти,— засмеялся Степаи,— а иам своих не найти совестно.

— Потом у нас — в нашем городе — тоже событие,— продолжала Валя.

— Что у нас? — всполошился Степаи. Он любил свой город, гордился им и всякую весть о нем встречал ревииво.

— Немцы на Главной улице каждый день сводку вывешивают. Народ читает, кто верит, кто нет, но у всех — уыиие. И вот стала каждый день под немецкой сводкой появляться другая. Понимаешь? Написано детским почерком. На листке школьной тетради. Чернилами. И даже,— улыбнулась она,— с кляксами...

— Что же в этих листках? — недоумевая, спросил Степан.

— Опровержение! Какой-то малыш каждый день — заметь, каждый день! — опровергает Гитлера: «Не верьте Гитлеру — все, собака, врет. Я слушал радио. Наши не отдали Сталинград. Наши не отдали Баку». Немцы срывают эти листки, ищут виновиика, а иичего сделать ие могут. Опровергает малыш Гитлера каждый день, и Гитлер с иим справиться не может! Об этом весь город говорит.

— Кто же он? — взволнованно спросил Степан.

— Никто не знает. Может быть, кто-иибудь из моих малышей...

Степан удивленно посмотрел иа иее, ие поиял. Потом сообразил, что она говорит о своих школьииках. Ои всегда забывал о том, что оиа не только жена.

— Да, может быть, кто-нибудь из твоих мальчиков...— сказал ои, извиняясь за свою забывчивость.

— И я все думаю: кто? — продолжала Валя, сияя влажными глазами.— Это кто-иибудь из наших радиолюбителей. Но в седьмом классе все мальчики увлекаются радио. И я ие знаю — кто. Иногда мне кажется, что это Миша... А иногда, что это Сережа...

Степан молча слушал ее.

— Сколько их таких,— задумчиво продолжала она,— мальчиков, девушек, стариков, подымающихся в одиночку. По приказу своей совести.

— Найдем! — горячо сказал Степан.— Мы будем строить, Валя, наше подполье, как строят пороховой погреб,— осторожно и основательио.

И он стал строить подполье, как пороховой погреб.

Появились связи, отряды, явки, люди, цепочка людей, знавших только правого да левого соседа. Степан знал их всех, и земля, казавшаяся ему после ухода наших войск мертвой, задушенной, сейчас ожила, населилась людьми, готовыми к борьбе.

К Степану часто приходили связные от партизан, от подпольных групп; приходили и с Большой земли, чаще всего девушки.

— И вам не страшно, девчата? — спрашивал он, искренне удивляясь.

Некоторые обижались. Другие задорно отвечали:

— А чего же бояться на своей земле?

Стали действовать отряды Максима. Запылали немецкие казармы, полетели под откос поезда. Тихие ночи озарялись пламенем малых, но жестоких битв в тылу.

Немцы ответили виселицами. Где-то ждала виселица и Степана. О нем уже знали. Его искали. Но он не думал теперь о смерти. Он снова чувствовал себя хозяином на своей земле.

Да, он здесь был хозяином, а не бургомистры и гаулейтеры. Ему вручили свою душу люди, его приказов слушались, даже и не зная его. И он ощущал себя сейчас, как и раньше, хозяином, военачальником, вожаком, а чаще всего — приказчиком народной души. Душеприказчиком. Ему мертвые завещали ненависть. Ему живые вверяли свои надежды. Качающиеся на виселицах товарищи поручили ему месть за них.

У него было теперь большое «хозяйство», куда более сложное и богатое, чем раньше; все это хозяйство надо было держать в памяти, ничего не доверяя бумаге. Он должен был помнить имена и адреса, даты и сроки, поступки и планы, черты лиц и свойства характера, выражение глаз каждого человека в минуту опасности. Он должен был знать, кому можно верить целиком, кому наполовину, кому нельзя совсем. Кого надо ободрить, кого отругать, кого обнадежить, с кем помечтать вместе, а кого при первом же случае уничтожить, как Иуду.

На дорогах своих скитаний,— а бродил он все время, то один, то с Валей, — ему встречались тысячи людей. У случайных костров люди говорят откровенно. Он прислушивался.

Старики тосковали по оружию. Молодые парни, бежавшие от невольничьего плена, открыто спрашивали путь к партизанам. Он присматривался к ним. Одним отвечал, пожимая плечами:

— Та хто его знает! Як бы я знав, той сам бы пишов..

Других отводил в сторону, давал безобидный адресок — первое и простое звено длинной цепочки.

Потом он узнавал в отрядах своих крестников.

— Ну как? — спрашивал он.

— Та ничего! Воюем! — браво отвечали хлопцы.

Ночи в партизанском отряде были для Степана и счастьем, и отдыхом. Здесь он был у своих. Здесь, на малой советской земле, или — как у шахтеров — даже под землей, в забытой шахте, он чувствовал себя легко и привольно. Можно было спину разогнуть. Можно было маску скинуть. Можно было вольно засмеяться, назвать человека дорогим именем «товарищ».

Но засиживаться здесь ему было нельзя. Его ждала стонущая, мятущаяся земля — без него она сиротела.

— Может, на дело меня возьмете? — упрашивал он командира партизанского отряда.— Что ж это я? И моста не взорвал, и гранаты не кинул. Придут наши, и похвалиться нечем.

— Иди, иди! — добродушно ворчал в ответ командир отряда бурильщик Прохор.— Иди, свое дело делай. Без тебя тут управимся. Ты свои гранаты кидай!

Он шел и кидал свои гранаты — листовки, начиненные страшной взрывчатой силой — правдой. Их читали жадно, как дышат в подземелье,— лихорадочными глотками. Кто прочел — рассказывал соседям, а кто прочесть не успел — рассказывал свое, о чем самому мечталось. Как осколки гранаты, разлетались по всей земле обрывки фактов, лозунгов, идей, но и они поражали самого страшного врага закабаленного народа — безверие.

— Про листовку слышал? Ага! Значит, жива наша правда, не потоптана! Значит, есть где-то люди! Значит, есть у них с кем-то связь! Значит, и армия наша стоит нерушимая, скоро придет на выручку.

Случалось и Степану во время скитаний читать свои листовки. Он читал их так, словно впервые видел,— жадно, как все. Наклеенная на заборе листовка вызывала и в нем новый прилив веры. И он искал в ней между строк, им же самим написанных, новые факты.

Смерти он не боялся. Он и не думал о ней теперь, будто ее и не было вовсе, будто люди ее, как и бога, выдумали себе на страх. Он не боялся, что его узнают на большой дороге. В седом, бородатом, рваном мужике теперь не узнать Степана Яценко. Могут выдать? Ну что ж. Значит, плохо

подобрал людей, плохо воспитал, виноватить некого.

Он теперь редко бывал у себя в штаб-квартире, жил на большой дороге, на людях, среди тачечников и бродяг, внезапно появлялся на шахтах и в поселках и так же внезапно исчезал. Иногда верным людям он назначал встречи на дороге и на свидание всегда приходил в срок.

— А мы полицмейстера убили,— докладывал ему молодой кучерявый паренек, чем-то очень похожий на Васю Пчелинцева

— Убили? Ну, молодцы, молодцы!

— Нам бы теперь, дядя Степан,— захлебываясь от восторга, говорил парень,— нам бы с партизанами связаться. Такой можно налет произвести!..

— Это подумать надо,— отвечал, почесывая щеку, Степан — Так полицмейстера убили?

— Убили. Наповал.

— Хорошо, хорошо. Теперь, Василек, тебе придется идти служить в полицию.

— Мне? — бледнел паренек и растерянно улыбался: — Вы это шутите?

— Нет, Василек, не шучу. Серьезно,— отвечал он и нежно глядел на юношу.

— Так меня... меня же все затюкают. Меня и отец проклянет!

— А это стерпеть придется.

— А наши придут, что ж я им скажу? — чуть не плача, говорил юноша.— Все партизаны, а я — полицейский...

— А это я на себя возьму.

— Так ведь, дядя Степан...— сдавленным шепотом продолжал Вася,— ведь убьют!

— А смерти, Вася, нет. Ее выдумали. Есть капут для трусов и бессмертие для героев, середины нету.— Он обнимал за плечи Васю, привлекал к себе.— Жаль мне тебя, Василек,— тихо говорил он,— жаль! А идти в полицию надо, больше некому идти. Ты десятилетку кончил, по-немецки немного знаешь. Надо идти. Надо!

И Василек шел служить в полицию. Теперь у Степана везде были свои люди; они сообщали о немецких планах, выручали подпольщиков, помогали партизанам.

Пожилой слесарь докладывал Степану о депо. Сидели тут же у дороги, в стороне у поселка.

— Пустил немец депо! — огорченно вздыхал слесарь.— Вот ведь как!

— Да... неудачно это...

— Теперь мастеров ищет. Паровозы пришли, целое кладбище. А мастеров иет.

— Да...

— Ну, наши мастера не пойдут. Мы им так и сказали, и молодым, и старикам: если которая сука пойдет работать в депо — иу, прокляием без снисхождеиия!

— И ие идут?

— Не идут! — радостио-удивлеиио восклицал слесарь.— Скажи-ка, а? Ни одии человек!

— Хорошо. Очеиь хорошо,— потирал Степаи щеку.— А ты, Аитон Петрович, пойдешь!

— Я? — растеряино улыбиулся слесарь.— Нет, зачем же? Обижаете... И я ие пойду...

— Нет, пойдешь! На работу стаиешь. И паровозы возьмешься чинить. А готовые будешь калечить.

— Понимаю...— бледиея, отвечал слесарь.— Поиимаю я. Воля твоя, товарищ Степаи, пойду. Убьют меия мастера за это дело, а пойду. Поиимаю.

И иикто из людей, которыми двигал Степаи, не спрашивал ии его, ии себя, по какому праву распоряжается ими этот бородатый, похожий на бродягу человек. Оии зиали, кто стоит за иим. Родииа? Нет, родииа стояла за всеми. Но только за иим стояла партия. Партия вручила ему власть над их душой.

Представляя людям Степаиа, председатель подпольиой сходки говорил: «Этот человек пришел к иам от партии»,— и все подымали глаза на Степаиа. Этот человек пришел к иим от партии. Ои, как послаиец партии, шел по этой вздыблеииой, иабухшей гиевом земле,— ему верили.

— Куда ты теперь идешь, Степан? — спросил Тарас сыиа.

Костер погас, только одиа головешка все тлела, покрылась синеватым пеплом и, как глазок, выглядывала из золы. Завериувшись в мокрый плащ и съежившись, спал Петр Петрович. Парикмахер ворочался во сие и стоиал.

— Иду Вале иавстречу,— ответил Степаи, и иа его лице, как и всегда, когда ои думал о жеие, появилась теплая, светлая улыбка.

Ои расстался с ией семь дней иазад, там, у самой лииии фроита. «Ну, иди!»— сказал ои просто. Оии всегда теперь так прощались. Только эти два слова вслед тому, кто уходил,— в иих было все.

Припав к земле, Степаи смотрел, как пробиралась Валя колючим кустариником. Вои там, за этим перелеском,— Боль-

шая земля, наши. Он следил за темным силуэтом жены с тревогой и... завистью. Сейчас Валя пройдет этот кустарник, потом овражек, опять кусты, и... наши. Хоть бы увидеть разок! Но он знает: ему нельзя. Это дезертирство. И то уж нехорошо, что пошел провожать Валю до этих кустов. Его место не здесь. Его место там, на опаленной горем и гневом земле, в прифронтовых селах.

— Ну, сынок,— сказал Тарас,— что же дальше будет?

— Дальше? — засмеялся Степан.— Дальше наши придут. Скоро.

Но Тарас вдруг рассердился на него.

— Я тебя не об этом спросил! Это я и без тебя знаю! И ты меня не учи! — закричал он.— Ты еще молод меня вере учить. Я тебя сам поучить могу, как свою душу в чистоте соблюдать. Я тебя про другое спрашиваю. С чем мы наших встретим?

— Как с чем?

— Они к нам через кровь идут. А мы с чем выйдем?

У Степана вдруг радостно защемило в горле. «Что за отец у меня! Что за старик!» Он с любовной гордостью посмотрел на отца и почувствовал себя его сыном и услышал, как глубоко-глубоко в этой земле шумят корни его рода.

— Хорошего мы с тобой рода, отец! — весело засмеялся он.— Казацкого!

Старик удивленно посмотрел на сына.

— Мы не казацкого, с чего ты взял? Не казацкого — рабочего. И прадед твой рабочий был, и дед, и дядья. Вся фамилия наша — рабочая.

Но Степан весело обнял его за плечи:

— Казацкого, казацкого! Ты не спорь, отец! — Он наклонился совсем близко к нему и сказал уже серьезно: — Я скажу тебе, что делать, отец. Домой иди! По дороге по моим адресам зайдешь, снесешь поручения. А придешь домой — поклонись матери, поцелуй Леньку, а Насте скажи, что приказал я тебя вести к верным людям. Настя сведет.

— Настя? — сердито воскликнул старик.

— Да, Настя,— усмехнулся Степан.

Тарас разгладил усы.

— Хорошо,— сказал он.— Только сперва я ее выпорю. Можно? А потом уж, ладно, скажу, веди, мол, меня, старика, куда надо, Настя!

8

К Насте, запыхавшись, прибежала ее школьная подруга Зинаида.

— Ой, Настя! — закричала она с порога.— Павлик пришел!

Настя почувствовала вдруг, как сердце в ней оборвалось и покатилось... покатилось... Но она даже с места не встала и спросила спокойно, почти равнодушно:

— Павлик? Где же он?

Подруга смотрела на нее с жадным и откровенным любопытством.— Ой, Настька! — все время вскрикивала она. Равнодушие Насти ее озадачило и даже обидело почему-то.

— Ох, бесчувственная ты, Настька! — сказала она, жеманно поджимая губы.— Тебя никто не будет любить. Я Павлика на улице встретила,— прибавила она нарочито небрежно.— Могла и не встретить. Подумаешь! — Но не выдержала тона и закричала с восторгом: — Ой! Настька! Он тебе записку прислал.

— Дай.

Настя взяла записку и почувствовала, что щеки у нее пылают. «Настя! Буду ждать тебя в пять часов возле школы. Ты сама знаешь где. Павел».

— Какой он... стал? — тихо спросила она.

— Ой, Настя, черный весь! Страшный.

Настя попыталась представить себе страшного Павлика — и не смогла. Он вспоминался ей синеглазым, холеным юношей с румянцем во всю щеку. За этот нежный девичий румянец да за постыдную для мужчин, по мнению десятого класса «Б», страсть к поэзии мальчишки прозвали его «барышней». Его никто не звал Павлом, все Павликом — и родные, и товарищи, и учителя.

Было без десяти пять, когда она подошла к школе. Павлика еще не было. Настя нашла окна своего класса и через разбитое стекло заглянула туда. На нее пахнуло холодом и сыростью пустого, заброшенного здания. У стены черной грудой вздыбились переломанные парты. И ее парта там. Ее и Павлика. Их парусная лодка, на которой плыли они вместе в жизнь. Это было в стихах Павлика. Парусом он называл мечту.

Настя долго простояла у окна. Было грустно и одиноко, как всегда бывает у развалин родного дома, где ты прожил свою жизнь,— большую или малую, все равно. Наконец она оторвалась от окна и пошла вдоль фасада школы. У парад-

ного подъезда стоял скелет из школьного музея и скалил на Настю зубы. «Кто ж его вытащил сюда? — удивилась Настя.— Должно быть, немцы... Зачем?» Она пошла вдоль забора школьного сада. Деревья стояли голые, черные, заплаканные, как вдовы. Мокрый осенний ветер качал их. Простонав, они медленно валились набок. Вот одно упало, вот второе... Настя испуганно, ничего не понимая, заглянула через забор и увидела: немецкие солдаты, сняв куртки, рубили школьный сад.

— Настя! — вдруг услышала она тихое восклицание за спиной.

Она обернулась. К ней протягивал руки Павлик.

Она взглянула на него и отшатнулась. Боже ты мой, что они с ним сделали! Павлик был худой, черный, оборванный. «Где же твои синие веселые глаза, Павлик?» — чуть не закричала она. От него пахло потом и горькой махоркой.

Он восхищенно глядел на нее.

— Вот ты какая стала! — растерянно пробормотал он и почтительно опустил руки.

— А ты... вот ты какой!

Он только сейчас заметил ужас в ее глазах и опустил голову.

— Какой? — спросил он, глядя в землю.— Страшный?

— Д-да-а... страшный. Черный весь.

Он засмеялся отрывисто и горько.

— Это хорошо, что страшный,— улыбаясь, сказала она и положила ему руки на плечи.— Страшный — значит, честный.

— Да,— горячо ответил он и жадно схватил ее руки.— Я перед тобой чистый и честный, Настя.

— А перед всеми? — осторожно спросила она.

— И перед всеми.

Она радостно засмеялась.

— А я? Страшная я?

— Ты? — восхищенно воскликнул он.— Ты стала большая... Красивая...

— Но я тоже... честная,— прошептала она, опуская глаза.

— Перед всеми?

— И перед тобой тоже.

Он тихо, благодарно сжал ее руку в своей. Теперь они стояли молча, не глядя друг на друга.

С тяжким стоном упало дерево в саду.

— Что это? — вздрогнул Павлик.

— Немцы сад рубят...— ответила Настя.

Ее лицо вдруг покрылось краской. Он покраснел тоже.

— Наш сад? — прошептала он.— Помнишь?

— Помню,— чуть слышно ответила она. Он не услышал ответа, а почувствовал по губам, как тот первый и единственный поцелуй в саду.

— Там еще дерево было...— задыхаясь, сказал он.— Помнишь?

— Помню.

— Я вырезал на нем буквы: П. и Н.

— И сердце.

— Помнишь?

— Помню.

Опять завизжала пила, зло, исступленно...

— Вот они сейчас по этому сердцу... пилой...— нервно сказал Павлик.— Черт! Не могу я этот звук слышать! Пойдем, Настя!

Они пошли дальше вдоль забора и остановились у большого камня под липой. Это было место их давних встреч, с восьмого класса. Настя села на камень. Павлик опустился подле нее на желтую траву. Оба молчали. Чуть слышно, точно комариный звон, доносилось сюда пение пилы. Настя смотрела прямо перед собой в пустырь. Она все хотела спросить, где был Павлик, что делал, но что-то мешало ей спросить, она и не знала — что.

— Ну, а где наши?.. Весь десятый «Б»? — спросил Павлик.

— Кто где...

— Да... Разбрелись, рассеялись. Где Федор? Помнишь, он все мечтал конструктором стать? Изобрести вечный двигатель. Смешной Федор!

— Он в армии. Вестей от него нет. Может, и убит.

— Счастливый!

— Что убит — счастливый? — усмехнулась Настя.

— Нет, что он там — счастливый. А если и убит, все счастливее нас. Мы все равно подохнем... пропадем, как бурьян...

Настя ничего не ответила.

— Ну, а подружки твои где? Маруся?

— В тюрьме...

— Галя?..

— В Германии...

— Лиза?

— Она теперь Луиза.

— Немцам продалась? — усмехнулся Павлик.

— Нет. Теперь она с итальянцами.

— Стерва!

Теперь где-то близко от них застучали топоры и с шумом упало дерево. Забор задрожал. На ребят посыпались мокрые листья и щепки.

— Рубят! Рубят! — нервно сказал Павлик.— Все поколение наше рубят под корень...

— Не вырубят,— тихо сказала она.

— Может быть,— зло пожал он плечами.— Но искалечат — всё,— он встал и стряхнул с брюк листья.— Пойдем походим?

Они пошли через пустырь.

— Ты, Павлик, горький стал... злой...— сказал она тревожно и вдруг спросила, замедляя шаг: — Где же ты был, Павлик, что делал?

Он усмехнулся и остановился.

— Это большой рассказ, Настенька,— сказал он, качая головой.— И я тебе его рассказывал много-много раз...

— Мне? — удивилась она.

— Да. Мысленно,— засмеялся он.— Шел сюда и всю дорогу рассказывал, рассказывал тебе... А пришел — и не знаю, с чего начать.

— С заметки в газете,— тихо, не глядя на него, сказала она.

Он вздрогнул.

— Ты читала?

— Да.

— И прокляла?

— Нет. Пожалела...

Он страдальчески сморщил мальчишеские брови.

— Это не надо... Это зачем? Жалеть не надо было. Это мне обидно. Надо было понять.

— А как же это понять? — сказала она чуть слышно.— Я пыталась...

— Понимаешь? — горячо сказал он и схватил ее руку.— Понимаешь, все случилось как в дурном сне... толчками... Вот были наши... вот их нет... и вот немцы... Я растерялся... Я ничего не успел сообразить. Что делать с собой, как жить? И вдруг — повестка... Так неожиданно. Вызывают в редакцию их газеты. Но почему меня? Я потом узнал от сотрудников, что вызвали всех, кто работал в «Большевист-

ской правде». Но ведь я не работал там... Я только печатал там иногда стихи. Помнишь?

Она кивнула головой и покраснела. Она вспомнила стихи о школе и парусе. Они были посвящены ей. В газете так и стояло: «Посвящается Н.» Только одна буква, но в десятом «Б» все отгадали сразу. Настя рассердилась на Павлика. Они не разговаривали тогда три дня.

— Это Иверский, хромой черт, меня впутал! — продолжал Павлик.— Бездарный поэт... Понимаешь, такая бездарная сволочь!.. А у немцев он стал главной фигурой редакции. Он-то и впутал нас всех. Он и список составил. Ну вот. Что было делать мне? Что было делать?

Он умоляюще посмотрел на Настю. Настя молчала.

— Да...— сказал он задумчиво.— Надо было не идти. Но, понимаешь, я так растерялся... И мать,— он горько усмехнулся,— мать вцепилась в меня, плачет: иди и иди, убьют! Ну и... я пошел. Пошел, чтоб отказаться, объяснить, что тут ошибка, что я не газетный работник... Но меня никто и слушать не захотел. В редакции сидел офицер из гестапо. Все ходили на цыпочках. Иверский ткнул мне заметку и сказал: «Обработайте!» Ну я и... обработал. Безобидная заметка, пустая... Пять строк. И подписывать такие не принято, а Иверский взял и нарочно подписал мое имя и фамилию полностью. Когда я увидел это в газете,— сказал он, кусая губы,— я сразу же подумал о тебе, Настя...

Павлик опустил голову, стараясь подавить слезы. Настя молчала.

— Так меня заклеймили,— продолжал он, проглотив комок,— и Иверский сказал мне, что теперь я должен написать стихи — оду на приход немцев в наш город. Я ответил, что не умею писать од. Он приказал: «Попробуйте!» Я сказал, что быстро вообще не умею писать. Он дал мне три дня сроку и отпустил домой. И вот я остался один на один с собой... дома... Я метался эти дни, Настя, метался так, что передать тебе этого не могу. К бумаге я не прикоснулся. Я знал, что таких стихов я написать не смогу. Вот я весь перед тобой, Настя,— сказал он, глянув ей в лицо в первый раз за все время своего рассказа.— Я все говорю, что было, хоть и горько это мне... заметку, еще одну заметку я бы, может, и написал... но стихи! Стихи! Они ведь сердцем пишутся, ты знаешь!

— Ну? — тихо спросила Настя.

— И тогда я решился бежать. Прочь из города. И убежал.

— Я знаю... а то бы я не пришла...

— Да? — усмехнулся он.— Я так и думал...

— Тебя искали...

— Да... Мать рассказывала мне... Ну вот. Я решил пробираться к нашим. Но у Дона меня схватили немцы, избили и швырнули в вагон. А потом повезли. Куда — не знал я. Может, в лагеря. Может, в Германию. Только далеко за Днепром я сбежал из эшелона и остался один на чужой земле.

Он провел рукою по лбу.

Настя молчала.

— Неизвестные для меня места! — продолжал Павлик.— Тут давно уж и войны нет. И немцы в городах как у себя дома. В Киеве по улицам кадетики бегают. Народ замучен, забит. Я шел через все это как сквозь ночь и думал: а мне куда же идти, что делать? Кто я такой, Павел Бажанов?

— Как кто такой? — сказала Настя.— Ты комсомолец.

— Да? — усмехнулся он и грустно покачал головой.— Это еще неизвестно...

Она удивленно взглянула на него.

— А ты думала когда-нибудь, Настя, почему, почему ты, я, наши ребята из десятого «Б»— комсомольцы? Думала? И я нет. А тут задумался. И сильно.

— Не понимаю я...— мучительно вздохнула Настя.

— А ты спроси себя: «Почему я комсомолка?» Ведь и ты, и я, и все просто так вошли в комсомол, без мучений, поисков, выбора, а многие и без раздумья.

— Нужно... мучиться?

— Нужно! — убежденно сказал он.— Человек проходит сквозь муку, как сталь сквозь огонь, и тогда становится человеком. А мы сначала надели красные галстуки, потом комсомольские значки. Очень просто. И стали мечтать о жизни. И так мы о ней сыто мечтали, что даже вспомнить стыдно. А тут,— грубо перебил он сам себя,— тут волчья жизнь встала передо мной. А я один. Никого нет. Понимаешь?

— Это я понимаю...— прошептала Настя.

— Мы все остались одни, каждый наедине со своей совестью. И каждый сам за себя должен был свой путь в жизни выбрать.

— Каждый думает, как бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу,— пробормотала она.

— Что?

— Это мой отец так говорит.

— Душа! — засмеялся он.— У нас в десятом «Б» о ней и не вспоминали. Я и не знал, есть ли она у меня, душа-то, или нет — пар... А как засочилась она кровью — тут я ее и услышал.

— Что ж услышал?

Он не ответил. Он стоял, вытянув шею, и прислушивался к чему-то.

— Опять пила? — спросил он неуверенно.— Или мне кажется?

— Тебе показалось...

— Да! — Он нервно и смущенно усмехнулся.— Теперь будет пила! А там, за Днепром, мне все шаги чудились... Все казалось мне: у меня за спиной — шаги... Да, так о чем же я? — сморщил он лоб.

— Ты постарел, Павлик! — вдруг заметила Настя.— Ты теперь старый-старый...

— Да, восемнадцать лет.

— Больше! Тебе больше.

— Да, больше,— согласился он.— Семнадцать с половиной лет и полгода под немцем. Да, так о чем же я? Да! Остался один. Один, наедине со своей душой.— Он усмехнулся.— Один! А я никогда раньше не был один. В кино мы и то ходили коллективно, помнишь?

— Помню.

— А тут я — один, и много дорог передо мною. Да не дорог — пусть тропинок, тем выбирать трудней. И я должен был сам выбрать.

— Выбрать? — спросила она.

— Да, выбрать. А что?

— Ничего... Ты говори...

— Видишь, там, за Днепром, журналы выходят. По-русски и по-украинскн. Брошюры. Газеты. В них расписывается всеми колерами райская жнзнь в Германии. Германия называется Европой, а вы, мол, русские,— азиаты, и вы Европы не видели и не знаете. И не смеете судить. И каждый день в этих газетах оплевывалось самое святое, что было у нас с тобой... И я читал... Понимаешь?

Она молчала и внимательно смотрела на него.

— Я все читал. Одно за другнм. Я глотал это, как яд, и говорил: попробуй, отрави мою душу! Ну? И, проглотив, отбрасывал прочь. Не яд — рвотное. Тошннт.— Он сплюнул.— Но были и другне брошюрки. Похитрей. Они были написаны... как бы тебе объяснить?.. шепотком. Понима-

ешь? Вкрадчивым таким шепотком, в самое ухо... Они и о социализме шептали. Очень туманно, чуть слышно, но все-таки! И больше всего о культуре. Заманчивое слово! Да? Или об украинской нации. Или о миссии молодежи. И в этих брошюрах нашему брату, русскому молодому человеку, даже льстили. И это я читал. И над этим сам один думал... Я не поседел? — вдруг спросил он.

— Нет... Не видно...

— И мать говорит: «Нет! Это у тебя волосы выгорели». Но заплакала все-таки... Да, так о журналах... Еще были журналы литературные. Там можно было тиснуть стихи и не на политическую тему. А так, ни о чем... Понимаешь?

— Нет,— сказала Настя.

Он засмеялся.

— И я не понимаю. Но, говорят, можно. Ну, о синем небе, о голубых глазах. Ни о чем. Некоторые писали. И кушали. А я голодал. Зверски голодал я, Настя, и рассказать даже трудно, как! Картофельная шелуха была для меня пиром. А помойки... Знаешь, Настя, я теперь уважаю помойки. Чрево Парижа! А со стен мне кричали плакаты: «Молодой человек! Тебя ждет Германия!» А петлюровские клубы распахивали двери: «Молодой человек! Иди веселись, танцуй и забудь, что у тебя душа в крови!» А желудок урчал: «Пиши стихи в журнал, ну хоть ни о чем, и кушай!»

— А душа? — тихо спросила Настя.

— Что душа?

— А душа что говорила тебе?

— О душе потом. Я хочу только сказать, что надо было выбирать. И я выбирал. Я, как вожжи, взял в руки все эти дороги, дорожки, тропинки — стал разбирать. Куда мне коня моего дернуть. И вдруг оказалось, что дорог всего две. Тропинок, тупичков много, а дорог, Настя, только две. И я,— сказал он тихо,— я выбрал.

— Что же ты выбрал, Павлик? — чуть слышно спросила она.

— Я скажу... Но сперва ты вспомни: я был один. И вокруг меня волчья жизнь. И зверски голодал я. И душа, и морда в крови. И шаги за спиною. И все, что я считал святым, оплевывалось каждый день. И где-то далеко-далеко Красная Армия, и даже неизвестно, есть ли она еще или нет... И я выбрал,— сказал он, не глядя на Настю, тихо и проникновенно: — большевизм, Россию, комсомол.

Настя вдруг радостно и облегченно вздохнула.

— Павлик! — закричала она.— До чего же ты подлый,

Павлик! Можно ли так рассказывать? Я бог знает что уж думала о тебе.

— Только я теперь,— торопливо сказал он,— не такой комсомолец, каким раньше был. Я теперь такой комсомолец, который за свои убеждения умереть не побоится. Ты понимаешь, да?

— Да.

— И если бы теперь меня пригласили повесткой в их редакцию,— усмехнулся он,— я бы знал, что делать.

Он взял ее руки в свои и заглянул в глаза.

— Вот тебе, Настя, и вся повесть о моих скитаниях. А ты? Теперь ты расскажи. Чем ты мучилась, как ты выбирала, искала?

— А мне и рассказать нечего,— усмехнулась она.— Где мне о таком думать! Это ты у нас в классе был самым умным, еще тебя девочки философом дразнили. А я обыкновенная девушка. Я просто живу, как совесть велит.

— Совесть! Хорошее слово,— сказал он, усмехаясь.— Жаль, нам редко говорили его.

— А зачем его говорить? Совесть надо иметь, а говорить о ней не надо...

Он посмотрел на нее нежно, внимательно.

— А ты тоже стала старше, Настя,— сказал он.

— Старая!

— Нет. Но ты все была девочка. А сейчас девочек нет...

— Да, нету...

— Я тебе много нежных слов нес, Настенька! — тихо проговорил он.— Сколько есть в языке — сколько нес, да еще много сам выдумал.

— Не надо! — испуганно сказала она.

— Я их так бережно нес, чтобы не пролить, не обронить на дороге.

— Не надо! — снова попросила она и закрыла лицо руками.

— Не надо? — грустно усмехнулся он.— Хорошо, я не буду.— И он покорно опустил руки.

— Сейчас о своем счастье не надо думать...— прошептала она.— Стыдно.

— А о любви?

— И о любви... Не надо. Я и так знаю.

— А я?

— И ты знаешь.

— Настя! — рванулся он к ней.

— Не иадо! — строго остановила она.— Сейчас не надо. Потом.

— Потом? — горько засмеялся он.— Да будет ли оно для иас, это «потом».

— Будет! Будет, Павлик!

— Хорошо! — сказал он обижеиио.— Я ие буду. Я ведь только потому и хотел сказать тебе о... любви, что эта встреча у нас: здравствуй и прощай. Ухожу я.

— Уходишь?

— Да. Завтра.

Она ничего ие спросила, только сердце вдруг защемило...

— Я к иашим решил пробираться, Настя,— тихо сказал он.— Мне восемнадцать, я уж могу драться.

Сияя гордостью, ои посмотрел иа нее и спросил:

— Правильио?

— Да-да,— иерешительно ответила оиа.— Правильио... Так легче.

— Легче? — удивился ои. Ои не такого ждал ответа.

— Да, легче. Там дерутся в открытую, а если умирают — так среди своих.

Ои рассердился:

— А как же ииаче? Иначе как?

— Как мы деремся,— коротко ответила Настя.

— Кто — вы?

— Подпольщики,— тихо прошептала оиа.

Ои удивлеиио посмотрел иа иее.

— А подполье есть? Есть? — спросил ои шепотом.

— Есть,— пожала она плечами и, посмотрев иа иего, покачала головой: — А ты, Павлик, всю Украииу прошел и ии партизан, ии подпольщиков ие встретил?

Он опустил голову.

— Я ведь рассказывал тебе,— сказал ои, оправдываясь.— Я искал, мучился, выбирал...

— А они дрались и умирали,— тихо докончила Настя. И вздохиула: — Эх, Павлик!

Он молчал, ие подымая головы.

Потом ои спросил осторожио и тихо, все так же ие глядя иа Настю:

— А мие к вам... можио?

Она радостио улыбиулась.

— Коиечио, Павлик.

— Ты веришь мие?

— Как же не верить,— просто ответила она.— Ведь я же тебе сказала: люблю...

9

Тарас возвращался в родной город... Он торопился. Три месяца не был он дома и вестей оттуда не имел. Живы ли еще домашние, целы ли?

Где-то в пути и новый, сорок третий год встретил. Заря занималась алая, кровавая... «Кровавый будет год! — покачал головой Тарас.— Кровью покорены, кровью и освободимся».

Трудны теперь стали дороги, которыми он шел. Настоящего снега все не было, и осенняя грязь застыла мерзлыми кочками, идти было тяжело. Хорошо, что захватил с собой для обмена меховой пиджак: обменять не пришлось, зато самому пригодился.

Тарас торопился. Тащил он семье мешок зерна да немного картошки — все, что сумел добыть в разоренных селах. Но главное, нес радостные вести домой. Может быть, знают они, а может, и не знают. Закупоренно живут... Вот он и расскажет им, торжественно и неторопливо, что у немцев под Сталинградом неустойка вышла. И есть слух: ударили наши на Дону. Крепко ударили.

Он узнал об этом от людей на большой дороге, здесь вести разносятся быстро. Подтвердили и те, к кому зашел он по Степановым адресам. Да и у самого Тараса глаза есть. Большая дорога — как открытая карта, ее только надо уметь читать. «Ишь заметались немцы, забегали!..»— злорадно примечал Тарас.

Как-то ночуя в селе, услышал он голоса и суету на дворе. Встал, вышел. Весь двор был полон полицейскими. Они суетились и галдели подле брички, и Тарас догадался: удирают. Он прислушался. «Господа, господа! — надрывался один.— Надо начальника подождать. Он прикажет».—«Да чего там! — кричал другой.— Нет, господа, поехали».—«Да нельзя же, господа!» Только и слышно было на все лады: «Господа! Господа!» И Тарас не выдержал и расхохотался.

— Господа-то господа! — сказал он, лукаво прищуриваясь.— А товарищи... догоняют! А?

Эту весть он и нес домой как самое дорогое: наши погнали немцев.

Вот придет он домой, соберет своих и скажет: «Поздравляю вас, семья моя! Идут наши!» И посмотрит на Андрея.

Обязательно посмотрит. Ничего не скажет, а посмотрит. Пусть опустит голову сын.

А потом призовет к себе Настю. Сперва выпорет... Ну, это так, для слова сказано. Пороть он, конечно, не будет, а отругать — отругает. «От отца,— скажет он ей,— ничего нельзя таить: ни жениха, ни дела». А отругав, скажет строго: «Приказал тебе, Настя, славный наш партейный секретарь, а мой сын, а тебе он — брат, Степан Яценко, беспрекословно приказал тебе свести и меня к верным людям, о которых тебе известно. Ну, веди!»

А уж потом обойдет стариков. Всех, кто жив еще, кто еще дышит. С каждым поговорит отдельно, осторожно, как Степан учил. Но слова каждому скажет свои.

Скажет: «В одиночку-то мы все честные... Только честность свою в сундуке хороним, как невеста приданое. Нет, ты честность свою на стол клади, в борьбу кидай!»

Но вот и город уже недалеко... Его еще не видно, он скрыт туманом, но сердце уж чует его, торопит... Вот и трубы заводские показались.

Тарас остановился и снял шапку.

Многотрубный город — как большой корабль. Трубы, трубы, трубы... Сейчас они мертвы, и дым не волнуется ни над одной, а бывало, Тарас различал каждый дымок, знал каждый гудок по голосу.

— Доживу! — сказал он, сжимая кулак.— Доживу! Задымят, как прежде. Ничего. Доживу!

И он толкнул свою тачку вперед.

Расступились перед Тарасом окраины, побежали вниз к центру улицы. Каждый камень здесь знаком Тарасу. Каждая крыша. Он растроганно глядел на знакомые улицы.

— Все как было! — обрадованно улыбнулся он.— Все как было. Как не может чужеземец душу нашу переменить, так не может он и города наши и обычаи наши переделать на свое. Все как было...

И только этого не было — виселицы. Тарас невольно остановился.

Много виселиц было на его пути, мог бы и привыкнуть. Но к виселице привыкнуть нельзя.

На этой виселице висела девушка. Тоненькая, худенькая, словно подросток. Девичья головка ее беспомощно свесилась на плечо и застыла.

Тарас шагнул ближе, всмотрелся и вдруг закричал так страшно, что камни мостовой должны были б задрожать.

— Настя! — и грохнулся на мостовую без чувств.

...Он очнулся дома в постели, над ним склонилась заплаканное, сморщенное лицо жены.

— Мать! — тихо позвал он.— Что же ты дочку-то? Дочку-то?..

Она припала к его груди и заплакала.

Он провел рукой по ее седым волосам.

— Молчи, мать, молчи! — сказал он чуть слышно.— Насте слез не надо,— и разрыдался сам.

Павлик стоял у дверей, опустив голову,— плакать он уже не мог. Это он нашел и привез на тачке Тараса. Он узнал его по страшному крику: «Настя!» Он и сам в первый день кричал так.

А плакать он уже не мог. Два дня простоял он у виселицы, подле Насти. Его никто не гнал, немцам теперь было не до него. Он смотрел в синее лицо Насти, в ее глаза, подернутые тонкой пленкой смерти, казалось ему: Настя с ним разговаривает. Она всегда была молчаливая. Она всегда умела разговаривать молча. «Ты отомстишь за меня, Павлик, правда?»— спрашивала она. «Правда! — шептал он.— Научи, как отомстить за тебя, чтобы ты довольна была!» Она молчала. Только чуть насмешливо кривился ее скорбный рот. Она встретила смерть гордо. Она палачам смеялась в лицо, а Павлику казалось: это она над беспомощностью его смеется. «Только не стихами, Павлик. Стихов не надо!»

— Доченька! Доченька моя! — причитала бабка Евфросинья.— За что они тебя, невинную! Не украла, не обидела...

— Молчи, мать, молчи,— тихо шептал Тарас.— Настю не обижай.

— Хоть похоронить бы дали! — плакала Евфросинья.— Поцеловать глазки ее синие... Обмыть...

— Молчи, мать, молчи! Не такие поминки Насте надо.

— За все отомстят,— тихо сказал Павлик.— Только научите как, чтоб она довольна была.

— Это кто? — спросил Тарас, показывая на Павлика.

— Это Настин товарищ,— сказала Антонина.— Он и привез вас домой.

— Мне моей жизни не жалко,— взволнованно сказал Павлик.— Только что ни подберу — все для Насти мало. Ведь она такая была... такая...

— За нее сыны мои отомстят! — проговорил Тарас.— Народ отомстит, не забудет! — Он вдруг что-то вспомнил и обвел глазами столпившихся у постели людей, словно кого-

то искал.— Где Андрей? — спросил он, хмуря брови.— Что ж его в нашем горе нету?

— Андрей? Андрея нет...— прошептала Антонина и вдруг заплакала.

— А где же он?

— Ушел Андрей... Вскоре после вас и ушел.

— Куда?

— Не сказал. Только приказал: «Передайте отцу — он обо мне еще услышит».

— Та-ак! — сказал Тарас.— Один я! — Он взглянул на заплаканных женщин.— Что ж вы меня в постель уложили? Мне сейчас лежать нельзя. Пустите.

Он встал и медленно разогнул спину.

— Палку мою дайте...— глухо сказал он.— Мне теперь без палки... будет трудно.

Ему подали палку, и, опираясь на нее, он пошел через всю комнату к Павлику.

— Как тебя зовут? — спросил он, останавливаясь перед ним.

— Павел.

Тарас долго и молча глядел на него. Потом тихо произнес:

— Проведешь меня к верным людям... Насти нет, ты меня поведешь. Ничего. Кровью покорены мы, кровью и помстимся. Ничего. Ничего...

На другой день Тарас пошел к Назару. Он нашел его лежащим в белой рубахе под иконами.

— Ты это что, Назар? — испуганно спросил он.

Сосед медленно повернул к нему лицо.

— А-а, Тарас! — бледно улыбнулся он.— Вовремя! Застал.

Тарас сел у постели и осторожно взглянул на Назара. Был сейчас сосед тих и светел, словно от него отлетело уже все земное и покинули его обычная суетливость и суесловие. Он уже простился с землей. Дел у него тут не осталось.

— Нехорошо, Назар! — укоризненно покачал головой Тарас.— Плохое ты время выбрал.

— Не я выбирал. Смерть за мной повестку прислала.

— А ты не иди! Не покоряйся!

— Смерть не Гитлер, ей не покоряться нельзя,— кротко возразил Назар и вздохнул: — О твоем горе слышал, сосед. Всех они казнят, супостаты. Кого быстрой мукой казнят, а вот нас — медленной...

— Нельзя тебе помирать, Назар! — снова сказал Тарас.— Я к тебе с делом пришел.

— Я дела кончил,— тихо прошептал Назар.— В том прости меня, сосед.

Они оба замолчали и задумались. «Вот и пожито на земле много,— удивленно думал Тарас,— и корни пущены, а смотри — уходит человек с земли легко, будто и не жил. Что ж, она, смерть? Что ж ее бояться? Умирать легко — жить, выходит, труднее!»

— В чем грешен я перед тобой, сосед,— с тихой торжественностью произнес Назар,— в чем обидел или оскорбил — прости Христа ради, не осуди!

— Бог простит! — ответил Тарас.— А у меня на тебя, сосед, за сердцем ничего нету.

— В том спасибо!

Они опять помолчали.

— Бог? — сказал Назар.— Перед ним, ежели есть он, у меня грехов много. Налипло, по земле-то шествуя, как к колесам грязи... Ну, в том я ему сам ответ дам. Ежели есть он. А нету — черви не взыщут, простят...— и он перевел дух.— Суетен был, корыстолюбив и злоязычен. Закона не соблюдал, в том пусть баба моя мне простит, и люди...— он опять перевел дух и закончил: — А перед родной землей на мне греха нет.

— Нету, Назар,— сказал Тарас,— это все люди знают.

— Придут наши... Ты им скажи, Тарас.

— Скажу! Скажу!

— Так и скажи: жил Назар Горовой непокоренный и умер не покорясь.

— Скажу, сосед. Это скажу!

— А что гранат я в немцев не кидал,— сказал он тихо, виновато,— в том пусть простят мне... Стар... Да и гранат у меня не было...

Вдруг страшной силы взрыв потряс домик. Задребезжали стекла. Посыпалась штукатурка с потолка.

— И умереть не дадут спокойно,— огорченно вздохнул Назар.

Взрывы следовали теперь один за другим. Домик Назара скрипел и стонал на все голоса, все доски в нем дрожали...

Вбежал запыхавшийся Ленька и крикнул:

— Ты здесь, дедушка? Немцы город рвут!

— Что такое? — не понял Тарас.

— Взрывают город немцы! — крикнул Ленька.— Уходят!

— Как уходят?

Тарас схватил свою палку и бросился вслед за Ленькой.

— А не давать им уходить! — крикнул он на ходу.

Он побежал по улице, барабаня палкой в ставни и крича:

— Эй, выходи, народ! Эй, немцы уходят! Не дадим же им уйти! Эй, выходи, мужчины!

Подле него уже собрались люди.

— Та нехай уходят! — крикнул кто-то из толпы.— Мы ж их не звали! Ну и черт с ними, и слава богу!

— Чего ты хочешь, Тарас?

— Не дадим уйти фашистам! — кричал он.— Перебьем их тут!

— Без нас перебьют, Тарас!.. Мы ж не военные люди. Нас это не касается.

— Как не касается? — заревел Тарас.— Как это нас не касается? А кого ж? Фашисты целые уйдут — вновь заявятся нас топтать, детей наших вешать. Не дадим им уйти! В землю их! В землю!

Он побежал, размахивая палкой, в город, Ленька рядом с ним. Отовсюду уже бежали рабочие, многие с оружием, бог весть откуда попавшим к ним.

С автоматом в руке и гранатами бежал и Павлик. Пробегая мимо виселицы, он оглянулся на Настю. В сумерках не видно было ее лица, только скорбный силуэт синел в озаренном пламенем пожаров небе, но Павлик знал теперь, что Настя благословляет его на бой и смерть.

— Эх, жаль, ружья нет! — горестно крикнул Тарас на бегу.— Эх, ружья, жаль, нету, Ленька!

Они вбежали в центр города, на площадь, еще дымившуюся после взрывов, и сквозь дым и гарь, сквозь тучи кирпичной пыли, сквозь черное пламя, жадно лизавшее камни, увидел Тарас свой город... Дома, вздыбленные в ужасе, скорчившиеся, смертельно раненные, охваченные пожаром, падающие на его глазах грудою черного камня...

Тарас остановился, потрясенный, подавленный новым горем.

— О-о-о! — простонал он, хватаясь рукой за сердце. Что они сделали с городом! Что они сделали, варвары, с сердцем Тараса! Вчера он увидел на виселице синий труп своей девочки, сейчас на костре перед ним корчился его город...

А сквозь дым тайком, как воры, пробирались отступающие гитлеровцы. Их машины сгрудились среди развалин

улицы, наползали одна на другую, в панике бегали механики и солдаты, из кабин высовывались офицеры и грозили кому-то пистолетами...

Тарас увидел их.

— Вот они! — закричал он, показывая на немцев пальцем.— Вот они! Люди, видите их? Бейте же! Бейте их!

И он поднял над головой свою суковатую стариковскую палку. Был он страшен сейчас, грозен с этой палкой в руках, седой, без шапки, озаренный пламенем горящего города...

— Дедушка! — услышал он голос Леньки.— Вот оружие, дедушка! Бери!

Тарас обернулся на голос. Ленька склонился над чем-то.

— Иди, дедушка, бери!

Тарас подбежал и увидел труп немца и оружие при нем.

— Кто его? — хрипло спросил Тарас.

— Кто-то из наших... заводских... Сейчас пробежали тут. Слышь, дедушка, стреляют!

— Ага! — зло захохотал Тарас.— Так, так! Давай и мы, Ленька, как люди! Давай,— он склонился, поднял автомат и гранатную сумку.

— А! — сказал он с досадой.— Жаль, не выучился я, как ее, черта, кидают гранату...

— Я знаю, дедушка! — торопливо отозвался Ленька.— Дай покажу!

— На, Ленька, кидай! Кидай, внучек! Кидай, прошу я тебя! А я их из автомата.

Ленька размахнулся, зажмурился и швырнул гранату в гущу немецких машин. Раздался взрыв и затем сразу же крики, стоны, беспорядочные выстрелы...

— Кидай, внучек, кидай! Завыли? Кидай, я тебе говорю! — Но тут он почувствовал, что его что-то ударило в бок, обожгло.— О-о-о! — тихо простонал он и повалился наземь...

— Дедушка! — кинулся к нему Ленька...

— Ничего... ничего... ранило... Ты кидай, Ленька! Кидай, прошу я тебя!..

А дома, в Каменном Броде, бледные женщины сидели за запертыми ставнями и при каждом взрыве вздрагивали и крестились.

— Господи, господи! — шептала бабка Евфросинья.— Защити старого и малого, от смерти укрой...

— И Андрея! И Андрея тоже! — просила Антонина.— Где б он ни был, что бы ни делал — спаси, господи, раба твоего Андрея и грехи его прости.

10

Андрей шел домой.

Он снова шел домой, но теперь не робко, не тропинкой, не в крестьянской свитке, тайком, как беглец,— а широкой дорогой боев и наступлений, в армейской шинели.

Где-то у Богучар добрался он наконец до наших войск; он сразу сказал командиру, что хочет опять драться. Он сказал еще, что был в плену и что ему надо искупить свою вину перед отцом и армией и вину эту он сам знает. Он хотел еще прибавить, что не с голыми руками пришел к ним, что, пробиваясь сюда, он и в одиночку и с товарищами не раз нападал на обозы отступающих немцев и бил их, и немало набил. Но, взглянув на суровое, покрытое черной копотью боя лицо командира, ничего не сказал. Что сказать им, стоявшим насмерть под Сталинградом, чем ему перед ними хвастаться? Он был должен сейчас, как они, быть весь в крови и копоти, и чтоб от полушубка пар шел, и на рубахе соль выступала от солдатского труда и пота, и на сапогах снег и грязь всех дорог, от Волги до Дона. Что ж он, чистенький, стоит перед ними, воинами? Ему, беглому солдату, перед ними стыдно.

Андрея долго и строго допрашивали в особом отделе, но не так строго, как он сам много раз допрашивал себя.

Он бы так спросил: «В чем вина твоя, Андрей, перед родиной? — В том вина моя, что я смерти убоялся.— А еще в чем? — А еще в том, что я веру потерял.— Отчего же случилось так, Андрей? — Оттого, что душа у меня была бедная...— А теперь не боишься смерти? — А теперь не боюсь.— Где ж ты смертного страха лишился, Андрей? — В рабстве. Рабство горше смерти.— И там же веру нашел? — Нет. Нашел ненависть. Она веры крепче.— Чего ж ты хочешь теперь, Андрей? — Оружия прошу. И места в строю, товарищ.— Зачем тебе оружие, Андрей? Чтоб прощение отца заслужить? — Мне его прощения мало.— Чтоб вину свою перед родиной искупить? — Мне и этого мало. Для одного боя хватит. А я к вам на все бои пришел.— Чтоб ненависть свою насытить? — Ее насытить нельзя. Она — смертная.— Зачем же тебе оружие, Андрей? — Чтоб до конца драться! До победы! На меньшем я не помирюсь».

Так его не допрашивали в особом отделе. А может, и спрашивали, но другими словами, и, внимательно поглядев на него — так, словно в душу глянули,— повернули, и направили в строй. Тут ему дали оружие. Он взял винтовку.

Оиа была совсем такая же, как н та, брошенная нм в кукурузу, когда сдавался иемцам,— обыкиовеииая русская, трехлииейиая, с золотистой ложей н граиеиым штыком. Отчего же раньше была она для Аидрея бесполезным дрекольем, а сейчас показалась грозиой силой?

Аидрея поставили в строй. Но прежде чем повестн пополиеиие в огоиь, командир роты вывел иовичков иа поле вчерашнего боя и сказал:

— Смотрите!..

И оии посмотрели...

Чериым сиегом было покрыто поле, все истоптаиное и истерзаиное, сладковатый запах пороха еще витал над ним. А повсюду, как дохлые кони, валялись иемецкие таики, обгоревшие и исковеркаииые; иемецкие пушки покорио подымали вверх стволы, как плеииые подымают руки; скрючившись и окочеиев, лежали околевшие враги, грязные рыжие волосы уже примерзли к земле, в раздавлеииых касках застыл лед.

От всего поля, перепахаиного трактором войиы, от повержениого в прах вражьего железа, от могучих следов гусеиид иаших таиков исходил густой н терпкий запах победы, и, глотнув его полной грудью, Аидрей подумал с завистью: «А меия тут не было!»

Ои сейчас завидовал тем иеизвестным солдатам — может, землякам,— что прошли здесь вчера со славою, громя немцев иа Доиу, гоия их иа запад.

— Смотрите! — строго сказал комаидир.— Смотрите, как иаши люди бьются! Как русские бьют.

— Что ж! — ответнл Аидрей, кусая губы.— Дайте н нам подраться.

— Драки просим! Дракн! — нетерпеливо закричали новички. Их будоражил вид и запах победного поля, и нх кровь зажигалась пламеием победы.

— Будет вам драка! — усмехнувшнсь, сказал комаиднр.

На заре оии пошли в бой. Оии влились в великий поток иаших войск, иаступающих на врага, н Аидрею посчастливилось участвовать в том зиаменитом зимнем марше от Волгн до Диепра, о котором еще будут писать историки.

Они шли иа запад... Навстречу попадались длииные, уиылые колоииы плеиных иемцев. Немцы шли в зеленых шииелях с оборваииыми хлястиками, без ремней, уже ие солдаты — плеиные. И Аидрей злорадио усмехался, глядя на иих: «Ага! Вот вы, иепобедимые, ну-ну!» — н яростнее кидался в огоиь. Бывалые бойцы учнли его ремеслу воииа.

Они знали теперь то, чего не знал он и знать не мог,— он был в плену, а они в боях. Бой — лучшая академия. Зато он мог научить их ненависти. Он рассказывал им о городах, стонущих под сапогом врага. Он говорил им:

— Если б знали вы, с какой тоской и верой ждут нас там, вы дрались бы еще злее!

Когда Миллерово было взято дивизией, где служил Андрей, и села окрест очистились от немцев, Андрей показал товарищам:

— Вот здесь был лагерь смерти!

Он стоял, опаленный боем, окрыленный победой, и глядел на этот пустырь. Еще болталась ржавая колючая проволока... Снег лежал на ней... Он глядел на нее и чуял, как снова закипает в нем жажда мести. Ее ничем не утолить. Под напором советских войск один за другим освобождались города, но Андрею всего было мало. Со смертной тоской ждут, может, об Андрее и не думают,— отец проклял, жена не простила. Ждут штыка русского. Но вот штык в Андреевых руках. Ждут его или не ждут — это он несет им свободу. Это он через дым и кровь рвется домой.

Может, живой и не дойдет. Он не боялся смерти. Он не отлеживался от нее. Командиру отделения, сержанту Власову, он сказал в первый же день:

— Если убьют, сообщите родным. Адресок — вот он!

Но он знал: теперь и мертвый он пойдет домой.

Ему повезло. Он дошел живой. Ранним утром — еще темно было, и город утонул в сером мраке — ворвался он одним из первых в город. На знакомых, родных улицах докалывал он последних фашистов.

Ему разрешили забежать домой. Он не постучал в окошко, вошел стремительно, рванул дверь.

— Андрей! — закричала Антонина и бросилась к нему.

Он осторожно обнял ее. Он боялся быть нежным. Пламя боя горело на его черных щеках.

— Папка пришел! — радостно завопила Марийка.— Папка наш совсем пришел!

— Не совсем, дочка! — ответил он.— Мне еще далеко идти.

Он обвел семью жадным, нетерпеливым взором, но отца не нашел.

— Где отец? — хрипло спросил он.

— Он у себя лежит. Раненый,— торопливо ответила Антонина.

Андрей вошел к отцу.

Тарас лежал в постели и на Андрея взглянул, как тому показалось, насмешливо.

— А-а, Андрей! — усмехаясь, протянул старик.

Андрей со злостью сорвал что-то с груди и, зажав в кулаке, сказал отцу:

— Здравствуйте, тату! И прощайте! А это,— он швырнул что-то на стол; тускло звякнуло оно, как полтинник,— жив ли буду или погибну — берегите! — и выбежал прочь.

Тарас слабым голосом позвал жену:

— Покажи, что он там кинул?

Бабка Евфросинья подала ему медаль.

— «За отвагу»,— прочел Тарас и опять усмехнулся: — Убежал? Гордый черт, моей крови!

Вбежал Ленька, как всегда запыхавшийся, как всегда — с новостью.

— Дедушка! — закричал он.— Наши идут и идут!.. Полный город войск! И танки!

— Эх! — слабым голосом произнес Тарас.— Вот беда, не могу я встать! Раненый... А то вывел бы я все свое семейство перед бойцами и самому старшему командиру сказал бы: «Могу тебе, командир, прямо в глаза смотреть и всем твоим воинам. У моей фамилии душа перед родиной чистая...»

— А Насти нет! — прошептала бабка Евфросинья.— И от Никифора сколько месяцев вестей не было.

Никифор, младший сын Тараса, еще осенью был ранен под Сталинградом. Его увезли в госпиталь, за Волгу. Врач, оперировавший его, сказал:

— Жить вы будете, а воевать уж нет — не придется.

Никифор заскучал и спросил врача:

— А что ж я теперь делать буду?

— Что до войны делали?

— Рабочий я. Металлист. Монтажник,— ответил Никифор.— Домны я строил, например...

— Ну, и очень хорошо! — обрадовался врач.— Будете домны строить!

Рядом с Никифором в палате лежало много бойцов. Соседом по койке был примечательный человек, сержант Алексей Куликов, родом пензенский.

— Я, брат,— сказал он Никифору,— в среднем ремонте не первый раз. Починят — и опять пойду. На мне рана заживает быстро.

И действительно, поразительно быстро заживали его раны, даже врачи удивлялись. А Куликов усмехался:

— У нас, у Куликовых, шкура крепкая, к лечению способная. Деды без дохтуров жили, сами раны заживляли. А у меня какие раны? Так, ранения!..

Никифору все было неловко, что с ним здесь так нянчатся. Соскребли с него окопную грязь, отмыли, отбелили и положили в чистые простыни, тихого и просветленного. Никогда и никто так не заботился о его теле. Это тело любила мать и, бывало, ласкали бабы, и сам он двадцать семь лет таскал его по грешной земле; нынче, дырявое, все побитое осколками, оно досталось чужим людям — врачам да сестрам. И вот, гляди-тко, они ухаживают за ним так, точно он драгоценный сосуд. Даже совестно.

Справа от него лежал боец без руки. Он все, бывало, ворчал, недовольный и едой, и врачами, и палатой. Алексей Куликов слушал-слушал да и спросил однажды:

— Ты что, мил человек, шорник сам?

— Это почему же шорник? — опешил тот.

— Али сапожник? — допытывался Куликов.— Который человек сидячего ремесла, тот поворчать любит. Работа скучная, одинокая — он и развлекает сам себя.

— Ложечник я! — сердито закричал ворчун.— Ложки делал! Вот кто я, если желательно знать. Может, я первый ложечник был на всею Горьковскую область. Может, моей ложкой вся Расея щи хлебала. А теперь меня самого с ложки кормят, руки нет.

— Какой руки-то нет? Правой, что ли? — спросил Никифор.

— А хотя бы и левой! Лучше б мне герман обе ноги оторвал. На что мне ноги? Не плясун. А без руки — куда же я?

— Была бы правая...— утешительно сказал Куликов.— А без левой и приспособиться можно.

Но на безрукого добрые слова действовали мало, ворчал он по-прежнему.

— Чего меня лечите? — бурчал он на врачей.— Меня лечить без надобности. Отвоевался я. Вы Куликова лечите, он еще гож для боя.

— Ну что ж! — отвечали врачи.— Куликова вылечим для боя, а тебя для жизни.

Эти слова поразили Никифора, он их слышал. И Куликова, видно, поразили они. Вечером Куликов подошел к соседу и склонился над ним.

— Для жизни тебя лечат! — проговорил он.— Слышь, сосед, слова какие? Для жизни! Хорошие слова. Возьми, к

примеру, машину, трактор. Переломай ты ему гусеницы, дифер, кузов — что получится? Лом. Не машина это будет, а железный лом. Только всего. А у человека руки оторви, ноги выдерни — он человек был, человеком и остался Слышь? Потому в нем душа есть, разум,— он совсем близко наклонился к соседу и дышал ему в лицо.— Не расстраивайся, земляк, слышь? Живи. Очень я тебя прошу Живи для жизни.

И, слыша эти слова, задумался о жизни и Никифор Горько было ему, что не доведется больше покурить с ребятами махорки в блиндаже, не бежать ему вместе, рядом, в атаку, когда смертельно весело грохочет артиллерийский гром, смерть жарко дышит в лицо, и от ее дыхания жутко, и весело, и буйно на душе... Он теперь знал, зачем остался жив на земле, зачем будет жить долго и плодоносно: для большой жизни остался он жить, для труда. Выписываясь из госпиталя, он долго тряс руку Куликова.

— Домой идешь? — спрашивал сержант.

— Вроде домой,— улыбаясь, отвечал Никифор.— Собственно, дом-то еще под немцем. Но предполагаю так: освободят! А? Как думаешь?

— Освободят! — уверенно отвечал Куликов.— Ну, иди А я еще за пулей схожу. Я еще драться не кончил.

— И я б... пошел...— смущенно сказал Никифор — Да вот костыли не пускают...

— Ничего, ничего! Иди домой! Без тебя управимся,— он опять потряс руку Никифора.— Домой идешь? Святое дело, брат! Все мы отвоюем — домой придем.

В эти дни наша армия, разбив немцев на Дону, гнала их донскими степями.

— На мой дом направление наши держат! — восклицал Никифор.— Как есть на мой дом, по курсу...

И он решил идти вслед за наступающей армией.

Попутные машины охотно брали его.

— Давай подвезем! Далеко? — спрашивали его шоферы.

— Оно и далеко и близко,— отвечал, пожимая плечами, Никифор.— Вообще-то оно близко, а поскольку не в наших руках — далеко. Ну, думаю, пока на костылях дошкандыбаю, возьмут, а?

— Раньше возьмут! — отвечали веселые шоферы.

— И я предполагаю, раньше. Торопиться надо.

Он торопился. Он шел и ехал по освобожденной земле.

ночевал в освобожденных селах. Его всюду пускали охотно, ему уступали лучшее место.

— Это не мне,— догадывался он,— это костылям моим. Это крови моей пролитой почет.

И он знал, что за это благодарить неловко, нельзя; вместо благодарности он рассказывал хозяевам о Сталинграде. Он говорил о Сталинграде и шоферам, подвозившим его, и бойцам, кормившим из своих котелков. Его слушали охотно,— и он, и его костыли уже принадлежали истории.

Но чем дальше шел на запад Никифор по освобожденной земле, тем все больше захватывали его другие заботы и мысли. Он видел: вставала земля из пепла, непокоренная земля, неистребимая жизнь.

В поселках бабы в голубой колер мазали хатки.

— Эй! — кричал он им.— Больно рано, бабоньки. До пасхи далеко.

— Та хай ему черт! — смеясь, отвечали бабы.— Гибельштрассе замазываем...— И они показывали ему на немецкие надписи на хатках: «Геббельсштрассе», «Герингштрассе»... Бабы с яростью замазывали немецкие следы.

В селах озабоченные мужики из-под снега выкапывали колхозное добро, из сокровенных ям доставали зерно — готовились к севу.

Хмурый мужик по-хозяйски прилаживал к плетню, вместо калитки, дверцу от немецкого автомобиля.

— Ты что ж это? — смеялся Никифор.— Трофеем обзавелся в хозяйстве?

— А что ж? — спокойно пожал плечами мужик.— Они у меня весь двор разорили...

В Бельске Никифор увидел первый торгующий магазин — книжный. Все здания вокруг были сожжены и разрушены, книжный магазин уцелел чудом. В витрине вовсе не было стекла, но книги лежали аккуратными стопочками.

— Так покрадут же! Покрадут! — сказал продавцу Никифор.

— Не украдут! — убежденно ответил продавец.— Народ под немцем жил, на их посулы не льстился. Что ж его теперь сомнением обижать? Нашему народу верить можно.

Как на праздник выходили люди на постройку мостов и дорог: они стосковались по свободному труду, как по хлебу. Подле обугленных заводских корпусов собирались рабочие. На шахтах, не ожидая приказа, откачивали воду. Мастера суетились на кладбищах паровозов, рылись в снегу, по-хозяйски подбирали болты и гайки. Женщины сносили в

школы мебель. Из лесов и балок возвращались партизаны. Все было охвачено жаждой восстановления. Земля подымалась из пепла. Люди не хотели ждать, не могли ждать,— в поле, где вчера прошел бой, сегодня выходили колхозники.

И Никифор почувствовал, как у него начинают нетерпеливо гудеть руки. «Эх, работы сколько! Работы!»— жадно думал он, глядя на мертвые цехи.

Это не усталый, больной солдат шел с фронта — это шел строитель. Жадный. Нетерпеливый.

Перед ним лежала земля, как и он,— тяжело раненная. Над шахтами горько склонялись разрушенные копры. Железные мосты вскарабкивались на деревянные костыли. Всюду кровоточили раны.

— Ничего! — говорил Никифор.— Ничего, брат, живем! Эх, работы сколько! Работы! А костыли что ж? Костыли скоро долой! И задымим, будьте любезны!

Потому что такова жизнь: раны заживают. Они заживают...

1943

ВАСИЛИЙ ИЛЬЕНКОВ

ФЕТИС ЗЯБЛИКОВ

Рассказ

Их было двенадцать, и сидели они в холодном колхозном амбаре под огромным висячим замком. Было слышно, как снег скрипит под тяжелыми башмаками часового.

— Видать, крепко забирает мороз,— сказал Фетис, нарушив молчание, тяготившее всех.

А молчали потому, что все думали об одном и том же. Утром их спросили:

— Кто из вас коммунисты?

Они промолчали.

— Ну что ж, подумайте,— сказал офицер,— выразительно кладя руку на кобуру парабеллума.

Коммунистов в деревне было двое: председатель колхоза Заботкин и парторг Вавилыч. Заботкин был казнен немцами утром на площади, на глазах всех колхозников.

Заботкин был человеком могучего сложения — лошадь поднимал; подлезет под нее, крякнет и поднимет на крутых своих плечах, а лошадь только ногами в воздухе перебирает. Накануне Заботкин вывихнул ногу, вытаскивая грузовик из грязи, и не мог уйти вместе со всеми в леса.

Его привязали за ноги к одному танку, а руки прикрутили к другому и погнали танки в разные стороны. Заботкин успел только крикнуть:

— Прощайте, братцы!

И все запомнили на всю жизнь глаза его — большие, черные, бездонные и такие строгие, что Фетис подумал: этот человек спросит с тебя даже мертвый. И каждому казалось, что Заботкин смотрит именно на него — вот так бывает, когда смотришь на портрет: глаза направлены прямо на тебя, пойдешь влево — и глаза за тобой идут неотступно влево И Фетис решил, что Заботкин смотрит именно на него, смотрит строго, укоризненно, как бы говоря: «Эх, Фе-

тис, Фетис! Если бы ты вовремя подал мне доску под колеса грузовика, а не чесал в затылке, то я ногу не вывихнул бы, в плен к немцам не попал бы и не терпел бы сейчас страшных мук...»

И, припомнив все это, Фетис сказал вслух:

— Доску-то... Доску надо бы...

Все одиннадцать посмотрели на Фетиса с недоумением. А парторг Вавилыч переложил свои костыли. Встретив угрюмый взгляд парторга, Фетис подумал: «И этот на меня злобится». Вавилыч и в самом деле смотрел на него неодобрительно, хмуря свои длинные черные брови, и Фетис потупился, думая: «И что за сила у этого калеки?! Посмотреть — в чем только душа держится, а как глянет на тебя — конец, сдавайся!»

Вавилыч обезножел два года назад. Везли весной семена с элеватора, а дорога уже испортилась, в лощинах напирала вода. Лошади провалились под лед, а мешки с драгоценными семенами какой-то редкой пшеницы потонули. Вот тогда Вавилыч прыгнул в ледяную воду и давай вытаскивать мешки. За ним полезли и другие, только Фетис оставался на берегу...

С тех пор Вавилыч ходит на костылях, но в глазах его появилась вот эта непререкаемая сила, и Фетису боязно глядеть в эти глаза.

Вавилыч сидел, сгорбившись, и напряженно думал. Он не сомневался, что немцы казнят и его, и вот теперь было важно установить: что же хорошего сделал он на земле — член коммунистической партии? Какие слова на прощанье скажут ему в душе своей вот эти одиннадцать человек? Найдется ли среди них такой, который укажет на него врагу?

И он мысленно стал проверять всех, кто был с ним в амбаре. Он хорошо узнал их за пятнадцать лет и видел, что лежит на сердце у каждого,— вот так видны мелкие камешки на дне светлого озера в полуденный час.

Маленький, высохший дед Данила зябко потирал руками босые ноги — немцы сняли с него валенки. Ноги у старика были тоненькие, волосатые, с узлами лиловых вен. Сын его, Тимоша, командовал на фронте батареей. Ни одного слова не выжмут немцы из человека, сын которого защищает родину.

Умрет, но стойко выдержит все муки и брагидир-полевод Максим Савельевич. Когда Вавилыч вербовал его в партию, он сказал:

— Недостоин... У коммуниста должна быть душа какая? Чтоб в нее все человечество влезло... Я уж лучше насчет урожая хлопотать буду.

Он очень обрадовался, когда услышал, что есть такие — непартийные большевики.

— Вот это про меня сказано!

Рядом с ним сидит Иван Турлычкин — существо безличное, полчеловека, но он — кум Максима Савельевича и пойдет за ним в огонь и в воду.

Вот так — одного за другим — перебрал Вавилыч десять человек и никого из них не мог заподозрить в подлости, на которую рассчитывал враг. Оставался последний — Фетис Зябликов.

Лохматый, угрюмый этот человек был всегда недоволен всеми и всем. Какое бы дело ни затевалось в колхозе, он мрачно говорил:

— Опять карман выворачивай!

Когда Вавилыч приходил к нему в дом, с трудом волоча свои ноги, Фетис встречал его неприветливо:

— На аэропланты просить пришел! Или на негров?

Колхозный парторг в речах своих любил говорить: «Вот так живем мы. Теперь посмотрим на негров...» А Фетис, бывало, ему непременно крикнет: «Нам на них смотреть нечего!» — и пойдет к дверям. Тогда Вавилыч приходил к нему в дом, читал ему лекции о государстве, об обязанности гражданина, и в конце концов Фетис подписывался на заем, причем тут же вынимал из кармана засаленный кожаный кошелек и долго пересчитывал бумажки, поплевывая на пальцы.

— Ты, Фетис, как свиль березовая,— сказал ему как-то Вавилыч, выйдя из терпения.

Свиль — это нарост на березе, все слои в нем перекручены, перевиты между собой, как нити в запутанном клубке, и такой он крепкий, что ни пилой его не возьмешь, ни топором.

«Так и не обтесал его за пятнадцать лет»,— с горечью подумал Вавилыч, разглядывая Фетиса.

А Фетис подсаживался то к одному, то к другому и что-то нашептывал, низко надвинув на глаза баранью шапку. Вот он прильнул к уху Максима Савельевича, а тот мотает головой, отмахивается от него руками.

— Уйди! — сурово сказал он.— Ишь чего придумал. Это слышали все. «Уговаривает выдать меня»,— подумал Вавилыч и, приготовившись к неизбежному, так сказал самому

себе: «Ну, что же, Вавилыч, держи ответ за все, что сделал ты в этой деревне за пятнадцать лет».

А сделано было немало. Построили светлый скотный двор, сделали пристройку к школе под квартиры учителей Вырыли пруд и обсадили его ветлами. Правда, ветлы обломаны — никак не приучишь женщин к культуре. Идут встречать коров, и каждая сломает по прутику... Что еще? Горбатый мост через речку навели... А сколько нужно было усилий, чтобы уговорить всех строить этот мост!

Вавилыч еще раз оглядел сидящих в амбаре и вдруг припомнил, что все эти люди были до него совсем не такими. Пятнадцать лет назад Максим Савельевич побил деда Данилу за то, что тот поднял его яблоко, переброшенное ветром через забор на огород Данилы, а на другой год дед Данила убил курицу Максима Савельевича, перелетевшую к нему в огород. А потом эти же люди сообща возводили горбатый мост и упрекали того, кто не напоил вовремя колхозную лошадь. Теперь все они — члены богатой, дружной семьи. И Вавилыч почувствовал радость, что все это — дело его рук, его сердца, что все это построено в душах людских ценой его собственного здоровья, что он с честью выполнил долг коммуниста...

И, опершись на костыли, поскрипывая ими, он подошел к двери, чтобы в узкую щель в последний раз окинуть взором дорогой ему мир.

Фетис сидел возле двери и, увидев, что Вавилыч направляется в его сторону, съежился и отпрянул в угол. Здесь было темно. Отсюда он следил за парторгом, и на лице его было удивление, как тогда, когда Вавилыч первым прыгнул в ледяную воду, а он стоял на берегу, не понимая, как это можно лезть в реку и, стоя по грудь среди льдин, вытаскивать мешки с зерном, которое принадлежит не тебе одному.

Вавилыч смотрел в щель, и лицо его было освещено каким-то внутренним светом; он улыбнулся, как улыбаются своему крохотному детенышу.

И когда Вавилыч отошел, Фетису страстно захотелось узнать, что такое видел парторг в узкую щель. Он припал к ней одним глазом и замер.

Над завеянной снегом крышей его дома поднималась верхушка березы. И крыша, и опушенная инеем береза, и конец высокого колодезного журавля были озарены золотисто-розовым светом. Это были лучи солнца, идущего на закат. Все это Фетис видел ежедневно, все было так же неизменно и неподвижно и в то же время все было ново, не-

узнаваемо. Снег на крыше искрился и переливался цветными огоньками. Он то вспыхивал, и тогда крышу охватывало оранжевое пламя, то тускнел и тогда становился лиловым, и вороньи следы-дорожки чернели, как вышивка на полотенце. Опущенные книзу длинные ветви березы висели, как золотые кисти, и вся она была точно красавица, накинувшая на плечи пуховую белую шаль... Вот так выходила на улицу Таня по праздникам, и все парни вились возле нее, вздыхая, гадая: кому достанется дочь Фетиса? Нет теперь Тани, нет ничего... Немцы увезли ее неизвестно куда.

И только теперь, глядя в щель, Фетис понял, что было у него все, что нужно для человеческого счастья. И он все смотрел и смотрел, не отрываясь от щели, тяжело дыша, словно поднимал большой груз.

Он почувствовал вдруг чей-то взгляд на себе, обернулся и встретился с глазами Вавилыча, и были они такие же огромные, черные, суровые, как у Заботкина в последний миг его жизни.

Визжал снег под башмаками немецкого часового, а Фетис все смотрел на щель и думал: «Мне бы в нее раньше глянуть... Вот недогадка...»

Потом он подошел к Вавилычу и, трогая его непривычными к ласке руками, проговорил:

— Озяб небось... Ну, ничего... Это ничего... На вот,— он протянул ему свои рукавицы.

Загремел замок. Немец закричал, открывая дверь, и сделал знак, чтобы все вышли.

Их поставили в ряд против школы. Все они смотрели на новую пристройку к школе, и каждый узнавал бревно, которое он обтесывал своим топором.

По ступенькам крыльца спустился офицер. Это был пожилой человек с холодными серыми глазами, с презрительной складкой губ.

— Коммунисты, выходить! — сказал он, закуривая папиросу.

Двенадцать человек стояли неподвижно, молча, а Фетис, отыскав глазами березу, смотрел на буграстый черный нарост на ее стволе, похожий издали на грачиное гнездо.

«Свиль... Ну и что ж? Свиль березовый крепче дуба»,— торопливо думал он, шевеля губами. И в этот момент до слуха его вновь донесся нетерпеливый крик:

— Коммунисты, выходить!

Фетис шагнул вперед и, глядя в холодные серые глаза, громко ответил:

— Есть такие!

Офицер вынул из кармана записную книжку.

— Фамилий?

Фетис широко открыл рот, втянул в себя морозный воздух и натужно, с хрипотой крикнул:

— Фетис Зябликов! Я!

Его окружили солдаты и отвели к стене школы. Он стоял, вытянувшись, сделавшись выше, плечистей, красивей. Стоял и смотрел на березу, где чернел нарост, похожий на грачиное гнездо.

В радостном изумлении глядели на него одиннадцать человек. А Максим Савельевич тихо сказал:

— Достоин.

1941

ФЕДОР ТИТОВ

КОММУНИСТ

Рассказ

Старшину Маркелова вечером вызвали к ротному: «Там пополнение пришло, Маркелыч!» В землянке у лейтенанта, забив ее втугую, жались пятеро солдат. Старшина, протискиваясь от дверей вперед, наметанным взглядом определил: из запасного полка, заморенные больно. Там харчи, известно, не фронтовые. Это ладно, но как одеты, бог ты мой! В потрепанных шинелишках, в ботинках с обмотками. А ведь уже зима силу набирает!

Маркелов мысленно послал «привет» старшине запасного полка: «Скареда несчастная, скупердяй!»

Ротный понимающе ухмыльнулся:

— Ничего, Маркелыч! Тряхни стариной, приодень женихов. Орлы, кажись, ничего, тертые...

«Было бы с чего трясти»,— расстроился Маркелов, забыв о том, что только что честил своего ни в чем не виноватого коллегу-запасника. «Пять полушубков и валенки тоже!»— ужаснулся он. Разумом он, конечно, уже расстался со своим неприкосновенным запасом, но по неистребимой «старшинской» скупости решил оттянуть это дело до утра. «В третьем взводе тепло, не замерзнут. Посмотрим еще, что за орлы — вороньи перья!»

Вышагивая впереди, Маркелов порой оглядывался на идущего следом солдата: тот как-то выделялся из всех пятерых. Все на нем: от растоптанных ботинок до новой шапки — сидело подгонисто! По пути на фронт он успел где-то запастись плащ-палаткой, совершенно новой, она еще гремела на нем, как железная. У четверых винтовки-«дудорги», у этого автомат, заботливо прикрываемый полой палатки. Ступал он бесшумно, по сторонам особо не глазел. «Был на переднем!»— решил Маркелов, проникаясь к солдату симпатией.

Но тот сам все испортил, когда, прошмыгнув через реди-

ну, они ввалились в землянку, выкопанную в самой чащобе леса. Вглядываясь круглыми въедливыми глазами в чадный полумрак землянки, небогато освещаемой двумя «катюшами» из пэтээровских гильз, солдат погладил прочный сосновый стояк у двери и, крутнув головой, хмыкнул:

— Хм! А ничего, окопались, добро. На зимовку, чать, залегли, а?

Старшине Маркелову это замечание пришлось не по нутру: землянки роты были его гордостью. Два дня и две ночи под зверским зимним дождем со снегом копали солдаты без останову, врубаясь прямо в бугор, не трогая растущих на бору замшелых елей.

Сколько крови себе и другим испортил старшина! А тут всякий неподобающие намеки будет делать!

— Ништо, завтра на смену в боевое охранение пошлю, там почуете зимовку...— Маркелов оборвал себя, сообразив, что не шибко это красиво: пугать новичков окопами.

— Вот тут свободные нары, отдыхайте!

Он показал на земляные нары у входа, рядом с огороженным драной брезентиной закутком для взводного Беркало, а взвод грудился посредине, поближе к буржуйке, у которой клевал носом дневальный. Запасники принялись раздеваться. Только тот, в плащ-палатке, не торопился. Помявшись, он посмотрел на Маркелова и не спросил — потребовал:

— А ужин?

Старшине доподлинно было известно, что запасники плотно заправлены на батальонной кухне — солдатский телеграф, слава аллаху, действовал исправно.

— Как ваша фамилия?

— Рядовой Петров, товарищ старшина,— выпрямился солдат.

— Так вот, товарищ Петров,— сказал Маркелов,— вот, дорогой рядовой Петров, запомните: два раза ужинать — оно и на фронте жирно будет. Берегите желудок!

— Хм! Не прошло — не надо,— беззлобно усмехнулся Петров,— не дорого платили. Однако от лишнего ужина еще никто не помер, товарищ старшина! Разрешите отдыхать?

— Валяй! Разговаривать, вижу, много любишь, Петров.

Маркелов чувствовал себя неправым и оттого еще больше раздражался. Надо бы нырнуть за брезент, в закуток взводного, но такого еще не бывало, чтобы последнее слово оставалось не за ним. И старшина угрюмо следил, как Пет-

ров неторопливо снимал плащ, шинель, оглаживал белесый чуб, предварительно плюнув в пятерню. Затем он прошел к печке, что-то рассматривая на дремлющем дневальном, принес оттуда коптилку. «Вот тип,— изумился Маркелов,— ведь без спросу!»

— На дневальном валенки, товарищ старшина! Ротный вам говорил...

Это было уже слишком.

— Ротный не говорил, а приказывал, товарищ Петров! Утром вы все получите, что вам положено.

Петров приподнял «катюшу», посмотрел на старшину и сжал губы:

— Есть, товарищ старшина!

Поставив коптилку на нары, солдат рывком хватил свой «сидор» («Великоват для «голодного запасника»,— отметил Маркелов), выкопал из него моток немецкого телефонного кабеля, шило, мигом свернул с ног обмотки и, сняв ботинки, старательно, очень уж старательно, стал кропать их. Старшина видел, как предупреждающе в бок тычут Петрова друзья, но он, не отзываясь, продолжал чинить обутку. Маркелов нырнул за занавес.

Здесь его заботами младшему лейтенанту Беркало был создан кой-какой уют: на деревянный, из жердей, топчан положена солома с хвоей, поверх — шинельного сукна старое одеяло. На стене — натуральная семилинейная керосиновая лампа, только без стекла. И даже столик устроен из снарядных ящиков. На нем лежали книги, о которых Маркелов до войны и слыхом не слыхал: толстые, в серьезных обложках. Беркало войну встретил студентом-первокурсником, и, как подозревал Маркелов, все эти Руссо и Кампанеллы служили ему вовсе пока не для приращения знаний, а для пускания пыли в глаза девчонкам из полковой санчасти. Иначе для чего же волочить за собой полпуда книг на фронте? Чтобы Беркало хоть раз читал их — не видно было.

Между прочим, Маркелов потому находился тут, что замещал временно взводного, а так его резиденция в первой роте. Беркало крупно не повезло — попал в полковой лазарет. И с чем? Стыдно сказать, чирьи замучили! Интересно, как с таким «ранением» он выглядит там на глазах военфельдшера Лары — тоже бывшей студентки, в которую, Маркелов это знал, Беркало был безумно влюблен.

Маркелов взвеселился, но за перегородкой не спали, слышен был голос дневального и чей-то негромкий смех.

И вдруг в землянке заиграла губная гармошка. Правда, чуть слышно, правда, мелодию «Коробейников», но за брезентом играла немецкая гармошка! Маркелов отступал с боями от Вильнюса и почти до Москвы, два раза был в окружении, ему ли не узнать эти звуки, от которых он сразу свирепел! Старшина вышел из своего угла.

Вокруг запасников сидело уже с десяток солдат взвода, почти все растрепанные спросонья. Играл, как и предполагал Маркелов, этот рядовой Петров. Закрыв глаза, он водил под своим крюком-носом никелированный пенал, перебирал сухими пальцами. Гармошка визгливо выводила русскую песню.

Маркелов рявкнул:

— Отбой был? Что это у вас, Петров?

Музыка оборвалась. Но Петров не испугался. Спокойно протянул гармошку Маркелову.

— Гармонь, товарищ старшина!

— Вы это называете гармонью?! Это немецкое, фашистское...

— Инструмент не может быть фашистским. Он инструмент, товарищ старшина! — назидательно сказал Петров.

— Много вы понимаете о себе, солдат! Без вас знаю, но...— Маркелов выдохся и печально закончил,— но если бы знали...

Петров растерянно посмотрел на старшину, повертел гармошку и сунул ее в мешок:

— Нельзя так нельзя... Эту штуку я от границы ношу, фрица-владельца вспоминаю: хороший был парень, на другой день войны к нам перебежал... Гармошка не раз нас выручала в окружении. Премся ночью через село, Руди-фриц марши наяривает — ни один патруль не прискребется... Убили его потом свои... Хотя какие они ему свои? Наш он...

— Немца жалко? — снова чувствуя, что говорит что-то не то, что надо, оборвал его Маркелов.— Сказано, отбой!

Ворочаясь на топчане взводного, старшина Маркелов долго не мог уснуть: наверху топал ногами озябший часовой, и промерзшая земля бухала, гудела...

— Товарищ старшина, вас лейтенант Мошканцев к себе требуют срочно!.. Маркелыч, очнись, ротный зовет!

Он потряс головой: снится, что ли! Нет, над ним стоял кто-то, дышал. Маркелов узнал связного комроты.

— Что, снова пополнение? — глупо спросил Маркелов.

— Мошкаицев от комбата пришел, лютый как тигра, н тебя срочно позвать велел...

— Ладио, дуй! Сейчас явлюсь!

— Ну, Маркелыч, везет тебе,— встретнл старшниу Мошканцев.— Идн сюда!

На столе у ротного лежала карта. Лейтенаит был чем-то взволнован, чаще обычного щнпал себя за ухо — была у него такая привычка.

— Беркало узнает — землю грызть будет,— продолжал командир роты, подталкнвая Маркелова к столу,— фурункулез, надо же! А тут такое серьезное дело! Высота «Огурец» тебе плешь не переела? — ткнул он пальцем в нстертую исчеркаиную карту.— И нам всем тоже. Возьмешь этот чертов «Огурец» к рассвету. Третьим взводом. Кровь с иосу, понял?

Маркелов поправнл шапку, екиуло сердце:

— Началось, товарнщ лейтенант?

— Миого знать — скоро стариться,— иахмурнлся Мошканцев, куснув губы,— твое дело «Огурец» взять, поиял?.. Маркелыч, старина, штука вся в том, что один попрешь. Никакой поддержкн не жди и не иадейся... Берн на арапа. Возьмешь — ие зарывайся, сидн там, понял?

— А если... ие возьму?

Лейтеиант промолчал, но так, что Маркелов понял: несчастиый тот «Огурец»— увал перед обороной роты, который и в самом деле до печенок надоел всем, спасу от фрнцев не было,— этот «Огурец» уже как бы отбнт у иемцев, и вопрос обсуждеиию не подлежит.

— А вы?

— А мы,— лейтеиант снова ткнул пальцем в карту,— мы будем сндеть и ждать манны небесной с твоего «Огурца»! — Его пальцы затем с снлой провелн два полукруга н замкнулн нх на селе, показанном за высотой.

— Все ясно.

— Тебе, Маркелыч, эту овощь проглотнть — раз плюнуть,— неуверенно усмехиулся ротиый.— Взвод я тебе даю, с пополненнем. А мог бы н поменьше. Подумаешь, «Огурец»! Мне вот населениый пуикт двумя взводами надо ухватнть, и тоже без пушек... В девять иоль-ноль быть там, на высоте.

Проглотив твердый комок, старшнна сказал:

— Будет взята. Или...

— Исключено! Никакнх «нлн»!

Тряхнув на прощанне Маркелова за плечн, Мошкан-

цев притянул его поближе и жестко выдохнул вполголоса:
— Не будешь в девять — пропала рота, понял?

«Весь взвод отдаю,— передразнил лейтенанта Маркелов, подняв солдат по тревоге.— Семнадцать тут да семеро в охранении. ...Двадцать четыре». Конечно, старшина Маркелов воевал не первый день, но боем руководить не приходилось. И взвод казался ему неправомерно ущемленным. «Хорошо еще запасники причитались к делу! — вспомнил он и спохватился: — Так и не одел ребят!»

— Ничего, товарищ старшина,— уловив взгляд Маркелова, брошенный на ботинки, сказал Петров хриплым спросонья голосом.— Легче так-то. А в случае чего прочего — валенки ваши уцелеют...— И улыбнулся: ладно, дескать, старшина, мы квиты, три к носу — все пройдет.

Маркелов без звука проглотил эту пилюлю.

Из землянки он вышел последним.

— До броска не греметь, того-этого, поняли? — предупредил он солдат и сердито плюнул, вспомнив ротного: «Навязал словечко!»

Одна-единственная звезда висела над заснеженным лесом. Под утро примораживало — снег под ногой скрипел. У землянки темнел часовой в тулупе. «Двадцать пятый!» — жарко обрадовался Маркелов, и к нему пришло спокойствие, словно этого невыспавшегося и уставшего солдата как раз не хватало для того, чтобы выполнить приказ командира роты. «Двадцать пять — это звучит! Все не двадцать четыре!»

И пока пробирались утоптанной тропой по лесу к окопам, пока он, Маркелов, проверял боевое охранение, ставил перед ним задачу, и даже когда уже лежал, изготовившись к прыжку, вглядываясь в надоевшие очертания высотки, действительно напоминавшей огромный огурец, брошенный богом или дьяволом перед лесом,— все это время зрело в нем предчувствие удачи. Зато когда откуда-то сбоку коротко рявкнул немецкий пулемет, прочистил глотку и принялся лаять захлебисто и зло, Маркелов, с ходу зарываясь в колючий снег, с обжигающей обидой догадался: «Прошляпили точку, растяпы...»

По ним лупили еще два пулемета, расположение которых давно было засечено и которые уже не могли бы особо повредить: до того, как эти пулеметчики всполошились, взвод успел нырнуть за гребень то ли канавы, то ли овражка, сбегающего с высоты в долину реки. Пули рвали воздух,

чмокал расплавленный свинец... Но если бы не тот, третий дзот!

Маркелов отгреб снег рукавицей, туго повернул голову: в каких-то полусотне метров прямо в лицо полыхало пламя. «Под носом не заметить фрицев, это надо облениться!»— ругал старшина наблюдателей. Правда, где-то таилась мыслишка, что ведь и сам он оползал тут всю опушку с термосами, но ни единого выстрела не слыхал с той стороны, откуда теперь хлестал свинцовой плетью пулемет.

А зимний медленный рассвет набирал силу: бледнело небо, стали видны кусты на опушке такого обжитого, такого надежного, спасительного леса. Но пути туда уже не было: качнись назад — те два пулемета получат хорошую работу. Зато сейчас неистовствовал тот, боковой.

Взвод лежал под огнем, распластанный на убой...

«Не так начал! — с поздним раскаянием соображал Маркелов.— Не всем бы сразу... Группу бы сперва в пять-шесть человек на подавление...»

Шумела в голове кровь, жар и холод поочередно охватывали старшину: «Покомандовал, убить мало... Что делать?»

Отогнул рукав шинели: секундная стрелка на часах бежала по-сумасшедшему. «Без четверти девять!» Ему стало казаться, что кое-кто из солдат уже буравит снег, оттягиваясь к лесу. «И назад не дойдут, всех порежет немец!»

С натугой снова глянул в сторону пулемета. Рядом, в двух шагах, лежал Петров. Легкий, сухой, он сжался в комок, хищно поводил своим крючковатым носом и начал разгребать снег перед собой. Маркелов подумал: «И чего это я взъелся вчера на него? Мужик-то ведь живет на свете поправильному и хочет, чтобы все кругом было по-правильному».

Взвод лежал уже вечность. Все висело на волоске: уже и Маркелову до жути захотелось хоть на метр-другой податься назад от этого увала, на котором плясала сама смерть из пуль, земли и снега.

Старшина скосил глаза на Петрова, и как током ударило: солдата на месте не было. «Где же он?!»

Но в тот же миг под ухом Маркелова хлопнула плащпалатка, и властный пронзительный голос перекрыл треск пулеметов и жидкие хлопки винтовок:

— Коммунисты, впере-ее-ед!

Маркелов сердцем ощутил жесткую корку партийного билета, и его, как взрывом, подняло с земли и бросило впе-

ред. Перед ним широкими черными крыльями летела через бугор знакомая плащ-палатка. Скрипнув зубами, старшина рванулся через гребень, кипящий пылью, и тут чем-то больно задело его за ногу, и он упал вниз, в ров. Испугаться Маркелов не успел, увидев: из-под снега торчит проволочная петля. «Вот не везет!» — чуть не заплакал Маркелов и свирепея от бешенства, полез прямо в гору, на плеск огня

Неожиданно он почувствовал: что-то изменилось. Маркелов оглянулся: на увале, там, где был тот, тайный, пулемет, из кустов валил желтый дым. Весь с снегу поднялся Петров, ухватил полу плащ-палатки и вытер нос. «Вот дает!» — восхитился старшина. Рядом с Петровым появились еще два солдата-запасника, и все трое, как провалились, исчезли с глаз Маркелова.

Он, припав к земле, снова огляделся. По угору, увязая в снегу, карабкались его солдаты. «И добро, и ладно, не надо останавливаться, не надо!» Он бросками преодолел самую крутизну, задыхаясь, чувствуя, как заходится дыхание, темнеет в глазах, распластался опять в снегу. Секунду лежал, набираясь сил. А его солдаты были совсем рядом. Он набрал полную грудь воздуха, надрываясь, закричал· «За мной!»

Начал подниматься, всем существом ощущая летящий навстречу свинец... Вовсю работали лобовые два пулемета врага. Но вот впереди Маркелова сильно хлопнули гранаты — рев пулеметов смолк. «Ура!» — в неизъяснимом восторге заорал Маркелов, перемахнул единым духом в немецкий окоп, обрушил приклад автомата на ошалевшего от страха фашиста, устремился вдоль траншеи. Сверху вдруг свалился Петров, обернулся к Маркелову посеревшим лицом:

— Не так, старшина!

Перед поворотом присел, швырнул гранату и почти следом за ней ринулся сам. За коленом окопа Маркелов увидел еще падающего фашиста (автомат падал отдельно), но Петрова уже не было. Где-то рядом звенел пронзительный голос:

— Давай, робяты, давай! Дава-ай!

...Злополучный «Огурец» был взят.

Когда напряжение боя спало, Маркелов оперся спиной о стену окопа и посмотрел на часы. Поднес руку к уху стучат. Пощелкал по циферблату, снова послушал — стучат! Секундная стрелка медленно ползла по кругу. «Без восьми девять. Всего семь минут... С ума сойти!»

— А ну, старшина, кончай командовать моим полком! — весело прогремел сзади голос взводного Беркало. Приплясывая от возбуждения, младший лейтенант нахлобучил Маркелову шапку на нос, тормошил его.— Ишь, не успеешь заболеть — они наступать кинулись! Этак ты из интендантов в генералы выскочишь! А кто кормить-поить нас будет?.. Удрал я из санчасти, слышишь?

Беркало оторвался от старшины и дико заорал:

— Маркелы-ы-ыч! Гляди-ии!

Почти у самого села, из-под речного обрыва поднялись солдаты. И тут же с другой стороны от дороги выросла еще цепь. Перекатами донеслось: «Ура-а-а!»

— Мошканцев пошел! — сказал старшина.

Беркало обернулся:

— Ослеп, да? Не только Мошканцев. На-ча-лось! Понял?

Маркелов глянул повыше. От красных домов железнодорожной станции, ныряя на ухабах, разбрызгивая перемешанный с черным дымом снег и посвечивая багровыми языками выхлопов, летели танки. В сизом туманном небе заиграли сполохи, и под синей кромкой дальнего леса вздыбились рваные тучи. Загремел гром. Откуда-то из снегов вырвались лыжники в белых маскировочных халатах, устремились вслед за танками, огибавшими село.

— Неужели началось?! — произнес Маркелов, и неожиданно к горлу подступили слезы.

Подбежал связной Мошканцева.

— Лейтенант велел барахло перевозить в деревню, понял?

— Да понял, чего уж не понять! — огрызнулся Маркелов.

— Взвод, слушай мою команду! — закричал Беркало.— Вперед!

— Куда? — вскинулся Маркелов.— Приказано закрепиться и сидеть!

Беркало только рукой махнул, оскалился, вырвал из кармана полушубка пистолет, мельком глянул на старшину. Уже вымахивая из окопа, бросил:

— Башкой надо работать!

И побежал вниз, размахивая наганом. За ним — солдаты. Маркелов считал: «Раз, два, три... пять... девять... четырнадцать, семнадцать... семнадцать!»

Заныло сердце: «Покомандовал, называется! Восьмеро погибло. И если бы не Петров... А где он?»

Маркелов обеспокоенно вглядывался в удалявшийся под гору взвод. Солдаты уже не бежали, а шли — по ним никто не стрелял. Только Беркало порывался на рысь, призывно размахивал рукой. Ни на одном солдате не было плащ-палатки. «Потерял! Потерял плащ-палатку-то»,— унимал тревогу старшина.

Пробираясь по траншее, Маркелов наткнулся на солдата-запасника. Он сидел на корточках, покачивая забинтованную руку. Рядом лежал убитый. Маркелова качнуло: из-под зеленой плащ-палатки, рдеющей пятнами крови, торчали разбитые ботинки, прошитые синим кабелем.

— Миной, гады, накрыли! — скрежетнул зубами раненый солдат.

Маркелов отогнул край плаща. Заострившийся в предсмертных судорогах нос, прикрытые веки, черные губы. И вовсе уж не так молод был Петров, как вечером показалось Маркелову: путаница морщин пролегла на щеках...

— Билет партийный надо бы взять,— попросил Маркелов.

— Какой билет? Беспартийный был Андрюха!

И солдат протянул Маркелову залитый кровью листок бумаги — красное на голубом. Это было заявление рядового А. И. Петрова в партию, написанное еще месяц назад.

— Давно хотел он стать коммунистом,— продолжал солдат.— Сперва ранили и выбыл с фронта. А пришел... и вот...

На измятом снегу метались багровые блики от горящей деревни. Где-то уже далеко ворочался, то затихая, то грозно вспыхивая вновь, бой. А в ушах Маркелова звучал пронзительно властный, победный зов:

— Ко-о-мму-нисты, вперед!

...Под вечер, переправив хозяйство роты в деревню, Маркелов вернулся на высоту. На самом взлобке нашел могилу пятерых солдат — трое из восьми оказались ранеными. Старшина ровно отесал топором сосновый столбик, написал имена погибших. Помялся, огляделся вокруг и решительно вывел красным суриком под фамилией Петрова: «Коммунист».

1969

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

ТРЕТИЙ АДЪЮТАНТ

Рассказ

Комиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.

В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.

Если приходилось идти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним.

Если тот выдерживал испытание — вечером комиссар знакомился с ним еще раз.

— Как фамилия?— вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом.

Удивленный командир называл свою фамилию.

— А моя — Корнев,— говорил тогда комиссар, протягивая руку.— Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы.

В первую же неделю после прибытия в дивизию у него убили двух адъютантов.

Первый струсил и вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет.

Вечером возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы

Второй адъютант был ранен навылет в грудь во время атаки Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди за бруствером лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга.

Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная

Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой.

Неизвестно почему, немцы не стреляли. Они начали стрелять, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав под мышкой, повернулся.

Ему стреляли в спину. Две пули попали в флягу. Он зажал дырки пальцами и пошел дальше, неся флягу в вытянутых руках.

Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов.

— Напоите!

— А вдруг дошли бы, а она пустая?— заинтересованно спросил кто-то.

— А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную!— сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар.

Он часто делал вещи, которые, в сущности, ему, комиссару дивизии, делать было не нужно. Но вспоминал о том, что это не нужно, только потом, уже сделав. Тогда он сердился на себя и на тех, кто напоминал ему о его поступке.

Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя.

Через пятнадцать минут он неожиданно окрикнул командира батальона.

— Ну, отправили в санбат?

— Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать до темна.

— До темна он умрет.— И комиссар отвернулся, считая разговор оконченным.

Через пять минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю.

А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя, и для других. Люди умирают — на то и война. Но храбрые умирают реже.

Красноармейцы шли смело, не припадая к земле. Они не забывали, что несут раненого. И именно поэтому Корнев верил, что они дойдут.

Ночью, по дороге в штаб, комиссар заехал в санбат.

— Ну как, поправляется, вылечили?— спросил он хирурга.

Корневу казалось, что на войне все можно и должно

делать одинаково быстро — доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых.

И когда хирург сказал Корневу, что адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.

— Вы понимаете, что вы говорите?— тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и привлекая к себе.— Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите — умер. Зачем же они его несли?

Про то, как он ходил под огнем за водой, Корнев промолчал.

Хирург пожал плечами.

— И потом,— заметив это движение, добавил комиссар,— он ведь был смелый парень, он должен был выжить. Да, да, должен,— сердито повторил он.— Плохо работаете.

И, не простившись, пошел к машине.

Хирург смотрел ему вслед. Конечно, комиссар был неправ. Логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки была в его словах такая сила и убежденность, что хирургу на минуту показалось, что действительно смелые не должны умирать, а если они все-таки умирают, то это значит, что он плохо работает.

— Ерунда!— сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли.

Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному кочковатому полю.

— Михаил Львович,— вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном, своему помощнику, вышедшему на крыльцо покурить.— Надо будет утром вынести дальше вперед еще два перевязочных пункта с врачами...

Комиссар добрался до штаба только к рассвету. Он был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. В этом были свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди от него уходили сердитыми. Он считал, что человек все может. И, ругая их, он никогда не ругал человека за то, что тот не смог, а всегда только за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал многое, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся,— лучше думают. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно только главное. Именно таким образом он добивался того, что в дивизии всегда чувствовалось его присут-

ствие. Побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания.

Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью, но ничего, ничего, пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не жалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы горевать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет случайностью. А пока — смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И все-таки ему было грустно, и он как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового.

Третий адъютант был маленький, светловолосый и голубоглазый паренек, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт.

Когда в первый же день знакомства ему пришлось идти рядом с комиссаром вперед, в батальон, по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не отставал от комиссара. Он шел рядом: таков был долг адъютанта. Кроме того, этот большой, грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым: если идти рядом с ним, то ничего не может случиться.

Когда мины начали рваться особенно часто и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться.

Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше.

— Вперед, вперед,— говорил он ворчливо,— нечего нам тут дожидаться.

Почти у самых окопов их «взяли в вилку». Одна мина разорвалась впереди, другая сзади.

Комиссар встал, отряхиваясь.

— Вот видите,— сказал он, на ходу показывая на маленькую воронку сзади.— Если бы мы с вами струсили да ждали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрей вперед идти.

— Ну, а если бы мы еще быстрей шли, так...— и адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них.

— Ничего подобного,— сказал комиссар.— Они уже по нас сюда били — это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целили и опять был бы недолет.

Адъютант невольно улыбнулся: комиссар, конечно, шутил. Но лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вера в этого человека, вера, возникающая на войне мгновенно и остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние сто шагов он шел рядом с комиссаром совсем тесно, локоть к локтю.

Так состоялось их первое знакомство.

Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то снова становились вязкими и непроходимыми.

Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои.

Была темная осенняя южная ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал у железной печки свои забрызганные грязью сапоги.

Сегодня утром был тяжело ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком раненую руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог это делать, доставляло ему удовольствие: пальцы снова начинали его слушаться.

— Ну, хорошо, упрямый вы человек,— продолжал он, видимо, прерванный разговор,— ну, пусть Холодилина убили потому, что он боялся, но генерал-то ведь был храбрым человеком — как, по-вашему?

— Не был, а есть. И он выживет,— сказал комиссар и отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.

Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов:

— Ну, выживет, хорошо — едва ли, но хорошо. Но ведь Миронов не выживет, и Заводчиков не выживет, и Гавриленко не выживет. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?

— У меня нет теории,— резко сказал комиссар.— Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароют, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых. Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией — воля

ваша. Теория, которая помогает людям не бояться,— хорошая теория.

В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда он только что вернулся, все порядке, только ранен командир батальона капитан Поляков.

— Кто вместо него?— спросил комиссар.

— Лейтенант Васильев из пятой роты.

— А кто же в пятой роте?

— Какой-то сержант.

Комиссар на минуту задумался.

— Сильно замерзли?— спросил он адъютанта.

— По правде говоря — сильно.

— Выпейте водки.

Комиссар налил из чайника полстакана водки, и лейтенант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил.

— А теперь поезжайте обратно,— сказал комиссар.— Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте.

Адъютант встал. Он застегнул крючок шинели медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть за притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.

— Хороший парень,— сказал комиссар, проводив его глазами.— Вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы, а они верят, что меня пуля не возьмет. А это самое главное. Верно, полковник?

Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый от природы человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.

— Да,— сказал он.

В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел забрать обратно всю начерченную на ней землю.

Утром комиссар сам выехал на полуостров. Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили

передовую пятую роту — всю, до последнего человека.

Комиссару в течение дня пришлось делать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, и трижды водил их в атаку.

Тронутый первыми заморозками гремучий песок был изрыт воронками и залит кровью. Гитлеровцы были убиты или взяты в плен. Многие, пытавшиеся добраться до своего берега вплавь, потонули в ледяной зимней воде.

Бросив уже ненужную винтовку с окровавленным черным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Но мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы пятой роты. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не выдержал, валялись на открытом поле в мерзлой зимней степи: они бежали, и здесь их настигли пули. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица: он угадывал, как боец вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не примиряла его с трусостью. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти они, как и при жизни, будут отделены друг от друга.

Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен, он должен был быть где-то здесь, среди погибших.

Наконец сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди на гимнастерке запеклась кровь.

Комиссар долго стоял над ним, потом, подозвав одного из командиров, приказал ему приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана — пулевая или штыковая.

Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех замотанные бинты. Его сердили не столько рана и боль, сколько самый факт, что он был ранен. Он, которого считали в дивизии неуязвимым! Рана была некстати, ее скорее надо было залечить и забыть.

Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье.

— Штыковая,— сказал он, подняв голову, и снова склонился над адъютантом и надолго, на целую минуту, припал к неподвижному телу.

Когда он поднялся, на лице его было удивление.

— Еще дышит,— сказал он.

— Дышит?

Комиссар ничем не выдал своего волнения. Он еще не знал, надо ли волноваться за этого, оказавшегося живым, человека. Он лежал здесь, далеко позади окопов, он, наверное, бежал. И все-таки — нет! Не может быть. Он очень редко ошибался в людях.

— Двое сюда!— резко приказал он.— На руки и быстрей до перевязочного пункта. Может быть, выживет.

И он, повернувшись, пошел дальше по полю.

«Выживет или нет?»— этот вопрос у него путался с другим — как себя вел в бою, почему оказался сзади всех, в поле. И невольно оба вопроса связывались в одно: если все хорошо, если вел себя храбро,— значит, выживет, непременно выживет.

И когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый и голубоглазый, похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил его, а только молча протянул для пожатия левую, здоровую руку.

— А я ведь так тогда и не дошел до пятой роты,— сказал адъютант,— застрял на переправе, еще шагов сто оставалось, когда...

— Знаю,— прервал его комиссар,— все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец, рад, что выжили.

Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою перевязанную руку, грустно сказал:

— А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц не заживает. А у него — третий. Так и правим дивизией — двумя руками. Он правой, а я левой...

январь 1942

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

МАРТ — АПРЕЛЬ

Рассказ

Изодранный комбинезон, прогоревший во время ночевок у костра, свободно болтался на капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от въевшейся грязи морщины делали лицо капитана старческим.

В марте он со специальным заданием прыгнул с парашютом в тылу врага, и теперь, когда снег стаял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу, в набухших водой валенках было очень тяжело.

Первое время он шел только ночью, днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.

Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром снегу, голодными глазами косился он на белые стволы берез, кору которых — он знал — можно истолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус.

Размышляя в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к спутнику, достойному и мужественному.

«Принимая во внимание чрезвычайное обстоятельство,— думал капитан,— вы можете выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переменить обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше неважное положение. И, как говорится, вопль брюха заглушает в вас голос рассудка».

Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, пока не уставал или, как он признавался себе, на начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, добрый, душевный, все понимает

Лишь изредка капитан грубо прерывал его. Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжни, оттаявшей и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищей. Капитан в отряде считался человеком малосимпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов.

Возвращаясь после задания, капитан старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:

— Побриться бы надо, а то щеки как у ежа,— и поспешно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке; к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек,— говорили о нем,— скучный.

Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья была уничтожена фашистами.

Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебая суп и держа перед глазами письмо, он сообщил:

— Жена пишет.

Все переглянулись. Многие разочарованно, потому что хотелось верить: капитан потому такой нелюдимый, что его постигло несчастье. А несчастья, оказывается, никакого и не было...

...Голый и мокрый лес. Топкая почва, ямы, заполненные грязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливо брести по этим одичавшим местам одинокому, усталому, измученному человеку.

Но капитан умышленно выбирал эти дикие места, где встреча с немцами менее вероятна. И чем более заброшенной и забытой выглядела земля, тем поступь капитана была увереннее.

Вот только голод начинал мучить. Капитан временами плохо видел. Он останавливался, тер глаза и, когда это не помогало, бил себя кулаком в шерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообращение.

Спускаясь в балку, капитан наклонился к крохотному водопаду, стекавшему с ледяной бахромы откоса, и стал

пить воду, ощущая тошнотный, престный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хотелось,— пить только для того, чтобы заполнить пустоту в тоскующем желудке.

Вечерело. Тощие тени ложились на мокрый снег. Стало холодно. Лужи застывали, и лед громко хрустел под ногами. Мокрые ветки обмерзли, когда он отводил их рукой, они звенели. И как ни пытался капитан идти бесшумно, каждый шаг сопровождался хрустом и звоном.

Взошла луна. Лес засверкал. Бесчисленные сосульки и ледяные лужи, отражая лунный свет, горели холодным огнем.

Где-то в этом квадрате должен был находиться радист. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам? Вероятно, радист выкопал себе логовище, не менее тайное, чем нора у зверя.

Не будет же он ходить и кричать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?!»

Капитан шел в чаще, озаренной ярким светом; валенки его от ночного холода стали тяжелыми и твердыми, как каменные тумбы.

Он злился на радиста, которого так трудно разыскать, но еще больше разозлился бы, если бы радиста удалось обнаружить сразу.

Запнувшись о валежник, погребенный под заскорузлым снегом, капитан упал. И когда с трудом подымался, упираясь руками в снег, за спиной его раздался металлический щелчок пистолета.

— Хальт!— сказали ему тихо.— Хальт!

Но капитан повел себя странно. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шепотом, ему приказали на немецком языке поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:

— Если человек лежит, при чем тут «хальт»? Нужно было сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув его в шапку,— тогда выстрел будет глухой, тихий. А кроме того, немец кричит «хальт» громко, чтобы услышал сосед и, в случае чего, пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку...— И капитан поднялся.

Пароль произнес он одними губами. Когда получил отзыв, кивнул головой и, взяв на предохранитель, сунул в карман синий «зауэр».

— А пистолетик все-таки в руке держали!

Капитан сердито посмотрел на радиста.

— Ты что ж думал, только на твою мудрость буду рассчитывать?— И нетерпеливо потребовал:— Давай показывай, где тут твое помещение!

— Вы за мной,— сказал радист, стоя на коленях в неестественной позе,— а я поползу.

— Зачем ползти? В лесу спокойно.

— Нога у меня обморожена,— тихо объяснил радист,— болит очень.

Капитан недовольно поморщился и пошел вслед за ползущим человеком. Потом он насмешливо спросил:

— Ты что ж, босиком бегал?

— Болтанка сильная была, когда прыгали. У меня валенок и слетел... еще в воздухе.

— Хорош! Как это ты еще штаны не потерял.— И добавил:— Выбирайся теперь с тобой отсюда!

Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:

— Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сам доберусь.

— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Засекли фашисты рацию, понятно? — И вдруг, наклонившись, капитан тревожно спросил:— Постой, фамилия как твоя? Лицо что-то знакомое.

— Михайлова.

— Лихо!— пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно.— Ну ладно, ничего, как-нибудь разберемся.— Потом вежливо осведомился:— Может, вам помочь?

Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по самые плечи в снег.

Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайлову у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе, высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо поднятой головой и ярким, большим, резко очерченным ртом, от которого трудно отвести взгляд.

У нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза. Неприятная не потому, что видеть такие глаза противно,— напротив, большие, внимательные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших зрачков, они были очень хороши. Но плохо то, что пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.

А потом эта манера носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их за воротник шинели!

Сколько раз говорил капитан:

— Подберите ваши волосы. Военная форма — это не маскарадный костюм.

Правда, занималась Михайловна старательно. Оставаясь после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами, довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.

Начальник курсов сделал замечание капитану за то, что он уделяет Михайловой так мало внимания.

— Ведь она же хорошая девушка.

— Хорошая для семейной жизни.— И неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ полковник, нашему брату никаких лишних крючков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственноручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожалеет себя! Разве можно себя, такую...— И капитан сбился.

Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радисток.

Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые остекленные веранды, красивые дорожки внутри, яркая лакированная мебель — вся эта обстановка, не потерявшая еще всей прелести мирной жизни, располагала по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно было подумать, что это обычный канун выходного дня в солидном подмосковном доме отдыха.

Стучали зенитки, и белое пламя прожекторов копалось в небе своими негнущимися щупальцами, но об этом можно было не думать.

После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной, с поджатыми ногами и с книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленной на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой девушки с красивым спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее, тонкие и белые,— все это не вязалось с техникой подрывного дела или нанесением по тырсе ударов ножом с ручкой, обтянутой резиной.

Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала

н вытягнвалась, как это и полагается прн появленнн командира.

Жавороиков, иебрежио кивиул, проходил мнмо. Этот снльиый человек с красным, сухим лицом спортсмена, правда, иемного усталым н грустиым, был жестокнм н требовательным к себе самому.

Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он нмел на это право. Холодиой болью застыла в сердце капитаиа смерть его жеиы и ребеика: их раздавили в пограиничиом поселке двадцать второго июия железиымн лапами иемецкие таики.

Капнтаи молчал о своем горе. Он ие хотел, чтобы его несчастье служило побудительиой причииой его бесстрашия. Поэтому ои и обмаиывал своих товарищей. Ои сказал себе: «Я такой же, как все. Я должен драться спокойио». Всю свою жизнениую силу ои сосредоточнл иа борьбе с врагом. Такнх людей, скорбящих н сильных, иемало на войне.

Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточил враг твое сердце!

И вот сейчас, шагая за ползущей радисткой, капитан старался ие размышлять нн о чем, что могло бы помешать ему обдумать свое поведеине. Ои голоден, слаб, измучен длииным переходом. Конечно, Мнхайлова рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что и он никуда не годнтся.

Сказать все? Ну, иет! Лучше заставнть ее как-нибудь подтяиуться, а там он соберется с силами, и, может быть, как-нибудь удастся...

В отвесном скате балкн весеиние воды промылн нечто вроде нниши. Жесткие кории деревьев свисали над головой, то тощие, как шпагат, то перекрученные и жилистые, похожие иа пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал иишу снаружи. Дием свет проникал сюда, как в стеклянную оранжерею. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратиый ящик рации, спальный мешок, лыжи, прислонеииые к стене.

— Уютная пещерка,— заметил капитан. И, похлопав рукой по подстилке, сказал:— Садитесь н разувайтесь.

— Что?— гиевио и удивленно спросила девушка.

— Разувайтесь. Я должен знать, куда вы годнтесь с такой иогой.

— Вы не доктор. И потом...

— Знаете,— сказал капитан,— договоримся с самого начала, меньше разговаривайте.

— Ой, больно!

— Не пищите,— сказал капитан, ощупывая ступню ее, вспухшую, обтянутую глянцевитой синей кожей.

— Да я же не могу больше терпеть.

— Ладно, потерпите,— сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.

— Мне не нужно вашего шарфа.

— Грязный носок лучше?

— Он чистый.

— Знаете,— снова повторил капитан,— не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?

— Нет.

Капитан поднял руку, оторвал кусок тонкого корня, перевязал им ногу, обмотанную шарфом, и объявил:

— Хорошо держится!

Потом он вытащил лыжи наружу и что-то долго мастерил, орудуя ножом. Вернулся, взял рацию и сказал:

— Можно ехать.

— Вы хотите тащить меня на лыжах?

— Я этого, положим, не хочу, но приходится.

— Ну что же, у меня другого выхода нет.

— Вот это правильно,— согласился капитан.— Кстати, у вас пожевать чего-нибудь найдется?

— Вот,— сказала она и вытащила из кармана поломанный сухарь.

— Маловато.

— Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней...

— Понятно,— сказал капитан.— Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.

— Можете оставить ваш шоколад себе.

— А я угощать и не собираюсь.— И капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рации.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее — на санях, сделанных из лыж), помогала ему, отталкиваясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что было трудно дышать.

«Если я ей скажу, что никуда не гожусь, она растеряется. Если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно».

Капитан посмотрел на часы и сказал:

— Не худо бы выпить горячего.

Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет невидимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полузарядом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветви, поднес спичку.

Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер жестяную банку, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернув его в платок, и, положив на пень, стал бить по сухарю черенком ножа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.

— Вкусно?— спросила девушка.

— Почти как кофе «Здоровье»,— сказал капитан и протянул ей банку с коричневой жижей.

— Я потерплю, не надо,— сказала девушка.

— Вы у меня еще натерпитесь,— сказал капитан.— А пока не морочьте мне голову всякими штучками, пейте.

К вечеру ему удалось убить старого грача.

— Вы будете есть ворону?— спросила девушка.

— Это не ворона, а грач,— сказал капитан.

Он зажарил птицу на костре.

— Хотите?— предложил он половину птицы девушке.

— Ни за что!— с отвращением сказала она.

Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:

— Пожалуй, это будет справедливо,— и съел всю птицу.

Закурив, он повеселел и спросил:

— Ну, как нога?

— Мне кажется, я смогла бы пройти немного,— сказала девушка.

— Это вы бросьте!

Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала.

На рассвете капитан остановился в овраге.

Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина. Капитан выгреб из ямы снег, наломал ветвей и постелил на них плащ-палатку.

— Вы хотите спать?— спросила, проснувшись, девушка.

— Часок, не больше,— сказал капитан.— А то я совсем забыл, как это делается.

Девушка начала выбираться из своего спального мешка

— Это еще что за номер?— спросил капитан, приподымаясь

Девушка подошла и сказала

— Я лягу с вами, так будет теплее А накроемся мешком

— Ну, знаете. —возмутился капитан.

— Подвиньтесь,— сказала девушка.— Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу Вам неудобно?

— Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут, чихать хочется, и вообще..

— Вы хотите спать — ну и спите А волосы вам мои не мешают

— Мешают,— вяло сказал капитан и заснул.

Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков

Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула свою руку под его голову

С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая его лицо. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.

Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.

— У вас седина здесь,— сказала девушка.— Это после того случая?

— Какого?— спросил капитан, потягиваясь.

— Ну, когда вас расстреливали?

— Не помню,— сказал капитан и зевнул Ему не хотелось вспоминать про этот случай

Дело было так. В августе капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов Его контузило взрывной волной, неузнаваемо обожгло пламенем. Он лежал в тлеющей черной одежде, когда немецкие санитары подобрали его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь Он пролежал три недели, притворяясь глухонемым Потом врачи установили, что он не потерял слуха Гестаповцы расстреляли Жаворонкова вместе с тремя немецкими солдатами-симулянтами Ночью тяжело раненный капитан выбрался изо рва и полз двадцать километров до места явки

Чтобы прекратить разговор он спросил

— Нога все болит?

— Я ж сказала, что могу идти сама,— раздраженно ответила девушка.

— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете.

Капитан снова впрягся в сани и снова заковылял по талому снегу.

Шел дождь со снегом. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно, поверх льда уже покрытую водой

На дороге лежала убитая лошадь.

Капитан присел возле нее на корточки, вытащил нож.

— Знаете,— сказала девушка, приподымаясь,— вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно.

— Просто вы есть хотите,— спокойно ответил капитан.

Он поджарил тонкие ломтики мяса, насадив их на стержень антенны, как на вертел.

— Вкусно!— удивилась девушка.

— Еще бы!— улыбнулся капитан.— Жареная конина вкуснее говядины.

Потом он поднялся и сказал:

— Я пойду посмотрю, что там, а вы оставайтесь

— Хорошо,— согласилась девушка.— Может, это вам покажется смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.

— Ну-ну! Без глупостей,— пробормотал капитан

Но это больше относилось к нему самому, потому что он смутился.

Вернулся он ночью.

Девушка сидела на санях, держа пистолет в руке. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.

— Садитесь, садитесь,— попросил капитан тоном, каким говорил всем курсантам, встававшим при его появлении.

Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку:

— Штука-то какая. Фашисты недалеко отсюда аэродром оборудовали.

— Ну и что?— спросила девушка.

— Ничего,— ответил капитан.— Ловко очень устроили.— Потом серьезно спросил:— У вас передатчик работает?

— Вы хотите связаться?— обрадовалась девушка

— И даже очень,— сказал капитан.

Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через несколько минут она спросила, что передавать. Капитан присел рядом с ней. Стукнув кулаком по ладони, он сказал:

— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация на волне... Какая там у вас волна, сообщите.

Девушка сняла наушники и с сияющим лицом повернулась к капитану.

Но капитан, сворачивая новую цигарку, даже не поднял глаз.

— Теперь вот что,— сказал он глухо.— Рацию я забираю и иду туда,— он махнул рукой и пояснил:— Чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки, километра три, там вас встретят.

— Очень хорошо,— сказала Михайлова.— Только рацию вы не получите.

— Ну-ну,— сказал капитан,— это вы бросьте.

— Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.

— В виде бесплатного приложения,— буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес: — А я вам приказываю

— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать у меня вы не имеете права.

— Да поймите же вы!..— вспылил капитан.

— Я понимаю,— спокойно сказала Михайлова.— Это задание касается только меня одной.— И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала:— Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дело.

Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то очень обидное, но превозмог себя и с усилием произнес:

— Ладно, валяйте действуйте.— И, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал:— Сама додуматься не могла, так теперь вот...

Михайлова насмешливо сказала:

— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.

Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.

— Чего же вы сидите? Время не ждет.

Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась:

— До свидания, капитан.

— Идите, идите,— буркнул тот и пошел к реке...

Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой это было бы приятно.

Если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах наверняка появилось бы мечтательное выражение. Свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.

В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:

— Но ведь другие могут?

— А если вас убьют?

— Не всех же убивают.

— А если вас будут мучить?

Она задумалась бы и тихо сказала:

— Я не знаю, как я себя буду держать. Но ведь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.

И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:

— Нам с матерью теперь будет очень тяжело, очень.

— Папа,— звонко сказала она,— папа, ну ты пойми, я же не могу оставаться!

Отец поднял лицо, и она испугалась. Таким оно было измученным и старым.

— Я понимаю,— сказал отец.— Ну что ж, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.

— Папа,— крикнула тогда она,— папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!

Матери они утром сказали, что она поступает на курсы военных телефонисток.

Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:

— Будь осторожнее, деточка.

На курсах Михайлова училась старательно, во время проверки знаний волновалась, как в школе на экзаменах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только число знаков передачи, но и ее грамотность.

Оставшись одна в лесу в эти дикие, холодные и черные дни, она первое время плакала и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно, и, хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.

И вот сейчас, пробиваясь к аэродрому, она удивилась, как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу, мокрая, с обмороженной ногой. А когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла свои глаза. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как дочь не любила класть его под мышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шепотом расстроенно говорила: «Она больна». А отец заталкивал в телефон бумажку, чтобы звонок не тревожил дочь. А вот если враги успеют быстро засечь рацию, Михайлову убьют.

Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. На ней меховой комбинезон. Они, наверное, сдерут его. И она ужасалась, представляя себя голой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть отвратительными глазами фашисты.

А этот лес так похож на рощу в Краскове, где она жила на даче Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья И гамак был подвязан вот к таким же двум соснам-близнецам

И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми глаза ми. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее Она закрыла глаза и жалобно сказала «Только не в губы» А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок

Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили:

— Ты что так расфрантилась?

— Подумаешь, — сказала она.— Почему мне не быть красивой докладчицей?

И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь и волочит обмороженную распухшую ногу.

«Ну, убьют! Ну и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну и меня убьют. Я лучше их, что ли?»

Шел снег, хлюпали лужи. Гнилой снег лежал в оврагах А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку.

Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полузакрыв глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, но сигналов рации не было.

Пилоты на своих сиденьях и стрелок-радист тоже вслушивались в свист в визг мегафонов, но сигналов не было Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.

И вдруг тихо, осторожно прозвучали первые позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутинку звука, разворачивались; ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной, как песня сверчка, как звон сухого колоса на степном ветру, как шорох осеннего листа, этот звук стал поводырем огромным стальным кораблем.

Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-ра дисты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будут сброшены туда, на этот родной, призывный клич рации. Потому что здесь — самолеты врага.

Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде, и, наклонившись к рации, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой тине обмороженная нога онемела, боль в висках стискивала голову горячим обручем Михайлову знобило. Она подносила руку к губам — губы были горячие и сухие. «Простудилась,— тоскливо подумала она.— Впро чем, теперь это не важно»

Иногда ей казалось, что она теряет сознание Она от

крывала глаза и испуганно вслушивалась. В наушниках звонко и четко пели сигналы. Значит, рука ее, помимо воли, нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке, и, может быть, мне дали бы полушубок... Там горит печь... и все тогда было бы иначе. А теперь уже больше никого и ничего не будет... Странно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Все-таки я молодец. Может быть, храбрая? Пожалуй, мне не страшно. Нет, это оттого, что мне больно, потому и не так страшно. Скорее бы только. Ну, что они в самом деле! Неужели не понимают, что я больше не могу?»

Всхлипнув, она легла на откос котлована и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперь ей стало видно огромное, тяжелое небо. Вот его лизнули прожекторы, послышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:

— Милые, хорошие! Наконец-то вы за мной прилетели! Мне так плохо здесь.— И вдруг испугалась: «Что, если вместо позывных я передала вот эти свои слова? Что же они тогда про меня подумают?»

Она села и стала стучать раздельно, четко, повторяя вслух шифр, чтобы снова не сбиться.

Гудение кораблей все приближалось. Застучали зенитки.

— Ага, не нравится?

Она поднялась. Ни боли, ничего. Изо всех сил она стучала по ключу, словно не сигналы, а крик: «Бейте, бейте!»— высекала из ключа.

Рассекая черный воздух, ахнула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась поднять ее. Визжащие бомбы, казалось, летели прямо к ней в яму.

Она вобрала голову в плечи и присела, зажмурив глаза. Свет от пламени проникал сквозь веки. Дуновением разрыва в яму бросило колья, опутанные колючей проволокой. В промежутках между разрывами бомб на аэродроме что-то глухо лопалось и трещало. Черный туман вонял бензиновым чадом.

Потом наступила тишина, замолкли зенитки.

«Кончено,— с тоской подумала она.— Теперь я снова одна».

Она пыталась подняться, но ее ноги...

Она их совсем не чувствовала. Что случилось? Потом она вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она контужена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глину немножко отдохнуть. Хоть бы одна бомба упала сюда! Как все было бы просто... И она не узнала бы самого страшного.

«Нет,— решительно сказала себе она,— с другими было хуже, и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого».

Где-то ворчал автомобильный мотор, и белые холодные лучи несколько раз скользнули по черному кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый, чем разрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.

«Ищут. А лежать так хорошо. Неужели и этого больше не будет?»

Она хотела повернуться на спину, но боль в ноге горячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула, попыталась встать и упала.

Холодные твердые пальцы дергали застежку ее ворота.

Она открыла глаза.

— Это вы? Вы за мной пришли?— сказала Михайлова и заплакала.

Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова закрыла глаза. Идти она не могла. Капитан ухватил ее рукой за пояс комбинезона и вытащил наверх. Другая рука у капитана болталась, как тряпичная.

Она слышала, как сипели полозья саней по грязи.

Потом она увидела капитана. Он сидел на пне и, держа один конец ремня в зубах, перетягивал голую руку, и из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:

— Ну как?

— Никак,— прошептала она.

— Все равно,— сквозь зубы сказал капитан,— я больше никуда не гожусь. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.

— А вы?

— А я здесь немного отдохну.

Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбнулся и свалился с пня на землю...

Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащи

ла его бессильное тело на сани. Он лежал неудобно, лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.

Она долго дергала постромки, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постромки и, пятясь, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.

Она ничего не понимала. Сколько это может продолжаться? Почему она стоит, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она стояла с полузакрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться.

Она видела, как капитан сполз на землю, положил грудь и голову на сани. Держась за перекладину здоровой рукой, сказал шепотом:

— Так вам будет легче.

Он полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо.

Потом она упала и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.

Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукою, подвешенной к груди и зажатой между двумя обломками доски, и смотрел на нее.

— Проснулись? — спросил он незнакомым добрым голосом.

— Я не спала.

— Все равно,— сказал он,— это тоже вроде сна.

Она подняла руку и увидела, что рука голая.

— Это я сама разделась?— спросила она жалобно.

— Это я вас раздел,— сердито сказал капитан. И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил:— Мы же с вами вроде как в реке выкупались, а потом я думал, что вы ранены.

— Все равно,— сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.

— Конечно,— согласился он.

Она улыбнулась и сказала:

— Я знала, что вы вернетесь за мной.

— Это почему же?— усмехнулся капитан.

— Так, знала

— Глупости,— сказал капитан,— ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли убить. На такой аварийный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигналить огнем. А во-вторых, вас запеленговал броневичок с радиоустановкой Он там всю местность прочесал, пока я ему гранату не подсунул А в-третьих...

— Что в-третьих?— звонко спросила Михайлова

— А в-третьих,— серьезно сказал капитан,— вы очень хорошая девушка — И тут же резко добавил — И вообще, где это вы слышали, чтобы кто-нибудь поступал иначе?

Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя сияющими глазами в глаза капитану, громко и раздельно сказала:

— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.

Капитан отвернулся У него побледнели уши

— Ну, это вы бросьте

— Я вас не так, я вас просто так люблю,— гордо сказала Михайлова

Капитан поднял глаза и, глядя исподлобья, застенчиво сказал.

— А вот у меня часто не хватает смелости говорить о том, о чем я думаю, и это очень плохо.

Поднявшись, он опять сурово спросил:

— Верхом ездили?

— Нет,— сказала Михайлова.

— Поедете,— сказал капитан.

— Гаврюша, партизан,— отрекомендовался заросший волосами низкорослый человек с веселыми прищуренными глазами, держа под уздцы двух костлявых и куцых немецких гюнтеров Поймав взгляд Михайловой на своем лице, он объяснил — Я, извините, сейчас на дворняжку похож Прогоним оккупантов из района — побреюсь. У нас парикмахерская важная была Зеркало — во! В полную фигуру человека

Суетливо подсаживая Михайлову в седло, он смущенно бормотал.

— Вы не сомневайтесь насчет хвоста. Конь натуральный Это порода такая А я уж пешочком Гордый человек, стесняюсь на бесхвостом коне ездить. Народ у нас смешливый. Война кончится, а они все дразнить будут

Розовое и тихое утро Нежно пахнет теплым гелом де-

ревьев, согретой землей. Михайлова, наклонясь с седла к капитану, произнесла взволнованно:

— Мне сейчас так хорошо.— И, посмотрев в глаза капитану, потупилась и с улыбкой прошептала:— Я сейчас такая счастливая.

— Ну, еще бы,— сказал капитан,— вы еще будете счастливой.

Партизан, держась за стремя, шагал рядом с конем капитана; подняв голову, он вдруг заявил:

— Я раньше куру не мог зарезать. В хоре тенором пел. Пчеловод — профессия задумчивая. А теперь сколько я этих фашистов порезал!— Он всплеснул руками.— Теперь я злой, обиженный!

Солнце поднялось выше. В бурой залежи уже просвечивали радостные, нежные зелени. Немецкие лошади прижимали уши и испуганно вздрагивали, шарахаясь от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени.

Когда капитан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбужденный, разговорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто невзначай:

— А Михайлова снова на задании.

На лице капитана на секунду появилась горькая морщинка и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:

— Боевая девушка, ничего не скажешь,— и, одернув гимнастерку, пошел в кабинет начальника доложить о своем возвращении.

1942

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

МОРСКАЯ ДУША

Из фронтовых записей

Шутливое и ласкательное это прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело в Великой Отечественной войне новый смысл, глубокий и героический.

В пыльных одесских окопах, в сосновом высоком лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в путаных зарослях севастопольского горного дубняка — везде видел я сквозь распахнутый как бы случайно ворот защитной шинели, ватника, полушубка или гимнастерки родные сине-белые полоски «морской души». Носить ее под любой формой, в которую оденет моряка война, стало неписаным законом, традицией. И, как всякая традиция, рожденная в боях, «морская душа»— полосатая тельняшка — означает многое.

Так уж повелось со времен гражданской войны, от орлиного племени матросов революции: когда на фронте нарастает опасная угроза, Красный флот шлет на сушу всех, кого может, и моряки встречают врага в самых тяжелых местах.

Их узнают на фронте по этим сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где гневом и ненавистью горит гордая за флот душа моряка,— веселая и отважная краснофлотская душа, готовая к отчаянному порой поступку, незнакомая с паникой и унынием, честная и верная душа большевика, комсомольца, преданного сына Родины

Морская душа — это решительность, находчивость, упрямая отвага и неколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью защитить командира и комиссара.

Морская душа — это высокое самолюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффектности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом «немножко» нет. В этой приподнятости, в слегка нарочитом блеске — одна причина, хорошая и простая: гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слово «краснофлотец», овеянное славой легендарных подвигов матросов гражданской войны.

Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни: он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь: он только охраняет ее. Трус всегда пассивен — именно отсутствие действия и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым — это быть смелее, хитрее и быстрее врага.

Морская душа — это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше «черной тучей», черными дьяволами».

Если они идут в атаку — то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало.

Если они в обороне — они держатся до последнего, изумляя врага немыслимой, непонятной ему стойкостью.

И когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно: моряк захватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой.

В ней — в отважной, мужественной и гордой морской душе — один из источников победы.

ФЕДЯ С НАГАНОМ

В раскаленные дни штурма Севастополя из города приходили на фронт подкрепления. Краснофлотцы из порта и базы, юные добровольцы и пожилые рабочие, выздоровевшие (или сделавшие вид, что выздоровели) раненые — все, кто мог драться, вскакивали на грузовики и, промчавшись по горной дороге под тяжкими разрывами снарядов, прыгали в окопы.

В тот день в третьем морском полку потеряли счет фашистским атакам. После пятой или шестой моряки сами кинулись в контратаку на высоту, откуда немцы били по полку фланговым огнем. В одной из траншей, поворачивая против фашистов их же замолкший и оставленный здесь пулемет, краснофлотцы нашли возле него тело советского бойца.

Он был в каске, в защитной гимнастерке. Но когда, в поисках документов, расстегнули ворот — под ним увидели знакомые сине-белые полоски флотской тельняшки. И молча сняли моряки бескозырки, обводя глазами место неравного боя.

Кругом валялись трупы фашистов — весь пулеметный расчет и те, кто, видимо, подбежал сюда на выручку. В груди унтер-офицера торчал немецкий штык. Откинутой рукой погибший моряк сжимал немецкую гранату. Вражеский автомат, все пули которого были выпущены в фашистов, лежал рядом. За пояс был заткнут пустой наган, аккуратно прикрепленный к кобуре ремешком.

И тогда кто-то негромко сказал:

— Это, верно, тот... Федя с наганом...

В третьем полку он появился перед самой контратакой, и спутники запомнили его именно по этому нагану, вызвавшему в машине множество шуток. Прямо с грузовика он бросился в бой, догоняя моряков третьего полка. В первые минуты его видели впереди: размахивая своим наганом, он что-то кричал, оборачиваясь, и молодое его лицо горело яростным восторгом атаки. Кто-то заметил потом, что в руках его появилась немецкая винтовка и что, наклонив ее штык вперед, он ринулся один, в рост, к пулеметному гнезду.

Теперь, найдя его здесь, возле отбитого им пулемета, среди десятка убитых фашистов, краснофлотцы поняли, что сделал в бою безвестный черноморский моряк, который так и вошел в историю обороны Севастополя под именем «Федя с наганом».

Фамилии его не узнали: документы были неразличимо залиты кровью, лицо изуродовано выстрелом в упор.

О нем знали одно: он был моряком. Это рассказали сине-белые полоски тельняшки, под которыми кипела смелая и гневная морская душа, пока ярость и отвага не выплеснули ее из крепкого тела.

ПОЕДИНОК

Группа моряков-добровольцев была сброшена ночью на парашютах за линию фронта под Одессой, чтобы во время атаки третьего морского полка уничтожать связь врага, наводить панику и пробиваться на соединение со своими. Среди них был краснофлотец Петр Королев. Ему не повезло: висевший на нем мешок с автоматом, кусачками, гранатами и прочими необходимыми на земле предметами в момент прыжка с размаху ударил его в лицо. Королев потерял сознание.

Очнувшись, он обнаружил себя падающим в темной пустоте. Он успел выдернуть кольцо парашюта и снова впал в беспамятство до самой встречи с землей. Новый удар привел его в себя. Он понял, что лежит на земле, что лицо его разбито, кровь ручьем хлещет из носу и что вдобавок сильно болит нога, вывихнутая при падении. Он уничтожил, как полагается, парашют, хозяйственно сунув в карман два клина шелка, чтобы вытирать кровь, неостановимо струящуюся по лицу, распаковал свой мешок, прислушался к стрельбе вокруг и пошел в нужном направлении.

Идти пришлось во весь рост — ползти не давала нога, а каждый наклон головы вызывал сильное кровотечение. Однако он все же сумел подобраться к вражеским окопам, перерезав по пути две-три линии связи, но к рассвету совершенно ослаб. Он присмотрел подходящую канавку, положил возле себя автомат и приготовленные к бою гранаты, но потеря крови снова лишила его сознания.

Очнулся он при ярком свете утра. Над канавкой стояли два фашиста — молодой и постарше,— рассматривая его: очевидно, они решили, что перед ними труп. Королев схватил свой автомат, но диск его выпал. Молодой солдат, увидев его движение, закричал: «Матрозен»— и ринулся бежать, пожилой замахнулся винтовкой, чтобы приколоть некстати ожившего моряка. Королев ухватился за ствол и рывком дернул фашиста. Тот упал в канавку, и моряк подмял его под себя.

Началась страшная, неравная борьба обессилевшего от потери крови моряка со здоровым и сильным врагом. Королев нащупал на поясе нож, но приподняться, чтобы освободить ножны, не хватало сил. Тогда он схватил гранату (запал которой был уже вставлен) и стал бить солдата по голове. Но, видимо, мало было у моряка сил — удары эти никак не могли оглушить фашиста. Так бывает во сне,

когда двнжения вязнут в томительной вялостн кошмара. На четвертом ударе пальцы моряка разжались, и граната выпала. Фашнст подхватил ее и со всей снлой здорового человека ударил Королева по голове.

— У меия шарики в глазах запрыгали,— рассказывал потом Королев.— Только, знаете, как-то так вышло, что я не только с того ие окосел, а иапротив — даже очнулся... Такая меия злоба взяла — моей же гранатой меия же и по башке?.. Откуда силы взялись — я ка-ак пснхану на него: заорал что-то, ударил его по руке... Граната у него н выпала, я ее опять ухватнл. А он уже на мне... Я сннзу бью его по черепу, и развернуться иеловко, н сил нет... А он перепугался, кричнт так, что меня дрожь пробрала,— как заяц... Молочу его, а тут граната пришла в негодность: ручку свернул. А кулаком что сделаешь?.. Тут он чем-то меия огрел, я опять ничего не помию...

Придя в себя, Королев увндел, что солдат выскочил из канавки, захватнв его пустой автомат и бросив винтовку. Подобрав ее, Королев понял, почему тот ие стрелял: оиа тоже оказалась без патронов. Тогда, приподнявшнсь, он кннул вслед солдату вторую граиату, откатившуюся в борьбе в угол канавкн. Опять не хватнло сил — граиата разорвалась слншком далеко от солдата и слишком близко от Королева. Забыв о ноге, ои побежал за солдатом: тот уносил оружие, без которого вернуться к свонм было стыдно. Он догнал его и ударил прикладом его же винтовки по затылку. Солдат закрнчал и обериулся. Королев бросил винтовку и потяиул к себе свой автомат — н опять началась неравная борьба сильиого, здорового солдата, единствеииой слабостью которого были страх и неувереиность в победе, с шатающимся, обессилевшим моряком, страшиым в своей упрямой настойчивости н желании победить.

Оии тянули автомат друг к другу, смотря в глаза н ругаясь каждый на своем языке. Потом Королев заметил в глазах солдата радость н злобу. Повериув на мгиовение голову, ои увндел, что тот смотрнт иа скачущего к ннм всадиика. Солдат снял левую руку с автомата и прнзывно замахал ею всадику. Королев тоже снял руку с автомата, вспомиив, что на поясе еще висит последняя граната. Он поднял ее над головой, решив дождаться всадинка и тогда бросить гранату себе под иогн, чтобы взорвать н себя н обонх врагов.

— Стоим так и ждем. Я все иа фашиста смотрю: думаю, не оглушнл бы он меия свободной рукой... Тогда живым за-

берут, много ли мне было надо: дать раза — и в глазах вовсе потемнеет А у него выражение лица вдруг изменилось — глаза выкатил, коробочку раскрыл и глядит мне через плечо Я обернулся — всадник уж рядом... Гляжу — мать честная!— это ж Коровников из первого батальона! Скачет к нам на полном газу, и ленточки вьются. Бросил солдат мой автомат — и тикать! Коровников его с ходу одним выстрелом положил — и ко мне.. А у меня и сил никаких нет: кончились...

Оказалось, что к утру один батальон третьего морского полка уже вышел к этой высотке. В кустах нашли брошенную повозку с лошадьми (очевидно, двое фашистов, кинув повозку и отходя к своим, и наткнулись на Королева). Заняв вражескую позицию, батальон готовился продвигаться дальше.

И тут политрук батальона, осматривая местность в бинокль, увидел на высотке двух борющихся людей.

— Что за черт?— сказал он недоверчиво.— А ну-ка, гляньте в снайперский прицел, он посильнее: никак там морячок французской борьбой с фашистом занимается.

В прицел рассмотрели, что это был и точно моряк. Все подробности этой борьбы снайпер передал любопытным, выжидая момент, когда можно будет безопасно для Королева выстрелить в солдата. Но политрук уже распорядился: Коровников вскочил на трофейную лошадь и весьма кстати прибыл на помощь Королеву

ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Передний склон высоты 127,5, расположенный у хутора Мекензи, обозначался загадочной фразой· «Где старшина второй статьи на танке катался».

В начале марта в одном из боев за Севастополь третий морской полк перешел в контратаку на высоту 127,5. Атака поддерживалась танками и артиллерией Приморской армии Высота была опоясана тремя ярусами немецких окопов и дзотов. Бой шел у нижнего яруса, артиллерия била по вершине, парализуя огонь фашистов, танки ползали вдоль склона, подавляя огневые точки противника

Один из танков вышел из боя. На нем был тяжело ранен командир Танк спустился со склона и остановился у санчасти. Не успели санитары вытащить из люка раненого, как из кустов подошел к танку рослый моряк с повязкой на

левой руке, видимо только что наложенной. Оценив обстановку и поняв, что танк без командира вынужден оставаться вне боя, он ловко забрался в танк.

— Давай прямо на высотку, не ночевать же тут,— сказал он водителю и, заметив его колебание, авторитетно добавил: — Давай, давай! Я — старшина второй статьи, сам катера водил, дело привычное... Полный вперед!..

Танк помчался на склон. Он переполз и первый и второй ярусы немецких окопов, взобрался на вершину и добрых двадцать минут танцевал там, крутясь, поливая из пулемета и пушки, давя фашистов гусеницами в их норах Рядом вставали разрывы наших снарядов — артиллерия никак не предполагала появления нашего танка на вершине. Потом танк скатился с высоты так же стремительно, как взобрался туда, и покатил прямо к кустам, где сидели корректировщики артиллерии.

И тут старшина второй статьи изложил лейтенанту свою претензию.

— Товарищ лейтенант, нельзя ли батареям перенести огонь? Я бы там всех фашистов передавил, как клопов, а вы кроете, спасу нет. Сорвали мне операцию...

Но, узнав с огорчением, что его прогулка на вершину мешает заградительному огню, моряк смущенно выскочил из танка и сожалеюще похлопал ладонью по его броне.

— Жалко, товарищ лейтенант, хороша машина... Ну, извините, что поднапутал...

И, подкинув здоровой рукой немецкий автомат (с которым он так и путешествовал в танке), он исчез в кустах. Только о нем и узнали, что он «старшина второй статьи», да запомнили сине-белые полоски «морской души»— тельняшки, мелькнувшей в вырезе ватника, закопченного дымом и замазанного кровью.

Вечером мы пытались найти его среди бойцов, чтобы узнать, кто был этот решительный и отважный моряк, но военком полка, смеясь, покачал головой:

— Бесполезное занятие. Он небось теперь мучается, что не по тактике воевал, и ни за что не признается. А делов на вершинке наделал: танкисты рассказали, что одно пулеметное гнездо он с землей смешал — приказал на нем крутиться, а сам из люка высунулся и здоровой рукой из автомата кругом поливает... Морская душа, точно...

И МИНОМЕТ БИЛ...

В разведке под Севастополем трое краснофлотцев вышли на минометную фашистскую батарею. Они бросили в окоп несколько гранат и перестреляли разбегающихся фашистов. Батарея замолкла.

Казалось, можно было бы возвращаться — не каждый день бывает такая удача. Но миномет был цел, и рядом лежало несколько ящиков мин.

— А что, хлопцы,— раздумчиво сказал Абращук,— мабуть, трошки покидаемся по немцу?

Он взялся наводить, Колесник — подносить ящики с минами, а третий разведчик, армянин Хастян, встал к миномету заряжающим.

Немецкие мины полетели в немецкие траншеи, и все пошло хорошо. Наконец фашисты догадались, что по ним бьет их же собственный миномет. На троих моряков посыпались снаряды и мины.

Казалось бы, пора было подорвать миномет и оставить окоп. Но моряки заметили, что их батальон, воспользовавшись неожиданной поддержкой миномета, поднялся в атаку. Тогда они решили бить по немецким траншеям, пока хватит немецких мин.

И миномет бил по фашистам. Все ближе и все чаще рвались рядом с моряками немецкие снаряды. Разрывы стали обсыпать краснофлотцев землей, осколки — визжать над ухом. Колесник упал: его ранило в ноги. Перевязавшись, он ползком продолжал подтаскивать к Хастяну ящики с минами.

И миномет бил по фашистам, бил яростно и непрерывно. Снова в самом окопе грохнул снаряд. Хастяну оторвало кисть руки. Моряки перетянули ему руку бинтом, остановили кровь. Он встал, шатаясь, протянул здоровую руку за очередной миной, которую подал ему с земли подползший Колесник, и опустил ее в ствол.

И миномет бил по фашистам.

Он бил до тех пор, пока до окопа не добежали краснофлотцы, ринувшиеся в атаку.

Даже видавшие виды севастопольские бойцы ахнули при виде трех окровавленных моряков, методически и настойчиво посылавших неприятелю мину за миной: один — безногий, другой — безрукий, третий — неразличимо перемазанный кровью и землей.

Раненых тотчас понесли в тыл, а Абращук сказал

— Эх, расстроили нашу компанию... Ну, становись к миномету желающие... Тут еще полный ящик, бей по левой траншее, а я вперед пойду!

Он подобрал немецкий автомат и бросился вслед за атакующими моряками.

«ПУШКА БЕЗ МУШКИ»

Как известно, на каждом корабле имеется своя достопримечательность, которой на нем гордятся и которой обязательно прихвастнут перед гостями. Это или особые грузовые стрелы неповторимых очертаний, напоминающие неуклюжий летательный аппарат и называющиеся поэтому «крыльями холопа», или необыкновенный штормовой коридор от носа до кормы, каким угощают вас на лидере «N», ручаясь, что по нему вы пройдете в любую погоду, не замочив подошв. Иной раз это скромный краснофлотец по первому году службы, оказывающийся чемпионом мира по плаванию, иногда, наоборот, замшелый, поросший седой травой корабельный плотник, служащий на флоте с нахимовских времен.

Морская часть на берегу во всем похожа на корабль. Поэтому в той бригаде морской пехоты, которой командовал под Севастополем полковник Жидилов, оказалась своя достопримечательность.

Это была «пушка без мушки».

О ней накопилось столько легенд, что нельзя уже было понять, где тут правда, где неистребимая флотская подначка, где уважительное восхищение и где просто завистъ соседних морских частей, что не они выдумали это необыкновенное и примечательное оружие.

Кто-то уверял меня, что полковник взял эту пушку в Музее севастопольской обороны. Кто-то пошел дальше и утверждал, что «пушка без мушки» палила еще по Мамаю на Куликовом поле. Но, видимо вспомнив, что тогда еще не было огнестрельного оружия, спохватился и сказал, что исторически это не доказано, но то, что пушка эта завезена в Крым Потемкиным,— уж, конечно, неоспоримый факт.

О ней говорили еще, что она срастается по ночам сама, вроде сказочного дракона, который, будучи разрублен на куски, терпеливо приклеивает к телу отделенные части организма, поругиваясь, что никак не может отыскать в темноте нужной детали — глаза или правой лапы. Впрочем, расска-

зы этого сорта родились из показаний пленных немцев: примерно так они говорили о какой-то «бессмертной пушке» под Итальянским кладбищем, которую они никак не могут уничтожить ни снарядами, ни минами.

Все это так меня заинтересовало, что специально для этого я выехал в бригаду, чтобы посмотреть «пушку без мушки» и собрать о ней точные сведения. Вот вполне проверенный материал об этой диковине, за правдивость которого я ручаюсь своей репутацией.

Где-то в Евпатории, не то в порту, не то на складе металлолома, полковник Жидилов еще осенью наткнулся на четыре орудия. Это были вполне приличные орудия — каждое на двух добротных колесах, каждое со стволом и даже с замком. Самым ценным их качеством, привлекшим внимание полковника, было то, что к ним прекрасно подошли 76-миллиметровые снаряды зениток, которых в бригаде было хоть пруд пруди. Недостатком же их была некоторая устарелость конструкции (образец 1900 года) и отсутствие прицелов.

Первая причина полковника не смутила. Как он утверждал, в войне годится всякое оружие, вопрос лишь в способе его применения. Раз к данным орудиям подходили снаряды и орудия могли стрелять — им и полагалось стрелять по врагу, а не ржаветь бесполезно на складе.

Вторая причина — отсутствие прицелов и решительная невозможность приспособить к этой древней постройке современные — также была им отведена. Полковник, выслушивая жалобы на капризы техники, обычно отвечал мудрой штурманской поговоркой: «Нет плохих инструментов, есть только плохие штурмана». И он тут же блестяще доказал, что для предполагаемого им применения этих орудий прицелы вовсе не нужны.

Одну из пушек выкатили на пустырь. Удивляясь перемене судьбы и покряхтывая лафетом, старушка развернулась и уставилась подслеповатым своим жерлом на подбитый бомбой грузовик метрах в двухстах от нее. Наводчик, обученный полковником, присел на корточки и, заглядывая в дуло, как в телескоп, начал командовать морякам, взявшимся за хобот лафета:

— Правей... Еще чуть правей... Теперь чуточку левей Стоп!

Потом замок щелкнул, проглотив патрон, и старая пушка ахнула, сама поразившись своей прыти: грузовик под скочил и повалился набок.

Именно так все четыре «пушки без мушки» били впоследствии немецкие машины на шоссе возле Темишева. Их установили в укрытии для защиты отхода бригады, и они исправно повалили девять немецких грузовиков с пехотой, добавив разбегающимся фашистам хорошую порцию шрапнели прямой наводкой. Именно так они били по танкам, и так же работала под Итальянским кладбищем последняя «пушка без мушки». Три остальные погибли в боях, их пришлось оставить при переходе через горы, где тракторы были нужны для более современных орудий. Но четвертую полковник все же довез до Севастополя.

Здесь ей дали новую задачу: работать как кочующее орудие. Ее установили в двухстах — трехстах метрах от немецких окопов и, выбрав время, когда артиллерия начинала бить по неприятелю, добавляли под общий шум и свои снаряды. Маленькие, но злые, они точно ложились в траншеи, пока разъяренные фашисты не распознавали места «пушки без мушки» Тогда на нее сыпался ураган снарядов.

Ночью моряки откапывали свою «пушку без мушки» из завалившей ее земли, впрягались в нее и без лишнего шума перетаскивали на новое место, поближе к противнику, отрыв рядом надежное укрытие для себя. Немцы снова с изумлением получали на голову точные снаряды бессмертной пушки — и все начиналось сначала.

С гордостью представляя мне свою любимицу, бригадный комиссар Ехлаков подчеркнул:

— Золото, а не пушка! В нее немцы полторы сотни снарядов зараз кладут, а сделать ничего не могут. Расчет в блиндаже покуривает, а ей, голубушке, эта стрельба безопасна. Ты сам посуди: прицела нет, панорамы нет, ломких деталей нет, штурвальчиков разных нет. Есть ствол да колеса. А их только прямым попаданием разобьешь. Когда-то еще прямое будет, а на осколки она чихает с присвистом. Понятно?

В самом деле, все было понятно.

ПОДАРОК ВОЕНКОМА

Мы сидели в подвале разрушенной чайханы под Итальянским кладбищем, где было что-то вроде клуба для моряков третьего батальона, и снайпер Васильев показывал мне свою записную книжку В ней стояли только цифры. Так, запись «14 — 9/1 — 2» означала, что четырнадцатого числа

Васильев убил девять солдат и одного офицера и ранил двоих (кого именно — офицеров или солдат — Васильев из самолюбия не помечал: промах, не очень чистая работа!). Он рассказывал мне, как сговаривается с минометчиками (они дают залп по траншее, а он бьет выбегающих оттуда фашистов), как выслеживает он тропинки, как выползает на свою позицию на откосе скалы,— и, говоря это, он все время с завистью косил взглядом в угол «клуба».

Там в полутьме играл баян, и военком бригады плясал. Это был его отдых.

Военком был удивительным человеком, сгустком энергии, пружиной, все время жаждущей развернуться и увлечь за собой других. Везде, куда бы он нынче меня ни приводил, я замечал оживление, неподдельную радость и в то же время некоторую опасливость,— а не скажет ли, мол, сейчас военком знакомой и обидной фразы: «Заснули, орлы? Чего гитлеровцев не тревожите? Может, война кончилась, я нынче газету не читал?..»

И везде, где я его сегодня видел, он «тревожил немцев». Так, он нашел цель для минометчиков, дождался, пока они ее не накрыли, перетащил знаменитую «пушку без мушки» на новую позицию и не успокоился, пока она не вызвала на себя яростный, но бесполезный огонь («пускай враг боезапас тратит!»), снарядил разведчиков за «языком», отправил в тыл раненых и теперь, томясь безработицей, плясал.

— Сколько же у вас на счету? — спросил я Васильева.

— Я месяц раненый пролежал,— ответил он, как бы извиняясь.— Тридцать семь... То есть, собственно, тридцать пять: двоих мне бригадный комиссар от себя подарил.

И он рассказал, что вначале он стрелял из обыкновенной трехлинейки. Когда же он уложил десятого фашиста, военком, следивший за каждым снайпером, сам приполз к нему на скалу, чтобы торжественно вручить ему снайперскую винтовку с телескопическим прицелом. Он полежал с ним рядом в его укрытии, рассматривая передний край гитлеровцев и отыскивая, где бы их вечером «потревожить». Но тут на тропинку вылезли два солдата, и военком не выдержал. Он молча взял у Васильева новую винтовку и пристрелил обоих подряд.

— Я, конечно, в свой счет их бы не поставил,— закончил Васильев.— Но военком приказал: «Бери, говорит, их себе. Во-первых, я просто не стерпел, во-вторых, винтов-

ка не моя, а в-третьих, мне счет вести ни к чему, я им и счет потерял...»

И я вспомнил, какой счет имел бригадный комиссар Ехлаков.

В декабрьский штурм Севастополя командный пункт бригады вместе с военкомом оказался отрезанным. Командира бригады не было (раненный, он был увезен накануне), но военком спас и штаб, и всю бригаду. Он выслал ползком через фашистские цепи восемь отважнейших моряков-автоматчиков. Пункт уже забрасывали гранатами, когда эти восемь начали бить в спину наступающим, а военком с оставшимися у него моряками встретил врагов в лицо огнем и гранатами. «Кругом компункта все темно было от мундиров»— так рассказали мне моряки исход этого боя.

Баян замолк, и военком подошел к нам.

— Ну, наговорился, что ли? Время-то идет,— сказал он и стремительно подошел к выходу.

Ватник его был расстегнут, и сине-белые полосы тельняшки, с которой он не расставался с времен давней краснофлотской службы, извилистой линией воли вздымались над его широко дышащей грудью.

«МАТРОССКИЙ МАЙОР»

В тяжелых осенних боях под Перекопом небольшой красноармейской части пришлось влиться в соседний отряд морской пехоты. Командиром этого сводного отряда был немолодой уже майор, артиллерист береговой обороны. Красноармейцы любовно прозвали его «матросским майором». Он сразу расположил их к себе отвагой, спокойствием, веселым своим нравом и упрямой волей к победе.

«Матросский майор» перед атакой обычно поворачивал морскую свою фуражку золотой эмблемой к затылку. Пояснил он это так:

— Две задачи. Первая: фашистские снайперы эмблемы не увидят, стало быть, не будут специально в меня целить. Вторая: войско мое, надо понимать, у меня сзади, я же впереди всех в атаку хожу. Вот оно и спокойно — эмблема сияет и показывает: тут, мол, командир, впереди... стало быть, все в порядке...— И он деловито добавлял:— Вот при отходе, ежели что случится, командир должен фуражку нормально носить. Бойцы назад обернутся, тут эмблема им

и доложит: все, мол, в порядке, командир последним отходит.

Но однажды «матросский майор» был вынужден сам изменить этому своему правилу.

Сводный отряд попал в окружение. Кольцо врагов сжималось, оттесняя его к берегу. К ночи моряки и красноармейцы заняли последнюю позицию у самого моря, установили оборону и решили держаться здесь до конца.

К какому именно месту берега вышел отряд в многодневных боях на отходе, сказать было трудно. На карте путалось кружево заливчиков, лиманов, озер, бухт, на местности были одинаковые камыши, кусты да вода. Было ясно одно: впереди и с боков надвигался враг, сзади лежало море. Отступать было некуда.

Конца ожидали утром, когда гитлеровцы подтянут силы для уничтожения «черных дьяволов», попавшихся наконец в мешок. Пока все было тихо, стрельба прекратилась. В ночи шумел ветер, светила луна. Черное море поблескивало сквозь камыши и кусты широкой и вольной дорогой к Севастополю, бесполезной для отряда.

Просторная даль тянула к себе взоры, и бойцы отряда молча посматривали на море. Но если красноармейцы с горечью и с досадой отворачивались от него, негодуя на препятствие, кладущее конец боям и жизни, то моряки, прощаясь с морем, вглядывались в него с тоской и надеждой, все еще веря, что оно не выдаст и выручит.

Но в лунном серебряном море не было ни корабля, ни шлюпки.

«Матросский майор», обойдя охранение, прилег рядом с военкомом в камышах на плащ-палатке и тоже стал смотреть на Черное море. Вся его военная жизнь — с тех самых дней, когда в гражданской войне он вступил добровольцем-юношей в матросский отряд и ворвался с ним в Крым по этому же узкому перешейку,— была связана с морем. Каждый день в течение двадцати лет он видел его в прицеле орудия, в дальномер, потом в командирский бинокль или в окно сквозь цветы, когда семье удалось жить с ним вместе на очередной береговой батарее. И теперь мысль, что он видит море в последний раз, казалась ему дикой.

Военком, видимо, разгадал его чувство, или, может быть, у него защемило сердце от лунного этого простора, неоглядно распахнувшегося над широким морем. Он шумно вздохнул и сказал:

— Да, брат... Хороша вода...

— Хороша,— сказал майор, и они опять надолго замолчали

Обоим многое хотелось сказать друг другу в эту ночь, которая, как оба отлично понимали, была последней ночью в жизни. Слова сами возникали в душе, необыкновенные и яркие, похожие на стихи. Но произнести их было нельзя

В них было только прошлое — и не было будущего. В них были далекие, дорогие сердцу люди — и не было места для тех, кто лежал рядом в камышах и верил, что эти два человека совещаются о том, как спасти отряд. Море, прекрасное и родное, вольной своей ширью звало к жизни, и нужно было найти путь к этой жизни. Но выхода не было — и такая нестерпимая жалость к себе подымалась в душе, что, если произнести блуждающие в ней слова вслух, голос мог дрогнуть и глаза заблестеть.

Поэтому оба говорили другое.

— Ветер нынче какой,— сказал военком.— В море шторм, верно.

— Наверное, шторм,— ответил майор.

И они опять замолчали. Потом майор приподнял голову и посмотрел на море с таким неожиданным и живым любопытством, что военком невольно приподнялся за ним и шепнул, не веря надежде.

— Корабль, что ли?

Майор повернул к нему лицо, и военком заметил в его глазах, освещенных луной, знакомую веселую хитрость

— Военком,— сказал майор с неистребимой подначкой,— ты и вправду думаешь, что это море?

— А что ж, степь, что ли?— обиделся военком — Конечно, море.

— Эх ты, морская душа!— покачал головой майор — Моря от лужи не отличил! Кабы мы у моря сидели, тут такая бы волна ходила, будь здоров! Понятно?

— Ничего не понятно,— честно сказал военком

— Ну, так поймешь. Фонарь у тебя еще живой?

Майор выдернул из-под себя плащ-палатку и накрыл ею с головой себя и военкома

Когда командир пулеметного взвода подошел с докладом, что огневые точки готовы к бою, он увидел на песке странное четырехногое существо с огромной головой Оно ворчало двумя голосами и шелестело бумагой Потом оно засмеялось высоким заразительным смехом майора и басом военкома, подобрало ноги — и майор вскочил, пряча в планшет карту

— Окопались? — спросил оживленно. — Вот и хорошо! Вытаскивайте обратно все пулеметы к воде...

Через час отряд осторожно, стараясь не плескаться, пробирался друг за другом по пояс в холодной воде, подняв над головами автоматы и оружие. Пулеметы несли на связанных винтовках, а пять оставались еще в кустах, охраняя отход, и возле них лежал военком.

Море, к которому немцы прижали отряд, оказалось лиманом, мелким и спокойным. Ветер распластывал над водой ленточки бескозырок, но по лиману бежали только короткие безобидные волны. Настоящее Черное море гремело и перекатывалось рядом, за низкой песчаной косой.

И хотя это было отходом, а не атакой, майор на этот раз шел впереди, повернув фуражку эмблемой назад. Эмблема блестела в лунных лучах, указывая путь отряду, и «матросский майор» нащупывал ногой дорогу к Севастополю, то и дело погружаясь в воду по горло — так же, как двадцать лет назад, когда он переходил Сиваш и когда впервые узнал, что не всякая широкая вода — море.

ПОСЛЕДНИЙ ДОКЛАД

С берега, вероятно, казалось, что на середине реки росла какая-то странная передвигающаяся рощица белоствольных деревьев. Светлые и зыбкие, возникающие из воды и медленно опадающие, они прорастали на пути маленького катера, и пышные, сверкающие водяной пылью их кроны осыпались металлическими плодами.

Это был ураганный минометный артиллерийский огонь с обоих берегов по узкости реки. Бронекатер, пробиравшийся в этом лесу всплесков, метался вправо и влево.

Командир его был уже ранен. Он навалился всем телом на крышу рубки и смотрел только перед собой, угадывая по всплескам, где вырастет следующая смертоносная роща. Он командовал рулем, и каждая его команда спасала катер от прямого попадания. Чтобы проскочить узкость и спасти катер, надо было все время кидаться из стороны в сторону, сбивая пристрелку врага. И командир выкрикивал слова команды, и рулевой за его спиной повторял их, и катер рвался вперед, все вперед, беспрерывно меняя курс.

Но порой рощица светлых зыбких деревьев прорастала у самого катера, иногда сразу с обоих бортов. Это было накрытие. Тогда вода обдавала катер обильным душем, и

вместе с водой на палубу падали осколки, грохоча и взвизгивая. После одного из таких накрытий рулевой не ответил на команду, и командир, подумав, что тот ранен или убит, хотел обернуться к нему. Но катер выполнил маневр, командир понял, что все по-прежнему в порядке, и продолжал командовать рулем. И хотя рулевой снова не повторял команды, катер послушно выполнял малейшее желание командира и мчался по реке зигзагами, лавируя между всплесками.

Наконец водяные рощи стали редеть. Только отдельные всплески преследовали катер. Потом и они остались за кормой, впереди распахнулся широкий и мирный плес. Катер выскочил из обстрела, и на реке встала тишина, показавшаяся командиру странной.

И в этой тишине он услышал за собой негромкий доклад:

— Товарищ командир... управляться не могу...

Он с трудом обернулся. Рулевой всем телом повис на штурвале. Лицо его было белым, без кровинки, глаза закрыты. Руки еще держали штурвал, и, когда он медленно пополз по нему, падая на палубу мостика, эти руки повернули штурвал. Катер резко метнулся к берегу.

Командир перехватил штурвал и крикнул с мостика, чтобы рулевому помогли.

Когда его подняли, он был мертв. Нога его была разворочена осколками, и вся палуба у штурвала была залита кровью.

Это было на бронекатере 034. Рулевым его была старшина второй статьи Щербаха, черноморский моряк.

НА СТАРЫХ СТЕНАХ

Эту старинную крепость знает всякий, кто бывал в Севастополе.

У самого выхода из бухты стоит на Северной стороне каменный форт, отвесно опуская свои высокие стены в лазоревую воду бухты. Почти сто лет тому назад он видел в прозрачной этой воде черные громады восьмидесятичетырехпушечных кораблей, затопленных поперек входа в бухту героями первой севастопольской обороны, и снятые с этих кораблей морские пушки били тогда по врагам из широких его амбразур.

Во второй севастопольской обороне правнуки нахимов-

ских матросов снова подняли над старым фортом гордое знамя черноморской славы.

Форт был очень нужен врагу. Завладев им, фашисты могли окончательно прекратить всякую возможность прохода кораблей и катеров в море. Форт запирал выход из бухты, и немцы стремились овладеть им как можно скорее.

В последние трагические дни обороны Севастополя семьдесят четыре краснофлотца охраны водного района под командой капитана третьего ранга Евсеева и батальонного комиссара Кулинича дали героическому городу слово — держать форт и выход из бухты. Они поднялись на древние каменные стены с автоматами в руках. В первой же атаке немцев моряки уложили более пятидесяти их автоматчиков, заставив остальных отхлынуть.

Тогда фашисты бросили на форт большие силы. На старую крепость пошли танки. Сотни снарядов стали падать на гранитные стены. Эти стены умели когда-то выдерживать удары и круглых бомб первой севастопольской осады, но острых и сильных современных снарядов они выдержать не могли.

Атака за атакой — с фронта и с флангов, танками и пехотой — одна за другой накатывались на форт, накатывались и разбивались, как волны. В промежутках между атаками на старый форт падали новые сотни снарядов.

Они пробивали в его стенах огромные бреши, они разбивали гранит, и высокое облако сухой каменной пыли подымалось столбом к синему крымскому небу. Но каждый раз, когда гитлеровцы с гиканьем и воплями победы устремлялись к стенам, из этого облака пыли стучали очереди автоматов и пулеметов, и атака вновь захлебывалась.

Защитников форта было мало, и каждому приходилось драться за целую роту. На левом фланге стоял одинокий пулемет; возле него был только один моряк — комсомолец Компаниец. Шестьдесят немецких автоматчиков хлынули в образовавшийся после обстрела провал стены, рассчитывая ворваться с фланга. Компаниец одной длинной очередью повалил почти половину, и остальные откатились.

Обстрел, атаки, натиск танков продолжались три дня. Трое суток семьдесят четыре моряка противостояли огромным силам и технике врага. За широкими спинами моряков был выход из бухты, там должны были проходить корабли, и форт надо было держать. Надо...

И моряки держали форт трое суток, пока из бухты не вышли все корабли и катера, и ни одному фашисту не уда-

лось пройти через развалины форта до прозрачной лазоревой воды.

Стены форта рушились, обвалы засыпали моряков. Они выползали из-под камней, отряхиваясь, и снова втискивались в щели между развалинами, выискивая цель для каждой своей пули. Раненные, они снова ползли на камни, с трудом таща за собой автомат, и снова били врага.

Раненым помогал военфельдшер Кусов. Он лежал с автоматом на разрушенной стене и стрелял по фашистам. Его окликали. Он откладывал автомат, перевязывал раненого и снова карабкался на стенку, чтобы отбивать атаку. Так он перевязывал и стрелял, стрелял и перевязывал, пока снаряд, ударивший рядом, не оборвал его мужественной жизни.

На воде, у стен форта, обращенных к городу, стояли шлюпки. Можно было сесть в них и оставить форт. Можно было уйти из этого ада, держаться в котором, казалось, не было уже возможности. Но это означало — отдать врагу выход из бухты. Это означало — отрезать путь тем, кто мог еще уйти из Севастополя.

И шлюпки стояли у стен форта в тихой прозрачной воде, прислушиваясь к разрывам снарядов, к долгой речи пулеметов. Они стояли и ждали, и мимо них проходили в море корабли и катера.

В конце второго дня боя из развалин вышли два моряка с носилками. На носилках лежал комсомолец Грошов, радист, старшина второй статьи. Его откопали из-под стенки, поваленной очередным снарядом, и решили отправить на тот берег. Он лежал в обрывках одежды, и сквозь них синела на неподвижном теле тельняшка, но белые полоски на ней нельзя было различить: весь он был в земле, в едкой пыли раздробленного столетнего гранита.

У воды он очнулся, приподнял голову и посмотрел на шлюпки.

— Давай назад,— сказал он хрипло.— Я еще не мертвый, куда тащите? Есть пока силы бить фашистскую погань. Несите назад, ребята...

Моряки молча шли к шлюпкам.

— Назад неси, говорю!— крикнул он в бешенстве, приподымаясь на носилках.

И столько ярости и силы было в этом окрике раненого, что моряки так же молча повернулись у самых шлюпок и понесли его в форт.

Шлюпки продолжали ждать. Ждать им пришлось дол-

го — еще вечер, еще день, еще ночь. Лишь на рассвете четвертого дня из облака каменной пыли, стоявшей над фортом, вышли моряки, неся раненых и оружие: приказ отозвал их на последний корабль.

Они шли к воде молча, неторопливо, изодранные, засыпанные каменной пылью, израненные, шли торжественной процессией героев, грозным и прекрасным видением черноморской славы, правнуки севастопольских матросов, строивших когда-то этот старый форт.

ВОРОБЬЕВСКАЯ БАТАРЕЯ

Зенитная батарея Героя Советского Союза Воробьева была уже хорошо знакома фашистам по декабрьскому штурму. Тогда длинные острые иглы ее орудий, привыкших искать врага только в небе, вытянулись по земле. Они били бронебойными снарядами по танкам, зажигательными — по машинам, шрапнелью — по пехоте. Краснофлотцы точным огнем из автоматов и бросками гранат останавливали фашистов, яростно лезших на батарею, внезапно возникшую на пути к Севастополю.

Теперь, в июне, батарея снова закрыла дорогу к городу славы.

На этот раз фашисты бросили на нее огромные силы. Самолеты пикировали на батарею один за другим. Дымные высокие столбы разрывов закрывали собой все расположение батарей. Но когда дым расходился и дождь взлетавших к небу камней опускался на землю — из пламени и пыли вновь протягивались вдоль травы острые, длинные стволы зениток, и снова точные их снаряды разбивали фашистские танки.

Наконец орудия были убиты. Они легли, как отважные воины,— лицом к врагу, вытянув свои стройные изуродованные стволы. Батарея держалась теперь только гранатами и ручным оружием краснофлотцев.

Как дрались там моряки, как ухитрялись они держаться еще несколько часов, уничтожая врагов, что происходило на этом клочке советской земли, оставшемся еще в руках советских людей,— не будем догадываться и выдумывать.

Пусть каждый из нас молча, про себя прочтет три радиограммы, принятые с воробьевской батареи в последний ее день:

«12 — 03. Нас забрасывают гранатами, много танков, прощайте, товарищи, кончайте победу без нас».

«13 — 07. Ведем борьбу за дзоты, только драться некому, все переранены».

«16 — 10. Биться некем и нечем, открывайте огонь по компункту, тут много немцев».

И четыре часа подряд била по командному пункту исторической батареи двенадцатидюймовая морская береговая. И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков — людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презирающая смерть во имя победы.

1942

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

НАУКА НЕНАВИСТИ

Очерк

На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнем нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села С., здесь они думали задержаться, но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мертвые немецкие солдаты, в зеленом папоротнике гнили их изорванные в клочья тела, и смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо-приторной, острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже земля с бурыми, опаленными и жесткими краями воронок источает могильный запах.

Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами, и только в самом центре поляны стояла одна чудом сохранившаяся березка, и ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых, глянцевито-клейких листках.

Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола березы, спросил с искренним ласковым удивлением:

— Как же ты тут уцелела, милая?..

Но если сосна гибнет от снаряда, падая, как скошенная, и на месте среза остается лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается со смертью дуб.

На провесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безымённой речушки. Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние все еще жадно протягивают к солнцу точеные, тугие листья...

* * *

Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, широкими плечами, лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бое, о танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном.

Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно, воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил надтреснутым баском, изредка скрещивая крупные узловатые пальцы рук, и странно не вязался с его сильной фигурой, с энергическим, мужественным лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье.

Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось: смуглые щеки побледнели, под скулами, перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев и сзади — конвоировавшего их красноармейца в выгоревшей, почти белой от солнца, летней гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке.

Красноармеец шел медленно. Мерно раскачивалась в его руках винтовка, посверкивая на солнце жалом штыка. И так же медленно брели пленные немцы, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, измазанные желтой глиной сапоги.

Шагавший впереди немец — пожилой, со впалыми щеками, густо заросшими каштановой щетиной,— поравнялся с блиндажом, кинул в нашу сторону исподлобный, волчий взгляд, отвернулся, на ходу поправляя привешенную к поясу каску. И тогда лейтенант Герасимов порывисто вскочил, крикнул красноармейцу резким, лающим голосом:

— Ты что, на прогулке с ними? Прибавить шагу! Веди быстрей, говорят тебе!..

Он, видимо, хотел еще что-то крикнуть, но задохнулся от волнения и, круто повернувшись, быстро сбежал по ступенькам в блиндаж. Присутствовавший при разговоре политрук, отвечая на мой удивленный взгляд, вполголоса сказал:

— Ничего не поделаешь,— нервы. Он в плену у немцев был, разве вы не знаете? Вы поговорите с ним как-нибудь. Он очень много пережил там и после этого живых гитлеровцев не может видеть, именно живых! На мертвых смот-

рит ничего, я бы сказал — даже с удовольствием, а вот пленных увидит, и либо закроет глаза и сидит бледный и потный, либо повернется и уйдет.— Политрук придвинулся ко мне, перешел на шепот:— Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку; силища у него лошадиная, и вы бы посмотрели, что он делает... Всякие виды мне приходилось видывать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли,— это страшно!

* * *

Ночью немецкая тяжелая артиллерия вела тревожащий огонь. Методически, через ровные промежутки времени, издалека доносился орудийный выстрел, спустя несколько секунд над нашими головами, высоко в звездном небе, слышался железный клекот снаряда, воющий звук нарастал и удалялся, а затем где-то позади нас, в направлении дороги, по которой днем густо шли машины, подвозившие к линии фронта боеприпасы, желтой зарницей вспыхивало пламя и громово звучал разрыв.

В промежутках между выстрелами, когда в лесу устанавливалась тишина, слышно было, как тонко пели комары и несмело перекликались в соседнем болотце потревоженные стрельбой лягушки.

Мы лежали под кустом орешника, и лейтенант Герасимов, отмахиваясь от комаров сломленной веткой, неторопливо рассказывал о себе. Я передаю этот рассказ так, как мне удалось его запомнить.

— До войны работал я механиком на одном из заводов Западной Сибири. В армию призван девятого июля прошлого года. Семья у меня — жена, двое ребят, отец-инвалид. Ну, на проводах, как полагается, жена и поплакала, и напутствие сказала: «Защищай родину и нас крепко. Если понадобится — жизнь отдай, а чтобы победа была нашей». Помню, засмеялся я тогда и говорю ей: «Кто ты мне есть, жена или семейный агитатор? Я сам большой, а что касается победы, так мы ее у фашистов вместе с горлом вынем, не беспокойся!»

Отец, тот, конечно, покрепче, но без наказа и тут не обошлось. «Смотри,— говорит,— Виктор, фамилия Герасимовых — это не простая фамилия. Ты — потомственный рабочий; прадед твой еще у Строганова работал; наша фамилия сотни лет железо для родины делала, и чтобы ты на этой войне был железным. Власть-то — твоя, она тебя ко-

мандиром запаса до войны держала, и должен ты врага бить крепко».

«Будет сделано, отец».

По пути на вокзал забежал в райком партии. Секретарь у нас был какой-то очень сухой, рассудочный человек... Ну, думаю, уж если жена с отцом меня на дорогу агитировали, то этот вовсе спуску не даст, двинет какую-нибудь речугу на полчаса, обязательно двинет! А получилось все наоборот. «Садись, Герасимов,— говорит мой секретарь,— перед дорогой посидим минутку по старому обычаю».

Посидели мы с ним немного, помолчали, потом он встал, и вижу — очки у него будто бы отпотели... Вот, думаю, чудеса какие нынче происходят! А секретарь и говорит: «Все ясно и понятно, товарищ Герасимов. Помню я тебя еще вот таким, лопоухим, когда ты пионерский галстук носил, помню затем комсомольцем, знаю и как коммуниста на протяжении десяти лет. Иди, бей гадов беспощадно! Парторганизация на тебя надеется». Первый раз в жизни расцеловался я со своим секретарем, и, черт его знает, показался он тогда мне вовсе не таким уж сухарем, как раньше...

И до того мне тепло стало от этой его душевности, что вышел я из райкома радостный и взволнованный.

А тут еще жена развеселила. Сами понимаете, что провожать мужа на фронт никакой жене невесело; ну, и моя жена, конечно, тоже растерялась немного от горя, все хотела что-то важное сказать, а в голове у нее сквозняк получился, все мысли вылетели. И вот уже поезд тронулся, а она идет рядом с моим вагоном, руку мою из своей не выпускает и быстро так говорит:

«Смотри, Витя, береги себя, не простудись там, на фронте».—«Что ты,— говорю ей,— Надя, что ты! Ни за что не простужусь. Там климат отличный и очень даже умеренный». И горько мне было расставаться, и веселее стало от милых и глупеньких слов жены, и такое зло взяло на немцев. Ну, думаю, тронули нас, вероломные соседи,— теперь держитесь! Вколем мы вам по первое число!

Герасимов помолчал несколько минут, прислушиваясь к вспыхнувшей на переднем крае пулеметной перестрелке, потом, когда стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась, продолжал:

— До войны на завод к нам поступали машины из Германии. При сборке, бывало, раз по пять ощупаю каждую деталь, осмотрю ее со всех сторон. Ничего не скажешь — умные руки эти машины делали. Книги немецких

писателей читал и любил и как-то привык с уважением относиться к немецкому народу. Правда, иной раз обидно становилось за то, что такой трудолюбивый и талантливый народ терпит у себя самый паскудный гитлеровский режим, но это было в конце концов их дело. Потом началась война в Западной Европе...

И вот еду я на фронт и думаю: техника у немцев сильная, армия — тоже ничего себе. Черт возьми, с таким противником даже интересно подраться и наломать ему бока. Мы-то тоже к сорок первому году были не лыком шиты. Признаться, особой честности я от этого противника не ждал, какая уж там честность, когда имеешь дело с фашизмом, но никогда не думал, что придется воевать с такой бессовестной сволочью, какой оказалась армия Гитлера. Ну, да об этом после...

В конце июля наша часть прибыла на фронт. В бой вступили двадцать седьмого рано утром. Сначала, в новинку-то, было страшновато малость. Минометами сильно они нас одолевали, но к вечеру освоились мы немного и дали им по зубам, выбили из одной деревушки. В этом же бою захватили мы группу, человек в пятнадцать, пленных. Помню, как сейчас: привели их, испуганных, бледных; бойцы мои к этому времени остыли от боя, и вот каждый из них тащит пленным все, что может: кто — котелок щей, кто — табаку или папирос, кто — чаем угощает. По спинам их похлопывают, «камрадами» называют: за что, мол, воюете, камрады?..

А один боец-кадровик смотрел-смотрел на эту трогательную картину и говорит: «Слюни вы распустили с этими «друзьями». Здесь они все камрады, а вы бы посмотрели, что эти камрады делают там, за линией фронта, и как они с нашими ранеными и с мирным населением обращаются». Сказал, словно ушат холодной воды на нас вылил, и ушел.

Вскоре перешли мы в наступление и тут действительно насмотрелись... Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев, изнасилованные и зверски убитые женщины, девушки и девочки-подростки...

Особенно одна осталась у меня в памяти: ей было лет одиннадцать, она, как видно, шла в школу; немцы поймали ее, затащили на огород, изнасиловали и убили. Она лежала в помятой картофельной ботве, маленькая девочка, почти ребенок, а кругом валялись залитые кровью ученические тетради и учебники... Лицо ее было страшно изрублено те-

саком, в руке она сжимала раскрытую школьную сумку. Мы накрыли тело плащ-палаткой и стояли молча. Потом бойцы так же молча разошлись, а я стоял, и помню, как исступленный, шептал: «Барков, Половинкин. Физическая география. Учебник для неполной средней и средней школы». Это я прочитал на одном из учебников, валявшихся там же, в траве, а учебник этот мне знаком. Моя дочь тоже училась в пятом классе.

Это было неподалеку от Ружина. А около Сквиры в овраге мы наткнулись на место казни, где мучили захваченных в плен красноармейцев. Приходилось вам бывать в мясных лавках? Ну, вот так примерно выглядело это место... На ветвях деревьев, росших по оврагу, висели окровавленные туловища, без рук, без ног, со снятой до половины кожей... Отдельной кучей было свалено на дне оврага восемь человек убитых. Там нельзя было понять, кому из замученных что принадлежит, лежала просто куча крупно нарубленного мяса, а сверху — стопкой, как надвинутые одна на другую тарелки,— восемь красноармейских пилоток...

Вы думаете, можно рассказать словами обо всем, что пришлось видеть? Нельзя! Нет таких слов. Это надо видеть самому. И вообще хватит об этом!— Лейтенант Герасимов надолго умолк.

— Можно здесь закурить?— спросил я его.

— Можно. Курите в руку,— охрипшим голосом ответил он.

И, закурив, продолжал:

— Вы понимаете, что мы озверели, насмотревшись на все, что творили фашисты, да иначе и не могло быть. Все мы поняли, что имеем дело не с людьми, а с какими-то осатаневшими от крови собачьими выродками. Оказалось, что они с такой же тщательностью, с какой когда-то делали станки и машины, теперь убивают, насилуют и казнят наших людей. Потом мы снова отступали, но дрались как черти!

В моей роте почти все бойцы были сибиряки. Однако украинскую землю мы защищали прямо-таки отчаянно. Много моих земляков погибло на Украине, а фашистов мы положили там еще больше. Что ж, мы отходили, но духу им давали неплохо.

С жадностью затягиваясь папиросой, лейтенант Герасимов сказал уже несколько иным, смягченным тоном:

— Хорошая земля на Украине, и природа там чудес-

ная! Каждое село и деревушка казались нам родными, может быть, потому, что, не скупясь, проливали мы там свою кровь, а кровь ведь, как говорят, роднит... И вот оставляешь какое-нибудь село, а сердце щемит и щемит, как проклятое. Жалко было, просто до боли жалко! Уходим и в глаза друг другу не глядим.

...Не думал я тогда, что придется побывать у фашистов в плену, однако пришлось. В сентябре я был первый раз ранен, но остался в строю. А двадцать первого, в бою под Денисовкой, Полтавской области, я был ранен вторично и взят в плен.

Немецкие танки прорвались на нашем левом фланге, следом за ними потекла пехота. Мы с боем выходили из окружения. В этот день моя рота понесла очень большие потери. Два раза мы отбили танковые атаки противника, сожгли и подбили шесть танков и одну бронемашину, уложили на кукурузном поле человек сто двадцать гитлеровцев, а потом они подтянули минометные батареи, и мы вынуждены были оставить высотку, которую держали с полудня до четырех часов. С утра было жарко. В небе ни облачка, а солнце палило так, что буквально нечем было дышать. Мины ложились страшно густо, и, помню, пить хотелось до того, что у бойцов губы чернели от жажды, а я подавал команду каким-то чужим, окончательно осипшим голосом. Мы перебегали по лощине, когда впереди меня разорвалась мина. Кажется, я успел увидеть столб черной земли и пыли, и это — все. Осколок мины пробил мою каску, второй попал в правое плечо.

Не помню, сколько я пролежал без сознания, но очнулся от топота чьих-то ног. Приподнял голову и увидел, то лежу не на том месте, где упал. Гимнастерки на мне нет, а плечо наспех кем-то перевязано. Нет и каски на голове. Голова тоже кем-то перевязана, но бинт не закреплен, кончик его висит у меня на груди. Мгновенно я подумал, что мои бойцы тащили меня и на ходу перевязали, и я надеялся увидеть своих, когда с трудом поднял голову. Но ко мне бежали не свои, а немцы. Это топот их ног вернул мне сознание. Я увидел их очень отчетливо, как в хорошем кино. Я пошарил вокруг руками. Около меня не было оружия: ни нагана, ни винтовки, даже гранаты не было. Планшетку и оружие кто-то из наших снял с меня.

«Вот и смерть»,— подумал я. О чем я еще думал в этот момент? Если вам это для будущего романа, так напишите что-нибудь от себя, а я тогда ничего не успел поду-

мать. Немцы были уже очень близко, и мне не захотелось умирать лежа. Просто я не хотел, не мог умереть лежа, понятно? Я собрал все силы и встал на колени, касаясь руками земли. Когда они подбежали ко мне, я уже стоял на ногах. Стоял и качался, и ужасно боялся, что вот сейчас опять упаду и они меня заколют лежачего. Ни одного лица я не помню. Они стояли вокруг меня, что-то говорили и смеялись. Я сказал: «Ну, убивайте, сволочи! Убивайте, а то сейчас упаду». Один из них ударил меня прикладом по шее, я упал, но тотчас снова встал. Они засмеялись, и один из них махнул рукой — иди, мол, вперед. Я пошел. Все лицо у меня было в засохшей крови, из раны на голове все еще бежала кровь, очень теплая и липкая, плечо болело, и я не мог поднять правую руку. Помню, что мне очень хотелось лечь и никуда не идти, но я все же шел...

Нет, я вовсе не хотел умирать и тем более — оставаться в плену. С великим трудом преодолевая головокружение и тошноту, я шел,— значит, я был жив и мог еще действовать. Ох, как меня томила жажда! Во рту у меня спеклось, и все время, пока мои ноги шли, перед глазами колыхалась какая-то черная штора. Я был почти без сознания, но шел и думал: «Как только напьюсь и чуточку отдохну — убегу!»

На опушке рощи нас всех, попавших в плен, собрали и построили. Все это были бойцы соседней части. Из нашего полка я угадал только двух красноармейцев третьей роты. Большинство пленных было ранено. Немецкий лейтенант на плохом русском языке спросил, есть ли среди нас комиссары и командиры. Все молчали. Тогда он еще раз спросил: «Комиссары и офицеры идут два шага вперед». Никто из строя не вышел.

Лейтенант медленно прошел перед строем и отобрал человек шестнадцать, по виду похожих на евреев. У каждого он спрашивал: «Юде?»— и, не дождавшись ответа, приказывал выходить из строя. Среди отобранных им были евреи, и армяне, и просто русские, но смуглые лицом и черноволосые. Всех их отвели немного в сторону и расстреляли на наших глазах из автоматов. Потом нас наспех обыскали и отобрали бумажники и все, что было из личных вещей. Я никогда не носил партбилета в бумажнике, боялся потерять; он был у меня во внутреннем кармане брюк, и его при обыске не нашли. Все же человек — удивительное создание: я твердо знал, что жизнь моя — на волоске, что если меня не убьют при попытке к бегству, то все рав-

но убьют по дороге, так как от сильной потери крови я едва ли мог бы идти наравне с остальными, но, когда обыск кончился и партбилет остался при мне,— я так обрадовался, что даже про жажду забыл!

Нас построили в походную колонну и погнали на запад. По сторонам дороги шел довольно сильный конвой и ехало человек десять немецких мотоциклистов. Гнали нас быстрым шагом, и силы мои приходили к концу. Два раза я падал, вставал и шел потому, что знал, что, если пролежу лишнюю минуту и колонна пройдет,— меня пристрелят там же, на дороге. Так произошло с шедшим впереди меня сержантом. Он был ранен в ногу и с трудом шел, стоная, иногда даже вскрикивая от боли. Прошли с километр, и тут он громко сказал:

— Нет, не могу. Прощайте, товарищи!— и сел среди дороги.

Его пытались на ходу поднять, поставить на ноги, но он снова опускался на землю. Как во сне, помню его очень бледное молодое лицо, нахмуренные брови и мокрые от слез глаза... Колонна прошла. Он остался позади. Я оглянулся и увидел, как мотоциклист подъехал к нему вплотную, не слезая с седла, вынул из кобуры пистолет, приставил к уху сержанта и выстрелил. Пока дошли до речки, фашисты пристрелили еще нескольких отстававших красноармейцев.

И вот уже вижу речку, разрушенный мост и грузовую машину, застрявшую сбоку переезда, и тут падаю вниз лицом. Потерял ли я сознание? Нет, не потерял. Я лежал, протянувшись во весь рост, во рту у меня было полно пыли, я скрипел от ярости зубами, и песок хрустел у меня на зубах, но подняться я не мог. Мимо меня шагали мои товарищи. Один из них тихо сказал: «Вставай же, а то убьют!» Я стал пальцами раздирать себе рот, давить глаза, чтобы боль помогла мне подняться...

А колонна уже прошла, и я слышал, как шуршат колеса подъезжающего ко мне мотоцикла. И все-таки я встал! Не оглядываясь на мотоциклиста, качаясь как пьяный, я заставил себя догнать колонну и пристроился к задним рядам. Проходившие через речку немецкие танки и автомашины взмутили воду, но мы пили ее, эту коричневую теплую жижу, и она казалась нам слаще самой хорошей ключевой воды. Я намочил голову и плечо. Это меня очень освежило, и ко мне вернулись силы. Теперь-то я мог идти в надежде, что не упаду и не останусь лежать на дороге...

Только отошли от речки, как по путн нам встретнлась колонна средних немецких танков. Онн двигались нам навстречу. Водитель головного танка, рассмотрев, что мы — пленные, дал полный газ и на всем ходу врезался в нашу колонну. Передние ряды были смяты и раздавлены гусеницами. Пешие конвойные и мотоциклисты с хохотом наблюдали эту картину, что-то орали высунувшимся из люков танкнстам и размахивали руками. Потом снова построили нас и погналн сбоку дорогн. Веселые людн, ннчего не скажешь...

В этот вечер н ночью я не пытался бежать, так как понял, что уйти не смогу, потому что очень ослабел от потерн крови, да и охранялн нас строго, и всякая попытка к бегству наверняка закончилась бы неудачей. Но как проклинал я себя впоследствии за то, что не предпринял этой попытки! Утром нас гнали через одну деревню, в которой стояла немецкая часть. Немецкие пехотинцы высыпали на улицу посмотреть на нас. Конвой заставил нас бежать через всю деревню рысью. Надо же было унизить нас в глазах подходившей к фронту немецкой части. И мы бежали. Кто падал или отставал, в того немедленно стреляли. К вечеру мы были уже в лагере для военнопленных.

Двор какой-то МТС был густо огорожен колючей проволокой. Внутри плечом к плечу стояли пленные. Нас сдали охране лагеря, и те прикладами винтовок загнали нас за огорожу. Сказать, что этот лагерь был адом,— значнт, ннчего не сказать. Уборной не было. Люди испражнялись здесь же и стояли и лежали в грязи и в зловонной жиже. Наиболее ослабевшие вообще уже не вставали. Воду и пищу давали раз в сутки. Кружку воды н горсть сырого проса или прелого подсолнуха, вот и все. Иной день совсем забывали что-либо дать...

Дня через два пошли сильные дождн. Грязь в лагере растолкли так, что бродили в ней по колено. Утром от намокших людей шел пар, словно от лошадей, а дождь лнл не переставая... Каждую ночь умирало по нескольку десятков человек. Все мы слабели от недоедания с каждым днем. Меня вдобавок мучили раны.

На шестые сутки я почувствовал, что у меня еще снльнее заболело плечо и рана на голове. Началось нагноенне. Потом появился дурной запах. Рядом с лагерем были колхозные конюшни, в которых лежали тяжелораненые красноармейцы. Утром я обратился к унтеру из охраны и попросил разрешения обратиться к врачу, который, как сказали

мне, был при раненых. Унтер хорошо говорил по-русски. Он ответил: «Иди, русский, к своему врачу. Он немедленно окажет тебе помощь».

Тогда я не понял насмешки и, обрадованный, побрел к конюшне.

Военврач третьего ранга встретил меня у входа. Это был уже конченый человек. Худой до изнеможения, измученный, он был уже полусумасшедшим от всего, что ему пришлось пережить. Раненые лежали на навозных подстилках и задыхались от дикого зловония, наполнявшего конюшню. У большинства в ранах кишели черви, и те из раненых, которые могли, выковыривали их из ран пальцами и палочками... Тут же лежала груда умерших пленных, их не успевали убирать.

«Видели?— спросил у меня врач.— Чем же я могу вам помочь? У меня нет ни одного бинта, ничего нет! Идите отсюда, ради бога, идите! А бинты ваши сорвите и присыпьте раны золой. Вот здесь у двери — свежая зола».

Я так и сделал. Унтер встретил меня у входа, широко улыбаясь. «Ну, как? О, у ваших солдат превосходный врач! Оказал он вам помощь?» Я хотел молча пройти мимо него, но он ударил меня кулаком в лицо, крикнул: «Ты не хочешь отвечать, скотина?! Я упал, и он долго бил меня ногами в грудь и в голову. Бил до тех пор, пока не устал. Этого фашиста я не забуду до самой смерти, нет, не забуду! Он и после бил меня не раз. Как только увидит сквозь проволоку меня, приказывает выйти и начинает бить, молча, сосредоточенно...

Вы спрашиваете, как я выжил?

До войны, когда я еще не был механиком, а работал грузчиком на Каме, я на разгрузке носил по два куля соли, в каждом — по центнеру. Силенка была, не жаловался, к тому же вообще организм у меня здоровый, но главное — это то, что не хотел я умирать, воля к сопротивлению была сильна. Я должен был вернуться в строй бойцов за родину, и я вернулся, чтобы мстить врагам до конца!

Из этого лагеря, который являлся как бы распределительным, меня перевели в другой лагерь, находившийся километрах в ста от первого. Там все было так же устроено, как и в распределительном: высокие столбы, обнесенные колючей проволокой, ни навеса над головой, ничего. Кормили так же, но изредка вместо сырого проса давали по кружке вареного гнилого зерна или же втаскивали в лагерь трупы издохших лошадей, предоставляя пленным самим делить

эту падаль. Чтобы не умереть с голоду, мы ели — и умирали сотнями... Вдобавок ко всему в октябре наступили холода, беспрестанно шли дожди, по утрам были заморозки. Мы жестоко страдали от холода. С умершего красноармейца мне удалось снять гимнастерку и шинель. Но и это не спасало от холода, а к голоду мы уже привыкли...

Стерегли нас разжиревшие от грабежей солдаты. Все они по характеру были сделаны на одну колодку. Наша охрана на подбор состояла из отъявленных мерзавцев. Как они, к примеру, развлекались: утром к проволоке подходит какой-нибудь ефрейтор и говорит через переводчика:

«Сейчас раздача пищи. Раздача будет происходить с левой стороны».

Ефрейтор уходит. У левой стороны огорожи толпятся все, кто в состоянии стоять на ногах. Ждем час, два, три. Сотни дрожащих, живых скелетов стоят на пронизывающем ветру... Стоят и ждут.

И вдруг на противоположной стороне быстро появляются охранники. Они бросают через проволоку куски нарубленной конины. Вся толпа, понукаемая голодом, шарахается туда, около кусков измазанной в грязи конины идет свалка...

Охранники хохочут во все горло, а затем резко звучит длинная пулеметная очередь. Крики и стоны. Пленные отбегают к левой стороне огорожи, а на земле остаются убитые и раненые... Высокий обер-лейтенант — начальник лагеря — подходит с переводчиком к проволоке. Обер-лейтенант, еле сдерживаясь от смеха, говорит:

«При раздаче пищи произошли возмутительные беспорядки. Если это повторится, я прикажу вас, русских свиней, расстреливать беспощадно! Убрать убитых и раненых!» Гитлеровские солдаты, толпящиеся позади начальника лагеря, просто помирают со смеху. Им по душе «остроумная» выходка их начальника.

Мы молча вытаскиваем из лагеря убитых, хороним их неподалеку, в овраге... Били и в этом лагере кулаками, палками, прикладами. Били так просто, от скуки или для развлечения. Раны мои затянулись, потом, наверное от вечной сырости и побоев, снова открылись и болели нестерпимо. Но я все еще жил и не терял надежды на избавление... Спали мы прямо в грязи, не было ни соломенных подстилок, ничего. Собьемся в тесную кучу, лежим. Всю ночь идет тихая возня: зябнут те, которые лежат на самом ни-

зу, в грязи, зябнут и те, которые находятся сверху. Это был не сон, а горькая мука.

Так шли дни, словно в тяжком сне. С каждым днем я слабел все более. Теперь меня мог бы свалить на землю и ребенок. Иногда я с ужасом смотрел на свои обтянутые одной кожей высохшие руки, думал: «Как же я уйду отсюда?» Вот когда я проклинал себя за то, что не попытался бежать в первые же дни. Что ж, если бы убили тогда, не мучился бы так страшно теперь.

Пришла зима. Мы разгребали снег, спали на мерзлой земле. Все меньше становилось нас в лагере... Наконец было объявлено, что через несколько дней нас отправят на работу. Все ожили. У каждого проснулась надежда, хоть слабенькая, но надежда, что, может быть, удастся бежать.

В эту ночь было тихо, но морозно. Перед рассветом мы услышали орудийный гул. Все вокруг меня зашевелилось. А когда гул повторился, вдруг кто-то громко сказал:

— Товарищи, наши наступают!

И тут произошло что-то невообразимое: весь лагерь поднялся на ноги, как по команде! Встали даже те, которые не поднимались по нескольку дней. Вокруг слышался горячий шепот и подавленные рыдания... Кто-то плакал рядом со мной по-женски, навзрыд... Я тоже... я тоже...— прерывающимся голосом быстро проговорил лейтенант Герасимов и умолк на минуту, но затем, овладев собой, продолжал уже спокойнее:— У меня тоже катились по щекам слезы и замерзали на ветру... Кто-то слабым голосом запел «Интернационал», мы подхватили тонкими, скрипучими голосами. Часовые открыли стрельбу по нас из пулеметов и автоматов, раздалась команда: «Лежать!» Я лежал, вдавив тело в снег, и плакал, как ребенок. Но это были слезы не только радости, но и гордости за наш народ. Фашисты могли убить нас, безоружных и обессилевших от голода, могли замучить, но сломить наш дух не могли, и никогда не сломят! Не на тех напали, это я прямо скажу.

* * *

Мне не удалось в ту ночь дослушать рассказа лейтенанта Герасимова. Его срочно вызвали в штаб части. Но через несколько дней мы снова встретились. В землянке пахло плесенью и сосновой смолью. Лейтенант сидел на скамье, согнувшись, положив на колени огромные кисти рук со скрещенными пальцами. Глядя на него, невольно я поду-

мал, что это там, в лагере для военнопленных, он привык сидеть вот так, скрестив пальцы, часами молчать и тягостно, бесплодно думать...

— Вы спрашиваете, как мне удалось бежать? Сейчас расскажу. Вскоре после того, как услышали мы ночью орудийный гул, нас отправили на работу по строительству укреплений. Морозы сменились оттепелью. Шли дожди. Нас гнали на север от лагеря. Снова было то же, что и вначале: истощенные люди падали, их пристреливали и бросали на дороге...

Впрочем, одного унтер застрелил за то, что на ходу взял с земли мерзлую картофелину. Мы шли через картофельное поле. Старшина, по фамилии Гончар, украинец по национальности, поднял эту проклятую картофелину и хотел спрятать ее. Унтер заметил. Ни слова не говоря, он подошел к Гончару и выстрелил ему в затылок. Колонну остановили, построили. «Все это — собственность германского государства,— сказал унтер, широко поводя вокруг рукой.— Всякий из вас, кто самовольно что-либо возьмет, будет убит».

В деревне, через которую мы проходили, женщины, увидев нас, стали бросать нам куски хлеба, печеный картофель. Кое-кто из наших успел поднять, остальным не удалось: конвой открыл стрельбу по окнам, а нам приказано было идти быстрее. Но ребятишки — бесстрашный народ, они выбегали за несколько кварталов вперед, прямо на дорогу клали хлеб, и мы подбирали его. Мне досталась большая вареная картофелина. Разделили ее пополам с соседом, съели с кожурой. В жизни я не ел более вкусного картофеля!

Укрепления строились в лесу. Немцы значительно усилили охрану, выдали нам лопаты. Нет, не строить им укрепления, а разрушать я хотел!

В этот же день перед вечером я решился: вылез из ямы, которую мы рыли, взял лопату в левую руку, подошел к охраннику... До этого я приметил, что остальные немцы находятся у рва и, кроме этого, какой наблюдал за нашей группой, поблизости никого из охраны не было.

— У меня сломалась лопата... вот посмотрите,— бормотал я, приближаясь к солдату. На какой-то миг мелькнула у меня мысль, что, если не хватит сил и я не свалю его с первого удара,— я погиб. Часовой, видимо, что-то заметил в выражении моего лица. Он сделал движение плечом, снимая ремень автомата, и тогда я нанес удар лопатой ему по

лицу. Я не мог ударить его по голове, на нем была каска. Силы у меня все же хватило, немец без крика запрокинулся навзничь.

В руках у меня автомат и три обоймы. Бегу! И тут-то оказалось, что бегать я не могу. Нет сил, и баста! Остановился, перевел дух и снова еле-еле потрусил рысцой. За оврагом лес был гуще, и я стремился туда. Уже не помню, сколько раз падал, вставал, снова падал... Но с каждой минутой уходил все дальше. Всхлипывая и задыхаясь от усталости, пробирался я по чаще на той стороне холма, когда далеко сзади застучали очереди автоматов и послышался крик. Теперь поймать меня было нелегко.

Приближались сумерки. Но если бы немцы сумели напасть на мой след и приблизиться,— только последний патрон я приберег бы для себя. Эта мысль меня ободрила, я пошел тише и осторожнее.

Ночевал в лесу. Какая-то деревня была от меня в полукилометре, но я побоялся идти туда, опасаясь нарваться на немцев.

На другой день меня подобрали партизаны. Недели две я отлеживался у них в землянке, окреп и набрался сил. Вначале они относились ко мне с некоторым подозрением, несмотря на то, что я достал из-под подкладки шинели кое-как зашитый мною в лагере партбилет и показал им. Потом, когда я стал принимать участие в их операциях, отношение ко мне сразу изменилось. Еще там открыл я счет убитым мною фашистам, тщательно веду его до сих пор, и цифра помаленьку подвигается к сотне.

В январе партизаны провели меня через линию фронта. Около месяца пролежал в госпитале. Удалили из плеча осколок мины, а добытый в лагерях ревматизм и все остальные недуги буду залечивать после войны. Из госпиталя отпустили меня домой на поправку. Пожил дома неделю, а больше не мог. Затосковал, и все тут! Как там ни говори, а мое место здесь до конца.

* * *

Прощались мы у входа в землянку. Задумчиво глядя на залитую ярким солнечным светом просеку, лейтенант Герасимов говорил:

— ...И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются. Казалось бы, любовь и ненависть никак

нельзя поставить рядышком; знаете, как это говорится: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»,— а вот у нас они впряжены и здорово тянут! Тяжко я ненавижу фашистов за все, что они причинили моей родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. И если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, но я так думаю,— закончил лейтенант Герасимов и впервые за время нашего знакомства улыбнулся простой и милой, ребяческой улыбкой.

А я впервые заметил, что у этого тридцатидвухлетнего лейтенанта, надломленного пережитыми лишениями, но все еще сильного и крепкого, как дуб, ослепительно белые от седины виски. И так чиста была эта добытая большими страданиями седина, что белая нитка паутины, прилипшая к пилотке лейтенанта, исчезала, коснувшись виска, и рассмотреть ее было невозможно, как я ни старался.

1942

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

ФЛАГ

Рассказ

Несколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо.

Безлюдным казался каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так.

Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещере плавно поднимались три дальнобойных орудия. Они поднимались выше уровня моря, выдвигались вперед и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблем, как за магнитом. На толстых стальных срезах, в концентрических желобах блестело тугое зеленое масло.

В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещались небольшой гарнизон форта и все его хозяйство. В тесной нише, отделенной от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник гарнизона форта и его комиссар.

Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил ведомости. Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой.

Простыни слепящего оранжевого огня вылетали из орудий. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго ударил в уши. С шумом чугунного шара, пущенного по мрамору, снаряды уходили один за другим вдаль. А через несколько мгновений эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались.

Командир н комнссар молча смотрелн друг на друга. Все было понятно без слов: остров со всех сторон обложен; коммуникацнн порваны; больше месяца горсточка храбрецов защнщает осажденный форт от беспрерывных атак с моря н воздуха; бомбы с яростным постоянством бьют в скалы; торпедные катера н десантные шлюпкн шныряют вокруг; враг хочет взять остров штурмом. Но граннтные скалы стоят непоколебимо; тогда враг отступает далеко в море; собравшись с снламн н перестроившнсь, он снова бросается на штурм; он нщет слабое место и не находнт его.

Но время шло.

Боепрнпасов н продовольствня становнлось все меньше. Погреба пустелн. Часами командир и комиссар проснжнвалн над ведомостями. Онн комбнннровали, сокращалн. Онн пыталнсь оттянуть страшную минуту. Но развязка прнближалась. И вот она наступнла.

— Ну?— сказал наконец комнссар.

— Вот тебе и ну,— сказал командир.— Все.

— Тогда пнши.

Командир, не торопясь, открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и запнсал аккуратным почерком: «20 октября. Сегодня с утра велн огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут пронзведен последнний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствня на однн суткн».

Он закрыл журнал — эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную н скрепленную сургучной печатью, подержал его некоторое время на ладонн, как бы определяя его вес, и положнл на полку.

— Такие-то дела, комнссар,— сказал он без улыбкн.

В дверь постучалн.

— Войднте.

Дежурный в глянцевнтом плаще, с которого текла вода, вошел в комнату. Он положнл на стол небольшой алюмнннневый цнлиндрнк.

— Вымпел?

— Точно.

— Кем сброшен?

— Немецкнм нстребителем.

Командир отвннтнл крышку, засунул в цнлиндр два пальца и вытащил бумагу, свернутую трубкой. Он прочнтал ее н нахмурнлся. На пергаментном лнстке крупным, очень разборчнвым почерком, зеленымн алнзарнновыми чернnлами было напнсано следующее:

«Господин коммандантий совецки форт и батареи. Вы есть окружени зовсех старон. Вы не имеет больше боевых припаси и продукты. Во избегания напрасни кровопролити предлагаю Вам капитулирование. Условия: весь гарнизон форта зовместно коммандантий и командиры осталяют батареи форта полный сохранность и порядок и без оружия идут на площадь возле кирха — там сдаваться. Ровно в 6.00 часов по среднеевропейски время на вершина кирхе должен есть быть бели флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противни случай смерть. Здавайтесь.
Командир немецки десант контр-адмирал

фон Эвершарп».

Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочел и сказал дежурному:

— Хорошо. Идите.

Дежурный вышел.

— Они хотят видеть флаг на кирхе,— сказал командир задумчиво.

— Да,— сказал комиссар.

— Они его увидят,— сказал командир, надевая шинель.— Большой флаг на кирхе. Как ты думаешь, комиссар, они заметят его? Надо, чтобы они его непременно приметили. Надо, чтоб он был как можно больше. Мы успеем?

— У нас есть время,— сказал комиссар, отыскивая фуражку.— Впереди ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его сшить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь.

Они обнялись и поцеловались в губы, командир и комиссар. Они поцеловались крепко, по-мужски, чувствуя на губах вкус обветренной, горькой кожи. Они поцеловались первый раз в жизни. Они торопились. Они знали, что времени для этого больше никогда не будет.

Комиссар вошел в кубрик и приподнял с тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он встал на табурет и снял со стены кумачовую полосу с лозунгом.

Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках.

Незадолго до рассвета флаг размером, по крайней мере, в шесть простынь был готов.

Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх.

На рассвете в каюту фон Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон Эвершарп не спал. Он лежал, одетый, на койке. Он подошел к туалетному столику, посмотрел на себя в зеркало, вытер одеколоном мешки под глазами. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтенный начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыханье, поднимая для приветствия руку.

— Флаг на кирхе?— отрывисто спросил фон Эвершарп, играя витой, слоновой кости, рукояткой кинжала.

— Так точно. Они сдаются.

— Хорошо,— сказал фон Эвершарп.— Вы принесли мне превосходную весть. Я вас не забуду. Отлично. Свистать всех наверх.

Через минуту он стоял, расставив ноги, на боевой рубке. Только что рассвело. Это был темный ветреный рассвет поздней осени. В бинокль фон Эвершарп увидел на горизонте маленький гранитный остров. Он лежал среди серого, некрасивого моря. Угловатые волны с диким однообразием повторяли форму прибрежных скал. Море казалось высеченным из гранита.

Над силуэтом рыбачьего поселка подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развевался на шпиле. В утренних сумерках он был совсем темный, почти черный.

— Бедняги,— сказал фон Эвершарп,— им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь. Капитуляция имеет свои неудобства.

Он отдал приказ.

Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров вырастал, приближался. Теперь уже простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи.

В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскаленное железо.

— Черт возьми, это красиво,— сказал фон Эвершарп,— солнце хорошо подшутило над большевиками. Оно выкра-

сило белый флаг в красиый цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть.

Ветер гиал крупиую зыбь. Волиы били в скалы. Отражая удары, скалы звеиели, как бронза. Тоикий звон дрожал в воздухе, иасыщеним водяиой пылью. Волны отступали в море, обнажая мокрые валуны. Собравшись с силами и перестроившись, они снова бросались на приступ. Они искали слабое место, они врывались в узкие извилистые промоины. Они просачивались в глубокие трещины. Вода булькала, стеклянно журчала, шипела. И вдруг, со всего маху ударившись в иезримую преграду, с пушечным выстрелом вылетала обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли.

Десаитные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя, падая и снова подымаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже иа скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей.

Фон Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал глаз от берега. Он был восхищеи. Его лицо подергивали судороги.

— Вперед, мальчики, вперед!

И вдруг подземный взрыв чудовищиой силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочья одежды и человеческие тела. Скалы иаползали одиа иа другую, раскалывались. Их корежило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова, и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где грудами обожженного металла лежали механизмы взорванных орудий.

Морщииа землетрясения прошла по острову.

— Они взрывают батареи! — крикнул фон Эвершарп.— Они нарушили условия капитуляции! Мерзавцы!

В эту минуту солнце медлеино вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачио озарявший остров и море, померк. Все вокруг стало монотонного гранитного цвета. Все — кроме флага иа кирхе. Фои Эвершарп подумал, что ои сходит с ума. Вопреки всем законам физики, громадиый флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоие пейзажа его цвет стал еще иитенсивней. Он резал глаза. Тогда фон Эвершарп понял все. Флаг никогда ие был белым. Ои всегда был красным. Он не мог быть иным. Фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фои Эвершарпа. Он обманул сам себя.

Фон Эвершарп отдал новое приказание.

Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катера, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбачьего поселка, как тюльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья.

И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирхи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулеметы на все четыре стороны света — на юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполнили ее до конца. Они стреляли точно и аккуратно. Ни один выстрел не пропал даром. Ни одна граната не была брошена зря. Сотни немецких трупов лежали на подступах к кирхе.

Но силы были слишком неравны.

Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирхи, с лицами, черными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной из подкладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один за другим, продолжая стрелять до последнего вздоха.

Над ними развевался громадный красный флаг, сшитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек, даже трусов. Алый коленкоровый переплет первого тома «Истории гражданской войны» был также вшит в эту огненную мозаику.

На головокружительной высоте, среди движущихся туч, он развевался, струился, горел, как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сражения вперед к победе.

1942

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

ОДУХОТВОРЕННЫЕ ЛЮДИ

Рассказ о небольшом сражении под Севастополем

В дальней уральской деревне пели русские девушки. Одна из них пела выше и задушевнее всех, и слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг и чтобы они не заметили ее горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке.

А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости. У него была поранена пулей щека, и кровь из нее лилась ему за шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он хотел рвануть на себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, отчего же он столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе воротник застегнутого бушлата; ему сейчас некогда было слабеть, ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку, он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперед его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.

Он пал вниз лицом, послушный мгновенному побуждению, тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам не понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но когда смерть стала напевать над ним долгою очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь.

Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинуясь необходимости боя, и пошел вперед. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрет на ходу.

Впереди него лежал на земле старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться: моряк был убит пулею в глаз — свет и жизнь в нем угасли одновременно. «Может быть, мать его любила меньше меня, или она забыла про него?»— подумал моряк, шедший в атаку, и ему стало стыдно этой своей нечаянной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем ныне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрет за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, нужно было лишь биться в память его. Ему стало легче, томительная слабость в его теле, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга и сила погибшего вошла в него. С криком ярости он ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти. Затем моряк обернулся в темноте земляной щели и размахнулся винтовкой на другого врага, но не упомнил, убил он его или нет, и упал в беспамятстве, с закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, начала сокрущающе бить немецкая артиллерия, чтобы место стало ничьим.

Старший батальонный комиссар Поликарпов издали смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмог встречный огонь противника и дошел до щелей врага на взгорье, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сраженный Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев и неровно, но упрямо удалялся вперед на противника краснофлотец Красносельский, видимо уже раненный, однако стерпевший до конца свою му́ку.

Правый и левый фланги еще шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была вся разбита и легла к земле под огнем; был или не был там кто в живых, комиссар Поликарпов не знал; поэтому он сам решил идти туда и пополз по земле вперед.

Позади него был Севастополь, впереди — Дуванкойское

шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо на юг, на Севастополь. Против закругления шоссе, по ту сторону его, лежало полынное поле, а немного дальше находилась высота, на которой теперь были враги. С высоты врагу уже виден был город, последняя крепость и убежище русского народа в Крыму.

Правый и левый фланги атакующей морской пехоты вошли на взгорье, на скат высоты, и скрылись в складках земной поверхности, в окопах противника, занявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побежал по взгорью. Четверо моряков с правого фланга присоединились к Поликарпову и помчались вперед, вслед комиссару, пользуясь тишиною на этой еще не остывшей от огня смертной земле.

Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью. Он вспомнил Нефедова, павшего теперь славной смертью, а прежде это был веселый, привлекательный, но трудный человек. И вот он лежит мертвый, он остался уже позади бегущего вперед комиссара.

Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулеметов раздался со второго рубежа немцев; этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жесткий и точный; Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли, и сам залег впереди них.

Вдобавок к пулеметам начали бить минометы, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. «Зачем столько огня против пятерых?— подумал Поликарпов.— Пугливо, без расчета бьют!»

Поликарпов осторожно обернулся лицом назад — к бойцам. Они лежали врозь, правильно, хорошо вжившись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели.

До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто, и обратно, до Дуванкойского шоссе, было столько же.

Минометный огонь усилился; маленькие толстые тела мин с воем неслись над телами людей и рвались на куски, сло́вно от собственной внутренней ярости. Оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно.

Поликарпов двинулся вперед.

— За мной! Вперед, на злодеев, мать их...

Но мина прошла мимо него и рванулась невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссыхал и крошился.

Комиссар оглянулся на моряков, они лежали неподвижно; железная смерть пахала воздух низко над их сердцами, и души их хранили самих себя.

Поликарпов почувствовал удар рвущего воздуха в лицо и приник обратно к земле; стая тяжелых мин пронеслась над отрядом. Комиссар залег вполоборота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы. Пока они все еще были живы. Один Василий Цибулько что-то не шевелился, лежа ничком. Поликарпов подполз к нему ближе и увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться,— стало быть, и он был живой. Цибулько изредка приподымал свое лицо от земли и вновь приникал к ней вплотную. Опухшие, потрескавшиеся от ветра уста его были открыты, он прижимался ими к земле и отымал их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоение и утешение. Даниил Одинцов задумчиво смотрел на былинку полыни; она была сейчас мила для него. «Это все хорошо,— решил Поликарпов,— но нам пора вперед»,— и он снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня:

— За мной!— и поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам.

Все бойцы привстали; однако близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова ниц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю.

В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озлобившись на враждебную силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но мозг его работал по-прежнему ясно и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсеченную осколком мины почти по плечо. Эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла темная кровь, сочась сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсеченной руки тоже еще шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного.

Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул и свист огня. Он поднял над головой, как знамя, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростном порыве своего сердца, погибающего за родивший его народ:

— Вперед! За Родину, за вас!

Но краснофлотцы уже были впереди него; они мчались

сквозь чащу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы.

Поликарпов поглядел им вслед довольными, побледневшими от слабости глазами и лег на землю в последнем изможении.

Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей — окопов противника — и въелись в них. В одном окопе лежал без памяти, но еще живой Иван Красносельский; возле него валялись опрокинутыми два мертвых немца.

Окопы были достаточно хорошо открыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно.

— Ну, тут-то мы жители!— сказал Цибулько Одинцову.

— Тут-то что же!— согласился Одинцов.— Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре, только всего!

— А ребята как там устроились?— спросил Цибулько.

Одинцов смотрел наружу.

— Они вон в том блиндаже остались,— сказал Одинцов.— Там им удобней.

Цибулько и Одинцов помогали Красносельскому, и тот пришел в себя. Кроме ранения в щеку у него оказалась рана в грудь навылет; нижняя нательная рубашка присохла к телу в двух местах — возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла наружу. Цибулько умело перевязал Красносельского, изорвав на бинты свою рубашку. Наружные ранки на теле Красносельского уже подсохли и начали заживать, неизвестно было только, что сделала пуля внутри.

— Ну как ты себя чувствуешь-то?— спросил Цибулько.— После боя в эваку пойдешь иль так обойдешься, под огнем отдышишся?

— Теперь мне много легче,— сказал Красносельский.— Плохо было, когда я в атаку шел, тогда истома меня всего брала, а пока до врага дошел — я обветрился, обозлел и выздоровел. Тут вот я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда ранение бывает спервоначалу, когда только в бой входишь, воюешь тогда вполсилы. А теперь мне ничего — я отошел от смерти.

Но дышалось Красносельскому тяжко, и пот шел по его лицу.

— Отдыхай!— крикнул ему Цибулько, покрывая голосом стрельбу врага.— А мы пока без тебя повоюем.

Цибулько нашел место в тупом конце окопа и стал отту-

да поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же вывалил мертвых немцев наружу и прибрал окоп от комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для жизни и боя.

Стало уже вечереть,— стрельба немцев стала редкой, они палили сейчас ради одного предостережения, отложив свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра.

— А где наш батальонный комиссар товарищ Поликарпов?— спросил Красносельский.

— Ночью уберем его с поля...— сказал Одинцов.— Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно.

— Это точно!— произнес Цибулько.—«Вперед, говорит, за Родину, за вас!..» За нас с тобой! Родиной для него были все мы, и он умер.

— Он кровью истек?— спросил Красносельский.

— Точно,— сказал Цибулько.

На высоте настала тьма, но Севастополь был светел: над ним сияли четыре люстры осветительных ракет, и по телу города била издали тяжелая артиллерия врага. По врагу из мрака моря стреляли через город пушки наших кораблей. Цибулько и Одинцов загляделись на город, на блистающую мертвым светом поверхность моря, уходящую в затаившийся темный мир, где вспыхивали сейчас зарницы работающей корабельной артиллерии.

Красносельский лег на дно окопа и задремал для отдыха.

Он дремал, больное тело его отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мыслей и воображения. Он слушал артиллерийскую битву за Севастополь, чувствовал прах, сыплющийся на него со стен окопа от сотрясения земли, и улыбался невесте в далекой уральской деревне. Ей там тихо сейчас, тепло и покойно — пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго, до самой старости, и будет сыта и счастлива — с ним или с другим хорошим человеком, если сам Красносельский скончается здесь ранней смертью, но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова — и вдовы есть ничего.

А в уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек: там время ушло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подниматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала: ее лицо, прекрасное не женской красотой, но выражением удивления и невинности, было спокойно сейчас; и

лишь нежное, кроткое счастье светилось на нем: ей снилось, что война окончилась и эшелоны с войсками едут обратно домой, а она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-скоро сшивает мелкие разноцветные лоскутья, изготовляя красивый плат на одеяло...

В полночь в окоп пришли из блиндажа политрук Николай Фильченко и краснофлотец Юрий Паршин. Фильченко передал приказ командования: нужно занять рубеж на Дуванкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты, и там нужно держаться до погибели врага; кроме того, до рассвета следует проверить свое вооружение, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание.

Краснофлотцы, отходя через полынное поле, нашли тело комиссара Поликарпова и унесли его, чтобы предать земле и спасти от поругания врагом. Чем еще можно выразить любовь к мертвому, безмолвному товарищу?

Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошел в тыл, к Севастополю, на пункт снабжения, чтобы ускорить доставку боепитания.

Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую; их и сейчас было четыре люстры, четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстро и точным огнем расстреливали на погашение наши зенитные пулеметы, но противник бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный грустный свет, похожий на свет сновидения, постоянно освещал город и его окрестности — море и сушу.

На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, все еще жили какие-то мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую белье возле входа в жилище, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы: был час ночи. Дети, должно быть, выспались днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошел к низкой каменной ограде, ограживающей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище — четыре креста из щепок стояли в изголовье намогильных холмиков, а он рыл пятую могилу.

— Ты теперь большую рой! — приказала ему сестра. Она была постарше брата, лет девяти-десяти, и разумней его.— Я тебе говорю: большую нужно, братскую, у меня покойников много, народ помирает, а ты одна рабочая сила,

ты не успеешь рыть. Еще рой, еще, побольше и поглубже — я тебе что говорю!

Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком в земле.

Фильченко тихо наблюдал эту игру детей в смерть.

Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбчонки.

— Не готово еще?— спросила она у трудящегося брата.

— Тут копать твердо,— сказал брат.

— Эх ты, румын-лодырь,— опорочила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама начала работать.

Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человечка, величиною вершка в два, слепленное из глины. На земле лежали еще шестеро таких человечков, один был без головы, а двое без ног — они у них открошились.

— Они плохие, такие не бывают,— с грустью сказал мальчик.

— Нет, такие тоже бывают,— ответила сестра.— Их танками пораздавило: кого как.

Фильченко пошел далее по своему делу. «И мои две сестренки тоже играют где-нибудь теперь в смерть на Украине,— подумал политрук, и в душе его тронулось привычное горе, старая тоска по погибшему дому отца.— Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мертвые... Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть! Я их сам отучу от жизни!»

За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова.

Одинцов перестал работать.

— Комиссар говорил, что мы для него — все, что мы для него — Родина. И он тоже Родина для нас. Не буду я его в землю закапывать.

Одинцов бросил саперную лопатку и сел в праздности.

— Это неудобно, это совестно,— говорил Одинцову Цибулько.— Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем — это мы его прячем пока, до победы!.. Неудобно, Даниил!

Но Одинцов не хотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножия насыпи и положили там Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный

час. Мертвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как на оружие, правую руку.

После того Одинцов приказал Паршину и Цибулько спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулько легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернувшись там по-детски, и, согревшись собственным телом, сразу уснули.

Одинцов остался бодрствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке; над городом сиял страшный, обнажающий свет врага, и до утренней зари было еще далеко.

Наутро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желанием: все равно нет жизни сейчас на свете и надо защищать добрую правду русского народа нерушимой силой солдата. «Правда у нас,— размышлял краснофлотец над спящими товарищами.— Нам трудно, у нас болит душа. А фашист, он действует для одного своего удовольствия — то пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стрельнет. А нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал еще, прочту после войны. Правда есть, и она записана у нас в книгах, она останется, хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила — это наш страшный сон. В нем многие помрут, не очнувшись, но человечество проснется, и будет опять хлеб у всех, люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни с облаками на небе, будут города и деревни, люди будут опять простыми, и душа их станет полной». И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся мертвяке, и этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потом теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве.

Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел вперед, в смутную сторону врага. Он оперся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал все, что полагается пережить человеку за долгую жизнь, потому что не знал, долго или коротко ему осталось жить, и на всякий случай обдумывал все до конца.

Потом воображение, замена человеческого счастья заработало в сознании Одинцова и начало согревать его. Он ви-

дел, как он будет жить после войны. Он окончит музыкальную школу при филармонии, где он учился до войны, и станет музыкантом. Он будет пианистом, и если сумеет, то и сам начнет сочинять новую музыку, в которой будет звучать потрясенное войной и смертью сердце человека, в которой будет изображено новое священное время жизни.

Одинцов посмотрел на товарищей: спят Цибулько и Паршин, спит Красносельский, раненный в грудь насквозь; навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жесткой земле: не для такого мира родили их матери и вскормил народ, не для того, чтобы кости отрывали от тела их живых детей. Одинцов вздохнул: много еще работы будет на свете и после войны, после нашей победы, если мы хотим, чтобы мир стал святым и одушевленным, если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванное сталью на войне, не обратилось в забытый прах...

К рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой комиссар Лукьянов; они привезли с собой боеприпасы, вооружение и пищевые продукты.

Лукьянов осмотрел позицию и увез с собой в город тело Поликарпова, пообещав наутро снова приехать на этот участок. Фильченко велел Одинцову лечь отдохнуть, потому что невыспавшийся боец — это не работник на войне.

— Иди ляжь! — сказал Фильченко. — В шубе — не пловец, в рукавицах — не косец, а сонный — не боец.

Одинцов лег в канаву возле разоспавшегося, храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул: он не очень хотел спать, но, раз надо было, он уснул.

Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекли во сне руки, ноги и туловище. Когда он их ворочал, они бормотали ему ругательства, но он укрощал их:

— Так удобней будет, голова! Мать во сне увидишь.

Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел бы на свою мать и дорого бы дал, чтобы обнять еще раз ее исхудавшее тело и поцеловать ее в плачущие глаза.

Наступила тишина. Далекие пушки неприятеля и наших кораблей, и до того уже бившие редко, вовсе перестали работать, светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко расслышал плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряженная скорая работа мастеровых войны — механиков, монтеров, слесарей, заправщиков, наладчиков, всех, кто снаряжает боевые машины в работу.

Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне, перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Фильченко вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен: они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.

По-детски, открытым ртом дышал во сне Василий Цибулько. Он был из трактористов Днепропетровской области, он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в тихом промежутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал угрюм, а однажды он плакал. «Ты чего, ты боишься?» — сердито спросил его в тот раз Фильченко. «Нет, товарищ политрук, я нипочем не боюсь,— ответил Цибулько,— это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня; это она боится, что я тут помру, и мне ее жалко стало!» В своем колхозе, рассказывал Цибулько, он устраивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества: там ветряная мельница накачивала воду из колодца в чан; там на огородах и бахчах Цибулько установил страшные чучела, действующие тем же ветром,— эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами, и от них не было житья не только хищным птицам, но и людям не было покоя. Наконец Цибулько начал кушать в вареном виде одну траву, которая в его местности спокон века считалась негодной для пищи; и он от той травы не заболел и не умер, а наоборот — у него стала прибавляться сила, почему появилось убеждение, что та трава на самом деле есть полезное питание.

Цибулько обо всем любил соображать своей особенной головой; он воспринимал мир как прекрасную тайну и был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так и в другое место.

Фильченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение шли три немецких танка. Цибулько вслушался в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизельмоторов. «Николай!— сказал тогда Цибулько.— Слышишь, как дизеля туго и ровно дышат? Вот где сейчас мощность и компрессия». Василий Цибулько наслаждался, слушая

мощную работу дизелей; он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, желая получше разглядеть машины; он любовно думал о всех машинах, какие где-либо только существуют на свете, убежденно веря, что все они — за нас, то есть за рабочий класс, потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов.

Теперь Цибулько спал; его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением и добрым чувством, были сейчас закрыты; темные волосы под бескозыркой слиплись от старого, дневного пота, и похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности — щеки его ввалились и уста сомкнулись в постоянном напряжении; он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа.

— Живи, Вася, пока не будешь старик,— вздохнул политрук.

Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале; он был плотовщиком. Воевал он исправно и по-хозяйски, словно выполняя тяжелую, но необходимую и полезную работу. В промежутках между боями и на отдыхе он жил молча и с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью.

Фильченко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другою силой, не менее мощной — его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Фильченко давно заметил, еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, мало и редко пил вино, не предавался озорству молодости,— не потому, что не способен был на это, а потому, что это его не занимало и не утешало и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погруженным в счастье своей любви; им владело постоянное, но однократное счастье своей любви; им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим, или разделить, или хотя

бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига — любви и мирной жизни.

Красносельский был человеком большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развито и обладало видимой физической мощью,— он должен бы свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив: одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью.

Фильченко задумался, наблюдая Красносельского: велика и интересна жизнь, и умирать нельзя.

Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле, еще в мирное время, он дважды сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понятно, что он это делал нарочно — ради того, чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Паршин знал и любил много своих севастопольских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что так необычно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличивало симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любого милого ему человека и в постоянной веселости. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание; он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи. Однажды, будучи в командировке в Феодосии, он познакомился с местной девушкой; она, почувствовав в нем настоящего человека, попросила Паршина сделать ей одолжение: жениться на ней, но только не в самом деле, а фиктивно. Ей так нужно было, потому что она стыдилась своего материнства от любимого человека, который оставил ее и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Паршин, конечно, с радостью согласился сделать такое одолжение молодой женщине. В следующий его приезд в Феодосию была сыграна свадьба. После свадьбы он просидел всю ночь у постели своей названой жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а наутро поцеловал ее, как сестру, в лоб и протянул ей руку на прощанье. Но у женщины,

слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу, она уже увлеклась им и задержала руку Паршина в своей руке. «Оставайтесь со мной»,— попросила она. «А надолго?»— спросил моряк. «Навсегда»,— прошептала женщина. «Нельзя, я непутевый»,— отказался Паршин и ушел навсегда.

Видя в Паршине его душу, люди как бы ослабевали при нем, перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и не слабеющим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки оставляли их: они забывали ревность в любви, потому что их сердцу и телу становилось стыдно своей скупости, они пренебрегали расчетливым разумом, и новое легкое чувство жизни зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой.

Чем занимался Юра Паршин до войны и до призыва во флот, трудно было понять, потому что он говорил всем по-разному и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Истина о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и, в зависимости от фантазии, он сообщал, что был токарем на Ленинградском металлическом заводе (и он действительно знал токарное дело), либо затейником в парке культуры имени Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он заполнял с тою же неточностью, чем вызывал недоразумения.

На войне Паршин чувствовал себя свободно и страха смерти не ощущал. Его сердце было переполнено жизненным чувством и сознание занято вымыслом, и это его свойство служило ему как бы заградительным огнем против переживаний опасности. Смерти некуда было вместиться в его заполненное, сильное своим счастьем существо.

Четыре раза он был ранен. Четыре раза врывалась к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь. Из этого Паршин убедился, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу.

Политрук Фильченко смотрел сейчас на скорчившегося от холода, но улыбающегося неизвестному сновидению Паршина.

— Жалко вас всех, чертей!— сказал политрук вслух.— Что ж! Если мы погибнем, другие люди родятся, и не хуже нас. Была бы Родина, родное место, где могут рождаться люди...

Фильченко представлял себе Родину как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них

ни одного, в точности похожего на другой, поэтому он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь,— ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его.

Политрук оглянулся. К насыпи, к их позиции мчалась машина. Где-то далеко ударила залпом батарея врага; ей ответили из Севастополя. Начинался рабочий день войны. Солнце светило с вершины высот; нежный свет медленно распространялся по травам, по кустарникам, по городу и морю,— чтобы все продолжало жить. Пора было поднимать людей.

Моряки встали с земли, кряхтя, сопя, бормоча разные слова, и стали очищать одежду от сора и травы.

— Разобрать оружие и боеприпасы по рукам!— приказал Фильченко.

Моряки разобрали по рукам доставленное ночью оружие и снаряжение — винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью — и приладили их к себе; некоторые оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цибулько откатил в сторону новый пулемет и сел за его настройку в работу.

Полковой комиссар Лукьянов подъехал на машине. Краснофлотцы выстроились.

— Здравствуйте, товарищи!— поздоровался комиссар.

Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица и помолчал.

— Резервы подойдут позже,— сказал комиссар,— они выгрузились ночью и сейчас снаряжаются. Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас — рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Сумеете сдержать, товарищи? Сумеете не пропустить врага к Севастополю?

— Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар!— ответил Паршин.

Комиссар строго поглядел на Паршина; однако он увидел, что за шутливыми словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждения краснофлотца.

— Надо сдержать и раскрошить врага!— произнес комиссар.— Позади нас Севастополь, а впереди — все наше, большая вечная Родина. Враг, как волосяной червь, лезет в глубь нашей земли, без которой нам нет жизни,— так рассечем врага здесь огнем! Будем драться, как спокон веку дрались русские — до последнего человека, а последний человек до последней капли крови и до последнего дыхания!

Комиссар поговорил еще отдельно с политруком Фильченко, сказал нужные сведения и сообщил инструкцию командования, а затем предложил краснофлотцам хорошо и надолго покушать.

— Еда великое дело для солдата!— сказал комиссар Лукьянов на прощанье и уехал, забрав две старые сменные винтовки.

Краснофлотцы взялись за пшеничный хлеб, за колбасу и консервы.

— После такой еды землю пахать хорошо!— выразил свое мнение Цибулько.— Целину можно легко поднять, и не уморишься!

— Щей не хватает,— сказал Одинцов,— и горячей говядины.

— Сейчас удобно было бы газу в сердце дать: водочки выпить,— пожалел Паршин.

— Обойдешься, сейчас не свадьба будет,— осудил Паршина Красносельский.

— Ишь ты!— засмеялся Паршин.— Он обо мне заботится. Ну, ладно, вино не в бессрочный отпуск ушло: после войны я, Ваня, на твоей свадьбе буду гулять и тогда уже жевну из бутылки!

— У нас на Урале не из рюмок пьют и не из бутылок,— пояснил Красносельский.— У нас из ушатов хлебают, у нас не по мелочи кушают...

— Поеду вековать на Урал,— сразу согласился Паршин.

После завтрака Николай Фильченко сказал своим друзьям:

— Товарищи! Наша разведка открыла командованию замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным, а враги наши только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером! Мы их раскрошим, мы протараним отродье

тирана!— воскликнул воодушевленный, сияющий силой Николай Фильченко.

— Есть таранить тирана!— крикнул Паршин.

Фильченко прислушался.

— Приготовиться, — приказал политрук. — По местам!

Морские пехотинцы заняли позиции по откосу шоссе — в окопах и щелях, отрытых стоявшим здесь прежде подразделением.

По ту сторону шоссе, на полынном поле и на скате высоты, где гнездились немцы, сейчас было пусто. Но откуда-то издалека доносился ровный, еле слышный шорох, словно шли по песку тысячи детей маленькими ножками.

— Николай, это что?— спросил у Фильченко Цибулько.

— Должно быть, новую какую-нибудь заразу придумали фашисты... Поглядим!— ответил Фильченко.— Фокус какой-нибудь, на испуг или на хитрость рассчитывают.

Шорох приближался, он шел со стороны высоты, но склоны ее и полынное поле, прилегающее к взгорью, были по-прежнему пусты.

— А вдруг фашисты теперь невидимыми стали!— сказал Цибулько.— Вдруг они вещество такое изобрели — намазался им и пропал из поля зрения!..

Фильченко резко окоротил бойца:

— Ложись в щель скорей и помирай от страха!

— Да это я так сказал,— произнес Цибулько.— Я подумал, может, тут новая техника какая-нибудь... Техника не виновата: она наука!

— Пускай хоть они видимые, хоть невидимые, их крошить надо в прах одинаково,— сказал свое мнение Паршин.

— Без ответа помирать нельзя,— сказал Красносельский.— Не приходится!

— Стоп! Не шуми!— приказал Фильченко.

Он всмотрелся вперед. По склонам вражеской высоты, примерно на половине ее расстояния от подошвы до вершины, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигалось сюда с тыльной стороны холма, из-за плеч высоты.

Краснофлотцы, стоя в рост в отрытой земле, замерли и глядели через бровку откоса, через шоссе, на ту сторону.

Паршин засмеялся.

— Это овцы!— сказал он.— Это овечье стадо выходит к нам из окруженья...

— Это овцы, но они идут к нам не зря,— отозвался Фильченко.

— Не зря: мы горячий шашлык будем есть,— сказал Одинцов.

— Тихо!— приказал политрук.— Внимание! Товарищ Цибулько, пулемет!

— Есть пулемет, товарищ политрук!— отозвался Цибулько.

— Всем — винтовки!

— Есть винтовки!— отозвались краснофлотцы.

— Овцы двумя ручьями обтекли высоту и стали спускаться с нее вниз, соединившись на полынном поле в один поток. Стадо направлялось прямо на Дуванкойское шоссе. Уже слышны были овечьи напуганные голоса: их что-то беспокоило, и они спешили, семеня худыми ножками.

Одна овца вдруг приостановилась и оглянулась назад, на нее набежали задние овцы, получилось стеснение, и из овечьей тесноты привстал человек в серо-зеленой шинели и замахнулся на животных оружием.

«Это умная овца!»— подумал Фильченко про ту, которая остановилась, и решил действовать.

— Цибулько, пулемет по гадам среди нашей скотины!

— Вижу,— откликнулся Цибулько.

Теперь Фильченко увидел среди овец еще шестерых немцев, бежавших согнувшись в тесноте овечьей отары.

— Цибулько!

— Есть, ясно вижу цель,— ответил пулеметчик и затрепетал от нетерпения у пулеметной машины.

— Цибулько!— крикнул политрук.— Зря овец не губи, они племенные. Огонь!

Пулемет заработал. Струя пуль запела в воздухе. Два врага сразу поникли, и задние овцы со спокойным изяществом перепрыгнули через павших людей.

Стадо приблизилось почти вплотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцев легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек пятьдесят. Некоторые били с ходу из автоматов по насыпи шоссе, другие молча стремились вперед.

Фильченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемета, а сам вместе с Паршиным и Одинцовым открыл точный огонь из винтовок по немецким автоматчикам.

Пулемет Цибулько работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Половина врагов уже легла к земле на покой, но еще человек двадцать или больше немцев были целы: они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там; теперь их пулеметом или винтовками достать было невозможно. А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно, по-детски, вскрикивая от страшной жизни среди человечества.

«Э, харчи хорошие гонят немцы в Севастополь!»— успел подумать Паршин.

— Цибулько!— крикнул Фильченко.— Дай нам дорогу вперед — через шоссе! Огонь по овцам!

Цибулько начал сечь овец, переваливающихся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние передние овцы пали, а бежавшие за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам, в обход людей.

— Всем — гранаты!— крикнул Фильченко.— Вперед!— Он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам; через немцев еще бежали напуганные и пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие.

Моряки сработали гранатами быстро; они смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих врагов. Краснофлотцы вернулись на свою позицию.

— Ну как?— спросил Цибулько у Фильченко.

— Пустяк,— сказал политрук.— Больше с овцами дрались.

— Какой это бой!— вздохнул Паршин.— Это ничто.

— Кури помалу,— разрешил Фильченко.

Красносельский сволок с откоса битых овец в одно место, чтобы ночью их увезли в город людям на пищу.

Из-за высоты по шоссе и по рубежу, что проходил позади моряков, начала бить артиллерия врага. Пушки били не спешно, не часто, но настойчивой долбежкой, не столь поражая, сколько прощупывая линии советской обороны. И немцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времени их артиллерия умолкала, словно слушая и размышляя. Но оборона не овечала, и немцы изредка били опять, как бы допрашивая собеседника.

Комиссар Лукьянов короткими перебежками привел резерв — до полуроты морской пехоты — и расположил

его на флангах подразделения Фильченко, оставив инициативу на этом участке за Фильченко.

Лукьянов выслушал сообщение политрука о небольшом бое с немцами среди овец и сказал свое заключение:

— Ну что ж. Это их боевая разведка была: бой будет позже.

Комиссар ушел. Вскоре немецкая артиллерия перешла на боевой, ураганный режим огня.

«Пустошь делают впереди себя,— понял Фильченко.— Значит, скоро будут танки».

Он увел свое подразделение в блиндаж, покрытый всего одним накатом тонких бревен, но здесь все же было тише. Сам же Фильченко остался у входа в блиндаж, чтобы посматривать через насыпь и следить за выходом танков.

Шоссе и его откосы выпахивались снарядами до материковой породы; трупы овец и немцев калечились посмертно, и то засыпались землей на погребение, то вновь обнажались наружу.

Левый склон высоты запылил у подножия, где высота переходила в полынное солончаковое поле. Артиллерийский огонь не ослабевал. Темное тело переднего танка вышло на полынное поле, за ним шли еще машины. Они шли вперед под навесом артиллерийского огня.

Фильченко укрылся в блиндаже от близкого разрыва, закидавшего его черной гарью и землей. «Надо уцелеть,— подумал он,— сейчас артиллерия смолкнет».

Когда пушки умолкли, Фильченко вывел подразделение на позицию. Танки подходили к насыпи; их было пока что семь: по полторы машины, без малого, на душу бойца.

— Вася!— крикнул Фильченко в сторону Цибулько.— Пулемет — по смотровым щелям первой машины! Красносельский, Паршин, бутылки и гранаты! Действуйте! Огонь!

Цибулько дал первую очередь, вторую, но танк бушевал всею своей мощностью и шел вперед на моряков. Паршин и Красносельский поползли через насыпь на ту сторону дороги.

— Точней огонь, пулеметчик! — вскрикнул Фильченко.

Цибулько приноровился, нащупал щель пулевой струею — всей ощутимостью своей продолженной руки — и впился свинцом в смотровую щель машины. Танк

круто рванулся вполповорота вокруг себя на одной гусенице и замер на месте: он подчинился смертному судорожному движению своего водителя. Возле танка встал на мгновение в рост Красносельский и метнул в него бутылку; черный смолистый дым поднялся с тела машины, затем из глубины дыма появился огонь и занялся высоким жарким пламенем.

Цибулько бил из пулемета уже по другим танкам. Сначала он давал короткие прицельные ощупывающие очереди, затем впивался в цель насмерть длинной жалящей струей. Красносельский и Юра Паршин действовали за шоссейной насыпью. Они ютились в воронках, за комьями разрушенной земли, за телами павших овец, вставали на момент и метали бутылки и гранаты в ревущие механизмы.

Фильченко и Одинцов ожидали за насыпью своего времени. Сразу задымили густым дымом, а затем засветились сияющим пламенем еще два танка. Осталось в живых четыре. Но немцы скупы на потери, они свое добро не любят тратить до конца.

Четыре танка приостановились и развернулись на месте, обнажив за собой пехоту.

— Пора!— крикнул Фильченко.— Вася! По живой силе — огонь!

Цибулько вонзил струю огня в пехоту противника, сразу залегшую в землю.

Фильченко и Одинцов перебросились через насыпь. Но Красносельский и Паршин опередили их: они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и, чуть привстав, метнули в нее первые гранаты.

Четыре уцелевших танка молча пошли в отход: они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские матросы неравномерно распределились по полю и огнем с танков можно уложить своих.

Фильченко и Одинцов с ходу запустили гранаты по темным телам пехотинцев. Пулемет Цибулько не давал врагам возможности подняться. Когда они приподымались, Цибулько бил их точным секущим огнем; если они шевелились или ползли, Цибулько переходил на «штопку», то есть вонзал огонь под углом в землю сквозь тело врага. Но у пулеметчика была трудная задача: он должен был не повредить своих, сблизившихся на смыкание с противником.

Немцы, однако, тоже соображали кое-что; они по-

няли, что лучше иа время отойти, чем до времеии умереть. Человек тридцать сразу вскочили с земли, жалобио закричалн н побежалн вслед таикам. Фильчеико и Одницов бросилн в иих гранаты, потом добавили по ним из внитовок, н человек десять пали обратно на землю. Остальные пехотинцы — с полсотни — подняться уже не могли никогда.

Цибулько дал последнюю долгую очередь по бегущим и выщелочил из них еще семерых врагов, и по ним еще били с флангов.

Краснофлотцы возвратились на свою позицию в дорожной иасыпи, уже обжитую и привычиую, как дом. Оии возвратились утомлеиные, как после трудной работы, и тотчас задремали, пользуясь наступившей тишиной в воздухе и на земле. На посту остался один Фильченко.

Через полчаса иад полыиным полем и иад шоссейиой дорогой иизко пронеслись немецкие штурмовики. Они одновременио обстреливали землю из пулеметов и бомбили ее, и без того всю израиенную. Дремавшие в окопе моряки ие поднялись; бодрствующий Фильчеико не стал нх будить; деиь еще долго будет идти, и бой еще бу дет, пусть оии отдыхают пока.

После ухода самолетов опять иастала тишииа. И в тишиие кто-то окликнул Фильчеико по имени.

Вдоль насыпн бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилнем нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в невзрачный цвет войны; это был полевой аиглнйский термос.

— А я пнщу доставил! — кротко н тактичио произнес кок.— Разрешите угостить бойцов, товарищ полнтрук?

— Разрешаю,— значительным голосом сказал Фильченко.

— Благодарю вас,— поклонился кок.— Где прикажете накрыть стол, под горячий, огненный шашлык? Мясо — вашей заготовки!

— Когда же ты успел шашлык сготовить? — удивился Фильченко.

— А я умелой рукой действовал, товарищ полнтрук, н успел! — объясинл кок.— Вы же тут поспеваете овец заготовлять, о вас уже половина фроита все знает. Сколько вы овец подшибли, и то люди знают, иу — точио!

— Да откуда же это люди знают, когда мы сами того ие знаем! — засмеялся Фильчеико.

— А на фронте ж, как в деревне, на улице: чего не нужно — так все враз знают, а что надо — так, гляди, и забыли!— сказал кок.

Рубцов нашел ровное место возле самой насыпи, расстелил чистую скатерть, разложил на ней приборы, поставил тарелки — все находилось в особом ящике при термосе, — а затем вынул из термоса алюминиевый сосуд, парующий и благоухающий мясом.

Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из окопа наружу, на мясной запах.

— Это ты что за кафе на войне устроил?— строго сказал Фильченко.

— Кафе на фронте полезно, товарищ политрук,— объяснил кок Рубцов,— оно победе не помешает, нисколько, нет! Вот гроб — это лишнее, его я не захватил. А кафе — это великое дело, товарищ политрук: это мирное время на память бойцам!

Моряки внимательно рассматривали полевое кафе Рубцова, потом одновременно поглядели на кока и захохотали во все свои молодые, отдышавшиеся глотки.

— Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепнут тебя, кок, по посуде на голове!— предупредил Паршин Рубцова.

— Нет, я чуткий, я буду живой,— отверг кок такое предложение.— А я ж для вас стараюсь, чтоб тело ваше питать!

— Врешь!— сказал Цибулько.— Не бреши!

— Так я брешу, Вася, малость,— сознался кок.— Ну, я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить!

— Чего тебе надо на грудь схватить?— прохрипел Красносельский.

— Ну, так,— сказал кок,— пусть орден, пусть будет медаль, я бойцов под огнем кормлю, а чем кок хуже сестры?

— Вот кок-то мировой!— сказал Одинцов.— Он и герой, он и карьерист, можно медаль ему дать, а можно и плюху! Он имеет на две вещи сразу!

— Жрать давай!— не утерпел Цибулько.

— Пожалуйста,— пригласил кок,— у вас же во рту все время слова были, шашлыку места нету!

Подразделение Фильченко целиком уселось на траву

за скатерть, а коку велено было стать на пост и глядеть вперед — следить за врагом.

Покушав, моряки решили, что кок Рубцов «может». Это слово означало на их дружеском языке высшую оценку какого-либо действия; сейчас они оценили таким способом шашлычную работу кока.

— Кок, ты можешь! — крикнул Рубцову Паршин.

— Знаю. Я же работник творческий! — равнодушно отозвался кок.

— Этот кок далеко пойдет, — сказал Одинцов, — у него и талант и нахальство есть.

После обеда моряки выстроились. Фильченко скомандовал: «Смирно! Равнение на кока!» Это было воинским выражением благодарности за шашлык, и кок ушел в тыл, вполне довольный своим героическим мероприятием по накормлению бойцов.

Моряки остались одни. Время было уже за полдень. Фильченко поставил часовым Одинцова, а остальным своим людям велел отдыхать. Бойцы легли по откосу снаружи, чтобы погреться немного на весеннем солнце.

— Фу-ты, черт, я пить захотел! — обиделся Паршин на свою привычку пить после пищи. — Хорошо в бою: ничего не хочешь! А как только мирно живешь, так все время тебе чего-нибудь хочется: то кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то...

И Паршин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку; такому человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении, — тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья.

— Вижу танки! — сказал Одинцов с насыпи.

— По местам! — приказал Фильченко. — Принять танки огнем!

Он вышел на позицию и стал терпеливо считать танки, выходившие из-за высоты. Их оказалось пятнадцать: по три машины на душу бойца, а прежде было по полторы; стало быть, немцы удвоили порцию. И тотчас же началась скорая артиллерийская стрельба; немцы били сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками.

— Уважают нас,— сказал Цибулько, сосчитав машины,— ишь сколько выставляют против меня одного: пятнадцать, деленное на пять и помноженное на тысячу лошадиных сил! Я доволен!

Одинцов задумался. Приближающийся грохот бегущих танков, артиллерийский огонь, беспокойная, шумная и какая-то нарочитая настойчивость врага — все это словно не серьезно, все это хотя и опасно, но похоже на действие человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты.

Мощные танки шли напрямую; возможно, что немцы хотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь — так оно было бы более парадно.

Цибулько вслушался сквозь скрежет гусениц и дребезг стальных кузовов в частое мелодичное дыхание дизель-моторов и произнес самому себе: «Эх, и все это против меня! Здравствуйте, инженер Рудольф Дизель! Я на вас не обижаюсь, я уважаю вас за великое изобретение двигателя, я, Цибулько, простой краснофлотец, но великий человек!»

Фильченко сказал, обратившись ко всем:

— Товарищи!

Хотя он говорил тихо, а на земле сейчас было шумно, однако все слушали его.

— Товарищи! Я хочу сказать вам, что нам будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем, мы будем биться здесь до самых своих костей...

— И костямн можно биться,— произнес Паршин.— Рванул из скелета и бей. Комиссар товарищ Поликарпов хотел же биться своей оторванной рукой!..

— Товарищи!— говорил Фильченко.— Я говорю вам — друзья, у меня такое же сейчас чувство на сердце, как у вас, поэтому вы меня понимаете ясно. Приказываю вам стоять на этой земле и не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага!

Цибулько подошел к Фильченко и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в лицо.

С успокоенным, удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал на свое место каждый краснофлотец.

У них было сейчас мирно и хорошо на душе. Они

благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное в жизни, на то, что разрушает и что создает ее,— на смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогла страх. Тело их наполнилось силой, они почувствовали себя способными к большому труду, и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу,— отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей. Если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится после них, и участью народа, участью человечества будет смерть. Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее; лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить.

На фланги подразделения Фильченко вышли из-за танков автоматчики; их приняли огнем моряки и краснофлотцы Фильченко и та полурота, которую привел комиссар Лукьянов. Значит, у флангов Фильченко была своя забота, на помощь их рассчитывать было нельзя. Да и фланги Фильченко, справа и слева, имели всего по тридцать бойцов, а противник давил на каждый фланг силою полбатальона.

Там, на флангах, разгорался частый стрелковый бой, но в центре, на линии хода танков, Фильченко велел прекратить стрельбу, чтобы не обнаруживать своих слабых сил.

Битву моряков с танками должен начать Василий Цибулько. Фильченко приказал ему выждать, дав машинам приближение метров на сто.

На подходе ведущий танк рванул вперед прыжком, и все танки за ним резко увеличили свою скорость.

И тогда Цибулько начал битву; он давно уже насторожил пулемет и следил прицелом за движением танка, теперь он пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цибулько действовали точно: первая же очередь пуль ушла в щель головного танка, машину занесло в сторону, и она стала со всего хода в руках своего мертвого водителя. Но второй танк с отважной яростью влетел на шоссейную насыпь, наехав почти в упор на подразделение Фильченко. Мгновенно, опережая свою

мысль, Цибулько привстал, приноровился всем телом и швырнул связку гранат под этот танк.

Цибулько забыл о себе и товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близким взрывом и сбита с ног воздушной волной. Танк замер на месте, затем медленно от собственного веса сполз юзом по противоположному откосу, на котором еще оставалась на весу половина его туловища. Поднявшись, Цибулько ударил своей левой рукой о камень, чтобы из руки вышла боль, но боль не прошла, и она мучила бойца; из разорванных мускулов шла густая сильная кровь и выходила наружу по кисти руки; лучше всего было бы оторвать совсем руку, чтобы она не мешала, но нечем было это сделать и некогда тем заниматься.

Два танка сразу появились на шоссе. Цибулько забыл о раненой руке и заставил ее действовать как здоровую. Он снова припал к пулемету и бил из него в упор по машинам, норовя поразить их в служебные скважины брони. Но пулемет затих, питать его больше стало нечем: прошла последняя лента. Тогда Цибулько, не давая жизни машинам, бросился в рост на ближний танк и швырнул под его гусеницу, евшую землю на ходу, связку гранат. Раздался жесткий, клокочущий взрыв — огонь стал рвать сталь, и разрушенный танк умолк навечно.

Цибулько не слышал пулеметной стрельбы из этого танка; однако теперь он почувствовал, что в теле его поселились словно мелкие посторонние существа, грызущие его изнутри: они были в животе, в груди, в горле. Он понял, что весь изранен, он чувствовал, как тает, исходит его жизнь и пусто и прохладно становится в его сердце; он лег на комья земли и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы согреться.

Иван Красносельский не дал другому танку хода на Севастополь; он выбежал к нему наперерез и бросил в него раз за разом три бутылки с жидкостью. Танк занялся пламенем и, пройдя еще немного, остановился догорать. Красносельский обернулся к товарищам; еще четыре танка вырвались и били, устрашая, с ходу из пушек и пулеметов. Одинцов и Паршин лежа ползли в мертвой зоне обстрела. Паршин метнул с земли бутылку в танк, горючая жидкость влипла в броню и занялась огнем. Снаряд с воем пронесся мимо головы Красносельского; боец ожесточился, что его может убить фашист, и закричал на машину страшным голосом, забыв, что ему внимать

там не будут, потом резко и точно запустил бутылку в смертоносное тело машины и обрадовался пламени пожара. У Красносельского осталась еще одна бутылка со смесью; он бросился в яму, потому что свежий танк, обойдя горящий, шел на человека. Сейчас Красносельский узнал чувство хозяйственного удовлетворения: он уже уничтожил две машины, можно уничтожить еще одну, от этого все-таки убудет смерть на свете и жить людям станет легче; уничтожая врага, Красносельский словно накоплял добро, и он понимал пользу своего труда.

Полосуя огнем пространство, танк мчался вперед, низкий, упорный и мощный.

— Стой, стервец!— крикнул Красносельский и вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку.

Машину обдало огнем; верхний люк танка откинулся, и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский вскинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом, и Иван Красносельский пал на землю с сердцем, разбитым свинцом. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил; он закрыл глаза, полные слез, и больше они не открылись у него.

Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся по шоссе прямым ходом на Севастополь. Но пламя слабо принялось на машине, и танк продолжал ход, сбивая с себя скоростью дым и огонь. Тогда Паршин побежал вслед танку с гранатой, но Фильченко и Одинцов перехватили этот танк прежде Паршина: они рванули его гранатами по ходовому механизму, так что из него брызнул металл, и машина, поворочавшись на месте, омертвела. Однако Паршин уже не мог справиться с собой и добавочно дал жару машине, метнув в нее бутылку, чтобы смерть врага была вернее.

На шоссе горели танки, но новые, свежие машины, изменив курс, мчались по полынному полю и стремились выйти на поворот шоссе, минуя горящие и омертвелые танки. Остерегаясь огня врага, бившего сейчас картечью из подходивших танков, Фильченко, Одинцов и Паршин прыгнули в ближний окоп и прошли по нему в блиндаж.

В сумраке укрытия Фильченко внимательно оглядел

своих товарищей, не ранены ли они и не тронуты ли робостью их души. Одинцов и Паршин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутомленное ожесточение боем.

— Что, Юра?— спросил Фильченко у Паршина.

— Ничего!— хрипло сказал Паршин.— Давай их остановим всех — не страшно, я видел смерть, я привык к ней!

Паршин в волнении, не зная, что ему делать и как остановить себя, погладил почерневшей ладонью земляную стену блиндажа.

— Давай их крошить, командир! А то я один пойду!.. Я никогда не любил народ так, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели — я зверем стал!.. Сыпь мне в рот порох из патронов — я пузом их взорву!

— Ты сам знаешь, патронов больше нет,— произнес Фильченко и снял с себя винтовку.

Одинцов дрожал от горя и ярости.

— Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни!— пробормотал он тихо.

Враг гремел близко. Фильченко молча и надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две гранаты оставил товарищам; кроме этих последних трех гранат, больше у них не было никаких припасов на врага. Поэтому теперь нельзя было промахнуться или ударить слабо, теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза.

Фильченко ничего не приказал товарищам. Он вышел из блиндажа и исчез в громе пушечной стрельбы с набегающих танков и в скрежете их механизмов, гнетущих подорожные камни. Он подполз к повороту шоссе и замер на время в ожидании.

Одинцов и Паршин, подобно Фильченко, подвязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, залегшего у поворота дороги, куда должны выйти танки в обход подбитых машин, и притаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего пробыть живыми еще хоть несколько минут, и берегли себя пугливо и осторожно.

Фильченко тоже волновался: он тревожился, что ошибся в расчете — и танки не выйдут на шоссе, а пойдут по обочине с той стороны. И пока он перебежит через шоссе и доберется до машины, его рассекут из пулемета

и он умрет, как глупая кроткая тварь,— на потеху врага. Он томился, вслушиваясь в приближающийся ход машины по ту сторону дорожной насыпи, и боялся, что это последнее счастье минует его. Стреляли теперь с машин реже и только из пушек, направляя огонь по тому рубежу обороны, который находился ближе к Севастополю, позади моряков. На флангах, в удалении, все время слышалась стрельба из винтовок и автоматов — там небольшие подразделения черноморцев сдерживали въедающихся вперед немцев.

Передний танк перевалил через шоссе еще прежде поворота и начал сходить по насыпи на ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел идти на прорыв рубежа обороны по полевой целине.

Мощная тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно сверзалась с откоса земли; водитель, должно быть, не желал гнать ее как попало и снашивать ее дорогое устройство. Жалкие живые былинки, росшие по откосу, погибшая овца и чьи-то давно иссохшие кости равно вдавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли.

Фильченко приподнял голову. Настала его пора поразить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя, и так мало нужно было сделать, чтобы его не было, чтобы смести с лица земли в смерть это унылое железо, девящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле — смыслу и счастью жизни или вечному отчаянию, разлуке и погибели.

И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним, возле него было его счастье и его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно переживает, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилии на землю по воле одного его сердца. Из него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери, Лениным и советской Родиной. Перед ним была его жизненная простая судьба, и Николаю Фильченко было хорошо, что она столь легко ложится на его душу, согласную умереть и требующую смерти, как жизни.

Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими на него жесткими ребрами гусеницы танка, дышавшего в одинокого человека жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву под жующую гусеницу, поперек ее хода. Он прицелился точно — так, чтобы граната, привязанная у его живота, пришлась посредине ширины ходового звена гусеницы, и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти.

Паршин и Одинцов видели, что сделал Фильченко, они видели, как остановился на костях политрука потрясенный взрывом танк. Паршин взял в рот горсть земли и сжевал ее, не помня себя.

— Коля умер,— сказал Одинцов.— Нам тоже пора.

Пять свежих танков появились на шоссе и стали медленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину.

Двое моряков поднялись.

— Даниил!— тихо произнес Паршин.

— Юра!— ответил ему Одинцов.

Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти.

— Эх, вечная нам память!— сказал, успокаиваясь и веселея, Паршин.

Они побежали на танки, сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одинцов упал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти в упор начал сечь свинцом в грудь краснофлотца. Одинцов, умирая, силой одного своего еще бьющегося сердца напряг разбитое тело и пополз навстречу танку — и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва.

Паршин, подбежав к другому танку, ухватился за служебный поручень и успел прокатиться немного на чужой машине, а затем, услышав взрыв на теле Одинцова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат и обнажил на себе живот с гранатой, чтобы враги видели того, кто идет против них. А затем, подождав, когда танк приблизился к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу.

Остальные, еще целые танки приостановились на шоссе и на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами одна навстречу другой и пошли обратно —

через полынное поле, в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным противником. Но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, они принять не умели. Этого они одолеть не умели, а быть побежденными им тоже не хотелось.

И вот все окончилось. Немецкие автоматчики, обходившие с флангов место боя танков с моряками, утихли еще раньше: одни были перебиты, а оставшиеся жить окопались.

На месте боя подразделения, которым командовал политрук Фильченко, остались видимыми лишь мертвые танки и один живой человек. Живым остался один Василий Цибулько: он понимал, что скоро умрет, но пока еще был живым. Он выполз на бровку шоссе в стороне от места боя танков со своими товарищами и видел почти все, что было там совершено.

Теперь он увидел, как с рубежа обороны подходила к шоссе рассыпным строем наша воинская часть. От кровотечения и слабости Цибулько то видел все ясно, то перед ним померкал свет и он забывался.

Очнувшись, Цибулько рассмотрел возле себя людей и узнал среди них комиссара Лукьянова. Люди перевязали Цибулько, потом подняли на руки и понесли к Севастополю. Ему стало хорошо на руках бойцов, и он, как мог, начал рассказывать им и Лукьянову, тоже несущему его, что видел сегодня. Но всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер.

ВЛАДИМИР РУДНЫЙ

НА ГРУНТЕ

Рассказ

Лодку преследовали. Она потопила четыре транспорта в Балтийском море, и теперь за ней гонялись немецкие сторожевики и миноносец.

Миноносец привязался в момент последней атаки, когда лодка встретила большой караван.

Это произошло рано утром. Лодка только что кончила зарядку, и каждый досыта накурился и надышался свежим воздухом белой ночи.

Караван обнаружили издалека. Его сопровождали сторожевики, миноносцы и два звена самолетов. На флагштоках транспортов болтались датские, финские и немецкие флаги. Транспорты сидели в воде «по уши» — видимо, они везли на фронт технику. Командир сказал точнее: танки. В лодке поняли: командира навела на караван разведка. Люди в лодке ждали атаки.

У четвертого аппарата, поджав губы, стоял высокий, черный, сильного сложения матрос — торпедист Алексей Лебедев. На аппарате — звездочка, в память победы, одержанной в немецкой гавани. Там лодка начала счет похода: в надводном положении она выпустила торпеду, удачно скрылась, потом в открытом море потопила еще два корабля, долго уходила от погони и, наконец, нашла этот караван.

В аппарате лежала огромная торпеда весом много десятков пудов и длиной несколько метров; матросы прозвали ее «Марьей Ивановной».

Еще в Кронштадте, когда торпеду принимали в лодку, Андрей Лимарь, тоже торпедист, нарочитым басом произнес:

— Если уж эта дама к кому приложится — не останется и мокрого места.

Лебедев ничего ему не ответил — он угрюмо взглянул

иа толстуху и отвериулся: еще иеизвестио, кому оиа достается.

А досталась оиа ему в отсек. Толстуху уложили иа стеллаж рядом с койкой Лебедева, и Лимарь уверял, будто слышит ее тяжкие вздохи.

— Акустика сбиваете с толку,— доиимал Лимарь приятеля.— Поперек горла ему ваши с «Маруськой» любезиости...

— Поперек уха,— поправил матрос Перов, иовичок, и тут же под взглядом Лебедева замолчал.

Тяжелый взгляд — слова иельзя вставить. Под этим взглядом тошио стаиовилось иовичку.

А Лебедеву ие до шуток, тем более с мальчишкой, который приседает при каждом разрыве глубииной бомбы. Ему хватало забот о толстухе. Другие торпеды давио ушли, а эту комаидир держал про запас, берег ее для особой цели. «Марья Иваиовна» весь поход пролежала иа стеллаже рядом с койкой, Лебедев ухаживал за ней и тосковал, что иет ей примеиеиия.

А сегодия, когда ее погрузили иакоиец в аппарат, Лебедев суриком иа корпусе торпеды иачертал: «8000». Это было напутствием — восемь тысяч тоии, ие меиьше.

— Что горюешь, Алексей?— спросил его Лимарь.— С «Маруськой» жалко расставаться?

— Боюсь, попадется ей иемец ие по чину,— лениво ответил Лебедев.

— Не беспокойся, комаидир позаботится, подберет ей добычу побольше, чем ты заказал.

Другие иа торпедах писали: «За Родииу!», «За Украииу!». Лебедев, кроме цифр, ие писал иичего. Но каждый раз, когда торпеда выскакивала из аппарата, его губы с болью произиосили что-то короткое.

Лимарь догадывался, что ои произиосит. Раньше Лебедев был веселым, слыл даже певуиом. Но с зимы смолк. В блокадную зиму в Леиииграде умерла с голоду его двухлетияя дочь. Лимарь зиал, что ее звали Галя.

Лодка готовилась к атаке. Комаидир выбирал цель. В цеитре каравана полз длиииый и пузатый лайнер — тысяч иа двеиадцать тоии. Изредка подиимая перископ, лодка иаправилась к нему.

Командир вдруг сказал:

— Прямо иа нас миионосец.

Одиовремеиио об этом доложил акустик.

— Стань рядом, военком,— тихо произнес командир.
Военком Лосев подошел, стал позади.

— Волнуешься?— командир ощутил его дыхание.

— Переживаю,— подтвердил Лосев.— Танки ведь.

— Да. Ленинград.

Акустик твердил:

— Прямо за кормой шум винтов миноносца. Прямо за кормой шум винтов миноносца.

Лодка спешила к цели. Следом — миноносец. Но впереди танки. Танки на Ленинградский фронт. Нет, отвернуть от такой цели нельзя.

Командир подошел близко, чтобы бить наверняка, и в нужное мгновение нажал кнопку автомата.

Лимарь в отсеке сказал:

— Пошла «Маруська»...

Новичок Перов раскрыл рот — так ждут орудийного залпа, чтобы не оглушило.

Лебедев, как всегда, молчал. Он мысленно отсчитывал секунды.

Вслед побежала вторая торпеда.

Кто-то в соседнем отсеке отбивал ногой такт — точно стук метронома в Ленинграде в часы артиллерийских тревог.

На сороковом такте — взрыв. Четвертый транспорт!

Лодка уже проваливалась вглубь. И тотчас — удар за ударом — посыпались глубинные бомбы. Лодку настиг миноносец.

Она упала на дно моря, затаилась, тихо прошла в сторону, легла на грунт, снова проползла и снова замерла. За ней следовали разрывы. Так началось преследование.

Лодку преследовали уже третьи сутки. Иногда шум винтов миноносца замирал. Лодка ждала ночи, чтобы всплыть для зарядки. Ей удавалось глотнуть струю воздуха, и снова появлялись преследователи. Белая ночь — проклятие. Лодка опять зарывалась вглубь. Становилось душно. Люди дышали тяжко и мучительно. Кольцом рвались бомбы. Гас свет. Лодка падала вниз и ускользала от гибели.

Военком Лосев шел из отсека в отсек. Он был человеком молодым, чуть постарше матросов, но умел говорить спокойно. А спокойствие в эту пору звучало лаской. Люди встречали его с надеждой, как ветерок с воли. Ждали — вот-вот скажет: «Открылся советский берег».

Эти три слова венчали каждый поход — дошли, победа, дома!

Лосев зачастил к торпедистам: тут — новичок, а новичку первый поход — мука.

Уткнув лицо в подушку, на койке лежал Перов. Рядом сидел Андрей Лимарь, уговаривал. Лебедев, как всегда мрачный, работал у торпедного аппарата, что-то накрашивал кистью.

Входя в отсек, Лосев услышал голос Лимаря:

— Значит, прощай, мама, прощай, тятя, не вернется к вам дитятя? Так, что ли, Перов?.. Ну хорошо, допустим, что мы погибли. По первому разу тебе кажется, что мы уже в могиле. А вот я, Андрей Лимарь, в сотый раз на грунте. Так что же мне прикажешь, сто раз помирать? Нет, уж если умереть, так один раз. Ты повернись ко мне, пощупай — живой я?.. На все сто процентов. А вот ты — наполовину мертвяк. Да я с тобой не шучу, дурья башка. Трусу потому и тяжело, что он помирает раз сто и на том его страхи не кончаются...

Лосев шагнул в отсек, все вскочили.

— Ну как, товарищ Лебедев, страшновато? — спросил он, не обращая внимания на Перова и Лимаря.

Лебедев удивился. Он растерянно оглянулся на бледного Перова, поймал усмешку Лимаря и сообразил:

— В первый раз было так страшновато, что волосы встали шваброй. А теперь свыкся. Смерти не боюсь, товарищ комиссар.

— Смерти? — Лосев поморщился. — Мы и не собираемся умирать. Мы еще поживем, — хмуря брови, он отвернулся от Лебедева и смотрел теперь в упор на Перова, будто только с Перовым и разговаривал. — Скверная штука — страх. Особенно для нас, подводников. Нам народ нужен веселый, твердый. Вот как Андрей. А характер свой нам надо сдерживать, как коня в строю, чтобы и соседу помехой не был...

Лимарю стало не по себе — приятеля жалко.

— Почитали бы нам Маяковского, товарищ комиссар, — попросил он невпопад, впрочем, зная, что Лосев любит читать вслух стихи, и потому надеясь на успех.

Лосев покачал головой, хотел что-то отрезать этому хитрюге, но раздумал и сказал:

— Нет, сегодня я прочитаю Лермонтова.

Пришли матросы из соседнего отсека. Лосев сел и стал читать:

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла.
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку — и бежит!

Лосев читал по памяти, тихо и страстно, его карие глаза стали лучистыми. Где-нибудь в светлом зале его голос, вероятно, загремел бы, зазвенел, заиграл молодостью, но в лодке он звучал глухо, как шепот, и матросы слушали его, сдерживая голодное дыхание.

— «Ты раб и трус — и мне не сын!»— продолжал Лосев, и новичок Перов вдруг сказал:

— Труса не только мать — земля не примет.

— Да,— согласился Лосев, прервав чтение.— Трус умирает за свою маленькую жизнь раз сто, а храбрый живет и побеждает... Это тут правильно Лимарь сказал. Мы хотим жить и побеждать.

Лосев опять пристально смотрел на Перова, а Лебедев молчал. И снова Лимарю было не по себе.

— Вам бы, товарищ комиссар, стихи писать,— вставил он.— И первая строчка даже есть...

— Какая?— Все ждали: Лимарь что-нибудь придумал.

— Ваша, товарищ комиссар. Самая любимая.

Лимарь торжественно, как стихи, прочитал:

Открылся советский берег.
Тяжелый поход позади...

— Вторая не моя, ваша,— рассмеялся Лосев.— Дальше давайте...

— Дальше у него не выходит.

— Талант отказал!

— Лермонтова стесняется...

Только Перов и Лебедев не замечали шуток. Перов словно очнулся и полушепотом повторил:

— «Ты раб и трус — и мне не сын!»

Все замолчали. За бортом слышались шорохи — будто кто-то ощупывал корпус затаившейся лодки.

Лосев встал, подошел к Лебедеву.

— А вы, товарищ Лебедев, ошиблись со своей «Марусей»!

— Я уже исправил ошибку,— Лебедев показал на аппарат, на котором он успел написать: «12000».

— Двенадцать тысяч тонн потопила ваша подшефная — не шутка. Бронебойщик, чтобы подбить танк, сколько жил надорвет. А тут — два полка до фронта не дошли.

— Не зря он свою толстуху месяц обхаживал,— обрадовался Лимарь случаю поддержать приятеля.— Такой у них тут роман крутился!..

— Вот и хорошо, когда торпеда точно работает. Торпедисту честь, как большевик действовал.

Когда Лосев выходил из отсека, Лебедев остановил его:

— У меня к вам просьба, товарищ комиссар. Завтра партийное собрание. Я уже две рекомендации имею...

— Дам вам третью,— твердо сказал Лосев и обнял матроса:— Только голову держите выше... Люди же вокруг. Трудно им.

Лодка лежала на грунте. Через сальники и сдавшие заклепки сочилась вода. Воду нельзя было откачивать — лодку стерегли. Она отлеживалась, обманывая преследователей.

В тесном, скудно освещенном отсеке плотно друг к другу сидели коммунисты. Из беспартийных пришел только новичок Перов — воздуху мало, и многих в одно место не соберешь. Говорили вполголоса и кратко, экономя силы.

На повестке дня — заявление Лебедева.

Мичман — секретарь партийной организации — зачитал рекомендации и боевую характеристику.

«Несу за него полную ответственность перед партией»,— писал военком.

Лебедев почувствовал, как стучит кровь в висках.

— Послушаем товарища Лебедева?— предложил мичман.

— Что слушать — знаем.

— В кандидаты тут принимали.

— Вместе жевали блокадный хлеб.

— Нет, товарищи,— остановил мичман.— Здесь есть новички, и я думаю, что Лебедеву надо рассказать о себе.

Лебедев рассказывал скупо, повторял анкету. Лимарь на своем месте ерзал, сердился: ну чего он мямлит?! Будь дело на берегу — тряхнул бы его разок. Вот Перову действительно нечего сказать: родился, учился за отцовой спиной. А этот уже жизнь прожил. Помощник машиниста в депо имени Ильича в Москве. Жена. Дочка была. На лодку пришел семейным человеком, мог льготу получить — не за-

хотел. Служил так, что любому холостяку в пример. Голод, жена с дочкой за матросом в Ленинград подалась — значит, человек настоящий. Оба люди хорошие. Вот дочку потерял — беда... Не терпелось Лимарю все это произнести, но не стал говорить. Не прошлое сейчас важно — настоящее.

Над лодкой прошуршали винты рыскающих там, наверху, кораблей.

Лимарь оглянулся на новичка Перова — ничего, привыкает.

— Есть вопросы к товарищу Лебедеву?

— У меня вопрос,— сказал Лимарь.— К секретарю. Нельзя ли вторично зачитать заявление.

— Если собрание не возражает?

— Читай.

Мичман прочитал: «Прошу принять меня в члены ВКП (б), так как в настоящий момент всю тяжесть войны несет на себе в первую очередь наша партия. В ее рядах будучи, я желаю громить врага и...— мичман запнулся, поняв, что хочет Лимарь, и, подчеркивая первое слово, закончил:— умереть коммунистом».

Андрей Лимарь встал:

— Я хочу, чтобы ты жил и победил, Алексей. Умереть в нашем положении нетрудно: пустил воду и помирай. Выжить, победить труднее. Лодка нужна живая, и ты нужен живой. Если дойдет до точки — всплывем и примем бой.

Лимарь усмехнулся:

— Но, как говорит наш старпом, матрос врет — не помрет, матрос все, все переживет.

За Лебедева нежданно вступился Перов — всех удивила храбрость новичка. Он вскочил и, поминутно бледнея и краснея, выпалил:

— Не знаю, зачем Лимарь трогает Лебедева. Горе у него большое и ненависть велика. Дела на фронте плохи, немцы под Ленинградом, и не всякому до пляса. Зачем тревожить раны человека? Не трус же он?..

Тогда слово взял Лосев. Он сказал:

— Лебедев хороший воин, и я в партию его рекомендую принять. Но я понял Лимаря. Он говорит о воле коммуниста. Коммунистом быть нелегко. Коммунистом трудно быть. Большое горе, но коммунист должен горе перебороть. Ради себя и ради других. Пусть молодой матрос смотрит на тебя и нос не вешает. Да, немцы под Ленинградом. Да, на фронтах тяжко. Да, между нами и Ленинградом

несколько сот миль и тысяч опасностей. Сети. Мины. Охотники. Миноносцы. Самолеты. Все против нас. Но кто же из нас обреченный — мы, на грунте, или они, наверху, под солнцем?.. Вот мы лежим на дне у берегов Германии. Рядом — Киль и Гамбург. Нас ищут, бомбят. А у нас тут — партийное собрание. Очередное партийное собрание. Так кто же смертники — мы или они?..

В наступившей тишине прокатился отдаленный взрыв Лодку чуть качнуло, как качает дом при слабом землетрясении. Лосев продолжал:

— Я предлагаю...

Новый взрыв встряхнул лодку, за ним посыпалась серия других, вырубился свет, и коммунисты разошлись по боевым постам.

Только мичман задержался в отсеке позже других. Светя фонариком, он собирал в папку документы Лебедева и черновые записи протокола.

Спустя неделю лодка стояла в Кронштадте у пирса и принимала торпеды. Сильные краны укладывали их на корабль. Два матроса возились с маслянистой толстухой.

— «Маруське» смена пришла,— басил Лимарь.— Везет тебе, Алексей, на приличное общество.

— От дамского общества я никогда не отказываюсь,— в тон ему отвечал Лебедев.

В отсеке, где недавно прервалось собрание, над книгой протоколов партийных собраний сидел мичман. Лодка снова собиралась в поход — мичман спешил оформить документы. Он писал:

«Протокол № 12.

24 июля 1942 года.

Партийное собрание подводной лодки.

Балтийское море.

На грунте.

Глубина — 40 метров.

Меридиан Берлина...»

Дальше следовало обычное — председатель, секретарь, кто присутствовал, кто на вахте, что слушали, кто выступал, что постановили. Постановили: принять — единогласно.

К протоколу была приложена пачка документов. Среди них и заявление Лебедева.

В последней строке одно слово было перечеркнуто и тем же почерком вписано другое: «победить».

Строка теперь читалась так: «чтобы победить коммунистом».

АЛЕКСАНДР ВОИНОВ

ПАРТБИЛЕТ

Рассказ

Это произошло под Сталинградом в самые напряженные дни октябрьских боев. Уже веяло по дымным землянкам горячим ветром приближающегося большого наступления. Мы не знали, где и когда оно начнется, но были твердо убеждены: оно не за горами. В эти дни только в нашей бригаде больше ста бойцов подали заявление о приеме в партию. И одному из них было отказано. Это был Василий Логинов, мой боец.

Может ли быть для человека час горше и тяжелее, чем тот, когда товарищи, с которыми ты равен и перед жизнью и перед смертью, с которыми, казалось, ты делишь все: и опасность, и тяжелый труд, и глоток солоноватой теплой воды,— вдруг отказывают тебе в доверии?

Сейчас, по прошествии многих лет, когда я вспоминаю Василия Логинова, его костлявые, узкие плечи, его растерянное лицо, освещенное тусклым светом «летучей мыши», и всех нас, его товарищей, вынесших свое жестокое решение, я отчетливо понимаю, что я и сам проходил вместе с ним суровое испытание, но не выдержал его. А жизнь уже готовила мне такой урок, который я запомнил навсегда

До этого я с высоты своих двадцати двух лет снисходительно и строго смотрел на людей, подчиненных мне, и считал, что вижу их насквозь, с первого взгляда. Но события, которые развернулись через несколько часов после того, как мы вынесли свое решение, навсегда излечили меня от этого заблуждения.

Что же заставило нас так жестко отказать Логинову в исполнении его заветного желания? Дело, казалось, было простое и ясное. Но я еще не знал тогда, что есть на свете такие простые и ясные дела, которые могут повернуться неожиданно какой-то новой стороной и оказаться совсем не такими-то простыми, как это только что представлялось.

Все началось с того дождливого, сумрачного утра, когда в мою батарею прибыла группа молодых, необстреляниых бойцов и с ними этот иевысокий нескладный парень с большой головой на тонкой шее, сразу выделившийся среди других своей молчаливостью и медлительностью. На вид ему было больше двадцати лет, а иа самом деле недавно исполнилось восемнадцать. Он был северяиин, родом из Карелии, и работал где-то иа лесосплаве. Я представлял себе лесогонов людьми могучими, кряжистыми, и, когда мой новый боец сказал мне, что ходил на плотах, я ему, признаться, не поверил. В моем представлении люди, умеющие побеждать стихию, должиы были обладать другой статью.

По-разиому складываются судьбы. Одни приходят в роту и быстро завоевывают всеобщее уважеиие; к другому долго присматриваются, прежде чем поймут, чего он достоин; а третий сразу оказывается предметом насмешек. Этот всегда в чем-нибудь виноват, всегда у него что-нибудь не в порядке, и то, что другому сходит с рук, такому иикогда не прощается. О ием толкуют на всех собраииях, и обязательно плохо.

Логинов, как говорится, с ходу попал в число этих последиих на второй же деиь прибытия в батарею.

Накаиуне у командира полка был тяжело ранен связной, который под сильиым огнем бежал куда-то с важным поручением; и иачальиик штаба приказал командиру нашего дивизиоиа прислать подходящего человека, чтобы тот срочно доставил в штаб бригады пакет с доиесением.

Как это получилось, уже не помию; приказ катился и катился от одиого иачальиика к другому, и вскоре рядовой Логинов прибыл в блиндаж штаба за пакетом.

Как раз в эти дни наша армия потесиила противника, оставившего иам такие густые миниые поля, что их не только в один день, ио даже и в месяц не сиимешь. Поэтому минеры проделали в иих кое-какие проходы, а вокруг поставили вехи с грозиыми иадписями: «Мины!»

Логинов благополучио добрался до штаба бригады, честь честью сдал пакет и повернул назад. Кружиым путем, каким ои шел туда, ему опять иужио было петлять по балкам километра четыре. А уже смеркалось. Он торопился и вдруг увидел полевую дорогу, которая круто забирала вверх и уходила влево, к той редкой, побитой снарядами роще, где располагалась батарея.

Дорога эта была так гладко укатана и казалась такой безопасной, что ои смело двииулся по ней и через полча-

са уже ел в своем блиндаже из котелка остывший суп.

Все было бы хорошо. Но как раз в это время в блиндаж спустился усталый и продрогший сапер Сорокин. Он ругательски ругал все эти проклятые мины, которых сам черт не найдет, так они ловко упрятаны.

Уж, кажется, каких только мин не приходилось ему разряжать, а сегодня с него семь потов сошло, пока он бился над ловушкой, которая была устроена на дороге. Да так и не совладал с ней. Еще и завтра придется потеть.

И тут вдруг выяснилось, что Логинов только что прошел той самой дорогой, по которой, казалось, и шага нельзя ступить, чтобы не взлететь на воздух.

Услышав об этом, сапер даже отпрянул от него.

— Спятил, парень! Да как ты жив остался?

И внезапно произошло то, чего ни Сорокин, ни сидевшие рядом солдаты совсем не ожидали. Логинов вздрогнул, побледнел и, громко всхлипнув, уткнулся лицом в руки.

В другое время, в другой обстановке его бы поняли. Шутка сказать — верная смерть подстерегала его на каждом шагу, а шагов этих была добрая тысяча! Но здесь, в двухстах метрах от противника, смерть была так близка от каждого, так обыденна, что многие понятные в мирное время чувства казались смешными. Остался жив и невредим, а ревет как девчонка! Щенок сопливый!

Что и говорить, мне, как командиру, следовало бы понять, что парню пришлось туго. Уж слишком тяжелое испытание выпало ему чуть ли не в первый день его фронтовой жизни. Но, по своей юношеской самоуверенности, я усмотрел в этом происшествии лишь свидетельство излишней чувствительности, даже трусоватости нашего нового солдата.

Особенно невзлюбил Василия Логинова командир орудия сержант Фомичев. Сержант иначе не называл его, как «тюфяк», жаловался, что он «лентяй косорукий», и все время просил меня откомандировать куда-нибудь этого «недотепу». Фомичев был из тех людей, которые дарят дружбу скупо, а уж если невзлюбят, то с той непримиримостью, которая заставляет поверить в свою правоту.

Был это человек лет тридцати, уверенный, сильный, напористый; и мне было приятно, когда он, пошевеливая своими густыми бровями, говорил: «Уж мы с нашим командиром промаху не дадим. У нас хватка мертвая!»

Прошло немного времени, и я стал смотреть на Логинова глазами Фомичева. На этом-то я и попался...

Однажды ко мне подошел сержант Муромцев, наш парторг, человек пожилой, неторопливый. У него дети были в моем возрасте. Он отвел меня в сторону и хмуро сказал:

— Нехорошо у нас получается, товарищ лейтенант.

— А что нехорошо?

— Логинов — парень молодой. Можно сказать, из семьи недавно.

Я рассердился:

— А ты что, защищать его пришел? Да его гнать из батареи надо!

— Куда гнать? В тыл?— усмехнулся Муромцев.— Или, может быть, за передний край?

— Ну что ты от меня хочешь?!

Муромцев не успел мне ответить. Его срочно вызвал к себе комиссар полка. А вечером того же дня я узнал, что Муромцева убило осколком снаряда в окопе, где он разговаривал с солдатами.

Парторга похоронили на склоне балки. В его брезентовой полевой сумке мы нашли документы: несколько протоколов собраний, платежную ведомость и пачку заявлений о приеме в партию. Среди них было и заявление Логинова с рекомендациями. Одну рекомендацию ему дал Муромцев, а другую — тот самый сапер Сорокин, который и был виновником всех его дальнейших неприятностей.

В этот же вечер мы собрались в блиндаже, чтобы выбрать нового парторга, и временно избрали Фомичева. А потом перешли к обсуждению поданных заявлений.

Блиндаж был тесный, и поэтому все не могли в нем уместиться. Подавших заявление мы вызывали по одному, а после приема они оставались тут же, в блиндаже. Сидели тесно, так что руку нельзя было поднять, не толкнув соседа.

Всех, кого мы принимали, мы знали и верили в них. Каждый рассказывал о том, как он жил — прежде, до войны,— но все события предыдущей его жизни мало значили по сравнению с этой землянкой на переднем крае, где мы сидели плечом к плечу, тесно прижавшись друг к другу.

Когда мы разобрали десять заявлений и перешли к одиннадцатому, Фомичев, обладатель густого баса и крепкого кулака, которым он для убедительности то и дело грохал по снарядному ящику, заменявшему нам стол, с таким ожесточением выступил против Логинова, что рекомендация Муромцева уже не могла поправить дела. А Логинов стоял

тут же, у входа в блиндаж, в своей измазанной глиной шинели, хмуро слушал Фомичева и молчал.

Страсти разгорелись. Не все были с Фомичевым согласны. Сорокин встал и сказал, что хоть Логинов и «психанул», перейдя через минное поле, но еще неизвестно, в каком бы виде явился после такой прогулочки и сам Фомичев. Выступили в защиту Логинова и другие. Голоса раскололись: семь — против и семь — за. Мой голос был пятнадцатый, а я подал его против.

Фомичев резким движением протянул Логинову заявление. Тот взял его с каменным лицом, медленно сложил, осторожно перед этим расправив рекомендацию Муромцева, и спрятал в нагрудный карман. А потом так же молча повернулся и пошел по скрипучим ступенькам вверх.

В блиндаже стало тихо. Даже Фомичев примолк. Несколько мгновений мы сидели молча, чувствуя, что произошло неладное, нехорошее.

Первым вскочил Сорокин.

— Обидели вы человека!— сказал он и, как-то горько махнув рукой, пошел вслед за Логиновым.

Я с тяжелым чувством вернулся к себе в блиндаж и прилег на нары. «Что же случилось?— думал я.— Почему я так уверен, что Логинов плох? Только потому, что он не нравится Фомичеву? Но Фомичев и сам не очень-то разбирается в людях. Муромцев его не раз осаживал. И вообще, имел ли я право умолчать о последнем разговоре с Муромцевым? Ведь только я один и знаю о нем. Будь он жив, наверняка бы убедил собрание принять Логинова. Ну, а рекомендация Муромцева — это ведь тоже не пустяк. Вроде завещания, так сказать...» Я думал, думал — и сон бежал от меня. До этой ночи я никогда не ощущал, что нары такие жесткие; настоящим счастьем для меня было обычно свалиться на эти покрытые шинелью доски, а сейчас я пролежал на них все бока.

Я думал и о своей роли в этом деле: ведь, по сути, мой голос решил все. Не согласись я с Фомичевым, и Логинов был бы принят. Я старался понять, что же все-таки меня так беспокоит. В конце концов мы ведь договорились, что после боя Логинов снова сможет подать заявление. Нет, конечно, дело было не только в этом. Где-то в глубине души я понимал, что поступил не по собственному убеждению, а потому, что не хотел спорить с Фомичевым. Вот потому-то я так и поругался с Муромцевым. И сейчас, лежа в пустом, холодном блиндаже, прислушиваясь к редким разрывам

мии, я продолжал вести разговор, которому не суждено было завершиться. Хотя я уже лейтенант, а Муромцев был всего лишь старший сержант, но на самом деле он был во многом опытнее меня. Конечно, я окончил училище и лучше его мог рассчитать огонь батарей и решить тактическую задачу, но, когда дело касалось людей, их судеб — тут Муромцев знал цену всему: и счастью, и горю. Его умение проникать в существо сложных, подчас самим человеком до конца не осознанных поступков и чувств во много раз перекрывало мое.

По уставу внутренней службы я был командиром и над Муромцевым, и над всеми своими солдатами, а по другому уставу — уставу партии — я был рядовым коммунистом. И сложность, и мудрость этого кажущегося противоречия заключалась в том, что я учил и в то же время сам должен был учиться у своих же солдат, учиться тому, что приходит только с опытом жизни.

И вот Муромцев ушел от нас... Я как-то не мог представить себе, что никогда больше не увижу его чуть сутулой фигуры, не услышу его прокуренного, хриплого голоса. Конечно, я очень к нему привык. У него были те качества, которых тогда еще не могло быть у меня. Он был терпелив к людям, я, наоборот, резок. И эту резкость и нетерпимость я тогда считал своими достоинствами. В этом мне виделось подлинное проявление волевой натуры. Муромцев мог часами беседовать с человеком, просто сидеть на уступе окопа, курить и говорить о самых обыденных мелочах. Я же считал, что должен не говорить, а приказывать, а уж если и дойдет до разговора «по душам»— я был убежден, что время от времени мне следует именно так разговаривать со своими солдатами,— то обязан наставлять, внушать, учить уму-разуму.

Поведение Муромцева не всегда было мне понятно. Иной раз я даже не совсем одобрительно относился к этим его бесконечным разговорам. Но тут вдруг я почувствовал, что месяцы, проведенные рядом с ним, не пропали зря: что-то важное оставил Муромцев в моем сердце.

Так я и заснул тяжелым, беспокойным сном. Ближние разрывы будили меня, но я глубже прятал голову под шинель, поворачивался на другой бок и снова погружался в полудремоту, сковывающую тело, но не дающую отдыха. Мысли лениво ползут, на ухо давит жесткая ткань вещевого мешка, а от полы мокрой шинели нестерпимо кисло пахнет грубой шерстью.

Не знаю, сколько времени я спал, вернее, вертелся на своем чертовски неудобном ложе, как вдруг почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо.

— Товарищ лейтенант... Товарищ лейтенант... Быстрее!.. Вас вызывает командир полка...

Ощущая во всем теле ломоту, я с трудом сел на доски.

— Что случилось?— спросил я, стараясь разглядеть в неясном желтоватом свете угасающей «летучей мыши» смутную фигуру солдата, в котором сразу угадал Василия Логинова.

— Не знаю, товарищ лейтенант! Из штаба передали, что вам приказано прибыть быстро... Можно идти?

Я помедлил, стараясь понять, почему именно Логинов передает мне это приказание, и вдруг вспомнил: ведь он сегодня дежурный телефонист.

— Идите!— отослал я его и стал быстро натягивать шинель.

Командир полка майор Горелов встретил меня на пороге своего блиндажа; видно было, что он еще не ложился спать. Короткие волосы у него были взъерошены, а на бледном, усталом лице, особенно в уголках глаз, пролегли глубокие морщины. Мы с Гореловым были знакомы давно — еще в июне вместе отходили от Тима, где гитлеровцы нанесли свой внезапный удар, и эти тяжелые испытания както сблизили нас.

Я не успел доложить ему о своем приходе, как он увидел меня сам и быстро провел в блиндаж. В углу начальник штаба что-то чертил на карте, сверяясь с оперативной сводкой, а ближе к выходу, у стены, на корточках сидели телефонисты. Они то и дело откликались на какие-то вызовы.

— Садись,— сказал мне Горелов, указывая на грубо сколоченную скамейку; она стояла перед столом, за который уселся он сам.

По тому, как Горелов встретил меня, я сразу понял, что разговор будет серьезный, и не ошибся. Без долгих слов он приступил к делу.

— У тебя сколько орудий?— спросил он, заглянув в какой-то список.

— Два. Но одно из них требует серьезного ремонта...

— Так вот, тебе выделено из резерва еще одно орудие. Однако за ним ты должен будешь послать на левый берег Волги. Понятно?

— Понятно, товарищ майор. Разрешите идти?

— Нет, подожди.

Он вдруг как-то особенно испытующе и сосредоточенно посмотрел мне в лицо, будто взвешивая, способен ли я на нечто большее, чем исполнение своих обычных обязанностей, а затем быстрым движением взял телефонную трубку.

— Позовите пятнадцатого к аппарату! — отрывисто сказал он, и я удивился, хотя и не подал вида: пятнадцатый, ведь это начальник политотдела бригады Сергеев. Какое у него может быть ко мне дело?.. Сергеев почему-то долго не подходил, майор нетерпеливо морщился, но наконец все-таки дождался.

— Так, может быть, мы пошлем Костицина? — сказал он так, словно продолжал только что прерванный разговор. — У него как раз там и дело есть. Прислать к вам? Хорошо... Слышал? Иди, — сказал мне Горелов, положив трубку. — Он тебе все объяснит.

И я пошел, вернее, пополз между развалинами домов к подвалу, где находился Сергеев.

Через пятнадцать минут я уже в точности знал, что мне предстоит выполнить. В бригаде не хватает партийных билетов, нужно привезти триста штук вместе с бланками личных дел. Мне выдали доверенность и сумку из толстого брезента, с ушками на ручках, куда продевается шнурок сургучной печати. Кроме того, суховатый и немногословный Сергеев строго-настрого приказал взять с собой бойца для охраны. Он наверняка бы, конечно, послал за партбилетами кого-нибудь из политотдела, но за несколько дней до этого от прямого попадания бомбы в блиндаж погибли почти все его работники.

Я вернулся к себе, когда уже начало рассветать, сразу вызвал Фомичева и Соколенка, командира второго орудия. Мы посоветовались, как быть. Было решено, что Соколенок останется, у него еще пропасть работы по ремонту механизма отдачи, а Фомичев поедет со мной на левый берег, и там мы расстанемся. Он отправится за орудием, которое передается нам вместе с боевым расчетом, а я — в тот отдел, где мне выдадут партийные документы.

Кого бы взять с собой из бойцов? Впрочем, какое это имеет значение! Пойдет тот, кого назначат. Я приказал старшине батареи прислать ко мне кого-нибудь из дежурного отделения.

Через несколько минут, занятый сборами, я вдруг услышал, как кто-то спускается, неуверенно ступая по скрипу-

чим ступенькам. Хлопнула дверь, пришедший переступил порог и негромко доложил о прибытии. Я оглянулся. Это был Логинов. В смятой и мокрой, с обгорелой полой шинели он казался особенно щуплым и неуклюжим. Автомат, висевший на ремне, словно тянул его книзу. Скажу по правде, я тогда охотно бы назначил для этого дела кого-нибудь другого. Переправиться на левый берег не так-то просто. Паром почти все время обстреливается противником. Не подведет ли меня этот невзрачный паренек? Отослать его назад, что ли? Я вдруг обозлился: нет, пусть пойдет со мной, пусть будет рядом, увижу, каков он есть, своими глазами!

Ехать нам пришлось вдвоем. Случилось так, что Фомичев надолго застрял в штабе полка, выписывая необходимые документы. Ждать было некогда, и я в сопровождении Логинова отправился на берег Волги, туда, где к разрушенной пристани должен был пристать паром.

Когда мы подошли, парома еще не было. Он только что отчалил от другого берега. Я видел вдалеке несколько плоских понтонов с деревянным настилом; на длинном канате их тянул за собой буксир. На понтонах стояли грузовики, покрытые брезентом, а между машинами сидели и стояли люди. Когда вблизи от понтона взрывался снаряд и кверху взлетал столб воды, люди падали на настил. А буксир, пыхтя, тащил за собой понтон так неторопливо, словно не было ему и дела до всей этой стрельбы.

— Прямо на нервах играет,— сказал кто-то рядом.

В ожидании понтона на берегу скопилось несколько раненых и таких же, как мы, у кого были дела на том берегу. Нам оставалось одно: спокойно ждать, наблюдая, чем кончится игра со смертью, которая происходила посредине реки. Что ни говори, а ведь и нам, если понтон все же достигнет берега, вскоре придется испытать то же самое.

За все время Логинов не сказал мне ни слова. Он сидел поодаль на камне и, о чем-то размышляя, смотрел на другой берег... И вдруг я подумал о том, что ведь почти ничего о нем не знаю. В стремительном беге времени и дел мне некогда было приглядываться к окружающим меня людям. Как часто случалось, пополнение приходит ночью и сразу же вступает в бой. А утром многие ранены и даже убиты. Эти люди пробыли рядом со мной всего несколько часов: пришли, сделали свое дело, и вот теперь о них осталась только память...

Логинов молчал, и в глубине души я был ему за это

благодарен. Я так устал, что просто хотелось сидеть и молчать. В каком-нибудь полукилометре шел бой, а здесь, на берегу, смотря на белые барашки медленно катящихся тяжелых волн, я чувствовал себя в глубоком тылу.

На левый берег мы перебрались без особых приключений. Я торопился. Следующий паром должен был вернуться назад в пять часов вечера. Если мы опоздаем, придется ждать ночи. Но уже в половине пятого с тяжелой брезентовой сумкой, опечатанной сургучными печатями, мы вновь стояли на берегу.

Быстро сгущались сумерки. Было холодно. Хотелось скорее добраться до своего блиндажа и отогреться у печурки. Логинов тоже, видно, сильно продрог. По-прежнему он держался сухо, молчаливо и несколько даже настороженно. За все время мы сказали друг другу несколько малозначащих фраз.

Паром долго не приходил. На берегу скопились машины. Какой-то пожилой усатый майор бегал от одного шофера к другому и срывающимся на ветру голосом приказывал рассредоточиться. Но его никто не слушал.

Вверх по Волге медленно прополз буксир, тянувший за собой на канатах от самой Астрахани две глубоко осевшие баржи с нефтью. Рискованное дело тащить мимо Сталинграда баржи, каждая из которых — удобная цель для бомбардировщиков, но другого пути нет. Добросовестно стуча машиной, буксир изо всех сил шел против течения. Несколько снарядов разорвалось вокруг него и около барж, но огонь был неприцельный, и большой опасности не было.

Скорей бы подошел паром! Наконец его темная полоска медленно отделилась от правого берега и поползла к нам.

— Ну, Логинов,— сказал я как можно более бодро и дружелюбно,— давай не теряться. А то нас отожмут.

Он кивнул головой и промолчал.

Я показал усатому майору свои документы, и тот пообещал, что пропустит нас на паром одними из первых, хотя «первоочередников» уже накопилось великое множество. Среди них был даже подполковник из штаба фронта.

Не буду рассказывать, каких трудов стоило нам войти на этот проклятый паром, сколько было споров и ругани. Майор совсем охрип. Наконец на помост въехало несколько машин, они стали рядом. Между ними разместились люди.

Механик запустил мотор буксира, паром вздрогнул и медленно пополз к середине реки. Я смотрел на мальчи-

шеское, узкое лицо Логинова и чувствовал мучительную неловкость от бессилия: я не мог заставить его говорить со мной так, как мне этого бы хотелось. А мне хотелось, сердито и значительно сдвинув брови, внушать ему истины о необходимости выполнять свой долг, о том, что надо быть смелым, стойким, исполнительным. Я готов был к тому разговору, который я называл «разговор по душам», а Логинов стоял, «застегнутый на все пуговицы». Его руки лежали на автомате. Он спокойно следил за бурлящей за кормой водой и совсем не смотрел на меня. Это невольно раздражало. «Черт побери! В конце концов я все-таки командир. Хочешь ты или не хочешь, но ты меня выслушаешь!..» Но в этот момент случилось нечто, что заставило меня забыть о своем намерении.

— Летят! — крикнули с кормы.

Я взглянул в небо и увидел, что под облаками прямо на нас разворачивается звено «юнкерсов». Дело оборачивалось плохо. Если артснаряды ложились неприцельно, то уж «юнкерсы» будут бомбить с пикирования и почти наверняка не промахнутся.

С обоих берегов по ним забили зенитки, самолеты поднялись выше и скрылись в облаках. Но не было сомнения в том, что это лишь маневр. Они подкрадутся к нам поближе и пойдут в пике тогда, когда будут над нашими головами.

— Ты, должно быть, хорошо плаваешь?— обернулся я к Логинову.

Он сузившимся, острым взглядом смотрел вверх, стараясь понять, куда полетели самолеты. И все стоявшие вокруг нас тоже молча смотрели вверх, в темные клочковатые тучи, откуда доносилось глухое завывание моторов.

— Хорошо,— ответил Логинов, не прибавив «товарищ командир».

Я невольно отметил это, но сейчас было не до тонкостей субординации.

— Если что-нибудь со мной случится,— сказал я,— ты эту сумку доставишь начальнику политотдела.

— Есть,— сказал он так угрюмо и твердо, словно меня уже ранило или убило.

И в эту минуту над нашими головами засвистели бомбы.

Сколько раз в своей жизни я ни попадал под бомбежки, но большей беззащитности, чем на плоту, посредине Волги, я не испытывал. На земле хоть в какую-нибудь щель

впрыгнешь, а здесь, пожалуйста, прыгай в воду, иди ко дну или сиди жди своего часа под колесами тяжело нагруженного грузовика.

Нет, более противного состояния я не испытывал никогда. А бомбы выли, и вой нарастал, давил на барабанные перепонки, казалось, рвал их. Бомбы-«певуны»! Они не только рвались, но и своим воем должны были психически подавлять противника.

Единственное укрытие — грузовая машина. Если бомба попадет в нее, то и рядом спасения не будет, а так все-таки есть некоторый шанс уберечься от осколков. Я бросился под машину, где уже сидели, прижавшись друг к другу, человек десять, и рядом со мной примостился Логинов. Он был как будто спокоен, но я видел, как добела побледнели пальцы его рук, сжимавшие приклад автомата. Сумка оказалась посредине, и мы прикрыли ее, словно это был живой человек, за жизнь которого мы оба были в ответе.

Через мгновение оглушительный удар потряс плот. Он наклонился в сторону, послышались отчаянные крики. Машина над моей головой дрогнула и заскользила куда-то вниз. Под ее тяжестью плот стал опускаться в воду. Меня сразу же захлестнуло по горло. Мне показалось, что все погибло. Я ничего и никого не видел в бурлящих волнах и только продолжал изо всех сил сжимать ручку сумки. Но тут наконец машина повернулась набок, с грохотом посыпались тяжелые ящики, мелькнули колеса — и все кончилось! Только волны пенились вокруг.

Но то, что погубило машину, спасло меня и еще нескольких человек. Освободившись от груза, сохранившаяся часть плота выровнялась, и внезапно я почувствовал под собой опору.

Лежа на мокрых досках, я огляделся. Где сумка? Ее не было. Меня охватило отчаяние. Столько пережить, подвергнуться смертельному риску — и возвратиться с пустыми руками! Что же делать?

Бомба как раз попала в центр плота и расколола его на несколько частей. В стороне плыл еще один обломок, на нем стояла машина, а вокруг нее суетились несколько бойцов. Вдалеке, накренившись на левый борт, из последних сил добирался до берега буксир.

А на том клочке плота, где был я, лежали еще два человека. Один был полковник из штаба фронта, тяжело раненный в голову. Его не смыло только потому, что шинель зацепилась за крюк, к которому веревкой привязывались

машины. Второй был шофер той самой машины, которая пошла ко дну. От всего груза на плоту остался вывалившийся из кузова большой ящик с консервами. Шофер успел выскочить из кабины и теперь сидел на краю плота в полном отчаянии и тупо смотрел в воду.

Логинова нигде не было видно. Кто-то плыл к берегу, но, приглядевшись, я заметил, что у того волосы были темные, а у Логинова — светлые, соломенно-желтые.

Остатки плота медленно скользили посредине реки. Куда нас понесет — этого никто не знал. Сумерки сгущались. Найдет ли нас в темноте второй буксир?

Я встал на ноги и, сложив руки рупором, крикнул на берег:

— Эге-гей!.. Давайте буксир!..

Эхо разбросало мой голос и отозвалось где-то за мысом. И тут же невдалеке разорвался немецкий снаряд. Меня обдало с ног до головы водой.

Вдруг я увидел, что прямо из воды к моим ногам тянется чья-то рука. В ту же секунду показалась вторая рука с зажатой в ней сумкой, а затем голова Логинова. Этого я ожидал меньше всего. Он словно вылез на плот со дна. Я не успел прийти в себя от удивления, а он, положив сумку на доски, стоял рядом и выжимал на себе гимнастерку. Сапог и шинели на нем не было. Однако каким-то чудом он сумел сохранить автомат, который висел у него на ремне, перекинутом через шею.

— Ты откуда? — невольно спросил я и, только задав этот вопрос, понял, до чего он нелеп.

Очевидно, Логинов это понял. Впервые за все время он улыбнулся.

— Вон оттуда, — указал он в воду. — Меня отбросило взрывом! А пока я тащил сумку, вас унесло. Вот и пришлось догонять.

Ему было холодно, и он приплясывал, дробно отстукивая голыми ступнями по доскам. Потом он присел на ящик и стал растирать ноги.

— Холодноватая вода, — проговорил он, — пятки горят! — Он вдруг разглядел надпись на кромке ящика и улыбнулся: — А, вот и «энзе» тут... Теперь не пропадем, если даже доплывем до Астрахани...

Я поднял сумку и встряхнул ее. Все было цело, только искрошилась сургучная печать. Закрыта она была плотно, и внутрь вода не проникла. Я пытался припомнить, когда, в какой момент она оказалась в руках Логинова, и не

мог... Как-то сразу обессилев, я присел на край ящика.

В это время полковник приподнялся на локте и подозвал меня. Его обострившееся лицо с мохнатыми бровями, сросшимися на переносице, выражало глубокое страдание. Он понимал, что умирает, и торопился сказать мне о самом важном.

— Товарищ лейтенант... Вот здесь, на груди... в кармане пакет Чуйкову... Обязательно передайте... Сообщите в штаб фронта, что я погиб... Моя фамилия — Матвеев. Пусть напишут жене...

— Хорошо,— сказал я, опускаясь перед ним на колено,— все будет сделано, товарищ полковник.

Он откинулся на спину и коченеющими пальцами стал расстегивать на груди шинель. Я помог ему вытащить из нагрудного кармана пакет, прошитый нитками и запечатанный сургучной печатью. Увидев, что пакет у меня, полковник облегченно вздохнул и закрыл глаза.

А между тем наш плот медленно крутило на быстрине. Мимо проползли темные берега, изъеденные окопами, воронками от бомб и почерневшими остовами зданий. Издалека доносились пулеметные очереди и редкие глухие удары тяжелого миномета.

Полковник лежал в забытьи, и потому самым старшим на плоту был я. Мой «гарнизон» состоял из Логинова и шофера, который продолжал в отупении сидеть на краю плота.

Что же делать? Кроме голых досок, на которых мы стояли, на плоту не было ничего, чем бы можно грести. Ждать, когда нас возьмут на буксир или когда прибьет к мели? Но сейчас быстро темнеет, и через полчаса с берега нас уже не будет видно. А за ночь нас унесет километров за сто к Астрахани, и кто знает, что еще там может случиться.

Пока я размышлял над создавшимся положением, Логинов обошел плот вокруг по краям и остановился невдалеке от меня спокойно, словно ожидая приказа.

Я присел на сумку и стал рассматривать доски. Если бы выломать хоть одну, все же можно было бы иметь в руках нечто похожее на весло. Но как это сделать? Толстенные доски, накрепко сбитые, скреплены огромными железными крючьями. Сколько ни трудись, не оторвешь.

— Слушай ты, шофер,— вдруг сказал Логинов,— подька сюда. Ты чего там киснешь?

Шофер оглянулся и нехотя поднялся. Это был высокий,

худой, как жердь, парень, одетый в замасленный комбинезон. Небритое лицо его посинело от холода. Он стоял, понуро опустив плечи, и, видно, еще не пришел в себя после потрясения.

— Оружие есть?— спросил Логинов.

— Нет,— хмуро ответил шофер,— ко дну пошло.

— Ну, там из него раки стрелять будут,— усмехнулся Логинов.— А как же ты теперь к берегу добираться будешь? А, шофер?

Шофер пожал плечами и хмуро взглянул на меня, словно это зависело от моего приказа. Но я молчал, думал до боли в висках и ничего не мог придумать. Однако та уверенность, с какой Логинов двигался по плоту, невольно вселяла в меня надежду: теперь я начинал верить в то, что он действительно плавал на плотах. Уж очень привычно ступали его босые ноги по скользким доскам, и в движениях было нечто уверенное.

— Что, Логинов,— сказал я как можно более весело,— ты же как будто плоты гонял по Печоре... Ну вот, покажи свое искусство!

Логинов, прищурившись, взглянул на меня и двинулся вдоль края плота, с силой топая ногами. Я наблюдал за ним, стараясь понять, что он хочет делать. Плот разорвало неровно: одни доски были длинные, другие короче. Логинов внимательно изучал что-то, а потом подошел ко мне.

— Будем грести досками,— сказал он.

— Ну, а как же их отломить?— спросил я.

— Отломить — отломим,— спокойно ответил он.— Вот эту, с краю. И вот эту — в центре. Они метров по пять будут. Как, подойдет?

— Подойдет,— сказал я, еще не понимая, каким же образом он сможет их отломить.

— Так. Можно отделять?

— Можно.

Логинов быстро снял с шеи ремень автомата, подошел к доске там, где она была наглухо прибита толстым штырем к древку, и дал длинную очередь. Полетели щепки. Через несколько секунд доска уже лежала на плоту. Таким же образом мы получили и второе весло.

— Ну, шофер, давай рули. Спускай доску сзади да держи крепче. А я буду загребать влево.

Шофер повиновался и опустил доску ребром в воду в конце плота. Логинов встал с левой стороны и принялся орудовать своей доской, как веслом. Доска была тяжелая и

все время скользила. Я решил прийти ему на помощь, но Логинов сухо отказался:

— Вы, товарищ командир, мне не мешайте. Я человек привычный — сам справлюсь... Эй, шофер, держи правее!.. Еще правее!.. Сильнее, сильнее налегай!

Шофер животом лег на доску, которая так и рвалась у него из рук. Я бросился на помощь к нему, и вдвоем мы кое-как справились. Плот медленно повернул к берегу. Мы вышли из быстрины и попали в более тихое течение с которым было уже гораздо легче сладить.

Вдруг шофер вгляделся в даль и дернулся, словно хотел бежать:

— Горит!

Я посмотрел туда, куда он показывал, и чуть не выпустил доску — она больно ударила меня по подбородку. То, что я увидел, было действительно страшно.

По реке широкой полосой, почти от берега и до берега, на нас быстро надвигалось яркое красное пламя, чадящее черным, едким дымом. Я вспомнил про баржи с нефтью, которые прошли на Саратов. Очевидно, их разбомбили, и горящая нефть растеклась по Волге.

— Греби быстрее, товарищи!— крикнул я.

Теперь, когда плот повернулся к берегу, вторая доска тоже могла выполнять роль весла. Мы поставили ее с правого борта и работали изо всех сил.

Но плот все-таки был слишком тяжел, а мы были изнурены. Берег приближался, но значительно медленнее, чем пламя.

Логинов греб, сильно, равномерно взмахивая своим веслом. Он делал свое дело гораздо искуснее нас с шофером. Видя, как нам трудно, он начал громко считать: раз-два, раз-два!— чтобы придать движению какой-то ритм. Но наша доска все время скользила вниз, и мы за ним не поспевали.

До берега оставалось еще метров двести. Я решил привязать сумку с документами к доске, и пусть Логинов бросается с ней в воду. Документы должны быть спасены во что бы то ни стало. А мы с шофером привяжем себя к другой доске и тоже попробуем спастись вплавь.

Но тут я вспомнил о полковнике и на несколько секунд оторвался от весла, чтобы посмотреть, жив ли он? Полковник при моем прикосновении шевельнул головой, приоткрыл глаза и что-то бормотал. Нет, я не мог оставить его в огне! Пусть плывут Логинов и шофер, а я останусь. Но когда

я сказал об этом шоферу, тот испуганно затряс головой: он не умел плавать. Таким образом, плот мог покинуть только один Логинов.

Я приказал ему быстро привязать сумку к доске и плыть с ней к берегу. Но тут опять произошло нечто такое, чего я не ожидал. Логинов упрямо взглянул на меня.

— Товарищ командир, и я не поплыву!— тихо сказал он.

— Почему?— закричал я.— Плыви, я приказываю!

— Потому, что вы без меня погибнете.

— Я приказываю спасти документы!

Логинов стоял, вцепившись в доску, лицо его было бледным.

— Товарищ командир, не говорите! Самое худшее: документы сгорят или утонут. Они ведь не попадут к противнику. А мы сможем спасти жизнь полковнику.

— Мы будем грести без тебя,— настаивал я.

Он покачал головой:

— Без меня не справитесь.

Несколько мгновений мы стояли, в упор глядя друг другу в глаза. Я, конечно, мог бы схватить автомат и силой заставить его выполнить приказание. Но ведь не от трусости он поступал так, а от великого мужества, какого я в нем и не подозревал.

Я повернулся и пошел к своему веслу. Шофер, казалось, терял последние силы. Он едва держался на ногах и несколько раз едва не упал в воду. Было самое время сменить его.

Плот был шагов пять в длину и шесть в ширину. Если принять во внимание неровно обломанные доски, то он представлял собой неправильный четырехугольник. Полковника я подвинул к середине, а рядом с ним положил сумку. И вдруг впервые в жизни я подумал о том, что могу погибнуть. Ведь со мной погибнет и пакет. Куда его деть? Если бы Логинов поплыл к берегу, пакет можно было бы отдать ему.

Мне казалось, что мы попали в какой-то проклятый, заколдованный круг. Жизнь каждого из нас зависела от другого, а жизнь полковника — от всех нас. Говорят, у людей есть второе дыхание. Я не знаю, правда ли это. Но вот откуда у нас взялись силы управляться с тяжелыми досками, я до сих пор не понимаю.

До берега оставалось каких-нибудь сто метров, когда огонь догнал наш плот. Сначала он протянулся к нам длинным и узким клином. Нам даже показалось, что мы можем

от него уйти. Но через мниуту мы были уже со всех сторон окружеиы пляшущими языками пламеин.

Густой чериый дым мешал нам дышать, слепил глаза, вызывал судорожиый кашель. При каждом покачнваиии плота горящая иефть попадала иа доски, и оии уже стали дымиться, по инм ползлн змейки огия. Наши весла горели...

Вдруг шофер схватился за грудь и упал без созиания лицом вииз, рядом с полковником. Теперь мы осталнсь с Логииовым вдвоем. Ои по одиу сторону плота, я — по другую.

Я огляиулся и поглядел иа иего. Ои стоял, весь чериый от копоти, и откидывал доской горящую воду. На какое-то мгновеиье иевысокие волны оказывались узким барьером между плотом и иефтью — тогда ои иачинал грести. Я тоже попробовал по его примеру воевать с пламеием. Но это было дьявольски трудио. Тяжелая доска ие повиновалась мие, она так и стремилась иавсегда уйти под воду.

Но теперь у нас иачалось глухое, отчаяииое соревиование. Нет, я ие мог уступить, и не потому, что был комаидиром, и ие потому, что помиил о том, что иас разделяло. В эту мииуту я забыл обо всем на свете, кроме одного: мы все должиы жить.

Несколько горящнх капель упало иа сумку, и оиа иачала тлеть. Надо было потушить брезеит иемедлеиио, но я не решался выпустить из рук доску. Чуть только я переставал отбрасывать горящую иефть, как пламя сразу же бросалось к иастилу. Меия охватывало отчаянне. И вдруг я увидел, что Логииов, ие выпуская из левой руки доски, изогиулся и, ловко схватив правой сумку за ручку, быстро окуиул ее в воду и бросил назад.

Неожнданно плот обо что-то ударился, и я едва устоял иа иогах. Позади раздались крики:

— Осторожнее!.. Сюда!.. Сюда!..

Я оглянулся. Несколько бойцов на железном баркасе с баграми в руках подошли к иам вплотную. Двое нз них быстро перепрыгиули через борт, подбежали к полковиику, осторожно перенесли его в лодку, а затем вериулись за шофером. Я бросил доску в воду и схватил сумку. Но ее тут же у меня отобрал Логииов:

— Товарнщ комаиднр! Залезайте быстрее. Я вам ее подам.— И вскочил за миой в лодку.

Мы вериулись к себе иа батарею поздио вечером. Обе руки у меия были забиитоваиы. Только иа берегу я почувствовал боль от ожогов. Начальиик политотдела уже зиал обо

всем, что произошло, и считал и нас и документы погибшими. Но я передал ему и сумку и пакет для командарма, и у меня еще хватило сил добрести до своего блиндажа...

А на другой день утром я встретил на тропинке Логинова. Он чистил на куске газеты свой автомат. Увидев меня, он встал. Я подошел к нему и сказал:

— Слушай, Василий!.. Вот что я тебе, друг, скажу... Тебя, конечно, представят к награде. Но это — дело особое. А мне очень хочется дать тебе рекомендацию. Не откажи!

В глазах у него мелькнуло что-то живое, задорное.

— А ведь и я вам могу дать рекомендацию, товарищ командир! Кончится война, приезжайте в наши края. Из вас хороший плотогон выйдет. Для первого раза у вас получилось неплохо.

— Ладно, приеду,— улыбнулся я.

Вечером мы единогласно приняли Логинова в партию, а на другой день секретарь партийной комиссии пришел к нам на батарею и вручил ему партбилет, один из тех, что были в спасенной им сумке. А некоторое время спустя мы выбрали нового парторга, сержанта Соколенка, который оказался более подходящим для этого серьезного и великого дела, чем Фомичев.

Вот и конец этой давней истории. Мы говорим иногда: «Школа жизни»,— но не всегда до конца понимаем смысл этих слов. Подлинная зрелость приходит к нам в суровых испытаниях.

С того дня я перестал утверждать, что стоит мне взглянуть на человека и я вижу его «насквозь».

1958

БОРИС ПОЛЕВОЙ

МЫ — СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

Рассказ

На вид этой девушке можно дать лет девятнадцать. Тоненькая, легкая, смуглое лицо не потеряло еще детской припухлости, а глаза, большие, ясные, опушенные длинными ресницами, смотрели так удивленно, как будто спрашивали: нет, в самом деле, товарищи, кругом действительно так хорошо или мне это только кажется?

И лишь мудреная высокая прическа, в которую были забраны густые темно-каштановые волосы, как-то портила ее светлый облик, точно фальшивая нота чистую, хорошую песню.

На ней было легкое цветастое платье, тонкая золотая цепочка обвивала ее высокую загорелую шею, на которой гордо сидела милая головка.

Должно быть, поняв, что уж очень выделяется среди людей в выгоревших, добела застиранных гимнастерках, среди обветренных лиц, темных от походного загара, она набросила на плечи чью-то шинель и, несмотря на жару душного августовского вечера, так и сидела в ней на завалинке.

Ее глаза жадно следили за жизнью обычной, ничем не примечательной штабной деревеньки. С одинаково ласковым вниманием останавливались они на промасленных, ржавых комбинезонах шоферов, рывшихся в тени вишенника в моторе опрокинутого вездехода; и на военном почтаре, что прошел мимо нее с тем торжественно значительным видом, с каким ходят только военные почтари, неся большую порцию свежей корреспонденции; и на начальнике разведки, тучном, туго перетянутом походными ремнями полковнике, который, заложив руки за спину, скрипя сверкающими сапогами, расхаживал взад и вперед за плетнем садика, весь поглощенный какой-то своей мыслью; и на бойцах штабной охраны, сидевших за хаткой в пыльной мура-

ве и по очереди читавших друг другу только что полученные письма из дому.

— Я, как изголодавшаяся, гляжу, гляжу, не могу наглядеться. Нет, вам этого не понять! Это понятно только тем, кому приходится надолго отрываться от своих, от всего, что привычно, дорого, мило, и с головой окунаться в этот чужой мир!— сказала она низким грудным голосом.

Выражение детскости, только что освещавшее ее лицо, сразу точно ветром сдуло, и мне показалось, что она гадливо передернула плечами, прикрытыми грубой шинелью.

Как-то не верилось, что эта девушка, такая юная и беспечная с виду, имела самую опасную и ответственную из всех воинских профессий, что это та самая безымянная героиня, которая, живя за линией фронта, ежеминутно рискуя жизнью, снабжала наш штаб сведениями, помогавшими командованию разгадывать намерения противника. Разведчики — иарод замкнутый, несловоохотливый. Но для этой девушки они не жалели похвал.

У нее было условное имя: Береза. Я не знаю, как оно появилось, но трудно было подобрать лучшее. Она действительио походила на молодую, стройную, гибкую березку, из тех, что трепещут всеми листочками при малейшем порыве ветра. И ничто в ее облике не выдавало хладнокровного мужества, воли, уверенной, расчетливой хитрости — этих необходимых качеств, присущих человеку ее военной профессии. Вероятно, это-то и обеспечивало успех, сопутствовавший Березе при выполнении самых сложных заданий.

Взяв с меня слово, что я никогда не назову ее настоящего имени, полковник, начальник разведки, рассказал мне ее военную биографию.

Единственная дочь крупного ученого, она выросла в патриархальной семье, получила отличное воспитание, училась музыке, пению, с детства одинаково чисто говорила иа украинском, русском, французском и немецком языках. Когда разразилась война, она заканчивала университет. Увлекалась филологией, западной литературой времен Ренессанса и даже опубликовала под псевдонимом в одном из академических изданий работу о драматургии Расина, работу полемическую, интересную, даже обратившую на себя внимание в иаучных кругах.

Вопреки воле родителей она отложила подготовку к государственным экзаменам и пошла на курсы медицинских сестер. Она решила ехать на фронт. Но окончить курсы не удалось: враг подошел к городу, а окраины его стали фрон-

том. Некоторое время она вместе с подругами по курсам выносила раненых с поля боя, работала в эвакоприемнике.

Был дан приказ об эвакуации. Родители готовились к отъезду и настаивали, чтобы она обязательно ехала с ними.

— Есть старая истина: кому много надо, с того много и спрашивается,— убеждал ее отец.— Помогать раненым может каждая девушка, а на твое обучение государство затратило огромные деньги. Ты знаешь языки, как знают немногие. Ты обязана принести государству гораздо большую пользу там, в тылу.

Девушка понимала: отец хитрит. Он не мог так думать. Но ей не хотелось на прощанье обижать стариков, и она мягко сказала:

— Папа, я слышала, что сейчас даже каркас Дворца Советов, заложенный в Москве, переплавляют на снаряды и танковую броню. Мы должны победить любой ценой. Сейчас не до мелочной расчетливости.

В эвакуацию она не поехала. Но слова отца заставили ее задуматься. Ну да! Она знает языки, наверное, может принести Родине на войне бо́льшую пользу, чем в медсанбате или на эвакопункте. С этой мыслью она пошла в районный комитет партии.

Это были последние часы перед эвакуацией города. Усталые, до смерти измученные, подавленные горем люди жгли в печах бумаги. Входили и выходили вооруженные дружинники из рабочих батальонов. Сердито звонили телефоны. Было не до нее. Никто не хотел слушать эту тоненькую, красивую, хорошо одетую девушку. Но тут у нее, обычно робкой и деликатной среди чужих, может быть, впервые проявился характер. Кого-то обманув, от кого-то отшутившись, кого-то попросту оттолкнув, она пробилась в кабинет секретаря райкома, назвала свою довольно известную в городе фамилию и заявила, что отлично знает языки и просит дать ей какое-нибудь военное задание.

— Что, что? Вы дочь профессора Н.? Почему не уехали? — удивился секретарь райкома, с трудом отрываясь от горьких эвакуационных забот. Внимательно просмотрел ее документы. Вдруг, что-то вспомнив, он спросил ее: — Вы знаете немецкий?

— Как свой украинский.

Секретарь райкома еще раз с сомнением осмотрел тоненькую юную фигурку, лицо, в котором было так много детского.

— Задание может быть очень сложным и, прямо скажу, опасным.

— Я согласна.

Он попросил всех выйти, взял трубку полевого телефона и назвал какой-то номер.

— Вы слушаете? Это я, у меня нашлась подходящая кандидатура,— сказал он кому-то.— Да, немецкий, отлично... Вполне подходит, я знаю ее родителей. Замечательные, преданные люди. Сейчас ее к вам пришлю... Предупреждал и предупрежу еще.— Он положил трубку и опять, теперь уже с ласковым вниманием, посмотрел ей прямо в глаза:— Хорошо, свяжу вас с одним товарищем, который остается здесь для подпольной работы... Но вы, может быть, не представляете, что вас ждет. Вам все время придется рисковать жизнью.

— Я прошу вас, не теряйте попусту времени, я вам уже ответила,— сказала девушка.

И вот дочь ученого осталась в родном городе, оккупированном немцами. В немецкую комендатуру донесли, что родители ее забыли при эвакуации.

Она была не единственной, оставленной в городе для подпольной работы, но из всех разведчиков она получила самое сложное, самое неприятное задание. Иные должны были следить за оккупантами и предателями, иные получили задание взрывать склады, портить паровозы, иные охотились за фашистскими чиновниками. Береза по заданию подпольного комитета должна была изображать кисейную барышню, дочь знаменитых родителей, преклоняющуюся перед Западом и не пожелавшую расстаться во имя каких-то идей с комфортом, бросить все и тащиться в неизвестность куда-то на восток. В квартире профессора, обставленной старинной мебелью, поселился немецкий полковник. Ему сразу приглянулась молодая хозяйка квартиры. По вечерам она играла на рояле Вагнера, читала понемецки стихи Гете. Полковник ввел ее в круг своих друзей, крупных штабных офицеров, собиравшихся у него, познакомил со своим начальником-генералом.

Украинская фрейлейн имела успех. Дочь профессора и, как намекал полковник, потомок каких-то древних украинских магнатов выгодно отличалась от крикливых, жирных и вздорных нацистских дам их круга. Офицеры всячески старались ей угождать, и никому из них не приходило в голову, куда ходит эта прелестная девушка, «потомок магнатов», дважды в неделю, забрав с собой пестрый зонтик,

уличную сумку и книжку фюрера «Майн кампф», подаренную ей полковником с собственноручной надписью.

А она шла в окраинную слободку за рекой, входила в квартиру сапожника, помещавшуюся в беленой хатке, вынимала из сумки изящные туфельки со стоптанными каблуками, ставила их на верстак, заваленный сапожным хламом, и, убедившись, что никого нет, выплакивалась на груди бородатого старика «сапожника» слезами гнева, злости и омерзения. Тут, в чистенькой хатке, стоявшей на огородах, ее нервы, все время находившиеся в предельном напряжении, не выдерживали. Кокетливая глупенькая барышня, изящная безделушка, умевшая беззаботно развлекать грубых, самодовольных солдафонов, становилась самою собой — советской девушкой, гражданкой своего плененного, но не покорившегося города, искренней, честной, тоскующей и ненавидящей.

— ...Как мне тошно! Если бы вы знали, дядько Левко, как мне омерзительно жить среди них, слышать их хвастовство, улыбаться тем, кому хочется перегрызть горло, жать руку тому, кого следует расстрелять, нет, не расстрелять — повесить!

«Сапожник», старый большевик, работавший в подполье еще в гражданскую войну, как мог, успокаивал ее. Потом в задней каморке они составляли донесение обо всем, что она увидела и услышала. Пили чай из липового цвета с сахарином, ели холодец, соленые помидоры, простоквашу. В родной обстановке немножко отходила истосковавшаяся душа. А потом изящная девушка с пестрым зонтиком вновь поднималась в город, беззаботно напевая немецкую солдатскую песню о разудалой Лили Марлен, сопровождаемая ненавидящими взглядами голодных жителей. Эти ненавидящие взгляды, необходимость молча сносить оскорбления, всегда молчать, не смея даже намеком открыть всем этим людям, кто она, почему она здесь, за что она борется, было самым тяжелым в ее профессии.

У нее были крепкие нервы. Она отлично играла свою роль и приносила большую пользу. Но в конце концов нервы стали шалить. Все труднее становилось маневрировать, скрывать свои чувства. На явках она умоляла «сапожника» отозвать ее, дать ей отдохнуть, поручить любое другое задание. Как об отдыхе, она мечтала о боевой деятельности, о налетах на вражеские транспорты, поджогах складов, взрывах железнодорожных составов, о борьбе с оружием в руках, какую вели иные из тех, кто

остался вместе с ней. Но в эти дни в городе обосновался штаб большой группы войск, ее сведения были нужнее, чем когда бы то ни было, и «сапожник» строго и твердо направлял ее обратно.

Наконец штаб выехал. «Сапожник» сказал, что еще денек-два — и она сможет исчезнуть. Но тут ее квартирант, полковник, был произведен в генералы. Напившись по этому поводу, он вломился к ней ночью в комнату с бутылкой шампанского. Она влепила ему пощечину. Он только расхохотался, поцеловал ей руку и подставил другую щеку. Нет, эти чудесные маленькие ручки не могут оскорбить немецкого генерала! Да, да, он покорил шесть стран, он воюет теперь с седьмой! И она — его лучший приз за годы войны! Он предлагал ей руку и сердце.

Девушка пришла в ужас, ее трясло от омерзения. Генерал ползал за ней на коленях. Она попыталась убежать от него в другую комнату. Он вломился и туда. Он хрипел, что Советская власть агонизирует, что бои идут в Москве, что всем им здесь, на плодородной Украине, обещали богатые поместья, и она будет его женой, хо-хо, женой немецкого помещика. И все крестьяне, которые мнили себя господами жизни и что-то там такое болтали о социализме, будут их холопами, рабочим скотом на их земле... Пьяный фашист оскорблял ее народ, и девушка не выдержала. Воля изменила ей. Она выхватила у него из ножен кортик с фашистским орлом, распластанным на эфесе, и по самую рукоятку вогнала его в горло генерала...

Вся городская военная полиция, вся полевая жандармерия и специально вызванное подразделение из войск СС в течение месяца искали ее, перерыли каждую улицу, каждый дом, устраивали налеты, облавы. Но девушка скрылась: она благополучно перешла фронт.

Очутившись среди своих, она стала настойчиво и упорно учиться всему тому, что могло ей помочь в ее сложной и опасной работе для Родины.

След дочери профессора, убившей немецкого генерала, затерялся в большом украинском городе. А через некоторое время военный комендант Харькова взял в переводчицы красивую девушку Эрну Вейнер. Судьба фрейлейн Вейнер вызвала живое сочувствие коменданта, последнего потомка зачахшей ветви прибалтийских баронов, у которого, помимо общефашистских поводов, были и свои личные мотивы ненавидеть советский народ. Эрна Вейнер рассказала шефу, что она дочь немецкого колониста, жившего на Одесщине.

Отец ее владел садами, виноградниками, бахчами, держал летом сотни батраков, скупал через контору хлеб, имел мельницу. Но все это было у него безжалостно отобрано большевиками. После этого он влачил жалкое существование, но все же кое-что удалось ему спрятать, и на эти средства он дал своим детям образование. Потом за свои симпатии к новой Германии он был арестован. Человек прямой, он не умел и не хотел эти симпатии скрывать. Его расстреляли. Такова была ее новая легенда.

Фрейлейн Эрна, потерпевшая от большевиков, скоро стала главной переводчицей в комендатуре, а затем ее перевели к самому начальнику гарнизона.

Новый шеф, бригадефюрер войск СС, тоже сочувствовал бедной фрейлейн. Безукоризненный немецкий язык, умение петь старинные баварские песенки, особенно нравившиеся сентиментальным штабным офицерам, игра на рояле стяжали ей уйму поклонников. «Да, старый Иоганн Вейнер даже в этой непонятной стране сумел дать детям великолепное образование!» — удивлялись они. И когда иной раз обнаруживалась вдруг пропажа важных документов или им становилось ясно, что советское командование знает слишком много об их тайных намерениях, даже тень подозрений не ложилась на Эрну Вейнер.

Но какой ценой девушка вырывала для Родины эти фашистские тайны! Она присутствовала на самых секретных допросах. При ней палачи терзали осужденных на смерть советских людей, и она должна была переводить их предсмертные вопли, их проклятия, слушать от них оскорбления. Только любовь к Родине, любовь всеобъемлющая, безмерная, давала ей силы для этой работы. Но лишь связной, суровый воин, безвыходно сидевший со своей рацией в подвале разрушенного дома, человек, разбитый ревматизмом, которому она приносила свои сведения, слышал от нее жалобы. Бледный, как месяц в холодную ночь, еле передвигающийся, около года просидевший без солнца и воздуха, человек этот, как мог, утешал ее неуклюжим, грубоватым солдатским словом и сам служил ей примером преданности великому делу. Его спокойное мужество поддерживало девушку.

И вот за несколько недель до взятия Харькова Березу ждало последнее, самое тяжелое испытание. О нем она рассказала сама, сидя на завалинке в погожий августовский вечер.

— Вы знаете, конечно, как они нервничали, когда вой-

ска генерала Конева, прорвавшись у Белгорода, подходили к Харькову с востока. Боже, что там было! Муравейник, в который сунули головешку! Солдаты ничего. Но посмотрели бы вы на их заправил! Они, забыв о соблюдении внешних приличий, упаковывали картины, музейные редкости, мебель — все, что награбили и натащили к себе. Все это посылалось в Германию на глазах у собственных солдат. А слухи! Это был уже не штаб, а базар какой-то, на котором передавались слухи, один невероятнее другого... Особенно много ходило легенд о советской авиации. Говорили, что с Дальнего Востока перелетели какие-то новые огромные авиационные части. Десятки тысяч машин. Невиданные модели!.. Какое-то чудовищное вооружение. Офицеры бегали ночевать в подвалы. Даже мне было удивительно видеть, какой в трудную минуту оказалась малодушной, трусливой, мелкой эта штабная челядь с высокими знаниями. И я ликовала. Утром, приходя на работу, я говорила шефу плаксивым голосом: «Господин начальник, неужели так плохо?.. Этот генерал Конев, он, говорят, страшно жесток. Ведь они меня убьют!..» Я видела, как мой начальник бледнел. Но он еще петушился: «Что вы, фрейлейн, в Германии столько сил! Может быть, даже слишком много! Болезнь полнокровия...» Кончал же он тем, что принимался меня уверять, что при всех условиях я успею удрать в его автомобиле и не попаду в руки страшного генерала Конева...

И вот однажды ночью меня будят, вызывают к начальнику в кабинет. Он взволнован, сияет, будет важный допрос, от которого зависит его карьера. Ах, если бы вы знали, как все они там думают о своей карьере! У меня похолодело сердце: кого поймали? Я знала, что харьковские подпольщики, державшие оккупантов в постоянном страхе и напряжении, в те дни особенно активизировались, и боялась, что попался кто-нибудь из руководителей. Мой начальник возбужденно носился из угла в угол. В кабинете тем временем шла необычная подготовка, стол накрывался скатертью, расставляли на нем вино, фрукты, сласти. Мне становилось все тоскливее. Кто же, кто? Что значат такие необычные приготовления?

— Приехал какой-нибудь господин из армии? — спросила я как можно небрежнее, усаживаясь в углу, где я всегда сидела во время допросов.

— А, чепуха, стал бы я тратиться на этих чинодралов из армии! — ответил шеф.— Гораздо важнее, гораздо инте-

реснее! Наши сети принесли богатый улов. Сегодня прекратится проклятая неизвестность. Мы узнаем, какой сюрприз подготовили нам. Ого-го, это может спутать им все карты.

Я решила, что захвачен какой-то наш большой военный. Но, к моему удивлению, за стол сел не шеф, а его помощник, майор. Потом под конвоем часовых в комнату... внесли носилки. Их поставили у накрытого стола, солдаты с автоматами стали было у двери, но майор жестом выпроводил их. Того, кто лежал на носилках, мне не было видно. Между тем майор, напялив на свое лицо одну из самых сладких своих улыбок, попросил меня перевести «гостю», что он сам тоже летчик и рад приветствовать здесь своего доблестного коллегу, судя по отличиям, знаменитого русского аса. Когда было нужно, он мог притворяться приветливым, даже простодушным, этот майор, одна из самых омерзительных гадин, каких я только там видела. А я-то уж их повидала!

А на носилках лежал молодой, совсем молодой человек, в такой вот, как у вас, выгоревшей гимнастерке с тремя орденами Красного Знамени и еще какими-то знаками отличия. У него были авиационные погоны старшего лейтенанта. А его взгляд... простите, минуточку...

Девушка побледнела так, что лицо ее стало белее стены хаты. Она тяжело дышала, кусала губы, точно перебарывая в себе острую физическую боль. Потом встряхнула головой и пояснила:

— Не обращайте внимания. Нервы... Ноги у него были в гипсе, голова забинтована, но из этого марлевого тюрбана на меня вопросительно смотрели большие серые, такие правдивые и такие затравленные глаза.

— Фрейлейн, переведите, пожалуйста, коллеге, что кодекс воинской чести у нас неукоснительно соблюдается, что безоружный противник для нас уже не враг, что в новой Германии понятия мужества высоко ценятся, переведите, что в качестве, э-э-э, помощника начальника гарнизона и как летчик по профессии я буду рад выпить с ним бокал... э-э-э, нет, это будет не по-русски... чашу доброго вина.

Когда я переводила, серые глаза летчика остановились на моем лице. И столько в них было не ненависти, нет, не ненависти, а какого-то бесконечного презрения, гадливости, что слезы обиды, против воли, чуть не выступили у меня на глазах.

— Ничего я ему не скажу. Впрочем... пусть даст папиросу.

Летчик приподнялся на локте, взял сигарету и жадно

закурил. Онн оба молчалн, я слышала, как потрескнвает табак. Потом майор встал, щелкнул каблуками, назвал свое имя н учтнво заявнл, что желал бы знать, с кем нмеет честь...

— Пусть меня унесут,— ответнл летчнк н отвернулся. И сколько майор ни бился с иим, он лежал лнцом к стене н молчал. Я вндела, как майор иервничает, кусает губы, как он нграет желваками на лице. Я боялась, что он вот-вот сорвется, н тогда... я-то зиала, на что способен этот человек. Но сведення о нашей авнации, должно быть, былн нужны нм до зарезу, и он сдержался, ои приказал унестн пленного и даже пожелал ему доброй ночи. Но как только закрылась дверь, он разразился ругательствами, хватнл стакан коньяку н с совершенио нзмученным видом н блуждающнмн глазамн бессильно бросился иа днваи. Вошел начальннк. Меня отпустнлн и отвезлн домой...

В эту иочь я ие сомкиула глаз, хотя чувствовала себя совершенно разбитой. Этот летчнк, его глаза смотрели на меня, н в ушах звучал его звонкий, молодой н твердый голос. Утром я хотела отправиться на явку, чтобы предупредить, что захвачеи сбитый над городом советский ас, но не успела: к подъезду подкатила машина. Сам майор сндел за рулем.

— Нам приказано во что бы то ни стало выудить у иего все об авиацин. Есть даиные, что ои из этнх новых частей, только что прилетевших сюда с Дальнего Востока. Фрейлейн, вы, нменно вы должиы поговорить с этим проклятым большевиком. Говорите ему, что хотите, только вытащите нз него, что сумеете. В случае удачи, слово чести, вы заслужите Железиый крест.

Я иикогда еще ие видела этого спокойиого, хладиокровного карьернста-палача в таком волнеини. Ои так волиовался, что тут же проболтался о том, что в Харьков из ставки прилетел какой-то нх авнациониый геиерал, которому этн сведення нужны до зарезу. У меия не было выбора. Поговорнть с летчиком однн на однн было даже полезио для дела. Можно было предупредить его. Но я вспоминла этот его взгляд, и мне, прнвыкшей все время жить под угрозой смертн, было страшио, имеиио страшно войтн в его камеру. Вы представляете, кем я была в его глазах!

Но я заставила себя войти и, когда дверь захлопнулась за миой, подошла к нему. Со вчерашнего дия он еще более осунулся, похудел, глаза его раскрылись шире. Встретил он меня тем же презрительиым взглядом. Мне показалось, что

он даже как-то передернулся, когда я села на табурет возле его койки.

— Как вы себя чувствуете? Был ли у вас врач? — спросила я, чтобы как-то завязать разговор.

— У них ничего не вышло, теперь они натравливают на меня свою немецкую овчарку,— недобро усмехнулся он.

Я вспыхнула, слезы, должно быть, выступили у меня на глазах.

Голос у него был совсем тихий, он, видимо, очень ослаб за эту ночь, но он продолжал так же твердо и жестоко:

— Чего же краснеешь, продажные шкуры не должны краснеть!.. Вот погоди, попадешься ты к нам, там тебе пропишут.

Я едва сдержалась, чтобы не грохнуться тут перед ним на колени и не рассказать ему всего: так тяжело звучали в его устах эти оскорбления.

А он продолжал, все повышая голос:

— Думаешь, отступишь с немцами, убежишь от нас? Догоним! В самом Берлине сыщем! Никуда от нас не уйдешь, не скроешься!

И он захохотал. Нет, не нервно, у него, должно быть, вовсе не было нервов, он захохотал злорадно, торжествующе, как будто он не лежал весь забинтованный, умирающий во вражеском застенке, а победителем стоял в Берлине, верша суд и расправу.

И тогда я бросилась к нему н зашептала, позабыв всякую осторожность:

— Они ничего не знают. Они хотят узнать от вас о каких-то новых авиационных частях, прибывших с Дальнего Востока. Здесь страшная паника. Они боятся, смертельно боятся. Не говорите им ничего, ни слова. Особенно опасайтесь этого вчерашнего рыжего майора. Это ужасный человек.

Отпрянув от меня, он с удивлением слушал.

— Так,— сказал он и еще раз повторил: — Та-а-ак! — Глаза у него немного подобрели, но смотрели зорко и изучающе.— Та-ак, бывает...— Он усмехнулся, но уже не так зло и вдруг, подмигнув мне, закричал во весь голос: — Прочь, продажная шкура! Ничего я тебе не скажу, ни тебе, ни твоим хозяевам! Не добьетесь от меня ни слова!

Он долго кричал на всю тюрьму. Потом спроснл тнхо:

— Так вы...

Я кивнула головой. Я вся дрожала, зубы мон выбивалн дробь, и я боялась, что лишусь сознания.

— Ну, успокойся,— сказал он, переходя на «ты».— И говори честно: мне конец?

— Если ничего не скажете — расстреляют,— сказала я, и мы опять испытующе посмотрели друг на друга.

— Жаль, очень жаль, мало пожил, а как хочется жить!.. Ну, ступай, ступай отсюда.

— Не надо ли что передать туда? — спросила я, глазами указав на потолок.

— У тебя очень измученные глаза, я тебе почти верю,— ответил он.— Почти. И все-таки ничего я тебе не скажу, так лучше и тебе, и мне, прощай, девушка...— Он вздохнул и опять принялся громко ругать меня на всю тюрьму.

Меня душили слезы. Такой человек! Такой человек! И ничем ему не поможешь... Я выбежала из камеры. Майор нетерпеливо шагал по коридору. Он, вероятно, подслушивал нас, но по лицу я увидела, что он ничего не слышал, кроме этих ругательских слов. Я еле держалась на ногах. Майор, бледный от злости, играл скулами.

— Не плачьте, фрейлейн, вы на службе. Как только он перестанет быть нам нужным...— Он не договорил.

Я не помню, как вышла из тюрьмы...

Девушка вздохнула и замолчала. Должно быть, нервы ее были совсем расшатаны. Ее бил озноб, лицо передергивал нервный тик. Она долго молчала.

— Мне очень трудно рассказывать, но мне хочется, чтобы вся страна узнала, как ведут себя там советские люди. Ведь об этом вы только догадываетесь. Или придумываете. Я обязана досказать. Это мой долг. Ведь никто, кроме меня, не знает о последних часах этого человека.

После нашего разговора в тюрьме весь день я ходила в каком-то тумане. Призывала всю свою волю, все, что во мне было лучшего, чтобы сдержаться, не распуститься при них, при этих, и все-таки я не смогла и, когда заговорили о нем, разревелась. К счастью, майор уже рассказал шефу о нашем визите в тюрьму. Мои слезы они поняли по-своему, принялись утешать. А я слушала их и закрывалась руками, чтобы на них не смотреть. Я боялась, что не стерплю и сделаю какую-нибудь глупость, не словами, так взглядом расшифрую себя.

Но самое страшное ждало меня впереди. Вы, наверное, знаете о нашей работе? И обо мне? Я не новичок. Но это было для меня самое тяжелое испытание. Этот самый гене-

рал авиации, какой-то их «национальный герой», любимец Геринга, они там все перед ним на задних лапках ходили, решил сам допросить летчика. Это был высокий, самоуверенный человек с румяным, каким-то фарфоровым лицом и длинными бесцветными ресницами. Он сам пошел в тюрьму. Его сопровождал мой шеф, майор и я. Он сразу подошел к летчику, назвал ему свою довольно громкую фамилию и протянул ему руку. Тот отвернулся и ничего не ответил.

— Вы плохо ведете себя, молодой человек. Я генерал, герой двух войн. Закон чести повелевает военному отвечать на воинское приветствие старших.

Я перевела эту фразу. Вероятно, генерал был хороший актер. Все они там, кто трется на фашистской верхушке, умелые комедианты. Но он говорил с такой подкупающей доброжелательностью!

— Что вы понимаете о чести? — усмехнувшись, ответил летчик.

Я перевела. Генерала это не смутило. Он только на минуту нахмурился, но сейчас же спросил:

— Может быть, с вами дурно обращались? Почему вы так озлоблены? Вы недовольны уходом, медицинской помощью? Заявите мне, я сейчас же прикажу принять меры. Герой остается героем в любых обстоятельствах.

— Спросите, что ему нужно,— устало ответил летчик.

Он, видимо, очень страдал от ран, но не желал, чтобы враги заметили его страдания, и только пот, покрывший его лоб и лившийся струйками в бинты, показывал, каково ему.

Генерал начал терять терпение.

— Скажите ему, черт побери, что у него хороший выбор. Маленькая информация об авиационных частях, о которой все равно никто из его соотечественников не узнает, и тихая, спокойная жизнь до конца войны на одном из лучших европейских курортов — Ницца, Баден-Баден, Бад-Вильдунген, Карлсбад... Об упрямстве его тоже никто не узнает: могильные черви с одинаковым аппетитом жрут трупы героев и трусов.

Я перевела.

Летчик даже захохотал:

— Скажите генералу, что он, по-видимому, достойный выкормыш своего фюрера.

Не найдя в немецком языке слово «выкормыш», я перевела его как «воспитанник», и, к моему удивлению, этот самодовольный тупица неожиданно просиял. Он налился важностью и сказал: это так, лейтенант правильно заметил, он

действительно старается подражать фюреру. Он сказал, что теперь, несомненно, они найдут общий язык — два героя, два солдата. И он спросил: пусть господин лейтенант, который только что показал, что он куда разумнее других своих соотечественников, пусть он скажет, почему так безнадежно упрямы эти русские, почему, отступая, они сами жгут свои дома, почему за линией фронта не желают покоряться и продолжают борьбу, навлекая на себя вынужденные репрессии и заслуженные кары, почему предпочитают умирать, не раскрывая карт, хотя и дураку ясно, что война ими проиграна Почему?

Этот самодовольный болван, услышав от летчика, что он достойный ученик Гитлера, решил, что тот сказал ему комплимент и идет на уступки. Генерал расфилософствовался и явно рисовался перед моим шефом, перед майором, которых считал посрамленными.

Я сейчас же перевела летчику вопрос.

— Балда! — отчеканил.— Потому что мы — советские люди, не им чета.

Если бы вы видели его в эту минуту! Он приподнялся на локте, его брови, особенно черные от того, что они смотрели из рамки бинтов, нахмурились, глаза сверкали.

Генерал взбесился. Он вскочил, скверно выругался и произнес поговорку, соответствующую примерно нашей: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Он сказал, что лейтенант — глупое, тупое животное, что он черной неблагодарностью платит за такое рыцарское обращение, за такой уход.

— Я думал, что этот уход полагается по международному соглашению об уходе за ранеными,— ответил лейтенант.

— Соглашение! Ха-ха, станем мы тратить немецкие бинты на русских свиней, от которых не имеем ничего, кроме вони!

Генерал кричал, топал ногами. Мой шеф, понимая, что это лишает их последней надежды хоть что-нибудь выудить, почтительно и настойчиво пытался его удерживать. Но где тут!

Когда я перевела фразу генерала, раненый летчик приподнялся на носилках, кулаками разбил гипс на ногах и стал срывать с головы, с шеи марлевые повязки. На лицо ему хлынула кровь.

— Не надо мне фашистского милосердия! — бормотал он.

— Грязные фанатики, варвары, страна северных папуасов! — кричал генерал.

И вдруг, это было мгновенно, он отшатнулся, зажнмая лнцо,— лейтенаит плюнул ему в глаза кровавой слюиой.

Онн все трое иабросились на него и стали бнть по чему попало. Раненый, рыча, отбивался, ои был еще крепок, ярость удесятернла его снлы. Сидя на носилках, весь залнтый кровью, ои хлестал их по лицам, и оии иикак не моглн схватнть его...

Я стояла тут, рядом. Вы поинмаете, я вндела, как этн зверн терзают этого гордого человека, самого лучшего из людей, какнх я встречала за свою жизнь. Всем существом моим рвалась я броситься ему иа помощь, н еслн не помочь, то хоть умереть вместе с ним! Я не боялась смертн. Нет! Но я была на посту н знала, что теперь, накаиуне иашего иаступлення, моя работа здесь особенио нужиа и я ие имею права выдать себя. Выдать себя, погнбиуть, защнщая его, было бы для меня нзменой Родиие, ударом по нашему делу. Что бы нн произошло, иужио было, чтобы информация поступала, чтобы вы тут, в армии, зиали, что готовят против вас, что замышляют иаши противиики.

И я совершила в этот день свой единственный подвнг. Я даже ие вскрикиула, я сндела, вцепившнсь в кресло так, что иогти у меия потом посииелн, и старалась запомнить все. На моих глазах онн забили его до смертн. Этот не знакомый мие чудесиый человек погиб, отбиваясь. Вся камера была забрызгаиа его кровью. Но, как мне кажется, н я в этот страшиый час оказалась достойной его, я ие выдала себя. И как мие потом ни было трудио, я продолжала свое дело до того дия и часа, пока вы не взялн Харьков...

Она вся тряслась, эта девушка с нежной внешностью, с нервами закалеииого бойца, с волей старого солдата.

— Я даже ие знаю его нмеии, и теперь не зиаю, хотя ннкогда не забуду его. Ои всегда будет передо миой, такой снльиый, мужествеиный, прекрасиый!..

И вдруг, закрыв лицо руками, она зарыдала, вся сотрясаясь и трепеща, как молодая березка в яростиых порывах осеннего ветра. Высокая прическа ее рассыпалась, шпилькн попадалн на землю, каштаиовые волнистые волосы раскатнлись по грубому сукну шннели, и среди них стала видиа одна широкая, совершенио седая прядь.

Потом как-то сразу успокоилась. Лицо, мокрое от слез, стало твердым, даже жестким. Она вытерла глаза, собрала и заколола волосы, спрятав седую прядь.

— Извините — нервы... Ничего не поделаешь, придется отдыхать... Мне дают отпуск. Съезжу к родителям в Ташкент. На целых две недели.

— А потом?

— Опять туда, к ним, ведь война не кончилась.

Тонкое лицо ее снова стало суровым, замкнутым и сразу как-то состарилось лет на десять.

— Туда? После таких испытаний?

— Он сказал тогда: «Мы — советские люди». В этой фразе — весь он. И я запомнила. Наверное, на всю жизнь...

1943

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Рассказ

Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь,— мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный,— колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка,— бог войны. Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный: первое — он себя уважал. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете и за границей побываешь, но русским званием — гордись...»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Лю-

бовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных...» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий,— любовь — это когда в тебе все кипит, человек ходит вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть... Егор Дремов, должно быть, стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте,— очень, мол, хорошая девушка, и уже если сказала, что будет ждать,— дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге...

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

— ...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед, кричит, полный газ!..» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок — брызги! Как даст еще в башню — он и хобот задрал... Как даст в третий — у тигра изо всех щелей повалил дым,— пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасный люк... Ванька Лапшин из пулемета повел,— они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А — грязно, понимаешь, другой выскочит без сапог и в одних носках — порск! Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну двинь по сараю». Пушку мы отвернули на полном газу, я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще и проутюжил, остальные руки вверх — и «Гитлер капут...»

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время курского побоища, когда немцы уже поистекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта,— он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню от-

швырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его поволок? — рассказывал Чувилев.— Слышу: сердце у него стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже,— сказал он,— с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк».— «Но вы же инвалид»,— сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья, поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавль покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать,— при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку — и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испу-

гать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльцо, постучал. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам будто в первый раз услышал свой голос, изменившийся после всех операций,— хриплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.

— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки.

— Жив Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола, на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу, и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и кратко — о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебила она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.

— Да конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы Бороду у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку,— ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивал, потому что и без этого было понятно, зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться,— встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом, и обидно.

— Ну, что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя.— Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке,— они там и лежали,— и

стоял чайник с отбитым носиком,— он там и стоял,— где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином,— всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал,— ответил Егор Егорович,— через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск,— к нам съездить на побывку. Три года его не видали, чай, взрослый стал, с усами ходит... Эдак — каждый день — около смерти, и чай, и голос у него стал грубый?

— Да вот приедет — может, и не узнаете,— сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не признала, думал, неужто не признала? Мама, мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи: на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинки пшенные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и босой сел на лавку.

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на ще-

ках радостный румяиец. Когда откннула с головы на широкне плечи вязаный платок, лейтеиант даже застонал про себя: поцеловать бы этн теплые, светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга,— свежа, нежна, весела, добра, краснва так, что вошла, и вся нзба стала золотая...

— Вы привезли поклои от Егора? (Ои стоял спнной к свету и только иагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и иочь, так ему н скажнте...

Она подошла блнзко к иему. Взглянула, н будто ее слегка ударнлн в грудь, откннулась, испугалась. Тогда ои твердо решил уйти — сегодия же.

Мать иапекла пшеиивых блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтеианте Дремове, на этот раз о его воинскнх подвнгах, рассказывал жестоко н не подиимал глаз на Катю, чтобы ие видеть на ее мнлом лице отражения своего уродства. Егор Егоровнч захлопотал, чтобы достать колхозную лошадь, но он ушел на стаицию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладоиями себе в лицо, повторяя снплым голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополиеиии. Боевые товарищи встретилн его такой искреиней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ии есть, ин дышать. Решил так: пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати,— эту заиозу он нз сердца вырвет.

Неделн через две пришло от матерн письмо:

«Здравствуй, сынок мой иеиаглядиый. Боюсь тебе н писать, ие знаю, что бы думать. Был у нас однн человек от тебя,— человек очеиь хороший, только лицом дуриой. Хотел пожнть, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сыиок, ие сплю ночн — кажется мие, что приезжал ты, Егор Егорович браннт меня за это — совсем, говорит, ты, старуха, свнхнулась с ума: был бы он наш сын, разве бы он ие открылся... Чего ему скрываться, еслн это был бы он,— таким лицом, как у этого, кто к нам прнезжал, гордиться нужио. Уговорнт меня Егор Егоровнч, а материнское сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печн, я шннель его вынесла на двор — почнстить, да припаду к ней, да заплачу,— он это, его это!.. Егорушка, напншн мие, Хрнста радн, надоумь ты меня, что было. Илн уж вправду — с ума я свнхнулась».

Егор Дремов показал это пнсьмо мне, Ивану Судареву, н, рассказывая свою нсторню, вытер глаза рукавом. Я ему:

«Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее — на четырех страницах мелким почерком,— он бы и на двадцати страницах написал, было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне — прибегает солдат к Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу, он не в себе,— все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу: «Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я не видал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, а я уже помнил, что всем богатырским сложением это был бог войны. «Катя! — говорит он.— Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает, а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить, верно очень буду любить... Не отсылайте меня...»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.

1944

БОРИС ГАЛИН

СОЛДАТСКАЯ ДУМА

Рассказ

Савушкин хорошо знал: в бою всякое бывает. Сегодня ты сдружился с человеком, а завтра, гляди, придется, быть может, сказать: «Прости-прощай»... Гибель старшего лейтенанта Онищенко Савушкин переживал особенно тяжело. В нем точно что-то на сердце обрушилось, он затосковал, нахохлился и весь ушел в себя. Это бросилось всем в глаза — маленькое и дружное солдатское братство привыкло видеть Савушкина веселым, изворотливым, редко когда унывающим. Даже в самые опасные, казавшиеся последними минуты боевой страды — так было под Гизельдоном — он сохранял в себе какой-то неприкосновенный запас моральных сил и делился с товарищами не только сухариком или глотком воды из фляжки, но еще и бодрым, веселым словцом, которое мог сказать только он, Савушкин...

Во взводе знали: где опасно, туда шел Савушкин и его маленькое братство. Он все познал: трижды раненный, он до дна испил горькую чашу отступления. Шахтерская душа его, над которой так велика была власть донбасской степи, тянулась к родным местам. Пожилой, низенький шахтер-проходчик, ловкий и круглый, он был признанным главой в своем солдатском братстве. Даже Кащук, степенный, молчаливый человек с пышными усами, которого во взводе величали по имени-отчеству — Василием Ивановичем,— и тот во всем покорялся Савушкину. А что касается худенького, с острым лицом армянина Мкртыча (Савушкин окрестил его Максимычем) и Антона Лихидько из Червоной Яруги, то они с какой-то суровой и трогательной нежностью любили бывалого шахтера и крепко верили: с Савушкиным никогда не пропадешь!

Четверо друзей с Савушкиным во главе прошли суровые боевые испытания — от тяжкой обороны на Тереке до первых проблесков наступления на Кубани. Все четверо «спе-

лись соловьями», держались друг за дружку, стояли друг за дружку.

Лихидько, флегматичный и добродушный великан, который говорил о себе с ленивой усмешкой: «Антон, як схоче, то на гору скоче»,— действительно мог бы по одному знаку Савушкина сделать все, что тот прикажет.

Разведчик, а в прошлом колхозный бригадир, он и на войну смотрел, как на работу,— очень тяжелую, но крайне нужную.

Было однажды так... Знакомство Савушкина с Лихидько состоялось в сорок первом, в бою под Запорожьем. Лихидько, громадный детина, с широкими плечами и грудью, шел напролом, подвергая опасности и себя и ту группу бойцов, которую вел Савушкин. Пришлось Савушкину прикрикнуть на него и на ходу обучать его тактике уличного боя — хитрить, ловчить, прижиматься к земле, делать короткие быстрые перебежки, глядеть в оба и там, где немец,— туда и стрелять залпом. Дом, которым овладели немцы, стоял на перекрестке. Подступы к нему простреливались из крупнокалиберного пулемета. Трудно было взять эту огневую точку в бою, и осмотрительный Савушкин оставил Лихидько с ручным пулеметом сторожить дом с немцами, а сам с группой бойцов стал обходить его, чтобы ударить с тыла. Замешкался Савушкин, долго пробивал себе дорогу, как вдруг кто-то тронул его за плечо. Потный сияющий Антон Лихидько сказал деловито, словно обращался к колхозному бригадиру:

— Вже зробыв.

— Шо зробыв? — Савушкин бешеными глазами окинул широко ухмыляющегося Лихидько: как он смел покинуть свой пост...

— Ту хатку я порушыв,— с ленцой, гулким баском проговорил Лихидько.— Забросав гранатами... Фашистов поубивав и пулеметы ихние пораскидав... Шо дали?

Он сказал это таким тоном, каким, бывало, говорил у себя, в Червоной Яруге, в колхозном правлении, когда весной приходил с поля с черными от земли руками.

Воевал он вот уже третий год, дважды был ранен. Но по-прежнему, получив боевое задание, любил поразмыслить, прикинуть, что и как, а подумавши, деловито говорил: «Зроблю!» — и спрашивал своего приятеля Савушкина: «Шо, Ваня, зробымо?» В полку о Лихидько с уважением отзывались: «Цей дядько зробыть». Так говорят о мастере, искусно ведущем свое дело.

Они долго ждали этого часа — часа возвращения в край родной. На заре или глубокой ночью они вдвоем входили в хутора и села — два разведчика: большой, грубо скроенный Антон Лихидько и маленький, коренастый проходчик, шагавший вразвалку. Народ, истомившийся по своим, встречал их ласково.

Когда за первым хутором пошли большие станицы, двух солдат еще сильнее потянуло вперед. Одного к Донбассу, в Ровеньки, другого к Червоной Яруге. Теперь они не знали покоя, искали опасности. «Блыжче до дому!» Лиходько не говорил: «До хаты, до жинки». Это было его самое больное место, которого он не касался. И только однажды, в бою, перебрасывая свое тело через бруствер, он спросил хриплым шепотом:

— Де мои диты, де воны теперь?

Только старые солдаты знали причину его молчания и даже некоторой отчужденности. Осенью первого года войны, когда полки, отступая, проходили через Червоную Ястругу, в которой до этого уже похозяйничали немцы, Лихидько бросился к хате близ ставка, к хатенке с камышовой крышей. Сколько горестей и радостей, сколько доброго веселья было связано с ней... Хата стояла полуразвалившейся, пустой, сиротливой. И жены не было: она куда-то укрылась. И детей не было — говорят, их угнали в Германию: старшую — Тосю и младшую — Маню. Он поднялся на крыльцо, потом круто повернулся и, нащупывая ступеньки, сошел медленно, точно слепой. Осипшим, чужим голосом он сказал:

— Зруйнували!

С того дня Лихидько стал угрюмым, молчаливым. Единственной отрадой в его жизни была маленькая итальянская губная гармоника, с которой он никогда не расставался. Когда тоска сжимала его сердце, он уходил в сторонку и тихонько наигрывал старые песенки, обрывки мелодий, тянувшихся из далекого детства.

Вот какое это было солдатское братство, в котором жил неписаный закон — все за одного, один за всех. И вдруг приуныл Савушкин, затосковал, тяжко переживая гибель Онищенко, по званию — старшего лейтенанта, а по душевной должности — комиссара.

Лихидько раздобыл у соседей-батарейцев котелок рису, разжился у старшины черносливом и сварил роскошный, духовитый, вкусно пахнувший кулеш. Ставя наземь дымящийся котелок, он пригласил Савушкина отведать

кулеша. Савушкин вынул из-за голенища ложку в розовых узорах и, чтобы не обидеть друга, молча отведал.

— Душа не принимает,— сказал он, решительно кладя ложку в сторону.

Василий Иванович и Антон Лихидько были изумлены таким оборотом: каша важная, духовитая, и притом ведь сам Савушкин учил их, что харч — это главное в солдатской жизни, главное как в обороне, так и в наступлении. Они пошептались между собой и решили развеселить, развеять мрачные мысли Савушкина. Лихидько вынул из-под подкладки шапки засаленную колоду карт и предложил сыграть в хорошую солдатскую игру, в «короля». Они сделали все возможное. Василий Иванович и Лихидько, чтобы Савушкин выходил чистым королем. Приказывая раздать карты, Савушкин говорил, как должен говорить в таких случаях король:

— Чин по чинам, карты по рукам...

Но сколько ни старались его друзья, Савушкин оставался угрюмым, играл без обычного азарта. Тогда Лихидько решил подарить ему свою губную гармонику. Это была чудесная гармоника с медными инкрустациями. Лихидько щедрым жестом протянул ее Савушкину. Но Савушкин только головой покачал. Лихидько переглянулся с Василием Ивановичем: затосковал наш орел... Лихидько присел на корточки и, прислонясь могучей спиной к земляной стенке, поднес гармонику к губам — и она заговорила в веселом, быстром темпе: «Мя-тел-ки вязали, в Москву отправляли... в Москву, в Москву, в Москву отправляли...»

Василий Иванович поощрительно кивнул головой: «Играй, Антон, играй!» Но песенка эта отозвалась в душе Савушкина острой болью: Онищенко любил ее, эту песню... Савушкин порывисто встал и, согнувшись, вышел из шалаша. Ему хотелось побыть одному — одному со своими думами, со своей острой, щемящей тоской.

Все шесть дней на фронте шел дождь, низко нависали хмурые тучи, дул резкий, холодный ветер. А на утро седьмого апреля разом потеплело, небо прояснилось. И все живое, что зарылось в землю от артиллерийского огня, от бомб и мин, выбралось на свет божий обсушиться и обогреться. Огонь продолжал бушевать, но люди, пренебрегая опасностью, обрадовались солнцу и светлому апрельскому небу. С крутого холма Савушкин видел плавни —

над ними колыхалось голубое марево. Воздух, теплый и звонкий, разливался вокруг, и острые весенние запахи бродили над черной землей, раскрытой солнцу и ветру.

Весна в этом году выдалась ранняя, дружная. Ночью — заморозки, а утром, едва выглянет солнце, земля отходит, пробуждается. Степной воздух горячит кровь, прогоняет усталость.

Да, теперь можно прямо в глаза смотреть народу. Солдатское сердце Савушкина вобрало в себя много горя — своего и чужого. Казалось, что оно окаменело. Но когда в станице Рязанской он увидел яму с людьми, которых замучили фашисты, увидел старуху, которая последним, страшным объятием обняла своего внука, закрыв ему широкой крестьянской рукой глаза,— душа Савушкина содрогнулась. Он обнажил голову, и слезы, скупые солдатские слезы, сбегали по его усталому, обветренному лицу.

Савушкин задумался; он вдруг увидел себя в бою, в страхе прижавшегося к земле, искавшего в ней спасения. И Онищенко он увидел, дорогого товарища своего. Они лежали близко друг от друга: Савушкин, Кондаков, Паламарчук, Степанов и Выпряжкин. Все они были крестниками старшего лейтенанта Онищенко: он вовлек их в партию, он дал им рекомендации, и он повел их в свой последний бой. Требовалось проскочить зону огня и атаковать бугорок земли, изрыгавший смерть. Дзот на бугорке служил центром всей огневой системы вражеского сопротивления. Кто-то должен был это сделать, хотя бы ценой своей собственной жизни. И Онищенко позвал своих крестников: «Пошли, ребятки!..» После боя их нашли у дзота, которым они овладели,— впереди лежал, раскинув руки, с простреленной грудью, Онищенко, боком к нему приткнулся Африкан Кондаков, а за ним Паламарчук и Степанов — вся парторганизация. Савушкин чудом уцелел, хотя шансы на смерть у всех были одинаковые...

— ...Или занемог? — почтительно спросил подошедший Василий Иванович.

— Душа болит,— тихо отозвался Савушкин, рассеянным взглядом всматриваясь в голубое марево, густевшее по краям.— Горе мое партийное,— заговорил он, как бы продолжая свою мысль.— Все полегли: Онищенко, Кондаков... Один я, как перст, остался.

«А мы?» — хотел сказать Василий Иванович, но промолчал и сказал другое:

— Скоро, наверно, будем выступать.

Савушкин встрепенулся. Как ни горько ему было переживать гибель Онищенко, но еще тяжелее и горше было думать о том, что он остался один коммунист во всей роте. Смерти Савушкин не боялся. Он не искал ее. Но хорошо знал: смерть, если захочет, причину найдет. По старой шахтерской привычке, он, чтобы не накликать смерть, избегал произносить это слово, а говорил по-шахтерски: «Прибило обвалом». Вот и его могло в бою «прибить обвалом», и тогда ни одного коммуниста не осталось бы в роте.

Он сидел дотемна на старом мшистом камне. Ветер, весенний и буйный, носился над черной, обугленной землей. И досталось же ей, этой бедной, искалеченной земле... Бомбами, минами, снарядами калечили ее, сжигая все живое. Но сколько же в ней было силы, в этой исстрадавшейся, истерзанной земле, силы, которая толкала молодую травку вверх, к солнцу!.. «Вот так и наше партийное дело,— думал Савушкин.— Ничто не в силах убить волю к жизни ни у этой травинки, пробившейся наперекор всему к свету, ни у человека: «Живые продолжают дело погибших».

Савушкина послали с пакетом в штаб полка. Он сдал пакет и, улучив момент, доверительно, шепотом, поведал замполиту, капитану Бирюкову, свою солдатскую думу. Замполита Савушкин уважал: капитан хотя и не был шахтером, но был моряком, а моряк стоит шахтера. Он, правда, боялся, что капитан высмеет его. Но Бирюков всерьез отнесся к его словам. «Добро, добро»,— говорил Бирюков изредка, давая понять, что он всецело разделяет думу, тревожившую Савушкина.

Бирюков был в черной морской шинели. Надетой внакидку, он слушал Савушкина, чуть склонив голову и широко расставив ноги, обутые в грубые флотские сапоги с короткими голенищами. Он раскурил короткую трубку и глубоко затянулся. Вспыхнувший в трубке огонек на миг осветил лицо капитана. Шрам пересекал правую щеку: старый, зарубцевавшийся след минного осколка.

Бирюкова тянуло к Савушкину, этому живому, хитрому и веселому солдату. Орел — так, кажется, прозвали его бойцы.

— Ты вот, Савушкин, остро ощутил эту потерю в бою под Абинской,— сказал Бирюков,— почувствовал, когда погиб Онищенко, а с ним полегла почти вся партий-

ная организация. А я, дорогой мой, после каждого боя тревогу испытываю: где нам взять вожаков-коммунистов...

Он спросил Савушкина: «Остались ли в вашем взводе старые бойцы?» Савушкин ответил: «Да, остались» — и назвал свое братство: Василия Ивановича, Антона Лихидько и Максимыча. Бирюков оживился: «О, да ты богач, смотри, какой у тебя фонд...»

Он напомнил Савушкину:

— Ведь и мы, друг-шахтер, были с тобой когда-то беспартийными.— Потом стал размышлять вслух:

— Кого же я к тебе пошлю во взвод? Полкового пропагандиста Сидорова вчера ранило... Ну, а Махонькова лучше не посылать, все дело испортит: начнет «увязывать», о главном забудет. Душевности у него в обрез...

Бирюков притянул к себе солдата.

— Орел,— сказал он раздельно, и Савушкин смутился: эка гуляет его солдатское прозвище! — Орел, ты ведь сам замечательный агитатор. Я, брат, видел, как ты третьего дня поднимал людей в атаку...

— Матерком я их подымал,— сердито сказал Савушкин, и его светлые, под выцветшими бровями глазки сверкнули хитрой улыбкой...— Строгостью, товарищ капитан. А тут требуется особое слово.

Он сконфузился и, глянув по сторонам, шепотком ответил:

— Разрешите доложить: я не агитатор, а ругатель. Право слово, ругатель. Несдержанный я на слова... Где бы сказать теплое слово...

— И помогает? — тоже шепотом спросил Бирюков.

— Бывает, что помогает,— сказал Савушкин таким тоном, точно сам удивлялся, как это такое простое средство отлично действует на его товарищей. И, как бы оправдываясь, он проговорил: — Мне бы грамоту, я бы тогда такие слова нашел...

— Савушкин,— решительно сказал Бирюков,— действуй, Савушкин, как душа тебе подсказывает... Помни, ты у меня во взводе вроде партийного корня: сегодня — один, а завтра, глядишь, пойдут новые ростки... Неумирающие...

Савушкин попросил у капитана подходящей литературы.

— В третьем эшелоне вся литература,— ответил Бирюков и вздохнул: — С подвозом худо... Раскисло все. Весна!

Когда Савушкин вошел в шалаш, друзья увидели, что ожил солдат и что-то задумал... Он собрал все свое богатство, но, когда в шалаш набились и другие бойцы, Савушкин оробел. Он спросил себя: «Что бы сделал в таком случае Онищенко?» Подумав, он уверенно сказал:

— По поручению партийной организации общее большевистское собрание с присутствием беспартийных считаю открытым...

Это было не по уставу. Но в жизни многое происходит не по уставу.

Савушкин беседовал со своим братством о партии, о людях неумирающего корня. И слова эти — люди неумирающего корня — отвечали его думам: да, таким был Онищенко, такими будем мы с вами, товарищи мои дорогие... Максимыч слушал его, подогнув под сeбя ноги. Все лицо его, острое и смуглое, особенно большие черные глаза, выражало внимание и волнение. Василий Иванович сидел рядом с Лихидько, откинув голову, и глядел куда-то в даль. Он расправил усы и сказал Савушкину о своем желании, продуманном и решенном: пойти в бой коммунистом.

— Одобряю,— сказал Савушкин.

И Лихидько сказал, глядя на Савушкина:

— Куда иголка, туда и нитка.

Он спросил Савушкина, даст ли Ваня ему рекомендацию в партию.

— С превеликим удовольствием,— ответил Савушкин.

Максимыч, оглядывая всех блестящими глазами, сказал быстро, задыхаясь:

— Мечтаю...

А трем новеньким бойцам, которые пожелали вступить в партию, Савушкин прямо сказал, что надо им сперва в бою выявить себя.

Потом они долго сидели вдвоем — Савушкин и Лихидько. Пахло первыми весенними запахами — грустно-тревожными, зовущими куда-то далеко-далеко. У ног солдат потрескивал костер, и сизый вьющийся дымок уносило к кубанским звездам.

Бойцы тихо беседовали. Лихидько вспомнил погибшего в бою водителя Дуброву: умирая, Дуброва попросил ребят спустить воду из радиатора, а то замерзнет. Потом Савушкин и Лихидько стали обсуждать перспективы нашего наступления.

Перед ними раскинулась степь, дымившаяся в лучах по-весеннему жаркого солнца. Савушкин расстегнул крючки

солдатской шинели и жадно всей грудью вбирал в себя запахи чернозема, курлыканье птиц, пролетавших высоко, в голубом поднебесье.

— Когда же будем брать Лебяжий? — осторожно спросил Лихидько.

Савушкин искоса взглянул на дружка и засмеялся.

— Бери,— сказал он.— Бери, раз уж есть охота. Только уговор...— он вспомнил, что говорил ему Бирюков.— Не выталкивать, а уничтожать!

У соседей-артиллеристов пели. Савушкин узнал голос Лаврика Чеботарева, разведчика. Лаврик запевал, а другие певцы с присвистом подхватывали: «Ах вы, кони мои вороные, черны вороны, кони мои...» Песня мешала Лихидько думать о чем-то своем. Он поднял голову и с досадой сказал:

— Ишь разбушевались.

— Где поется, там и счастливится,— сказал Савушкин и вполголоса подтянул певцам.

Высоко в темном небе блестели звезды, когда взвод вошел в камыши. Кусты, вода, трава — все было облито лунным светом, которым дробился и вздрагивал от теплого ветра. Свыше трех часов взвод пробирался по хлюпающему болоту, ориентируясь по звездам. Когда вышли к хуторку, командир приказал сделать короткий привал.

Светлой ночью Савушкин и Лихидько лежали в секрете — узком окопчике, сверху обложенном травой.

Антон смотрел, до боли в глазах смотрел на залитые лунным светом хатки, на узкую тень явора, и что-то вдруг разом обожгло его огрубевшее на войне сердце. Он тяжело вздохнул.

— Ты чего? — удивился второй солдат.

— Червона Яруга...— пробормотал Лихидько.

Он не спускал глаз с маленького хуторка с ветряком. Это была пядь родной земли, еще одна пядь, взятая с бою, отвоеванная кровью и потом. Большими запавшими глазами Антон Лихидько медленно окинул хатки, ветряк, серебристый явор, вытянувшийся к небу.

Савушкин, мокрый и грязный, лежал рядом с ним на сырой земле. Вспомнился Савушкину Онищенко, вспомнилось, как тот, бывало, говорил: «Личным примером...»

Оба солдата тяжело дышали от усталости, оба были потные и грязные. Лихидько наклонился к своему дружку и шепнул:

— Все блыжче до дому! Пишлы, Ваня, робыть...

Запекшимися губами он прикоснулся к гармонике, и веселый подмывающий мотив перекрыл гул боя: «Мятелки вязали, в Москву отправляли...»

— Швыдче, орелики, швыдче! — крикнул Савушкин высоким, сильным голосом. И все его крестники, весь взвод рванулся вслед за маленьким, приземистым политбойцом, за этим проходчиком, который, даже если ему и погибнуть придется, все равно уже пустил цепкие корни на этой многострадальной земле.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ

ВНИМАНИЕ, МИНЫ!

Рассказ

Похоронили Вальку Тихвинского, оставили в долине маленький холодный курганчик и, сумрачные, подавленные неожиданно посетившей нас бедой, вернулись в домик, одиноко стоявший неподалеку от дороги, на которой смутно чернел подорвавшийся на мине редакционный ЗИС.

В домике свободно разместилось все наше хозяйство.

— Ну, что же мы теперь будем делать? — спросил я всех сразу (редактор при взрыве мины был немного контужен и находился в медсанбате) и уточнил невеселую ситуацию: грузовик погиб, шрифты рассыпались, разлетелись в грязь. Следовательно, дивизионка отныне прекращает свое существование на неопределенный срок...

В недалеком прошлом политрук и командир роты, волею случая сделавшийся исполняющим обязанности редактора дивизионной газеты, я привык к коротким и точным формулировкам. Нарисовав несколькими словами весьма нерадостную картину, я выжидательно примолк, глядя по очереди на всех своих сподвижников. Сначала, разумеется, на старшего лейтенанта (он уже вырос в звании) Андрея Дубицкого — секретаря газеты, которого для солидности я иногда называл начальником штаба нашего откровенно небоевого подразделения. Потомок сибирских казаков, с темным кучерявым чубом, нередко хваставшийся своей родословной, Андрей не отличался ни особой удалью, ни вообще широтой своей натуры. Бережливый и скуповатый, он ревностно охранял свои личные вещицы: школьный пенал, в котором хранил карандаши и скальпель для резьбы на линолеуме (Андрей был и художником), котелок, кружку и ложку. Ложка у него всегда покоилась за широким кирзовым голенищем сапога, откуда он извлекал ее при виде приближавшегося Лаврентия Еремина, снабжавшего нас едой из ахэчевского котла. Лишь в эти минуты Дубицкий

прогонял со своего усатого бледного лица меланхолию и с лукавым торжеством взглядывал на Юрку Кузеса, который, как известно, никогда не имел ни своего котелка, ни своей ложки и вообще ничего своего. За такую беспечность Андрей прямо-таки презирал Юрку, и, наверное, несчастный Кузес умер бы с голоду, если б его не выручал Лавра. Он торопливо облизывал свою ложку и передавал ее Кузесу. Тот благодарно ласкал Лавру своими черными, глубокими, прекрасными глазами.

Сейчас лицо Дубицкого, худенькое, бледное, ничего не выражало, кроме бесконечной безнадежности. Кузес же смотрел на меня по-детски невинными, ясными очами и только мигал длинными темными ресницами. С его круглого лица не сходил свежий жаркий юношеский румянец. Но было совершенно очевидно, что на поставленный мною роковой вопрос сказать ему решительно нечего, так же, впрочем, как и Дубицкому.

Следующим был наборщик, он же начальник типографии, сержант Макогон, светловолосый парень с большими, навыкате, зелеными, малость нагловатыми глазами. Он как специалист лишь авторитетно удостоверил то, что для всех нас и без того было ясно:

— Шрифты погибли. Газету выпускать нельзя.

Второй наборщик, Миша Михайлов, тихий и молчаливый, отвернулся к окну, будто что-то там вдруг узрел очень важное и интересное. Печатник Иван Обухов сидел с полуоткрытым ртом, обнажив редкие, торчащие вкривь и вкось, изъеденные свинцовой пылью зубы. По одному его сиротливому виду нетрудно было понять, что и он не приготовил для нас спасительного ответа на мучительный вопрос: «Что же делать?»

Оставался Лавра. Мне очень хотелось бы послушать Еремина, но его в домике не оказалось: копошился возле подорвавшейся машины, взятой им на время в автороте (наша собственная полуторка, благополучно дотащившая нас из России в Венгрию, находилась в ремонте).

Пришлось отправиться к начальнику политотдела дивизии полковнику Денисову и просить, чтобы он затребовал новые шрифты в политотделе армии или в политуправлении фронта. Денисова все мы любили, но и побаивались — от него нам частенько влетало. Соврем малость в газете либо преувеличим что по извечной журналистской слабости — он вызовет сразу всех, выстроит в ряд и долго «изу-

чает» каждого хитрыми, с прищуром, насмешливыми глазами. А потом скажет:

— Ну, агентство «Гавас», опять заврались? Что же прикажете делать с вами?

Мы отлично знали, что ничего худого начподив с нами не сделает, но было очень стыдно.

Политотдел дивизии находился в небольшом венгерском городе, и ночью я не скоро отыскал его. Полковник Денисов зачитывал очередное политдонесение, составленное инструктором Новиковым. Тут же стоял с красной папкой под мышкой и сам инструктор.

— Послушай, Новиков. Откуда это ты все взял? Воронцова я еще неделю тому назад командировал в поарм[1], а ты расписываешь его дела в полку. Разукрасил, как владимирский богомаз... Вычеркни это! Мы и так избаловали Воронцова... А о наших погорельцах сообщил?..

«Погорельцы» — это, конечно, мы, и я насторожился, притих, благо, занятые своим делом, ни Денисов, ни Новиков не заметили моего появления.

Полковник между тем продолжал:

— Напиши, что газета выйдет не раньше чем через неделю...

— Она никогда не выйдет! — заорал я.— Вы знаете, что все шрифты погибли, товарищ полковник?

Денисов обернулся.

— Ах, ты уже здесь. Ну что же ты орешь? Давай докладывай. И долго вы искали эту мину? Это же ведь надо уметь. Сотни машин прошли раньше вас по этой дороге — и ничего. Только вы... Ну да ладно. Рассказывай...

Я рассказал, закончив тем, что газета не может выйти ни через неделю, ни через две недели, ни через месяц, ни через год и вообще никогда не выйдет, ежели нам не дадут шрифты...

— Шрифты вам никто не даст,— спокойно подтвердил Денисов.— А газета должна выйти через неделю. Дивизия не может остаться без своей газеты.

— Но, товарищ полковник...

— Все, капитан, идите.

Но я продолжал стоять. Мне показалось, что полковник смеется надо мной. Я вспомнил своих несчастных ребят, что ждут меня в одиноком домике, и мне стало очень обидно и за них, и за себя.

[1] Поарм — политотдел армии.

— Газета без шрнфтов :не может выйтн! — в полном отчаяиии повторнл я.

— А вы нх найднте.

— Где?

— Где потеряли.

Это было уж слишком!

«Умный же человек, что ои, однако, говорит?» Я готов был заплакать, глядя на маленькую, подобраниую, аккуратиую фигурку иачподнва, повериувшегося ко мие спнной и колдовавшего что-то над полнтдонесеннем. И спнна, и малеиькие красиые уши, плотно прижатые к большой круглой голове, былн сердиты.

— Разрешите ндтн? — нзо всех сил стараясь быть спокойным, спроснл я все же дрогнувшим голосом.

— Идите,— сказал полковинк сухо.

Лишь на рассвете я вернулся в иаш домик. Там иикто не спал. Мне даже показалось, что людн сиделн все в тех же позах, в каких оин были с вечера. Теперь все с иадеждой смотрели на меня н ждалн, что я им сообщу. Мие почему-то захотелось тотчас же уничтожить эту нх надежду, и я резко, словио бы этн ребята былн вcase нноваты в том, что случилось, выпалил:

— Никаких шрифтов нам не дадут. Через неделю приказаио выпустить первый номер газеты.

— Ничего себе! Чем оии там думают? — поморщнлся Аидрей Дубицкий.

— Товарищ капнтаи, разрешите, я сам схожу к Деиисову,— попросил Юрка Кузес (иачальник политотдела его любил, и Юрка зиал это). — Тут какое-то недоразумение.

— Оии видели когда-инбудь типографию? — ядовито спросил Макогои, сверкнув нагловатыми своими зелеиыми глазами.

— Прнказы ие обсуждаются, а выполняются! — громко сказал я, н все притихлн, молча засопели.

Первое конструктнвное предложеиие поступило от Мншн Михайлова.

— Надо занять шрнфты в соседних днвнзнях,— сказал он.

Ухватнлись было за это предложение, но прн дальнейшем обсуждении прншлн к единодушному заключенню, что нз этой затеи инчего ие выйдет: мы по собственному опыту зиали, сколь бедны редакции днвнзиоиных газет шрнфтамн.

Иван Обухов предложнл поезднть по венгерским городам и посмотреть, иет лн где русской тнпографнн. При

этом он горячо выдвигал свою кандидатуру для такого путешествия. Но и его идея не нашла приверженцев.

— А по-моему, никуда не надо ездить, а собирать свой шрифт,— спокойно и деловито молвил Лавра.

На него посмотрели как на сумасшедшего.

И все-таки я спросил на всякий случай:

— Как же ты соберешь его в такой грязище?

— Очень даже просто,— пояснил Лавра.— Найти в мадьярском селе два кроильных решета, почаще которое — для маленьких буковок и которое пореже — для больших, стало быть. Собрать вокруг машины всю грязь и промывать через решета...

Наборщики зло расхохотались, отвергая безумный, с их точки зрения, план Лавры. К наборщикам присоединились и Дубицкий с Кузесом. Юрка все еще порывался пойти к начальнику политотдела и что-то доказать ему.

Говоря честно, я тоже не пришел в восторг от Лавриной идеи. Но как бы там ни было, решета уже овладели нашим воображением, завертелись перед глазами, в голове. Мы пытались уйти от них, посмеиваясь над Ереминым, старались забыть, выискивали иные варианты, однако вновь и вновь мысль возвращала нас к ним. Лавра, похоже, догадывался об этом и деталь за деталью начал уточнять свое предложение, облекать его в зримые, осязаемые формы. Мы уже видели, как после процеженной сквозь решета грязи в них оставались маленькие черные желанные свинцовые буковки, и наборщики осторожно раскладывают их по ячейкам. Сантиметр за сантиметром, метр за метром перебирается нашими руками земля, и ячеечки касс, как пчелиные соты, наполняются и наполняются...

— А что, товарищи, а?.. Попытка — не пытка... А? А ну, Лавра, бери с собой Макогона и марш за решетами!

Лавра пошагал быстро. За ним лениво побрел Макогон, явно не веривший в успех дела.

Дубицкий, я и Кузес отправились к разбитой машине на рекогносцировку. Недалеко от машины зябко бугрился холмик. Не сговариваясь, мы подошли к холмику и, сняв шапки, немного постояли возле него. Потом приблизились к машине, присевшей на раздробленный кузов,— мина взорвалась под правым задним скатом. Всю землю в радиусе примерно пятидесяти метров мы разметили на квадраты, с тем чтобы ни единой пригоршни не осталось не пропущенной сквозь решета.

Вскоре Еремин и Макогон вернулись с решетами. В ру-

ках Лавры был еще фонарь — это для ночной смены.

Обозначили участок флажками и приступили к работе.

Над нами висело мокрое, холодное чужое небо. Руки стыли в ледяной грязи, пальцы коченели, скрючивались, делались несгибаемыми, царапали землю, как грабли. Носы наши быстро расхлябились, и из них текло. Зато в деревянные ячейки буква за буквой возвращались драгоценные шрифты. В решетах, кроме букв и другого типографского материала, оставались острозубые осколки мин и снарядов, а также сплющенные пули. Лавра для чего-то высыпал их в ведро. Время от времени я посматривал на Андрея Дубицкого. Мрачный и бледный, он трудился, как старатель, пригоршнями черпая грязь. От домика, из колодца, Ваня Обухов таскал воду, а воды надо было очень много.

На другой день приехал начальник политотдела полковник Денисов.

— Здорово, погорельцы! Как дела?

— Трудимся, товарищ полковник.

— Добро.— И сам присел на корточки, чтобы вместе с нами продолжать нашу тяжкую работу.

Лавра, инициатор этого предприятия, был, против обыкновения, молчалив и сосредоточен. В его глазах тлели напряженные огоньки.

К концу четвертого дня работу закончили. Недоставало каких-то букв из петита и буквы «Д» в самом красивом заголовочном шрифте, составлявшем гордость Макогона. Тем не менее на пятый день, на одни сутки раньше срока, на передовую пришла знакомая солдатам маленькая дивизионка. Над всей первой страницей крупными буквами было напечатано:

ВНИМАНИЕ, МИНЫ!

В ротах долго потешались над самим существом этого предостерегающего возгласа: дивизия была наслышана о том, что редакция подорвалась на мине. Кто-то даже заметил:

— Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Но с той поры офицеры и солдаты еще больше полюбили свою газету.

Месяц спустя, проезжая мимо того места, где подорвалась наша машина, я увидел рядом с могильным холмиком, под которым лежал Валька Тихвинский, еще один точно

такой же холмик. На деревянной пирамидке, увенчанной красной звездой, я прочел:

Рядовой Вавильченко А. И.
1924—1944 гг.
Погиб
при разминировании дороги

Это была та самая дорога, на которой мы несколько суток кряду ковырялись в грязи, собирая шрифты. Плечи мои зябко передернулись, и я бегом вернулся в свою машину. Захотелось поскорее убраться с того места, где совсем недавно дважды прогулялась смерть. Только теперь я понял, почему был молчалив и сосредоточен Лавра и почему в его добрых глазах горели напряженные огоньки.

1960

ЭММАНУИЛ КАЗАКЕВИЧ

ЗВЕЗДА

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дивизия, наступая, углубилась в бескрайиие леса, и оии поглотили ее.

То, что ие удалось ии немецким танкам, ии иемецкой авиации, ии свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обшириые лесиые простраиства с дорогами, разбитыми войной и размытыми весенией распутицей. На дальиих лесных опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием. В затерянных среди лесов хуторах завязли саиитариые автобусы. На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. Все это с каждым часом катастрофически отдалялось от пехоты. А пехота, однаодииешеиька, все-таки продолжала двигаться вперед, урезав рациои и дрожа иад каждым патроиом. Потом и она иачала сдавать. Напор ее стаиовился все слабее, все иеувереиией, и, воспользовавшись этим, иемцы вышли изпод удара и поспешно убрались иа запад.

Противник исчез.

Пехотиицы, даже оставшись без противиика, продолжают делать то дело, ради которого существуют: оии заиимают территорию, отвоеваиную у врага. Но иет ничего безотрадиее зрелища оторваниых от противиика разведчиков. Словио потеряв смысл существования, они шагают по обочинам дороги, как тела, лишеииые души.

Одиу такую группу догиал иа своем «виллисе» комаидир дивизии полковиик Сербиченко. Он медлеиио вылез из машииы и остаиовился посреди грязиой, разбитой дороги, уперев руки в бока и иасмешливо улыбаясь.

Разведчики, увидев комдива, остаиовились.

— Ну, что,— спросил он,— потеряли противника, орлы? Где противник, что он делает?

Он узнал в идущем впереди разведчике лейтенанта Травкина (комдив помнил в лицо всех своих офицеров) и укоризненно замотал головой:

— И ты, Травкин? — И едко продолжал: — Веселая война, нечего сказать,— по деревням молоко пить да по бабам шататься... Так до Германии дойдешь и противника не увидишь с вами. А хорошо бы, а? — спросил он неожиданно весело.

Сидевший в машине начальник штаба дивизии подполковник Галиев устало улыбался, удивляясь неожиданной перемене в настроении полковника. За минуту до этого полковник беспощадно распекал его за нераспорядительность, и Галиев молчал с убитым видом.

Настроение комдива изменилось при виде разведчиков. Полковник Сербиченко начал свою службу в 1915 году пешим разведчиком. В разведчиках получил он боевое крещение и заслужил Георгиевский крест. Разведчики остались его слабостью навсегда. Его сердце играло при виде их зеленых маскхалатов, загорелых лиц и бесшумного шага. Неотступно друг за дружкой идут они по обочине дороги, готовые в любое мгновение исчезнуть, раствориться в безмолвии лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек.

Впрочем, упреки комдива были серьезными упреками. Дать противнику уйти, или — как это говорится на торжественном языке воинских уставов — дать ему *оторваться,*— это для разведчиков крупная неприятность, почти позор.

В словах полковника чувствовалась гнетущая его тревога за судьбу дивизии. Он боялся встречи с противником потому, что дивизия была обескровлена, а тылы отстали. И в то же время он хотел встретиться наконец с этим исчезнувшим противником, сцепиться с ним, узнать, чего он хочет, на что способен. Да и, кроме того, просто пора было остановиться, привести людей и хозяйство в порядок. Конечно, не хотелось даже себе самому сознаваться, что его желание противоречит страстному порыву всей страны, но он мечтал, чтобы наступление приостановилось. Таковы тайны ремесла.

А разведчики стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Вид у них был довольно жалкий.

— Вот они, твои глаза и уши,— пренебрежительно

сказал комдив начальнику штаба и сел в машину. «Виллис» тронулся.

Разведчики постояли еще миииуту, затем Травкин медленно пошел дальше, а за ним двинулись и остальные.

По привычке прислушиваясь к каждому шороху, Травкии думал о своем взводе.

Как и комдив, лейтеиаит и желал, и боялся встречи с противником. Желал потому, что так ему повелевал долг, и потому еще, что дии вынужденного бездействия пагубно отражаются на разведчиках, опутывая их опасной паутиной леии и беспечности. Боялся же потому, что из восемнадцати человек, имевшихся у него в начале наступления, осталось всего двенадцать. Правда, среди иих — известный всей ди визии Аииканов, бесстрашный Марченко, лихой Мамочкин и испытанные старые разведчики — Бражников и Быков. Однако остальные были в большинстве вчерашние стрелки, набраииые из частей в ходе иаступления. Этим людям пока очеиь иравится ходить в разведчиках, шагать друг за дружкой маленькими группами, пользуясь свободой, немыслимой в пехотиой части. Их окружают почет и уважение. Это, разумеется, не может не льстить им, и они глядят орлами, но каковы они будут в деле — неизвестно.

Теперь Травкин понял, что именно эти причины и заставляли его не торопиться. Его огорчили упреки комдива, тем более что ои зиал слабость Сербиченко к разведчикам. Зеленые глаза полковиика глядели на него хитроватым взглядом старого, опытиого разведчика прошлой войны, унтер-офицера Сербиченко, который из разделяющей их дали лет и судеб как бы говорил испытующе: «Ну, посмотрим, каков ты, молодой, против меня, старого».

Между тем взвод вступил в селение. Это была обычная западно-украииская деревия, разбросанная по-хуторскому. С огромного, в три человеческих роста, креста смотрел на солдат распятый Иисус. Улицы были пустыины, и только лай собак по дворам и едва приметиое движение домотканых холщовых занавесок иа окнах показывали, что люди, запуганные бандитскими шайками, внимательно присматриваются к проходящим по деревне солдатам.

Травкин повел свой отряд к одинокому дому на пригорке. Дверь открыла старая бабка. Она отогнала большого пса и неторопливо оглядела солдат глубоко сидящими глазами из-под густых седоватых бровей.

— Здравствуйте,— сказал Травкии,— мы к вам отдохнуть на часок.

Разведчики вошли вслед за ней в чистую комнату с крашеным полом и множеством икон. Иконы, как солдаты замечали уже не раз в этих краях, были не такие, как в России,— без риз, с конфетно-красивыми личиками святых. Что касается бабки, то она в точности походила на украинских старух из-под Киева или Чернигова, в бесчисленных холщовых юбках, с сухонькими, жилистыми ручками, и отличалась от них только недобрым светом колючих глаз.

Однако, несмотря на ее угрюмую, почти враждебную молчаливость, она подала захожим солдатам свежего хлеба, молока, густого, как сливки, соленых огурцов и полный чугун картошки. Но все это — с таким недружелюбием, что кусок не лез в горло.

— Вот бандитская мамка! — проворчал один из разведчиков.

Он угадал наполовину. Младший сын старухи действительно пошел по бандитской лесной тропе. Старший же подался в красные партизаны. И в то время как мать бандита враждебно молчала, мать партизана гостеприимно открыла бойцам дверь своей хаты. Подав разведчикам на закуску жареного свиного сала и квасу в глиняном кувшине, мать партизана уступила место матери бандита, которая с мрачным видом засела за ткацкий станок, занимавший полкомнаты.

Сержант Иван Аниканов, спокойный человек с широким простоватым лицом и маленькими, великой проницательности глазками, сказал ей:

— Что же ты молчишь, как немая, бабуся? Села бы с нами, что ли, да рассказала чего-нибудь.

Сержант Мамочкин, сутулый, худой, нервный, насмешливо пробормотал:

— Ну и кавалер же этот Аниканов! Охота ему поболтать со старушкой!

Травкин, занятый своими мыслями, вышел из дома и остановился возле крыльца. Деревня дремала. По косогору ходили стреноженные крестьянские кони. Было совершенно тихо, как может быть тихо только в деревне после стремительного прохода двух враждующих армий.

— Задумался наш лейтенант,— заговорил Аниканов, когда Травкин вышел.— Как сказывал комдив? Веселая война? Молоко пить да по бабам шататься...

Мамочкин вскипел:

— Что там комдив говорил, это его дело. А ты чего лезешь? Не хочешь молока — не пей, вон вода в кадке.

Это не твое дело, а лейтенанта. Он отвечает перед высшим начальством. Ты нянькой хочешь быть при лейтенанте. А кто ты такой? Деревенщина. Попался бы ты мне в Керчи, я бы тебя за пять минут раздел, разул и рыбкам на обед продал.

Аниканов беззлобно рассмеялся:

— Это верно. Раздеть, разуть — это по твоей части. Ну и насчет обедов ты мастер. Про это и говорил комдив.

— Ну и что? — наскакивал Мамочкин, как всегда уязвленный спокойствием Аниканова.— И пообедать можно. Разведчик с головой обедает получше генерала. Обед смелости и смекалки прибавляет. Понятно?

Розовощекий, с льняными волосами Бражников, круглолицый веснушчатый Быков, семнадцатилетний мальчик Юра Голубовский, которого все звали «Голубь», высокий красавец Феоктистов и остальные, улыбаясь, слушали горячий южный говорок Мамочкина и спокойную, плавную речь Аниканова. Только Марченко — широкоплечий, белозубый, смуглый — все время стоял возле старухи у ткацкого станка и с наивным удивлением городского человека повторял, глядя на ее маленькие сухонькие ручки:

— Это же целая фабрика!

В спорах Мамочкина с Аникановым — то веселых, то яростных спорах по любому поводу: о преимуществах керченской селедки перед иркутским омулем, о сравнительных качествах немецкого и советского автоматов, о том, сумасшедший ли Гитлер или просто сволочь, и о сроках открытия второго фронта — Мамочкин был нападающей стороной, а Аниканов, хитро щуря умнейшие маленькие глазки, добродушно, но едко оборонялся, повергая Мамочкина в ярость своим спокойствием.

Мамочкина, с его несдержанностью бузотера и неврастеника, раздражали аникановская деревенская солидность и добродушие. К раздражению примешивалось чувство тайной зависти. У Аниканова был орден, а у него только медаль; к Аниканову командир относился почти как к равному, а к нему почти как ко всем остальным. Все это уязвляло Мамочкина. Он утешал себя тем, что Аниканов — партиец и поэтому, дескать, пользуется особым доверием, но в душе он сам восхищался хладнокровным мужеством Аниканова. Смелость же Мамочкина была зачастую позерством, нуждалась в беспрестанном подстегивании самолюбия, и он понимал это. Самолюбия у Мамочкина было хоть отбавляй, за ним утвердилась слава хорошего разведчика,

и он действительно участвовал во многих славных делах, где первую роль играл все-таки Аниканов.

Зато в перерывах между боевыми заданиями Мамочкин умел показать товар лицом. Молодые разведчики, еще не бывшие в деле, восхищались им. Он щеголял в широченных шароварах и хромовых желтых сапожках, ворот его гимнастерки был всегда расстегнут, а черный чуб своевольно выбивался из-под кубанки с ярко-зеленым верхом. Куда было до него массивному, широколицему и простоватому Аниканову!

Происхождение и довоенное бытие каждого из них — колхозная хватка сибиряка Аниканова, сметливость и точный расчет металлиста Марченко, портовая бесшабашность Мамочкина — все это наложило свой отпечаток на их поведение и нрав, но прошлое уже казалось чрезвычайно далеким. Не зная, сколько еще продлится война, они ушли в нее с головой. Война стала для них бытом, и этот взвод — единственной семьей.

Семья! Это была странная семья, члены которой не слишком долго наслаждались совместной жизнью. Одни отправлялись в госпиталь, другие — еще дальше, туда, откуда никто не возвращается. Была у нее своя небольшая, но яркая история, передаваемая из «поколения» в «поколение». Кое-кто помнил, как во взводе впервые появился Аниканов. Долгое время он не участвовал в деле — никто из старших не решался брать его с собой. Правда, огромная физическая сила сибиряка была большим достоинством,— он свободно мог сгрести в охапку и придушить, если понадобится, даже двоих. Однако Аниканов был так огромен и тяжел, что разведчики боялись: а что, если его убьют или ранят? Попробуй вытащи такого из огня. Напрасно он упрашивал и клялся, что, если его ранят, он сам доползет, а убьют: «Черт с вами, бросайте меня, что мне немец, мертвому-то, сделает!» И только сравнительно недавно, когда пришел к ним новый командир, лейтенант Травкин, сменивший раненого лейтенанта Скворцова, положение изменилось.

Травкин в первый же поиск взял с собой Аниканова. И «эта громадина» сгреб здоровенного немца так ловко, что остальные разведчики и охнуть не успели. Он действовал быстро и бесшумно, как огромная кошка. Даже Травкин с трудом поверил, что в плащ-палатке Аниканова бьется полузадушенный немец, «язык» — мечта дивизии на протяжении целого месяца.

В другой раз Аниканов вместе с сержантом Марченко захватил немецкого капитана, при этом Марченко был ранен в ногу, и Аникановy пришлось тащить немца и Марченко вместе, нежно прижимая товарища и врага друг к другу и боясь повредить обоих в равной степени.

Рассказы о подвигах многоопытных разведчиков были главной темой долгих ночных разговоров, они будоражили воображение новичков, питали в них горделивое чувство исключительности их ремесла. Теперь, в период долгого бездействия, вдали от противника, люди пообленились.

Плотно поев и сладко затянувшись махоркой, Мамочкин выразил желание остановиться в деревне на ночь и раздобыть самогону. Марченко неопределенно сказал:

— Да, спешить тут нечего... Все равно не догоним. Здорово утекает немец.

В это время дверь отворилась, вошел Травкин и, показывая пальцем в окно на стреноженных лошадей, спросил хозяйку:

— Бабушка, чьи это кони?

Одна из лошадей, большая гнедая кобыла с белым пятном на лбу, принадлежала старухе, остальные — соседям. Минут через двадцать эти соседи были созваны в старухину избу, и Травкин, торопливо нацарапав расписку, сказал:

— Если хотите, пошлите с нами кого-нибудь из ваших ребят, он приведет лошадей обратно.

Это предложение понравилось крестьянам. Каждый из них отлично знал, что только благодаря быстрому продвижению советских войск немец не успел угнать всю скотину и сжечь деревню. Они не стали чинить препятствий Травкину и тут же выделили подпаска, который должен был отправиться с отрядом. Шестнадцатилетний паренек в овчинном тулупчике был и горд и напуган возложенным на него ответственным поручением. Распутав лошадей и взнуздав их, а затем напоив из колодца, он вскоре сообщил, что можно трогаться.

Через несколько минут отряд конников пустился крупной рысью на запад. Аниканов подъехал к Травкину и, косясь на скачущего рядом пареька, тихо спросил:

— А не нагорит вам, товарищ лейтенант, за такую реквизицию?

— Да,— ответил Травкин, подумав,— может и нагореть. А немца мы все-таки догоним.

Они понимающе улыбнулись друг другу.

Погоняя лошадь, всматривался Травкин в безмолвную даль древних лесов. Ветер свирепо дул ему в лицо, а кони казались птицами. Запад озарился кровавым закатом, и, как бы догоняя этот закат, неслись на запад всадники.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Штаб дивизии расположился на ночлег в обширном лесу, в центре забывшихся неспокойным сном полков. Костры не зажигались: над лесами на большой высоте назойливо гудели немецкие самолеты, нащупывая проходящие войска. Высланные вперед саперы поработали здесь полдня и построили красивый зеленый шалашный городок с прямыми аллейками, четкими стрелками указок и опрятными, покрытыми хвоей шалашами. Сколько таких недолговечных «потешных» городков построено было за годы войны саперами дивизии!

Командир саперной роты лейтенант Бугорков дожидался приема у начальника штаба. Подполковник не отрывал глаз от карты. Зеленые пространства ее с нанесенным на них положением частей дивизии выглядели очень странно. Обычных линий, проведенных синим карандашом и обозначающих противника, не было вовсе. Тылы находились черт знает где. Полки казались угрожающе одинокими в нескончаемой зелени лесов.

Лес, в котором дивизия остановилась на ночлег, имел форму вопросительного знака. Этот зеленый вопросительный знак словно дразнил подполковника Галиева издевательским голосом командарма: «Ну, как? Это вам не Северо-Западный фронт, где вы полвойны сиднем просидели и немецкая артиллерия стреляла по часам! Маневренная война-с!»

Галиев, не спавший уже которую ночь, кутался в бурку. Подняв наконец глаза от карты, он заметил Бугоркова.

— Тебе чего?

Лейтенант Бугорков не без удовольствия оглядывал построенный им превосходный шалаш.

— Я пришел узнать, где разместится завтра штаб, товарищ подполковник,— ответил он.— На рассвете я вышлю туда взвод.

Ему очень хотелось, чтобы дивизия задержалась в этом лесу хотя бы еще на сутки. Веселый шалашный городок был бы хоть немного обжит и хоть кто-нибудь да похвалил

бы Бугоркова за это чудо шалашного строительства. А то и оглянуться не успеешь, как новенькие шалаши будут покинуты и в них начнет хозяйничать весенний ветер. Бугорков был сыном и внуком прославленных плотников и каменщиков, неудовлетворенная гордость строителя говорила в нем.

Подполковник кратко сказал:

— Дай свою карту.

И начертил на карте Бугоркова флажок — на опушке какого-то другого леса, километрах в сорока от нынешней стоянки. Бугорков подавил вздох и направился к выходу, но в эту минуту плащ-палатка, занавешивающая вход, раздвинулась, и в шалаш вошел начальник разведки капитан Барашкин. Подполковник Галиев встретил его очень приветливо:

— Командир дивизии недоволен разведкой. Сегодня мы встретили лейтенанта Травкина с его людьми. Что за вид! Незаправленные, обросшие. О чем вы думаете?

Подполковник помолчал и вдруг выкрикнул отчаянным голосом:

— И будьте любезны, капитан, скажите мне наконец, где противник?

Лейтенант Бугорков выскользнул из шалаша и пошел готовить взвод саперов к предстоящему выступлению. Он решил по дороге отыскать Травкина, чтобы предупредить его о слышанном. «Пусть срочно подстрижет и побреет разведчиков,— благожелательно думал Бугорков,— не то ему будет здоровая нахлобучка».

Бугорков любил Травкина, своего земляка-волжанина. Прославленный разведчик, Травкин оставался тем же тихим и скромным юношей, каким был при их первой встрече. Встречались они, правда, довольно редко — у каждого хватало собственных служебных забот,— но приятно было иногда вспомнить, что здесь, где-то недалеко, ходит приятель и земляк Володя Травкин — скромный, серьезный, верный человек. Ходит вечно на виду у смерти, ближе всех к ней...

Травкина Бугоркову найти не удалось. Сунулся он в шалаш Барашкина, но тот был еще не в себе после полученного нагоняя и на вопрос Бугоркова ответил градом ругательств:

— Черт его знает, где он! Охота мне получать за него замечания...

Капитан Барашкин славился в дивизии как сквернослов

и лентяй. Зная, что начальство относится к нему плохо, и каждый день ожидая, что его отстранят от работы, он и вовсе перестал что-либо делать. Где его разведчики и чем они занимаются, он так толком и не знал в течение всего наступления. Сам он уехал в штабном грузовике и «крутил роман» с только что прибывшей новой радисткой Катей, светловолосой задумчивой девицей-солдатиком с красивыми глазами.

Бугорков вышел от Барашкина и очутился в самом центре построенного им недолговечного человеческого гнезда. Слоняясь по прямым аллейкам, он думал о том, что хорошо бы покончить наконец с этой войной, поехать в свой родной город и там снова делать свое дело: строить новые дома, вдыхать сладкий запах строганых досок и, взбираясь по лесам, обсуждать с бородатыми мастеровыми замысловатые чертежи на помятой синьке.

С рассветом Бугорков, уложив на повозку лопаты, кирки и прочий инструмент, отправился в путь во главе своих саперов.

Болтовня первых птиц разносилась по лесу, смыкавшему над узкой дорогой кроны старых деревьев. По обочинам дороги ходили в накинутых поверх шинелей плащ-палатках продрогшие за ночь часовые. У дороги и вокруг стоянки были вырыты окопы, и в них дежурили у своих пулеметов сонные пулеметчики. Солдаты спали на земле на елочном лапнике, тесно прижавшись друг к другу. Утренний холод будил людей, и они бросались собирать шишки и ветки для костров.

«Вот она, война,— думал Бугорков, поеживаясь,— великая бездомность сотен и тысяч людей».

Пройдя километров десять, саперы увидели быстро приближающиеся с запада фигуры трех всадников. Бугорков встревожился: он знал, что впереди нет ни одного красноармейца. Всадники неслись галопом, и вскоре Бугорков с облегчением узнал в одном из них Травкина.

Не сходя с лошади, Травкин сказал:

— Немцы недалеко, с артиллерией и самоходками.

Он на карте Бугоркова показал расположение немецкой обороны, проходившей как раз по опушке того леса, где Бугорков собирался строить очередной шалашный городок.

— А два немецких броневика и самоходка стоят вот здесь, наверное, в засаде...— Напоследок Травкин сказал: — Вот видишь... Аниканов... ранен в стычке с немцами.

Аниканов неловко сидел на лошади, виновато улыбаясь, словно он по неосторожности причинил всем большую неприятность.

Бугорков спросил растерянно:

— А мне что делать?

Условились, что саперы подождут здесь, Травкин доложит начальнику штаба, а потом передаст Бугоркову распоряжение Галиева. Травкин стегнул большую гнедую лошадь с белым пятном на лбу и снова пустился вскачь.

Посреди шалашного городка, возле своего «виллиса», стоял полковник Сербиченко, вокруг собрались командиры полков, подполковники и майоры, а немного поодаль — адъютанты и ординарцы. Травкин круто остановил лошадь, слез с нее и, прихрамывая после непривычно долгой верховой езды, доложил:

— Товарищ комдив, немцы недалеко.

Его обступили, и он кратко рассказал, что на ближней речке расположены немецкие позиции в виде сплошной траншеи. Он видел там же артиллерийские позиции и шесть самоходок. Траншеи заняты немецкой пехотой. Километрах в двадцати отсюда два броневика и самоходка стоят в засаде.

Комдив отметил на карте данные Травкина: началась легкая суматоха; командиры полков и штабные тоже вынули карты, подполковник Галиев скинул с плеч на землю свою бурку, вдруг перестав зябнуть, а начальник политотдела пошел собирать политработников.

— Значит, ты думаешь, что оборона серьезная? — спросил наконец комдив, проведя последнюю черту синим карандашом на карте, развернутой по капоту «виллиса».

— Так точно.

— И самоходки ты сам видел?

— Так точно.

— А ты не сочиняешь трошки? — неожиданно заключил свои вопросы полковник, вскидывая на Травкина зеленовато-серые прищуренные глаза.

— Нет, не сочиняю,— ответил Травкин.

— Ты не обижайся,— примирительным тоном сказал комдив,— это я для верности спрашиваю, ибо знаю, козаче, что разведчики приврать любят.

— Я не вру,— повторил Травкин.

Где-то уже давали команду «в ружье», лес глухо зашумел. Это подымались подразделения.

Комдив, глядя на карту, приказывал:

— Полки идут походным порядком, как раньше. Авангардный полк высылает вперед усиленный батальон в качестве передового отряда. Полковая артиллерия следует с пехотой. На фланги выбрасываются разведчики и автоматчики. Достигнув высоты 108,1, передовой полк развертывается в боевой порядок. Его командный пункт — высота 108,1. Я — на западной опушке этого леса, возле дома лесника. Галиев, готовь боевое распоряжение. Доложи в корпус.— И вдруг сказал негромко: — Смотрите, товарищи начальники! Артполк отстал. Снарядов и патронов мало. Мы в невыгодном положении. Будем честно выполнять свой долг.

Офицеры быстро разошлись по своим делам, и у машины остались только комдив, Галиев и Травкин. Полковник Сербиченко оглядел Травкина и его взмыленную лошадь и, усмехнувшись, произнес:

— Добрый козак.

— У меня Аниканов ранен,— смутившись, поведал ни с того ни с сего полковнику Травкин.

Комдив ничего не ответил, отдал последние распоряжения Галиеву и уехал к полкам.

Вокруг Галиева забегали штабные офицеры. Он был неузнаваем. Повеселевший, шумливый, он вдруг стал похож на проказливого бакинского мальчишку, каким был лет тридцать назад. «Галиев немца чует»,— говорили про него в такие минуты.

— Поезжай к своим людям! Следи за немцем и присылай нарочных! — крикнул он Травкину.

— Есть! — крикнул в ответ Травкин и снова вскочил на лошадь.

Сопровождавший его разведчик между тем сдал Аниканова санинструктору и, ведя в поводу лошадь без седока, присоединился к лейтенанту.

Травкин застал Бугоркова на прежнем месте в тревожном ожидании. Он спешился, рассеянно выпил предложенную Бугорковым водку и показал ему на карте месторасположение штаба дивизии.

— Значит, снова война начинается,— сказал Бугорков и посмотрел в серьезные глаза Травкина.

Разведчики пришпорили лошадей и пустились вскачь навстречу неизвестному.

А саперы тронулись в путь, тихо рассуждая о том, что вот снова начнутся бои и конца этим боям не видать. Не видать конца этим боям. Бугорков сказал:

— Ну, ребята, теперь вместо шалашстроя будет нам блиндажстрой.

Травкин вскоре присоединился к своим людям, ожидавшим его на лесистом холме, неподалеку от безымянной речки, за которой окопались немцы.

Марченко, наблюдавший немцев с верхушки дерева, слез и доложил лейтенанту:

— Эти немцы в броневиках и самоходка покрутились здесь полчаса, потом повернули и переехали речку,— к своим, значит, убрались. Речка мелкая, я видел. Вода доходила броневикам до середины.

Разведчики поползли к речке и залегли в кустах. Паренька с лошадьми Травкин отправил домой.

— Езжай все прямо по этой дороге. Лошадей возьмешь не всех, две останутся у меня еще на день, пришлю их завтра, а то донесения не на чем посылать.

Затем Травкин подполз к своим людям и стал наблюдать немецкую оборону. Траншея была вырыта недавно и еще не закончена. Перебегающим по ней немцам она едва доходила до плеч. Впереди траншеи — проволочное заграждение в два кола. Разведчиков отделяла от немцев неширокая речка, поросшая камышом. На бруствере траншеи во весь рост стоял человек и смотрел на восточный берег в бинокль.

— Сейчас отправлю его к гитлеровой маме,— шепнул Мамочкин.

— Не дури,— сказал Травкин.

Он смотрел на немецкую оборону, оценивая ее. Да, вот та неявственно различимая серая полоска земли — вторая траншея. Место для обороны немцы выбрали хорошо — западный берег гораздо выше восточного и густо порос лесом. Высота возле разбросанных домиков хутора — командная, на карте она обозначена цифрой 161,3. Немцев в траншее много. На восточной окраине хутора стоит самоходная пушка.

Травкин вдруг вспомнил об Аниканове, он вспомнил как-то вскользь, неопределенно. Так вспоминают сошедшего ночью с поезда пассажира, недолго побывшего среди остальных и сгинувшего неизвестно куда.

Мамочкин прошептал:

— Глядите, товарищ лейтенант. Фрицы выходят на экскурсию.

Человек тридцать немцев вышли из леса и двинулись к реке.

Здесь оии рассредоточились и, с опаской вглядываясь в противоположиый берег, вошли в мутную воду.

Травкии сказал лучшему стрелку взвода — Марчеико:

— Пугии-ка их.

Последовала длииная очередь из автомата, фоитаичики подскакивали от пулевых ударов. Немцы выскочили из реки обратно на свой берег и, суетливо оглядываясь и гогоча, как гуси, залегли. В траншее заволновались, забегали, раздалась гортаииая комаида, засвистели пули. Самоходиая пушка, стоявшая на окраине хутора, вдруг затряслась, заверещала и выпустила один за другим три сиаряда. Через секуиду ударили немецкие орудия. Их было ие меньше десятка, и они в течеиие трех-четырех миивут били по бугру. Снаряды яростно взрывали землю, оглушая страииым воплем молчаливые леса.

Гул артиллерийского налета услышал передовой отряд дивизии — усилеииый батальон. Люди остановились. Командир батальоиа капитаи Муштаков и командир батареи капитаи Гуревич замерли иа своих лошадях. Муштаков сказал:

— Вот что значит отвык... Больше месяца ие слышал этой музыки.

Взрывы следовали равномерио, один за другим.

Постояв с миңуту, усилеииый батальои двииулся дальше. На повороте солдаты увидели пареиька в овчинном тулупчике, с лошадьми. Он сидел, сгорбившись, верхом иа лошади и, вытяиув шею, прислушивался к мощиому гулу орудий.

Командир батальоиа, поравиявшись с ним, спросил:

— Ты что тут делаешь?

— Поспишайте,— испугаииым шепотом сказал пареиек.— Там иа ричци немцев багато-багато, а разведчикив двеиадцать чоловик...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

То, что иа воеииом языке иазывается *переходом к обороне,* происходит так.

Части развертываются и пытаются с ходу прорвать фроит противника. Но люди измотаиы иепрерывным иаступлеиием артиллерии, и боеприпасов мало. Попытка атаковать ие имеет успеха. Пехота остается лежать иа мокрой земле под неприятельским огием и весениим дождем впере-

межку со снегом. Телефонисты слушают яростные приказания и ругань старших командиров: «Прорвать! Поднять пехоту и опрокинуть фрицев!» После второй неудачной атаки поступает приказ: «Окопаться».

Война превращается в огромную землеройку. Земляные работы ведутся по ночам, освещаемые разноцветными немецкими ракетами и пожаром зажженных немецкой артиллерией ближних деревень. В земле растет запутанный лабиринт звериных нор и норок. Вскоре вся местность преображается. Это уже не лесистый берег небольшой реки, заросшей камышом и водорослями, а изъязвленный осколками и разрывами «передний край», разделенный на пояса, как Дантов ад, лысый, перекопанный, обезличенный и обвеваемый нездешним ветром.

Разведчики, сидя по ночам на бывшем берегу реки (теперь это зовется нейтральной полосой), слушают стук немецких топоров и голоса немецких саперов, тоже укрепляющих свой передний край.

Между тем нет худа без добра. Понемногу подтягиваются тылы, на скрипучих повозках подвозятся снаряды, патроны, хлеб, сено, консервы. Подъехали наконец и остановились где-то поблизости, маскируясь в ближних лесах, медсанбат, полевая почка, обменный пункт, ветеринарный лазарет.

Прибывает и артполк, встречаемый всеми с великой радостью. Орудия вкапываются в землю и ведут правильную пристрелку по целям, производя, к полному удовольствию наших солдат, буйные налеты на немецкие траншеи и блиндажи.

Начинается сравнительно тихая жизнь, мокрая жизнь, жизнь липкая, дрянная, земляная, но все-таки жизнь. А когда подходит ближе полевая почта и накопившиеся за месяц наступления письма целыми пачками доходят до продрогших солдатских рук,— это уже почти счастливая жизнь.

Сидя в окопчике на самом берегу реки, среди камыша и гниловатых водорослей, прочитал свои письма и Травкин. Писала мать, учительница из небольшого волжского городка, и сестра из Москвы. Все письма матери, в сущности, были невысказанной горячей и жалкой просьбой: не погибнуть.

Сестра Лена, студентка Московской консерватории по классу скрипки, писала о своих успехах. Она писала о Бахе и Чайковском с юношеской фамильярностью: дескать,

старик Чайковский оказался не так уж труден, как я думала раньше... этот старый немец Бах... и так дальше. Лепет юности, ровный свет электрических плафонов, тусклый блеск скрипок — как все было далеко! Травкин даже, по правде сказать, обиделся, что люди ходят в театр, слушают музыку, влюбляются, учатся, в то время как он, Травкин, и другие сидят здесь под страхом смерти и — что еще хуже — под проливным дождем.

— Что вам пишут, товарищ лейтенант? — спросил сидящий рядом с биноклем в руках Марченко.

Травкин ответил:

— Живут помаленьку и на нас посматривают — скоро ли мы кончим.

Марченко, улыбнувшись, кивнул головой; при этом он, не отрываясь, глядел в бинокль на вражеские позиции и заметил:

— Немцы что-то шевелятся.

Травкин взял бинокль. Немцы выкатывали из лесу орудие. И он засмеялся, вспомнив слова сестры, которые звучали так: этот старый немец Б-бах! Ба-бах!

Травкин сообщил по телефону Гуревичу:

— Смотрите, Гуревич, они орудие выкатили на прямую наводку — два пальца правей разрушенного дома. Видите?

— Спасибо, Травкин,— глухо прозвучал в телефонную трубку голос вечно бодрствующего артиллериста,— сейчас накрою.

Просунув голову сквозь влажный камыш, появился Мамочкин.

— Кушать будете, товарищ лейтенант?

Он принес Травкину полгуся на завернутой в газету фарфоровой тарелке.

Травкин, поделив гуся с Марченко, вдруг подумал о том, что Мамочкин последнее время частенько приносит различные лакомства «невоенного образца», вроде яиц, гусей, кур и сметаны. Он хотел спросить Мамочкина, откуда вся эта снедь, но тут же забыл, отвлеченный новым замечанием Марченко насчет поведения немцев.

Мамочкин действительно разбогател. Никто не знал, откуда он добывает всю эту пропасть яиц, масла, птиц, соленых огурцов и квашеной капусты. На вопросы разведчиков Мамочкин, ухмыляясь, отвечал:

— Что ж, сумей.

А дело было простое и очень даже некрасивое. Получив приказание Травкина отвести оставшихся двух лошадей в

деревню, Мамочкин не доставил их по назначению, а отдал «на время» старику вдовцу в ближайший хутор, не взяв платы, но выговорив право получать у старика различные продукты. Время было горячее, надо пахать и сеять, и старик не скупился.

Молодые разведчики смотрели на Мамочкина с восторгом, удивляясь его хитроумию и удачливости. В лице красавца Феоктистова он имел верного адъютанта, старавшегося походить на Мамочкина во всем и даже отпустившего усики по примеру своего кумира. По вечерам Мамочкин рассказывал новичкам устную летопись взвода, особо выделяя, конечно, свои собственные заслуги. Правда, и Аниканова он снисходительно похваливал: Аниканов уже стал историей и не мог повредить славе Мамочкина.

Разведчики, слушая Мамочкина, часто ловили его на несуразностях и противоречиях. Он мало смущался этим. Только в присутствии Травкина красноречие Мамочкина сразу же тускнело: Травкин ненавидел неправду. Иногда в свободные вечера он сам начинал рассказывать эпизоды боевой жизни, и такие вечера были для новичков настоящим праздником.

При этом их поражала его скромность. Он рассказывал об Аниканове, о погибшем старшине Белове, о Марченко и о Мамочкине, а себя как-то обходил, выставляя неким очевидцем.

— Надо учиться действовать так, как Аниканов,— нередко заканчивал он свой рассказ, и Мамочкин ревниво ерзал в своем углу.

Молоденький Юра Голубь в эти вечера усаживался у ног лейтенанта и глядел на него влюбленными глазами. Он мог сколько угодно восторгаться преувеличенной лихостью Мамочкина, но образцом для него был только этот замкнутый, юный и немножко непонятный лейтенант.

Впрочем, Мамочкин тоже любил эти вечера. Лейтенант, обычно молчаливый, в эти редкие минуты как-то раскрывался, он знал много разных историй и иногда рассказывал о жизни ученых и полководцев, а Мамочкин был любознателен.

Травкину он носил яства из своего никому не ведомого источника не потому, что хотел задобрить командира. Разбираясь в людях, Мамочкин понимал, что добиться таким путем от лейтенанта каких-то там льгот или поблажек невозможно: Травкин ел гусей, даже не замечая толком что он ест. Мамочкин «покровительствовал» Травкину по-

тому, что любил его. Любил именно за те качества, каких не хватало ему самому: за самозабвенное отношение к делу и за абсолютное бескорыстие. Он с удивлением наблюдал, с какой точностью Травкин делит получаемую водку, себе наливая меньше, чем всем остальным. Отдыхал он тоже меньше всех. Мамочкин не мог этого понять. Он чувствовал, что лейтенант правильно и хорошо поступает, но прекрасно знал, что на месте командира действовал бы далеко не так.

Отнеся лейтенанту очередную порцию «конины», как он про себя называл гусей, кур и прочую снедь, получаемую за «прокат» коней, Мамочкин отправился к овину, где обосновались на жительство разведчики. И тут он чуть не наткнулся на командира дивизии, полковника Сербиченко, встречи с которым всячески избегал из-за своей зеленой кубанки и желтых сапожек: комдив не терпел отклонений от установленной формы одежды.

Рядом с полковником стояла беленькая девушка со стриженными по-мужски волосами, одетая в обычный солдатский костюм с нашивками младшего сержанта на погонах. Мамочкин не знал ее, а он знал здесь всех женщин наперечет. Комдив разговаривал с девушкой, ласково улыбаясь.

Полковник Сербиченко относился к женщинам с покровительственной нежностью. В глубине души он считал, что женщинам не место на войне, но он не испытывал к ним поэтому пренебрежения, как многие другие, а жалел их жалостью старого солдата, хорошо знающего тяготы войны.

— Ну как? Нравится тебе у нас? — спрашивал полковник.

Девушка застенчиво отвечала:

— Ничего... как всюду.

— Разве как всюду? У меня не так, как всюду. У меня, милая моя, дивизия прославленная, краснознаменная! Никто тебя не обижает?

— Нет, товарищ полковник.

— Гляди. Будут обижать, приставать — приходи и жалуйся смело. Девушек у нас мало, и я их в обиду не даю. А ты не крутишь с парнями?

— Зачем они мне? — засмеялась девушка.

— Эге, не обманывай... все знаю. Тебя с капитаном Барашкиным не раз видели. Смотри, держись хорошо, — сказал он вдруг серьезно, — мужчины — народ хитрый и не говорят того, что думают.

Он попрощался с ней и пошел по направлению к своей избе, а девушка осталась стоять под деревом.

Тут перед ней и предстал Мамочкин:

— Мое почтение, барышня!

Она удивленно оглядела его с ног до головы.

— Разведчик сержант Мамочкин! — лихо пристукнул он каблуками.

Девушка улыбнулась.

— Я вас раньше, так сказать, не встречал,— увязался он за ней.— Вы из другой части или с неба упали?

Она рассмеялась и пояснила, что ее перевели сюда из другой дивизии.

— А с разведкой вы там дружили?

— Я в штабе тыла работала.

Они шли рядом. Она беззаботно похохатывала, а он, блистая портовым остроумием, прикидывал, куда бы ее повести.

— Советую вам, Катюша,— он уже узнал ее имя,— в дальнейшей жизни дружить с разведкой. Кто лучший кавалер? Ясно, разведчик. У кого всегда выпивка плюс закуска и часы? Обратно у разведчика. Кто самый самостоятельный и отчаянный? Безусловно, разведчик! Понятно? И неужели вы никого из разведчиков не знаете? — продолжал он, игриво ухмыляясь.— А небезызвестный нам капитан Барашкин как? А?

— Вы откуда знаете? — удивилась она.

— Разведчики все знают!

Идти гулять с ним в лес она отказалась, но обещала зайти как-нибудь в гости. Мамочкин обиделся было, но потом снова развеселился, и они расстались друзьями.

Придя в овин, Мамочкин застал там негромкую, но напряженную возню, как всегда перед выходом на задание, и вспомнил, что Марченко сегодня отправляется на поиск во главе группы в четыре человека.

Марченко только что пришел с переднего края и, сидя в углу, у старой ржавой молотилки, писал письмо. Люди, отправлявшиеся с ним, надевали маскхалаты, привешивали гранаты, как-то сосредоточенно суетились и ежеминутно взглядывали на Марченко: не пора ли идти?

Марченко писал жене и своим старикам в город Харьков. Он сообщал им, что жив и здоров, что напрасно жена заподозрила его в том, что у него тут «завелась краля», ничего подобного, он писал часто, но почта отстала из-за наступления. Хотя все это были обычные вещи, но писал

он на этот раз по-особому, за каждой строкой подразумевая другую, более проникновенную. Когда он кончил писать, он был взволнован. Письмо отдал дневальному, а сам негромко сказал:

— Ну, ребята, пошли, значит. Все готово?

Он выстроил свою четверку, испытующе осмотрел ее, затем спросил:

— А саперов-то нет?

Из дальнего угла, из глубин наваленной соломы, послышался спокойный, веселый голос:

— Как так нет? Саперы на месте.

Облепленные соломинками, поднялись два сапера, присланные Бугорковым для сопровождения группы Марченко.

— Я старший,— произнес ранее говоривший голос, принадлежавший невысокому, коренастому солдату лет двадцати.

— Тебя как звать? — осведомился Марченко, одобрительно оглядев сапера.

— Максименко звать, земляк твий,— ответствовал «старший» под общий смех.

— Откуда? — засмеялся, блеснув жемчужными зубами, Марченко.

— З Кременчуга.

— Да, почти земляк... Задачу свою знаешь?

— Знаю,— так же бойко отвечал Максименко,— разминирувать нимецьки мины, розризать нимецьку проволоку, пропустыть вас у цей розрив и идты до дому на комсомольске собрание, бо у нас завтра вранку собрание, а я комсорг. Такая наша задача.

— Молодец, хлопец,— еще раз засмеялся Марченко.— Мы, значит, дважды земляки, я тоже у нас тут комсоргом. Пошли.

И группа гуськом по обочине дороги двинулась к переднему краю, где ее ожидал Травкин.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На пятый день после ухода Марченко Мамочкин снова встретил Катю и пригласил ее к разведчикам в овин. Там у него была припрятана бутыль самогону.

Он расстелил в углу сарая белую скатерть, разложил аппетитную закуску и, пригласив Феоктистова и еще нескольких друзей, уселся рядом с Катей на солому.

В разгар пира в овин зашел Травкин, которого никто не ждал.

Приход лейтенанта вызвал некоторое замешательство, во время которого Мамочкину удалось спрятать бутыль и кружку. По правде сказать, Мамочкину не очень-то приятно было обнаруживать при девушке свою робость перед командиром, но было еще менее приятно получить от лейтенанта суровое замечание.

Травкин покосился на сидящих в углу разведчиков и незнакомую девушку. Разведчики встали, но он тихо сказал «вольно» и лег на свою постель в дальнем углу. Он не спал третьи сутки. Позапрошлой ночью должен был вернуться Марченко, но Травкин напрасно ждал его в траншее, борясь с тяжелой полудремотой. Странно и тревожно было, что не вернулись и два сапера, которым надлежало вернуться немедленно после прохода разведчиками минного поля. Вся группа, бесшумно скрывшаяся в непроглядной темени, пропала, исчезла, и следы ее замыл дождь.

Травкин улегся на байковое одеяло и заснул беспокойным сном.

Притихшие разведчики снова выпили по чарке, а Катя негромко спросила:

— Это ваш командир? Тихий такой и молодой.

Травкин метался во сне и вдруг заговорил:

— Ты чего не приходил так долго? Странный ты человек. И саперы не приходили. А мы Чайковского слушали. Чудак. А ты все не приходил. Ч-чудак.

Речь его не была похожа на речь говорящего во сне. Он произносил слова обыденным, нормальным голосом бодрствующего человека. Разведчикам стало не по себе. Они поодиночке разбрелись по овину, оставив Мамочкина одного перед белой скатертью.

Катя неслышными шагами подошла к Травкину и остановилась над ним. Его глаза были полуоткрыты, как у спящего ребенка, выцветшая гимнастерка расстегнута, а на лице застыло выражение горькой обиды. Она тихо сказала:

— Какой он у вас хороший.

— Не буди его! — грубо отозвался Мамочкин, но она не обиделась, почуяв в его словах такую же нежность к спящему, какая охватила и ее.— Беспокоится наш лейтенант,— пояснил Мамочкин угрюмо.

Да, вечеринка была вконец испорчена,— это почувствовали все.

И только Катя вышла из овина в каком-то приподня-

том, печально-торжествениом настроении. Идя по зелеиеющему лесу, она с беспокойством и даже с некоторым удивлением ощущала это свое иастроение. Что могло ее так задеть, разнежить, иаполнить такой радостной грустью? Перед глазами ее стояло почти детское лицо лейтенанта. Может быть, она увидела в нем свое собственное отражение, что-то похожее на боль, глубоко затаившуюся в ее душе, еще ие утихшую боль девушки из малеиького города, встретившейся иа войне с тяжестью жизни в самом ее жестоком направлении.

Катя все чаще и чаще стала забегать в овин разведчиков. Мамочкии, да и все остальные прекрасно разобрались в душевном состоянии девушки. Мамочкии даже обрадовался. Считая себя покровителем лейтенанта в житейских делах, он решил, что небольшой роман с Катей отвлечет лейтенанта от тяжких дум. А Травкин заметио затосковал после очевидиой гибели Марченко и его группы.

Разведчики наперебой приглашали Катю в гости, рассказывали ей все новости о лейтеианте, бегали в роту связи сообщить: «Наш-то с передовой пришел»,— одним словом, всячески старались сблизить Катю с Травкиным. Единственный, кто ие замечал всей этой кутерьмы, был сам Травкии.

Однажды ои, придя в овин, увидел, что угол его отгорожен плащ-палатками и вместо одеяла, разостланного на сеие, там стоит настоящая кровать и столик, а иа столике — вазочка со свежими подсиежниками. Он спросил:

— Это что такое?

— А что? — с невииным видом ответил Бражников.— Это Катя, связистка, для вас старается, товарищ лейтеиант.

Травкин густо покрасиел и спросил:

— Почему вы впускаете в расположение взвода посторонних людей?

Бражников виииовато промолчал, а Мамочкии, узиав об этом разговоре, развел руками.

— Что за человек! Все о немцах думает — и больше ни о чем! Все схемы немецкой обороны рисует, над картой сидит и по переднему краю целыми диями рыщет...

Что касается Кати, то она вначале была обескуражеиа замкнутостью и юношеской застенчивостью Травкина. Нет, к такому отношеиию к себе она не привыкла. Она привыкла быть всегда желаниой, хотя и зиала, что причиной этого легкого успеха были вовсе не ее достоинства, а скорее то, что мужчин здесь много, а женщииы считанные.

Потом она вдруг почувствовала себя вдвойне счастливой: ее любимый был не обычный человек, нет, он суровый, гордый и чистый. Таким он и должен быть. Она непривычно робела в его присутствии, сама удивляясь своей робости. Она ли это, считавшая себя опытной маленькой грешницей? Поцелуй и объятия, полученные и возвращенные вскользь, в суматохе походного быта, из-за мимолетной симпатии или просто от скуки — и это она называла жизнью!

Она вспоминала об этом как о чем-то некрасивом, но уже давно прошедшем.

Каждый день приходила она в овин с цветами и веточками пушистой вербы. Но не в цветах было дело: она приносила с собой благоухание милой женственности, по которой тосковали одинокие сердца бойцов. Разведчики даже порицали своего командира за равнодушие к девушке, хотя одновременно и гордились его неприступностью.

Приехавший в дивизию начальник разведотдела армии полковник Семеркин застал Катю в момент, когда она ставила свежие цветы в синюю вазочку. Полковник зашел в овин посмотреть, как живут разведчики, но там никого не оказалось, кроме повара, дневального и этой девушки.

— Вы кто такая? — спросил полковник.

— Радист младший сержант Симакова,— отрапортовала она.

— А я думал, что вы тут цветами торгуете,— пробормотал желчный полковник и вышел.

Затем он долго беседовал с командиром дивизии. Они вежливо, но основательно поспорили.

— Вы ничего не знаете о противостоящем противнике,— упрекал командира дивизии полковник Семеркин.— Разве у вас есть ясное представление о его группировке и замыслах?

Полковник Сербиченко, стараясь сдерживать себя, отшучивался:

— А откуда я могу знать? Командир дивизии иногда не знает, что у него самого в войсках творится. Откуда же ему знать, что делает противник? Вот послал я разведчиков в поиск, а они не вернулись. Для вас семь человек — это так, мелочь. Вы — армия. А я человек маленький, для меня гибель семи — большая, очень большая потеря. Разведчиков у меня повыбило в боях.

— Это верно,— возражал полковник Семеркин.— А вы посмотрите, что у вас в разведке делается. Прихожу к ним

в овине — никого нет. Дневальный и не знает, где они. Правда, девица там с цветами ходит. Какая идиллия! А следователь вашей прокуратуры только что мне сказал, что к нему поступила серьезная жалоба на ваших разведчиков. Да, товарищ полковник, вы не знаете, а я узнал. Жалоба какого-то села. Вот вам и причина плохой работы разведки.

Полковник Сербиченко велел вызвать следователя.

Незаметный, спокойный, чуть рябой, с большим выпуклым лысым черепом, вскоре явился следователь прокуратуры капитан Еськин.

Следователь подробно рассказал о жалобе жителей недальнего села на то, что разведчики забрали у них — самовольно! — тринадцать лошадей, из которых вернули только одиннадцать. К заявлению приложена расписка с неразборчивой подписью.

— А почему вы думаете, что это сделали именно наши разведчики?

Следователь, не робея под грозным взглядом комдива, ответил:

— Это еще точно не установлено.

— Так установите точно, потом доложите. Можете идти.

Следователь вышел, а комдив устало сказал полковнику Семеркину:

— Что ж, группу в тыл мы пошлем. А вы постарайтесь пополнить нас разведчиками.

Когда все разошлись, полковник Сербиченко тоже вышел из избы, на ходу бросив вскочившему в прихожей ординарцу:

— Скоро приду.

Полковник пошел по направлению к лениво вертящейся мельнице и, подойдя к одному из разбросанных здесь овинов, спросил у дневального возле входа:

— Разведчики?

— Так точно, товарищ полковник, — ответил дневальный и громко крикнул в полутемный овин: — Встать! Смирно!

Овин зашевелился и замер. Комдив пытливо осмотрелся. В сумерках овина стояло человек восемь разведчиков руки по швам. Один из углов был отгорожен плащ-палаткой. Комдив молча подошел к этому углу, приподнял плащпалатку и увидел там Катю, тоже стоявшую «смирно». На столике лежали книжки и тетрадки, в синей вазочке стояли цветы.

Сердитый взгляд комдива чуть смягчился. Он внимательно посмотрел на Катю и спросил:

— Ты что тут делаешь? — Затем, обращаясь к подбежавшему с рапортом дежурному сержанту, осведомился: — Где ваш командир?

— Лейтенант на передовой.

— Когда придет, пришли его ко мне.

Он направился к выходу, потом оглянулся:

— Побудешь здесь, Катя, или со мной пойдешь?

— Я пойду,— сказала Катя.

Они вышли вдвоем.

— Ты чего застеснялась? — спросил комдив.— Ничего плохого тут нет. Травкин — парень хороший, разведчик смелый.

Она промолчала.

— Что? Влюбилась? Хорошо! А капитан Барашкин как? В отставку?

— То — ничего,— сказала она,— то было просто так, глупость...

Полковник заворчал, потом, внимательно поглядев на опущенные ресницы девушки, вдруг спросил:

— А он, Травкин, что? Рад? Девка хоть куда, да еще цветы приносит?

Она ничего не ответила, и он понял.

— Что? Не любит?

Его умилила старинная трагедия неразделенной любви в образе этой пичужки с погонами младшего сержанта. Здесь, в самом пекле войны, затрепетала молодая любовь, как птичка над крокодильей пастью. Полковник усмехнулся.

Они встретили военфельдшера Улыбышеву, и комдив пригласил ее с Катей к себе пить чай.

Придя в избу полковника, Улыбышева с Катей принялись хозяйничать при помощи ординарца — вскипятили самовар и сели за стол, весело болтая о всякой всячине.

Через некоторое время пришел Травкин.

— Садись,— сказал комдив.

Катя заволновалась, боясь, что полковник станет подшучивать над ее чувствами к Травкину, но он не проронил об этом ни слова. Разговор шел о каких-то лошадях, а Катя робко смотрела на лейтенанта, на его молодое серьезное лицо, слушала его ясные, четкие ответы комдиву, хотя и не вникала в их смысл. И ей стало нестерпимо горько.

«Ну какая я ему пара? — думала она.— Он такой умный, серьезный, сестра у него скрипачка, и сам он будет ученым. А я? Девчонка, такая же, как тысячи других».

Травкин ни в малейшей степени не догадывался об

истииных чувствах этой девушки. Оиа вызывала в ием досаду и иедоумеиие. Ее иеожидаииые появлеиия в овиие, иепрошеиые заботы о его удобствах — все это казалось ему чем-то иеприличиым, иавязчивым и глупым. Ои стыдился своих разведчиков, которые при ее появлеиии миогозиачительио переглядывались, иеуклюже стараясь оставлять его с ией иаедиие.

Теперь ои крайие удивился, увидя ее в комиате комаидира дивизии, да еще за самоваром. И когда комдив заговорил об истории с лошадьми, Травкии сиачала подумал, что это Катя, узиав о лошадях из разговоров разведчиков, иасплетиичала комдиву.

Ои вкратце объясиил полковиику, как было дело, и перед комдивом вдруг воскресли дии иаступлеиия, беспрестаииые марши, короткие схватки и тот мартовский полдеиь, когда ои, полковиик, стоя посреди разбитой дороги, так иасмешливо упрекал разведчиков. Из зелеиовато-серых глаз комдива иа Травкииа гляиул одобряющий прищуреииый взгляд разведчика прошлой войиы уитер-офицера Сербичеико.

— Молодец, Травкии.

Полковиик спросил:

— А точио ты вериул всех лошадей крестьяиам?

Травкии утвердительио ответил:

— Точио.

В дверь постучали, и иа пороге показался капитаи Барашкии.

— Тебе чего? — иедовольио спросил Сербичеико.

— Вы меия ие вызывали, товарищ полковиик?

— Вызывал часа три иазад. Говорил с тобой Семеркии?

— Говорил, товарищ полковиик.

— Ну и что?

— Пошлем группу в тыл противиика.

— Кто пойдет старшим?

— Да вои ои, Травкии,— со скрытым злорадством ответил Барашкии.

Но ои ошибся в расчете. Травкии и глазом ие моргиул. Улыбышева спокойио разливала чай, не зиая, в чем дело, а Катя совершеиио ие поияла, что произиесеииые слова иаходились в прямой связи с судьбой ее любви.

Едииствеииый, кто поиял выражеиие глаз Барашкииа, был командир дивизии, ио ои ие имел осиоваиий ие соглашаться с Барашкииым. Действительио, лучшей каидида-

турой для руководства этой необычайио трудной операцней был Травкнн.

— Хорошо,— сказал комдив н отпустнл Барашкнна.

Поднялся вскоре н Травкни.

— Ну что ж, идн,— напутствовал его полковиик.— Готовься смотрн, дело серьезное.

— Есть,— сказал Травкнн н вышел из избы.

Прислушиваясь к удаляющимся шагам разведчика, полковиик невесело сказал:

— Хорош парень.

После ухода Травкнна Кате не снделось. Вскоре она попрощалась и вышла. Была теплая лунная иочь, и тишниа, глубокая, полиая, лесная, лншь изредка прерывалась дальними разрывамн нли тарахтеньем одинокого грузовика.

Оиа была счастлнва. Ей казалось, что Травкнн смотрел иа иее сегодня ласковей, чем всегда. И ей думалось, что всесильный командир днвнзии, который отиосится к ней так доброжелательно, конечио, сможет убеднть Травкина в том, что она, Катя, не такая уж плохая девушка н что у иее есть достоинства, которые можио ценнть. И она в этой лунной ночн всюду нскала своего любимого н шептала старые слова, почтн такне же, как в Песнн Песней, хотя оиа ннкогда не чнтала и не слышала их.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Здравствуйте, товарищ лейтеиант, пишу вам я, Иван Васнльевич Аннканов, ваш разведчик, сержант н командир первого отделення. Могу вам сообщнть, что живу хорошо, чего и вам желаю от всей душн. В госпнтале мне вырезалн пулю, каковая находнлась в мягкнх тканях ногн. И нз госпиталя попал я в запасный полк. Тут сперва плоховато было, потому что кормят похуже, чем на фроите, а я покушать люблю и к фроитовому пайку слишком прнвык. И приходилось целый день нзучать воеииое дело н устав, все сиачала, а также бегать, крнчать «ура», немцев же, коиечно, нет, а стрелять — патроиов не дают. И вот еще беда. Отобралн у меня мой пнстолет «вальтер», что я отобрал, еслн помнните, у того немецкого капитаиа с черной повязкой на глазу. Ходил я жаловаться к здешнему комбату, но тот сказал, что сержанту пнстолет не положен. А что я не просто сержант, а разведчнк, н таких пистолетов у меия перебывало, может, две сотии, ои об этом н знать

не хочет. Потом перевели меня в подсобное хозяйство, и вот тут мне живется, как зажиточному колхознику. У меня все есть — и сметана, и масло, и овощи всякие. Тем более я тут заместо главного, как бывший председатель колхоза. Значит, мы все пашем и сеем. И по вечерам, покушав и запивши молочком, лежу я на перине, а хозяйкин муж, между прочим, пропал еще по первому году, она так и ходит вокруг. И думаю я про вас, товарищ лейтенант Травкин, и про товарищей моих в моем взводе, вспоминаю наши боевые дела, а главное — мучения ваши и как вы бьетесь за нашу великую родину, и сердце обливается кровью. И прошу вас, товарищ лейтенант, поговорить с тов. Сербиченко, может, он пошлет на меня требование, чтоб отпустили меня к вам. Не могу я здесь без вас, потому, товарищ Травкин, совестно, что не довел до конца эту войну вместе с вами, а живу, как зажиточный колхозник, и вроде вы меня защищаете от немца. С приветом к вам и ко всему вашему славному взводу.

Иван Васильевич Аниканов».

В который раз перечитав это письмо, Травкин растроганно улыбнулся и снова вспомнил, каков был Аниканов и как хорошо было бы иметь его сейчас здесь, у себя. Чуть ли не с пренебрежением всматривался он в лица спящих разведчиков, сравнивая их с отсутствующим Аникановым.

«Нет,— думал Травкин,— эти все не такие, как он. Нет в них той спокойной отваги, неторопливости и ясного ума. В Аниканове я был всегда уверен. Он не знал, что такое паника. Мамочкин смел, но безрассуден и корыстен. Быков рассудителен, но слишком. Бывают острые моменты, когда рассудительность не лучше трусости. Бражников недостаточно самостоятелен, хотя есть в нем и хорошие задатки. Голубь, Семенов и другие — еще не разведчики пока. Марченко — тот был человек, золотой человек, но он, очевидно, погиб и не вернется больше».

Одолеваемый этими горькими мыслями, не совсем, впрочем, справедливыми и навеянными взволновавшим его письмом Аниканова, Травкин вышел из овина в холодный рассвет. Он побрел к тому яру, который был им облюбован для тактических занятий с разведчиками.

Это место довольно точно воспроизводило подлинный передний край. Яр пересекался широким ручьем, над которым свесились уже позеленевшие плакучие ивы. Неглубокая траншея, вырытая разведчиками специально для занятий,

и два ряда колючей проволоки обозначали передний край «противника».

На этом «театре» Травкин теперь еженощно проводил занятия. Со свойственным ему упорством он гонял разведчиков через студеный ручей вброд, заставлял их резать проволоку, щупать длинными саперными щупами невсамделишные минные поля и прыгать через траншею. Вчера он придумал новую игру. Посадив нескольких разведчиков в траншею, он заставлял остальных подползать к ним как можно тише, чтобы приучить людей к бесшумному движению. Сам он тоже сел в траншею и прислушивался к ночным звукам, но мысли его были не здесь, а на подлинном переднем крае, где немцы успели возвести мощную систему инженерных заграждений, которые ему придется вскоре преодолевать.

К тому же взвод получил пополнение — десять новых разведчиков,— так что Травкину приходилось, кроме специальных занятий с отобранными им для операции людьми, заниматься и с остальными, да еще ежедневно наблюдать за противником на переднем крае, изучая его режим и поведение.

В результате этого беспрерывного тяжелого труда он стал очень раздражителен. Ранее склонный прощать разведчикам мелкие грешки, он теперь наказывал их за малейшую провинность. В первую голову досталось Мамочкину. Травкин строго спросил его, где он добывает всякую снедь. Мамочкин что-то пробормотал про добровольные даяния крестьян, и Травкин посадил его под арест на трое суток, сказав:

— Пусть местное крестьянство отдохнет от тебя хоть три дня.

Катю он вежливо, но твердо попросил пока,— он так и сказал: пока,— посещения овина прекратить. Правда, он испытал некоторую неловкость, когда встретил ее испуганный взгляд, хотел было вернуть ее, но сдержался.

Но больней всего другого его уязвил небывалый случай с новичком Феоктистовым, высоким красивым парнем откуда-то из-под Казани.

В то утро шел дождь, и Травкин решил дать отдых разведчикам. Он вышел из овина и направился к блиндажу Барашкина, где переводчик Левин давал ему уроки немецкого языка. В кустарнике возле мельницы он увидел Феоктистова. Высокий, ладно скроенный Феоктистов лежал на траве, голый по пояс, под проливным дождем. Травкин

удивлеиио спросил, что это зиачит. Феоктистов, вскочив, смущенио ответил:

— Прииимаю, товарищ лейтеиаит, холодиые ваииы... Так я и дома делал.

Но этой же иочью, во время заиятий по бесшумиому ползаиью, Феоктистов сильио закашлялся. Сиачала Травкии ие обратил виимаиия иа это, ио затем, когда Феоктистов раскашлялся сиова, лейтеиаит все поиял. Феоктистов иарочио старался простудиться. Из рассказов старых разведчиков ои, коиечио, зиал, что человека, страдающего кашлем, иа задаиие ие возьмут, так как кашель может выдать всю группу иемцам.

Травкии иикогда в своей короткой жизии ие испытывал такого срашиого приступа ярости. Ему стоило большого усилия воли ие пристрелить этого высокого, красивого, испугаииого мерзавца тут же при луииом свете, иа глазах у иедоумевающих разведчиков.

— Так вот что за холодиые ваииы, подлый трус!

На следующий деиь Феоктистова отчислили.

Вспомиив этот случай, Травкии и теперь ие мог избавиться от чувства гадливости.

Всходило солице, и иадо было идти иа передиий край. Взяв двух разведчиков, ои отправился в обычиый путь, к реке.

Чем ближе к передиему краю, тем иапряжеииее и сдавлеииее воздух, словио это атмосфера ие Земли, а какой-то иеизмеримо большей иеведомой плаиеты. Мощиые всплески пулеметиого огия, оглушительиое кряхтеиье мииометиых разрывов, а затем иедобрая тишииа, чреватая иовыми возможиостями виезапиой смерти. Гуськом, в зелеиых халатах, мимо разбитых сиарядами деревьев, мимо позиций артиллерии, разведчики подходили все ближе и ближе к войие.

В траншеях второго батальоиа Травкииа встретил Мамочкии. После гауптвахты Травкии прислал его сюда для постояииого пребывания старшим иа иаблюдательиом пуикте — «поближе к иемцам, подальше от кур». Лихо пристукиув каблуками, Мамочкии передал ему схему иаблюдеиия и записи о поведеиии противиика за прошедшие сутки.

Из пулеметиого дзота Травкии иаблюдал в стереотрубу иемецкий передиий край. В его дзот обычио заходили комаидир батальоиа капитан Муштаков и артиллерист капитаи Гуревич. Оии зиали о предстоящей задаче Травкииа,

и он не без досады читал в их глазах какое-то извиняющееся выражение: тебе, мол, идти *туда*, а мы вот спокойно сидим в защищенных накатами блиндажах.

Даже их предупредительность, постоянная готовность помочь ему раздражали его. Он внутренне протестовал против их мыслей, похожих на смертный приговор ему. Он усмехался, глядя в стереотрубу, и думал: «Подождите, друзья, еще вас переживу».

Не то, чтобы он желал им зла, наоборот, оба они были ему глубоко симпатичны. Муштаков был лучшим комбатом в дивизии — молодой, красивый. Особенно нравился Травкину всегда вежливый и опрятный при всех обстоятельствах артиллерист с его выдающимися математическими способностями. Его батарея стреляла исключительно метко и наводила страх на немцев. Гуревич целыми днями слонялся по траншее, неотступно, с постоянством ненависти наблюдая за немцами, и всегда снабжал Травкина ценнейшими данными. В Гуревиче он угадывал свойственный и ему, Травкину, фанатизм при исполнении долга. Не думать о своей выгоде, а только о своем деле,— так был воспитан Травкин и так же был воспитан Гуревич. Они и называли друг друга «земляками», ибо они были из одной страны,— страны верящих в свое дело и готовых отдать за него жизнь.

Травкин пристально смотрел на немецкие траншеи и проволочные заграждения, мысленно фиксируя малейшие неровности почвы, направление огня немецких пулеметов, редкое движение немцев по ходам сообщения.

С чувством, похожим на подлинную зависть, смотрел он на черных грачей, безнаказанно перелетавших с нашего переднего края на немецкий и обратно. Для них эти грозные препятствия не существовали. Вот кто мог рассказать обо всем, что творится на немецкой стороне! Он мечтал о говорящем граче, граче-разведчике, и, если бы сам мог превратиться в такого, с радостью простился бы со своим человеческим обличьем.

Насмотревшись до одури и сделав необходимые заметки, Травкин оставил для наблюдения разведчиков, а сам ушел в блиндаж Муштакова.

Здесь собрались молодые командиры взводов, только что окончившие где-то в тылу военные училища и прибывшие на фронт. Это были младшие лейтенанты, одетые во все новое, обутые в кирзовые сапоги с широченными голенищами.

Они встретили его уважительным молчанием, прервав шумный разговор. Сев за столик, Травкин чувствовал на себе любопытные взгляды молодых офицеров и думал о них.

Жизненная задача этих молодых людей часто оказывается необычайно краткой. Они растут, учатся, надеются, испытывают обычные горести и радости, порой для того, чтобы в одно туманное утро, успев только поднять своих людей в атаку, пасть на влажную землю и не встать более. Иногда бойцы даже не могут помянуть их добрым словом: знакомство было слишком кратковременным и черты характера остались неизвестными. Какое под этой гимнастеркой билось сердце? Что творилось за этим юным лбом? Травкин, будучи примерно одних лет с ними, чувствовал себя гораздо старше. Ему приятно было сознавать, что он немало уже сделал. Погибни он, бойцы будут горевать, его помянет даже командир дивизии. «И эта девушка,— подумал он вдруг,— эта Катя».

Так он,— сам, быть может, накануне собственной гибели,— с чувством превосходства и снисходительной жалости наблюдал за молодыми лейтенантами.

Один из них, юноша с большими голубыми глазами, восторженно глядевшими на Травкина, особенно понравился ему. Встретив взгляд Травкина, он робко сказал:

— Возьмите меня с собой. Я с удовольствием пойду в разведку.

Так он и сказал: «с удовольствием». Травкин улыбнулся.

— Ладно, я попрошу начальника штаба дивизии, чтобы вас пустили со мной. У меня людей маловато.

Придя в штаб дивизии, он действительно обратился к подполковнику Галиеву с этой просьбой. Галиев согласился и велел позвонить об этом в полк.

Так в овине поселился младший лейтенант Мещерский — стройный, голубоглазый, двадцатилетний мальчик в широченных кирзовых сапогах. В его чемоданчике лежало несколько книг, и в свободное от занятий время он нараспев читал разведчикам стихи, а они, сидя в полумраке овина, с серьезными лицами вслушивались в складные, округлые слова, удивляясь искусству поэта и вдохновенному румянцу Мещерского.

Когда не было Травкина, в овин приходила Катя. Мещерский встречал ее приветливо, здороваясь за руку и вежливо приглашал садиться. Это нравилось разведчикам и

немного смешило их, отвыкших от такого вежливого обращения.

Как-то раз Мещерский сказал Травкину:

— Замечательная девушка эта связистка.

— Какая?

— Катя Симакова. Она часто приходит сюда.

Травкин промолчал.

— Вы разве не знаете ее? — спросил Мещерский.

— Знаю. А чем она замечательна, по-вашему?

— Добрая она. Разведчикам стирает, они ей письма из дому читают, делятся с ней своими новостями. Когда она приходит, все очень довольны. Поет красиво.

В другой раз Мещерский с обычной своей восторженностью сказал:

— Да она же вас любит! Честное слово, любит! Неужели вы не замечали? Это же так ясно... Как это хорошо! Я очень рад за вас.

Травкин натянуто улыбнулся.

— Вы почему это знаете? Она вам сказала, что ли?

— Нет, зачем... Я и сам заметил. Замечательная девушка, я вам говорю.

— Да она любого полюбит,— сказал Травкин грубо. Мещерский болезненно сморщился и даже руками замахал:

— Что вы, что вы... Как вы можете так думать? Неправда.

— Пора на ночные занятия,— прервал Травкин этот разговор.

Мещерский занимался ревностно, находя во всем, что делал, почти детское удовольствие. Он ползал до изнеможения, храбро лез в студеный ручей и целыми ночами готов был слушать бесконечные рассказы о боевых делах взвода.

Мещерский все больше нравился Травкину, и он, одобрительно глядя на голубоглазого юношу, думал:

«Это будет орел...»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Значит, завтра ночью выступаем. Дай бог, чтобы ночь была темная,— это для разведчика главней всего,— разглагольствовал Мамочкин, рисуясь перед молодыми разведчиками.

Он порядочно выпил. Ввиду предстоящей операции он

был отпущен Травкиным с переднего края отдыхать и сразу пошел к «своему» старику вдовцу. Он принес в овин крынку с медом, бутыль самогона, консервную банку с маслом, яйца и килограмма три вареной свиной колбасы. На робкие возражения старика по поводу размеров требуемой дани Мамочкин с некоторой грустью отвечал:

— Ничего, старик. Не исключена возможность, что я никогда больше не приду к тебе. Попаду же я, конечно, в рай. А там твою бабку встречу, расскажу, какой ты добрый человек. Ты лучше не спорь, я с тебя, может, последний взнос получаю...

В связи с особыми обстоятельствами Мамочкин решил даже рассекретить свою «базу». Он взял с собою Быкова и Семенова и, нагрузив их продуктами, самодовольно улыбался, ежеминутно спрашивая:

— Ну, как?

Семенов восхищался непостижимой, почти колдовской удачливостью Мамочкина:

— Вот здорово! Как ты это так?..

Быков же, догадываясь о том, что тут дело нечисто, говорил:

— Гляди, Мамочкин, лейтенант узнает.

Проходя мимо старикова поля, Мамочкин покосился на «своих» лошадей, запряженных в плуг и борону. За лошадьми шли сын старика, сутулый молчаливый идиот, и сноха, красивая высокая баба.

Мамочкин обратил внимание на большую гнедую кобылу с белым пятном на лбу. Он вспомнил, что эта лошадь принадлежала той странной старухе, у которой взвод останавливался на отдых.

«Ну и ругается та божья старушка!» — промелькнуло в голове у Мамочкина, и он испытал даже нечто похожее на угрызение совести. Но теперь все это было уже не важно. Впереди — задание, и кто его знает, чем оно кончится.

Придя в овин, Мамочкин увидел Травкина, который сидел у старой молотилки с карандашом в руке, собираясь писать письма матери и сестре. Мамочкин вдруг побледнел и тихо подошел к лейтенанту. В глазах Мамочкина появилась необычная робость. Травкин с удивлением посмотрел на него.

— Товарищ лейтенант,— сказал Мамочкин,— а как рация? Будет с нами рация?

— Будет. Бражников пошел за ней.

— А радист?

— Я сам буду передавать радиограммы. Радиста брать не стоит. Еще трус попадется или вообще неумелый солдат. Нет, мы сами обойдемся, я в радио понимаю немного.

— Ага...

Мамочкину явно не о чем было больше говорить, но он не уходил.

— Товарищ лейтенант,— промямлил он,— хотите свиной колбаски?

Он рассчитывал, что Травкин накинется на него: снова, мол, крестьян грабишь... Но Травкин коротко поблагодарил, отказался и снова принялся за письмо. Тогда Мамочкин решился. Внезапно дрогнувшим голосом он сказал:

— Товарищ лейтенант, не пишите письмо.

Травкин удивленно спросил:

— Что с тобой?

Мамочкин ответил скороговоркой:

— Вот так же, на молотилке, писал Марченко перед уходом. Это плохая примета. У нас на море рыбаки приметам верят... и, честное слово, правильно делают.

Травкин насмешливо, но мягко сказал:

— Брось, Мамочкин, эти бабьи сказки.

Когда Мамочкин отошел, Травкин снова взялся за карандаш, но тут его взгляд вдруг упал на темную кучу соломы неподалеку от выхода. У изголовья этой военной постели лежал небольшой, потемневший от времени, пота и непогоды вещевой мешок. То была постель Марченко.

Травкин так и не дописал письмо. Пришел Бражников, неся маленькую рацию. Вслед за ним явились начальник связи дивизии майор Лихачев, Катя и два других радиста. Лихачев еще раз объяснил Травкину правила пользования кодированной картой и таблицей:

— Гляди, Травкин. Танки противника обозначаются цифрой 49, пехота — цифрой 21, а карта расчерчена на квадраты. Вот, например, нужно сообщить, что танки вот в этом районе. Ты передаешь: 49 квадрат Бык четыре. Если пехота, значит: 21 Бык четыре и так далее.

Они устроили последнее тренировочное занятие. Позывная разведгруппы была окончательно установлена: «Звезда», позывная дивизии — «Земля».

В тишине овина раздались странные слова, полные таинственного значения. Разведчики, стоявшие молча вокруг Лихачева и Травкина, с невольным трепетом прислушивались к этому разговору.

— «Земля», «Земля». Слушай «Звезду». Говорит «Звезда». 21 Буйвол три. 21 Буйвол три. Прием.

И Лихачев, тоже взволнованный, замогильным голосом отвечал:

— «Звезда», «Звезда». «Земля» у аппарата. Правильно ли я понял? Повторяю: 21 Буйвол три. Прием.

— «Земля», у аппарата «Звезда». Понял правильно. Дальше, 49 Тигр два.

Под темными сводами овина раздавался таинственный межпланетный разговор, и люди чувствовали себя словно затерянными в мировом пространстве. А ласточки, вьющие гнезда под крышей овина, весело шелестели крыльями, ведя свой семейный беззаботный разговор.

Напоследок Лихачев крепко пожал руку Травкина и спросил:

— Может, возьмешь все-таки с собой радиста? Ребята у меня хорошие и просятся в разведку. Сегодня я даже получил,— он улыбнулся немного сконфуженно,— докладную от младшего сержанта Симаковой,— она с тобой хочет идти.

Травкин нахмурился и сказал:

— Да что вы, товарищ майор, не нужно мне радиста. Не на прогулку идем.

Катя, услышав такой оскорбительный отказ в ответ на свою горячую просьбу, выбежала из овина. Она была глубоко уязвлена презрительными словами Травкина.

«Какой грубый, нехороший человек! — думала она о Травкине, и раздражение накипало в ней.— Только дура может полюбить такого...»

Проходя мимо блиндажа капитана Барашкина, она замедлила шаги. «Вот возьму назло и зайду». Она с внезапной приязнью вспомнила неотступные слащавые ухаживания Барашкина, его предупредительность, дрожащий тенорок и страшно обычные, но всегда приятные для одинокого сердца любовные объяснения. Даже его толстую тетрадь с выписанными в ней стишками и песнями она вспомнила теперь с теплым чувством. В Барашкине все было обычно, просто и ясно, и это казалось ей теперь именно тем самым, что нужно человеку для счастья.

Она зашла. Барашкин встретил ее немного удивленной, но довольной улыбкой. Он смутно подумал о том, что вот Травкин уходит, и она, хитрая бабенка, решила пока хоть его, Барашкина, не упустить. Появилась и барашкинская заветная тетрадка — тут были и песенки из кинофильмов, и

разные чувствительные романсы. Впрочем, Кате не пелось сегодня.

Барашкин всячески старался выжить из блиндажа переводчика Левина. Но когда Левин ушел и Барашкин, сладко улыбаясь, дрожащими руками обнял Катю, ей вдруг стало невыносимо противно, и, оттолкнув его, она выбежала из блиндажа в шумящий лес. Нет, это «обычное» уже было ей чуждо и отвратительно. Глаза ее были полны слез.

Травкин между тем имел весьма неприятный разговор.

Спокойный, незаметный, чуть рябой, зашел в овин следователь прокуратуры капитан Еськин. Это уже был не межпланетный разговор. Следователь уселся с Травкиным за плащ-палатками и стал подробно расспрашивать его: как и когда лошади были взяты, на каком основании взяты, когда и при каких обстоятельствах отосланы обратно и почему не получена назад расписка...

Травкин угрюмо, но обстоятельно рассказал, как было дело. Когда речь зашла о расписке, он на минуту задумался, вспоминая. Ах да, двух лошадей, задержанных еще на сутки, отводил Мамочкин.

Он вызвал Мамочкина, но того в овине не оказалось. Следователь сказал, что придет позднее. Перед уходом он как бы невзначай оглядел овин, увидел белую скатерть, покрывающую постель Мамочкина в отличие от других постелей, покрытых плащ-палатками, ничего не сказал, ушел.

Когда Мамочкин появился в овине, Травкин вызвал его к себе, но в последний момент, пораздумав, ничего не спросил о лошадях: ведь Мамочкин должен был идти с ним выполнять задачу. Лейтенант спросил только, где пропадал Мамочкин последние два часа. Тот ответил, что у саперов. На этом разговор кончился.

Травкин вместе с Мещерским пошел в гости к Бугоркову. По дороге Мещерский, чем-то обеспокоенный, вдруг сказал:

— Травкин, как хотите, я пойду позову Катю. Вы не видели, а я видел. Мне очень ее жалко. Она ушла в ужасном состоянии. Ах, Травкин, вы напрасно обидели ее!

Он пришел в блиндаж к Бугоркову, ведя за руку совсем оробевшую Катю.

Она заметила виноватый взгляд Травкина, и это переполнило ее самыми радужными надеждами. Для Травкина вечер окончился неожиданным счастливым событием.

Оживленную беседу прервал запыхавшийся Бражников,

вбежавший в блиндаж. Его глаза блестели, он забыл надеть пилотку, и прямые льняные волосы падали ему на лоб.

— Товарищ лейтенант, вас зовут! Идемте скорее, там увидите.

Возле овина была радостная суета. Разведчики бросились к Травкину, крича:

— Смотрите, кто приехал!

Травкин остановился. Широко улыбаясь, поблескивая мудрыми глазками, к нему шел Аниканов. Не решаясь обнять лейтенанта, он затоптался на месте:

— Вот, значит, товарищ лейтенант, приехал.

Ошеломленный, смотрел Травкин на Аниканова. Сказать он ничего не мог. Он вдруг ощутил огромное чувство облегчения. И в это мгновение он по-настоящему понял, в какой бездне сомнений и неуверенности находился последние недели.

— Как же ты? Совсем или проездом в другую часть? — спросил он, когда они наконец уселись за столик.

Аниканов ответил:

— Направление у меня в другую часть, да я от поезда отстал: дай, думаю, погляжу на свой взвод и на своего лейтенанта. Мне солдат один проезжий из нашей дивизии сказал, что вы здесь по-прежнему.— Он помолчал, потом закончил, улыбнувшись: — А там видно будет.

Аниканову поднесли водки и закусить. Травкин с наслаждением смотрел, как он медленно ест — с чувством, но без жадности, с милой сердцу деревенской учтивостью. Так же медленно рассказал он, как, закончив посевную в подсобном хозяйстве запасного полка, попросился на фронт, и вот его и послали с маршевой ротой.

— Значит, идете к немцу в тыл? — переспросил он лейтенанта.— А кто с вами?

— Вот младший лейтенант Мещерский, Мамочкин, Бражников, Быков, Семенов и Голубь.

— А Марченко, Марченко-то где?

Он осекся, увидя потемневшие лица окружающих. Узнав, в чем дело, он осторожно отодвинул тарелку, закрутил цигарку и сказал:

— Что ж... вечная ему память.

Замолчали. И тогда Травкин, исподлобья оглядев Аниканова, спросил:

— А ты как? Пойдешь со мной или по своему направлению в часть?

Аниканов ответил не сразу. Ни на кого не глядя, но

чувствуя, что окружающие его люди с напряжением ожидают ответа, он сказал:

— Думаю с вами пойти, товарищ лейтенант. Придется тогда в мою часть написать, что не дезертир, дескать, сержант Аниканов. В общем, написать все, что нужно.

Мамочкин, стоя в дверях овина, слушал разговор со смешанным чувством восхищения и зависти. Так мог только Аниканов, это было ясно. Стоило отдать жизнь за то, чтобы оказаться в этот момент Аникановым.

Аниканов огляделся, увидел плащ-палатки на соломе, зеленые маскхалаты, кучу гранат в углу, висящие на гвоздях автоматы, ножи на поясах бойцов и подумал со вздохом философа и жизнезнавца: вот мы и дома.

Травкин, успокоенный и подобревший, развернул карту, чтобы объяснить Аниканову суть их задачи и план действий, но посыльный из штаба, внезапно появившись в дверях овина, передал ему приказание идти к командиру дивизии. Поручив Мещерскому ввести Аниканова в курс дела, Травкин пошел к полковнику.

В избе комдива было темновато. Полковник Сербиченко хворал и, лежа на койке у окна, слушал доклад начальника штаба.

— Да ты в лаптях! — обратил он прежде всего внимание на необычную обувь Травкина.

— Привыкаю, товарищ полковник. У меня Семенов, рязанец, сплел лапти для моей группы. Бесшумно ходишь, и ногам легко.

Полковник одобрительно заворчал и торжествующе посмотрел на подполковника Галиева: гляди, мол, что за умные ребята эти разведчики!

Полковник Сербиченко уже много раз отправлял людей на рискованные дела, но сегодня ему стало почти жалко этого Травкина. Он подумал о том, что вот полковник Семеркин был прав, но для армейских разведка — просто вид штабной службы со сводками, донесениями, картами обстановки и решением задач крупного масштаба. Для него же кое-что значил и этот человек в лаптях, в зеленом маскхалате, молодой, небритый, похожий на красавца лешего.

Его так и подмывало сказать Травкину то, что обычно говорят отец или мать, отправляя сына на опасное дело. «Берегите себя,— сказал бы он Травкину,— дело делом, а не при на рожон. Будь осторожен, скоро войне конец».

Но он сам был когда-то разведчиком и прекрасно знал,

что такого рода напутствия к добру не приводят,— они расхолаживают даже самых верных своему долгу людей. При выполнении задачи люди многое могут забыть, но этих слов: «береги себя», сказанных старшим начальником, человек никогда не забудет,— а это почти наверняка провал всего дела. И полковник, пожав руку Травкину, сказал только:

— Смотри...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки — у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, разведчик отрешается от житейской суеты, от великого и от малого. Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим начальникам, ни своим воспоминаниям. Он подвязывает к поясу гранаты и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он отказывается от всех человеческих установлений, ставит себя вне закона, полагаясь отныне только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, парторгу — свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего, храня все это только в сердце своем.

Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств — духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль: свою *задачу*.

Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое: человек и смерть.

Выслав вперед своих людей, Травкин в сопровождении Мещерского и Бугоркова пошел к переднему краю. Мещерский имел несчастный вид. Дело в том, что подполковник Галиев, узнав о приезде Аниканова, после короткого размышления решил оставить Мещерского здесь — заместителем Травкина.

— Мало ли что может случиться, а разведчики без офицера остаются,— сказал он комдиву, и тот согласился с ним.

Шагая по лесным просекам, трое офицеров вполголоса разговаривали. Собственно, говорил Бугорков, опечаленный Мещерский слушал, а Травкин глядел вперед отсутствующим взглядом.

— Скорее бы войне конец,— ни с того ни с сего вдруг закончил Бугорков, сбоку глядя на серьезный профиль Травкина.

Травкин молчал. Выходя на задание, он становился особенно молчаливым. Это напускное спокойствие, почти сонливость, стоило ему немалых усилий воли. Отдаваясь судьбе, он как бы выражал всем своим видом: все, что можно было сделать, сделано, а там пусть идет, как идет.

На широком гребне, поросшем молодым ельником, располагались огневые позиции одной из батарей артиллерийского полка. Артиллеристы возились подле вкопанных в землю орудий. Завидев Травкина, они замахали руками и закричали:

— Опять на работу?

— Опять,— скупо ответил Травкин.

В траншее его уже ожидали. Там были капитан Муштаков, капитан Гуревич и командиры двух минометных рот. Аниканов и другие разведчики сидели на корточках в траншее и тихо разговаривали.

Капитан Гуревич уточнил взаимодействие:

— Значит, я делаю артналет по цели номер шесть для отвлечения внимания немцев. Смотрите, Травкин, не уклоняйтесь влево, а то попадете под мои разрывы. Вслед за тем я ударю вместе с минометчиками по цели номер четыре. В случае вашей красной ракеты бью по целям два, три, четыре, пять, семь и прикрываю ваш отход.

— Минометчики пристрелялись? — спросил Травкин.

— Да, все готово,— заверили минометчики.

— Готовы и мои пулеметы на всякий случай,— сказал Муштаков.

Все были заметно взволнованы.

Травкин высунулся за бруствер и прислушался к немецкому переднему краю. Где-то там, далеко, патефон играл фокстрот. Левее то и дело вздымались к небу белые осветительные ракеты.

Он спрыгнул обратно в траншею, повернулся к своим разведчикам и саперам и сказал:

— Слушайте боевой приказ.

Разведчики медленно встали.

— Противник обороняет этот участок силами Сто три-

дцать первой пехотной дивизии. По имеющимся данным, в глубине его обороны происходит перегруппировка. Командир дивизии приказал произвести разведку в тылу противника, выяснить характер этой перегруппировки, наличие резервов и танков противника и сообщить все данные командованию по радио.

Объяснив разведчикам порядок движения и сообщив им, что заместителем своим он назначает Аникanова, Травкин молча кивнул остающимся в траншее офицерам, перелез через бруствер и бесшумно двинулся к берегу реки. Затем то же самое один за другим проделали Бражников, Мамочкин, Голубь, Семенов, Быков и три сапера, выделенных для сопровождения группы. Последним исчез Аниканов.

Оставшиеся в траншее постояли несколько минут неподвижно. Затем Гуревич, вдруг длинно и замысловато выругавшись, попросил Муштакова дать ему водки и действительно выпил, гадливо морщась, полный стакан. Гуревич никогда не ругался и никогда не пил водки. Муштаков удивился, но промолчал.

А Травкин между тем остановился в низком кустарнике у самого берега. Разведчики ждали, но Травкин почему-то медлил. Так они стояли минуты три. Внезапно немецкая белая ракета врезалась в темноту, с шипением распалась на ослепительные кусочки, осыпала молочным светом речушку, а затем погасла так же внезапно. Этого, видимо, и ждал Травкин. Он вошел в темную холодную воду реки. Следом за ним остальные. Быстро пройдя речку, они в тени ее западного берега снова остановились и переждали вспышку очередной ракеты. Затем Травкин пустил вперед саперов, а сам с разведчиками пошел следом.

Миновав ложбинку, оказавшуюся гораздо более обширной, нежели представлялось Травкину при наблюдении, саперы остановились. Тут начинались минные поля.

Щупая землю длинными шестами и прислушиваясь к миноискателю, висевшему на груди у одного из них, саперы медленно пошли вперед.

Снова вспыхнула ракета. Инстинктивный страх прижал разведчиков к земле. Они лежали на высоком ровном месте, и им казалось, что их видит весь мир в этом страшном безжизненном свете ракеты. Но ракета погасла, и всюду была тишина.

Саперы, осторожно действуя руками в темноте, отвинтили взрыватели с нескольких мин. Мощная пулеметная оче-

редь трассирующих пуль пронеслась над головами и умчалась вдаль. Разведчики замерли. Такая же очередь пронеслась левей, сопровождаемая сухим треском. С наших позиций тоже одиноко затарахтел «максимка», и пули его, последний привет от своих, прошелестели где-то справа. Передний сапер увидел в темноте проволоку и обернулся к Травкину, ползущему за ним.

— Давай,— шепнул Травкин. Саперы начали резать проволоку большими ножницами, и тут опять зажглась ракета, а следом за ней снова пронеслась волна быстро мелькающих в кромешной темноте трассирующих пуль.

В свете ракеты Травкин разглядел немецкий бруствер, какие-то бревна, наваленные поблизости, опушку леса за второй траншеей и три ободранных снарядами дерева: его обычный ориентир во время наблюдения. Он несколько уклонился вправо. Компас в наступившей темноте зеленым фосфором показывал азимут.

Вокруг стояла ночная тишина. Однако он знал, как она обманчива и сколько глаз, может быть, следят за тобой в этом мраке. Он даже легонько вздрогнул от прикосновения руки сапера к его плечу. Ага, проволока разрезана. Саперы останутся здесь, чтобы охранять проход на случай, если Травкину и его людям придется отходить. Если же все будет тихо, они могут через полчаса ползти «домой».

Один из них на прощание крепко пожал руку Травкину. Глазами, уже привыкшими к темноте, Травкин внимательно взглянул на него, увидел большие усы и темные добрые впадины глаз. «Меджидов,— узнал его Травкин,— лучший сапер дивизии. Бугорков не поскупился».

Разведчики поползли сквозь прорезанную проволоку и уже почти у самого немецкого бруствера замерли: слева раздались взрывы. Земля тяжело задрожала. Через секунду взрывы раздались справа.

«Гуревич дает»,— подумал Травкин.

Он услышал слева немецкий говор. Аниканов и Бражников уже были в траншее. Говор приближался. Травкин затаил дыхание. Два немца шли по ходу сообщения совсем близко. Один из них что-то ел. Слышалось громкое чавканье. Они повернули в другую сторону. Над бруствером показался Аниканов. Он помог Травкину соскочить вниз.

Все семеро рядышком стояли в немецкой траншее.

Травкин прислушался, затем пошел по ходу сообщения, из которого только что вышли эти два немца. Ход сообщения разветвлялся. На повороте Травкин вдруг почувство-

вал предупреждающую руку идущего впереди Аниканова. Вдоль бруствера шел немец. Разведчики прижались к стенке траншеи. Немец исчез в темноте. Пока все шло хорошо. Только бы им выбраться в лес.

Травкин вылез из хода сообщения и осмотрелся. Он узнал темные очертания домика лесника, виденного им часто в стереотрубу. Возле дома находится пулеметный дзот. Оттуда доносятся голоса о чем-то горячо спорящих немцев. Прямо должна быть дорога в лес. Левее же дороги — бугор с двумя соснами, а слева от бугра — болотистая низина. По этой низине и нужно пройти.

Через час разведчики углубились в лес.

Мещерский с Бугорковым, стоя в траншее, неотрывно вглядывались в тьму. То и дело к ним подходили Муштаков или Гуревич, негромко спрашивая:

— Ну, как?

Нет, красная ракета — сигнал «обнаружены, отходим» — не появлялась. Раза три начинали работать немецкие пулеметы, но это была, по-видимому, обычная стрельба «на бога». Мещерский, Бугорков, оба капитана и дежурящие в траншее молчаливые солдаты пристально вглядывались в реку, в ее западный высокий берег, в камыши, в кустарник, в немецкую проволоку, в немецкий бруствер. Но ничего не было видно особенного, ровным счетом ничего.

— Черт возьми! — восхищенно сказал Муштаков.— Как лешие.

— Прошли, кажется,— облегченно вздохнул Мещерский и вдруг почувствовал, что он весь в поту.

Капитана Муштакова вызвал по телефону штаб полка. Телефонист не без волнения сказал:

— С вами будет говорить шестьсот.

Из ночной дали раздался знакомый всей дивизии глубокий голос полковника Сербиченко:

— Ну, как Травкин?

— Кажется, все в порядке, товарищ шестьсот.

— Значит, у тебя тихо?

— Тихо, товарищ шестьсот.

— Люди Бугоркова еще не вернулись?

— Нет еще, товарищ шестьсот.

Комдив секунду помедлил, потом сказал:

— Что ж, хорошо. Иди спать, Муштаков.

— Есть идти спать.

Потом снова, после некоторого молчания:
— Значит, немец спокоен?
— Тишина.
— Ракеты?
— Да, но не очень часто.
— Постреливает?
— Временами.
— Но не так, чтобы?..
— Нет, нет, товарищ шестьсот. Нормально, как всегда.
Положив трубку, Муштаков сказал:
— Тревожится старик.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Это был холодный и туманный рассвет, полный зябкого птичьего щебетанья.

Вопреки сведениям, имевшимся в дивизии, леса кишели немцами: куда ни глянь — огромные грузовики, еще более огромные автобусы, тяжелые пароконные повозки с высоченными бортами. И повсюду спали немцы. По лесным просекам ходили парные патрули, гортанно разговаривая. Единственной защитой разведчиков была непроглядная тьма, но и она могла предать в любое мгновение. Ночь вспыхивала на миг то спичкой, то карманным фонарем, и Травкин, а вслед за ним и остальные прижимались к земле, горевшей под их ногами. Часа полтора пришлось провести среди груды сваленных деревьев, в колючей елочной хвое. Какой-то немец, шлепая босыми ногами и светя карманным фонарем, вплотную подошел к Травкину. Свет фонаря был направлен чуть ли не в самое лицо Травкина, но заспанный немец ничего не заметил. Он сел оправляться, кряхтя и вздыхая.

Мамочкин взялся за нож. Травкин не увидел, но почувствовал это молниеносное движение Мамочкина и перехватил его руку.

Немец ушел. Уходя, он осветил фонариком кусок леса, и Травкин, приподнявшись, успел выбрать путь среди деревьев, где немцев, кажется, было меньше.

Нужно поскорей выбраться из этого леса.

Километра полтора ползли они чуть ли не по спящим немцам. На ходу выработалась определенная тактика. Как только поблизости показывался патруль или просто бредущие по своим делам солдаты, разведчики ложились на землю. Их даже два раза освещали фонарем, но принимали,

как Травкнн и предполагал, за своих. Так онн, ползая, притворяясь спящими немцами и сиова ползая, выбрались из леса, н иа опушке их застал этот тумаиный рассвет.

Тут случнлось иечто страшное. Они буквально напоролись на трех немцев, на трех иеспавшнх немцев. Этн трое полулежалн на грузовой автомашине и, кутаясь в одеяла, разговарнвалн между собой. Одии нз них, случайио бросив взгляд на ближнюю опушку, остолбенел. По тропе, совершенно бесшумно н не глядя по сторонам, какой-то странной печальной чередой шлн семь необычно одетых людей — не людей, а семь теней в зеленых балахоиах, со смертельно серьезными, до жутн бледнымн, почти зеленымн лицами.

Нездешний вид этнх зеленых теней, а может быть, иеясные очертання нх фнгур в утреинем тумане произвелн на немца впечатление чего-то нереального, колдовского. Ои сразу даже не подумал о русскнх, не связал это вндение с мыслью о противнике.

— Grüne Gespenster,— нспуганно пробормотал ои,— зеленые прнзракн...

Еслн бы Травкин илн кто-иибудь нз его людей сделалн хоть малейшее движение удивления илн нспуга, хоть малейшую попытку к нападенню нли защнте, немцы, вероятно, поднялн бы тревогу, н эта туманиая лесиая опушка превратнлась бы в арену короткой н кровавой схватки, где все преимущества былн на стороне многочнсленных врагов. Спасло Травкина его хладнокровие. Он моментально рассудил, что, пока его вндят только трн немца, ему нет ннкакого расчета первому лезть в драку, а достнгнув блнжайшей рощн, где немцев, быть может, нет, он имеет шанс спастнсь даже в том случае, если эти трое подинмут запоздалую тревогу. Бежать он тоже не решился. Он скорее инстннктом, чем разумом, понял, что бежать нельзя, как нельзя бежать от собаки: она сразу поймет твой страх н подымет оглушительный лай.

Разведчикн прошлн ровным, неспешным шагом мнмо оторопевшнх немцев. Скрывшнсь в роще, Травкнн лнхорадочно осмотрелся, оглянулся н побежал. Онн быстро перебежали рощу, очутнлнсь на лугу н, вспугнув болотных птнц, углубнлнсь в следующую рощу. Здесь онн отдышались. Аниканов, пошныряв кругом, установил, что немцев не видно. Обесснленные, онн уселнсь на траву, закурилн, н Травкнн впервые со вчерашнего вечера открыл рот:

— Чуть не попались.

И улыбнулся. Ему трудно было говорить, язык не поворачивался,— так отвык он разговаривать за эту ночь. Они имели удовольствие видеть, как человек десять немцев осторожно прочесали оставленную разведчиками рощу и, вышедши на западную ее опушку, довольно долго приглядывались к болотистому лугу, по которому только что пробежали разведчики. Затем немцы собрались в кучку, поговорили, посмеялись,— очевидно, над теми тремя, которым померещились эти зеленые призраки,— покурили и ушли.

Новички — Семенов и Голубь — смотрели на немцев с пренебрежительным удивлением. Они впервые видели врага так близко. Травкин же, в свою очередь, пристально следил за новичками. Они вели себя хорошо, делая то, что делали другие. Семенов, хоть и молодой разведчик, был опытным солдатом, имел два ранения и приобрел за войну обычное солдатское хладнокровие. Маленький юркий Голубь, семнадцатилетний паренек из Курска, сын повешенного немцами советского работника, находился непрерывно в приподнятом настроении. Его юная душа странно совмещала в себе реальную ненависть к убийцам отца с романтическими историями о следопытах, индейцах и дерзких путешественниках и, попав в эти необычайные условия, вся трепетала от восторга.

Мамочкин не мог не оценить железной выдержки Травкина и вдруг впервые за последние дни преисполнился уверенности в успехе опасного предприятия. Он вспомнил свое вчерашнее прощание с Катей. Она просила его беречь лейтенанта, а он, самодовольно улыбаясь, успокоительно хлопал ее по спине и говорил:

— Не сомневайся, Катюша. С Мамочкиным твой лейтенант — как в Государственном банке.

«Пожалуй, наоборот, с этим лейтенантом Мамочкину не пропасть»,— сознался теперь перед своей совестью Мамочкин и смотрел на Травкина повеселевшими, снова слегка нахальными глазами. Он роздал всем по куску колбасы, причем Травкину дал самый большой кусок и налил ему из фляги целую кружку самогону.

Окончательно убедившись, что в роще немцев нет, и выставив на всякий случай охрану, Травкин снял со спины Бражникова рацию и передал первую радиограмму.

Он долго не мог добиться ответа, в эфире раздавался треск и смутный гул, доносились обрывки разговоров и музыки, а по соседству со своей волной он уловил твердую

и властную немецкую речь. Услышав ее, Травкин невольно вздрогнул — такое близкое соседство волн, казалось, может открыть немцу тайну «Звезды».

Наконец он услышал неявственный отклик, голос, твердивший одно и то же слово:

— «Звезда». «Звезда». «Звезда». «Звезда».

И Травкин и далекий радист «Земли» — оба радостно вскрикнули.

— Передаю,— сказал Травкин.— 21 Филин два. 21 Филин два.

Далекая «Земля», помолчав, сообщила, что она поняла. Хорошо поняла.

— Много, очень много двадцать один,— твердил Травкин,— только что прибывшая двадцать один.

«Земля» и это поняла и повторила, как эхо:

— Много, очень много двадцать один.

Все повеселели. Пройти такой передний край, а затем начиненные немцами леса и потом связаться по радио и передать своим об этих немцах,— нет, так стоит жить!

Травкин еще и еще раз всматривался в лица товарищей. Это были уже не подчиненные, а товарищи, от каждого из них зависела жизнь всех остальных, и он, командир, ощущал их уже не чужими, отличными от него людьми, а частями своего собственного тела. Если на «Земле» он мог предоставить им право жить своей отдельной жизнью, иметь свои слабости, то здесь, на этой одинокой «Звезде», они и он составляли одно целое.

Травкин был доволен собой,— собой, увеличенным в семь раз.

Посоветовавшись с Аникановым, он решил тут же двинуться дальше, к тому предуказанному планом населенному пункту, где скрещиваются железная и шоссейная дороги. Правда, двигаться днем опасно, но можно было держаться болот и лесов, подальше от проезжих дорог и деревень. Обычно немцы таких мест избегают.

Однако очутившись на западной опушке рощи, разведчики сразу же увидели немецкий отряд, идущий по болотистому проселку. На немцах были не темно-зеленые, а черные мундиры, грозно поблескивало пенсне шагавшего впереди офицера.

За эсэсовским отрядом проследовал обоз из двадцати огромных повозок, доверху нагруженных кладью.

Углубившись в ближайший лес, разведчики заметили свежие следы гусениц и, осторожно двигаясь по следам,

подошли к лесной поляне, по краям которой, замаскированные, стояли гусеничные бронетранспортеры, двенадцать штук. Свежая пыль на гусеницах показывала, что они прибыли недавно. Это заметно было и по поведению немцев, которые шумно бегали по лесу, пилили деревья, рубили ветки на топливо, раскидывали палатки — одним словом, делали все то, что люди делают на новом месте.

Разведчики отползли от этой опасной поляны и обошли ее далеко справа, но тут снова набрели на немецкий лагерь, полный грузовых автомашин со снарядами.

В лесу на молодой траве валялись пустые сигаретные коробки, консервные банки, грязные обрывки напечатанных готическим шрифтом газет, порожние бутылки — следы чужой, ненавистной жизни. Лес был полон указок, причем чаще всего на них были написаны цифра 5 и буква W. Повсюду был запах немца, фрица, ганса, германца, фашиста,— запах постылый и презираемый. Следовало дожидаться темноты, днем двигаться было невозможно: кругом полно немцев, горланящих, спящих, идущих и едущих, полно *сосредоточивающихся немецких войск.*

Травкин да и все разведчики понимали, что противник что-то готовит, укрывая свежие войска во мраке огромных здешних лесов. Они, может быть, впервые поняли всю важность своей задачи и всю меру своей ответственности. Передремав в небольшом яру остаток дня, разведчики к ночи двинулись дальше.

Вскоре они вышли в красивую озерную местность. Здесь простирались озера, большие и маленькие, прохладные, окруженные березовым лесом, оглашаемые кваканьем лягушек.

В ложбине, поросшей густым орешником, невдалеке от озера, Травкин сделал привал. На противоположном берегу стоял большой двухэтажный каменный дом. Из дома доносилась немецкая речь. Правее проходил неширокий поселок, а на горизонте, между телеграфных столбов,— шлях.

Близ этого шляха Травкин установил дежурство. Машины шли здесь почти непрерывным потоком. Стоило понаблюдать за ними. Иногда движение на час прекращалось, чтобы затем возобновиться с прежней интенсивностью. Автомашины были полны немцев и каких-то упрятанных под брезент таинственных грузов. Два раза на мощных тягачах проследовали орудия, общей численностью двадцать четыре ствола.

Травкин беспрерывно наблюдал за этим потоком, ос-

тальные разведчики дежурили по очереди: одии спали, другие вместе с Травкииым вели счет проходящей мимо иемецкой силе.

— Товарищ лейтеиаит,— вдруг выиыриул из мрака Мамочкии,— там иа проселке немецкая подвода и всего два иемца. А в подводе жратва. Разрешите, мы их без выстрела коичим.

Травкии осторожио пошел за иим и действительио увидел иа проселочной дороге медлеиио двигавшуюся повозку. Два немца курили и лениво переговаривались. В подводе похрюкивала свииья. Да, замаичиво было уложить этих фрицев. Они сами так и лезли в руки. Не без сожаления махиул Травкии рукой:

— Пускай едут.

Мамочкии даже слегка обиделся. Ввиду столь удачно складывавшихся обстоятельств ои был иастроеи очень воинствеиио и хотел показать разведчикам, а особеиио Аниканову, свою прыть.

«И зачем мы ходим да смотрим, когда вокруг так и шиыряют «языки»!»

Медлеиио иаступал рассвет, и движение по шляху прекратилось.

— Движутся только иочью,— заметил Аниканов,— хоронятся от иашей авиации. Готовят что-то, сволочи.

Травкии снова повел своих людей в густой орешиик, и разведчики, ежась на утреннем холоде, задремали. Вдруг со стороиы дома иа озере раздался протяжиый ие то стои, не то крик.

Сам ие зиая почему, Травкии вдруг вспомнил о Марчеико. Крик раздался снова, потом все утихло.

— Пойду посмотрю, что там такое,— предложил Бражников.

— Не иадо,— сказал Травкии,— светает.

Действительио, уже светало. По озеру пошли красиоватые блики. Пожевав сухари с колбасой, которую Мамочкии извлек из своих бездоииых кармаиов, разведчики сиова впали в дремоту.

Травкииу ие спалось. Ои пополз ближе к озеру и застыл в кустах почти иа самом берегу. Дом иа озере просыпался. По двору сновали люди.

Вскоре из ворот вышли трое. Одии из иих, самый высокий, приложил руку к козырьку фуражки и стал медлеиио удаляться от дома. Подиявшись иа пригорок, ои повернулся к оставшимся у калитки, махиул им рукой и быстро

пошел по проселочиой дороге. В этот момеит Травкин заметил раиец иа спиие иемца и белую повязку иа его левой руке.

Мысль о том, что этого иемца следует захватить, пришла Травкииу сразу. Это была даже ие мысль, а импульс воли, который появляется у любого разведчика при одиом лишь взгляде на всякого иемца. А затем Травкин неожидаиио поиял, какая связь между забинтоваииой рукой этого иемца и иочиыми воплями, испугавшими разведчиков. Дом иа озере служил госпиталем. Длииный немец, шагающий по проселку, выписаи из госпнталя н иаправляется в свою часть. *Этого немца искать никто не будет*.

Аиикаиов н Мамочкин не спали. Подойдя к иим и указывая рукой не мелькнувшую среди редких деревьев долговязую фнгуру, Травкин сказал:

— Этого фрнца иужио взять.

Оба были удивлены. Лейтеиант, обычно такой осторожный, прнказывает взять немца среди бела дня. Тогда Травкин, показывая на дом, пояснил:

— Там госпиталь.

Онн заметнлн мелькнувшую на солице белую повязку на руке иемца н тогда понялн.

Разбудилн спящих разведчиков и пошли в лес наперерез иемцу. Он шагал, насвистывая песеику н, видимо, наслаждаясь весеиним утром. Все оказалось чрезвычайно просто. Малеиький Голубь, берущий «языка» впервые, был даже разочарован. Он сам не успел и пальцем коснуться фрнца. Того скрутилн, заткнули ему рот пилоткой и потащили, прежде чем страшио взволноваииый Голубь успел опомииться.

В поросшей орешником ложбине иемец лежал острым, как будто чуть вытяиутым носом кверху. Выиулн пнлотку из его рта. Немец застонал. Травкни спросил, твердо, по-русски выговаривая слова:

— Zu welchem Truppenteil gehören Zie?[1]

— 131 Infanterie-Division, Pionier-Companie[2],— ответнл немец.

Это была известная разведчнкам пехотиая дивизия, стоящая на передием крае.

Травкии прнсмотрелся к пленннку. То был молодой че-

[1] Ваша воинская часть? *(Перевод иностранного текста и примечания принадлежат автору.)*

[2] 131-я пехотная днвнзня, саперная рота.

ловек лет двадцати пяти, белесый, с водяиистыми голубоватыми глазами, типичиыми для иемецких лиц.

Пристально глядя в эти водяиистые глаза, Травкин задал следующий вопрос:

— Haben Sie hier SS-Leute gesehen?[1]

— O, ja,— ответил иемец, как будто даже обрадованный своей осведомленностью и уже смелей глядя на окружающих его русских.— Eine ganze Menge, überall[2].

— Was sind das für Truppenteile?[3]— спросил Травкин.

— Die Ranzerdivision «Wiking». Eine sehr berühmte, starke Division. Himmlers Elte[4].

— А...— произнес Травкии.

Разведчики поняли, что лейтеиаиту удалось узнать что-то весьма важиое. Хотя состав дивизии «Викииг» и цели ее сосредоточения немец ие зиал. Травкии оцеиил все зиачеиие добытых им даиных. Он почти с симпатией смотрел теперь на этого долговязого иемца и просматривал его бумаги. А немец, глядя иа молодого человека, русского, с чуть печальиыми глазами, вдруг почувствовал иадежду: неужели этот славиый юноша прикажет его убить?

Травкин оторвал глаза от солдатской киижки иемца и вспомнил, что немца иадо коичать. Плеиный, как бы поияв его мысль, вдруг задрожал и сказал, вкладывая в свои слова большую силу:

— Herr Kommunist, Kamerad, ich bin Arbeiter. Schauen Sie meine Hände an. Glauben Sie mir, ich bin kein Nazi. Bin selbst Arbeiter und Arbeitersohn[5].

Аниканов примерно понял сказанное иемцем. Ои зиал слово «арбайтер».

— Вот он показывает свои мозолистые руки и говорит: я, дескать, рабочий,— задумчиво сказал Аниканов.— Зиачит, знает, что у нас уважают рабочего человека, зиает, с кем воюет, и воюет же все-таки...

Травкии с младеических лет был воспитаи в любви и уважении к рабочим людям, ио этого наборщика из Лейпцига надо убить.

Немец почувствовал и эту жалость, и эту непреклон-

---

[1] Эсэсовцев вы тут видели?

[2] О, да, их здесь очень миого, везде.

[3] А что это за части?

[4] Эсэсовская таиковая дивизия «Викииг». Зиамеиитая, сильная дивизия. Отбориые части Гиммлера.

[5] Господии коммуиист, товарищ, я рабочий. Посмотрите иа мои руки. Поверьте мие, я ие иациоиал-социалист. Я рабочий и сыи рабочего.

ность в глазах Травкина. То был неглупый немец: будучи наборщиком, он прочитал немало умных книг и понимал, что за люди стоят перед ним. И он зарыдал, увидев смерть в образе этого юного красавца лешего с большими, жалостливыми и непреклонными глазами.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Что творилось у них в душе? Вряд ли они сами могли бы ответить на этот вопрос. Все постороннее, все прошлое исчезло из памяти, а если и появлялось в ней временами, то в виде бесформенных обрывков. Они жили задачей и думали только о ней.

Впереди двигались Аниканов с Голубем, метрах в сорока позади — Травкин и Семенов с радиостанцией, слева, почти по обочине проходящей параллельно движению разведчиков шоссейной дороги,— Мамочкин и Быков, а справа, охраняя группу со стороны леса,— Бражников. Это был равнобедренный треугольник, в котором Травкин являлся центром основания, а Аниканов — вершиной. Иногда, почуяв присутствие немцев, треугольник смыкался и двигался медленней, люди останавливались и прислушивались к ночным шорохам. Аниканов издавал птичий крик, и все они замирали.

По шоссе слева проходили машины и гусеничные тягачи. Слышались немецкие песни, немецкая ругань, слова немецкой команды. Иногда проходила пехота, и разговоры солдат слышны были так близко, что казалось — стоит протянуть руку, и ты поймаешь немца, уткнешься в немецкое лицо, обожжешься об огонек немецкой сигареты.

Травкин твердо решил больше «языков» не брать. Он чувствовал, что забрался в самый центр расположения вражеских частей. Одно неосторожное движение, полузадушенный вскрик — и нагрянет вся эта эсэсовская орава. Он знал, что здесь сосредоточивается танковая дивизия «Викинг». Однако он не знал ее состава и ее намерений. Состав можно приблизительно установить, если вести учет частям, танкам и артиллерии, но намерения командования могут быть известны только хорошо осведомленному немцу. Такого немца необходимо будет достать после разведки железнодорожной станции.

Однако этот осторожный план Травкина был неожиданно нарушен. Травкин вдруг услышал слева шум,

затем из темноты появился Мамочкин и вполголоса сообщил:

— Тут немец один лежит возле дороги. Пьяный как сапожник...

При одном взгляде на «пьяного» немца Травкин понял, в чем дело. Немец неосторожно углубился в чащу, был оглушен, сбит с ног и обезоружен Мамочкиным.

Мамочкин сконфуженно оправдывался:

— Он так и пер на меня. Что мне было делать?

Долго рассуждать не приходилось. Они схватили пленного на руки и нырнули в лес. Уже слышны были странные для русского уха крики немцев, зовущих пропавшего товарища:

— У-ух!.. У-ух!..

— Виллибальд! Виллибальд!

— Герр Беннеке!..

Пленного уложили на траву возле озерца. Мамочкин побрызгал на него водой и даже не пожалел влить ему в рот немножко самогону из фляги. Мамочкин сиял и суетился вокруг «своего» немца, расхваливая его на все лады:

— Ну, это настоящий эсэсовец, этот все знает... Глядите, товарищ лейтенант,— офицер, ей-богу, офицер!

Юра Голубь с любопытством оглядывал немца, досадливо морщил маленький нос и сокрушенно вздыхал:

— Все берут «языка», а мне все не попадается.

— Ничего, Голубок,— тревожно прислушиваясь к замирающим вдали крикам, говорил Аниканов.— Этого добра здесь много. Успеешь.

На Травкина с ужасом смотрели глаза эсэсовского гауптшарфюрера[1]. Дрожа и заикаясь, эсэсовец сказал, что он служит в девятом мотополку «Вестланд» пятой танковой дивизии СС «Викинг»,— то есть сообщил то, что было написано в солдатской книжке, вынутой из его кармана Мамочкиным. Он рассказал далее, что полк «Вестланд» состоит из трех батальонов, по четыре роты в каждом, в «ротах тяжелого оружия» имеются шести- и десятиствольные минометы. Танков в полку нет, а есть ли в других полках, он не знает. Дивизия прибыла из Югославии. Штаб стоит в деревне недалеко отсюда, но названия деревни он не помнит, потому что не в состоянии запоминать русские и польские названия. Он помнит только «Москау» и «Варшау»,— заявил он со странным вызовом.

[1] Обер-фельдфебель войск СС.

Получив удар по лицу от своего «покровителя» Мамочкина, он сразу же потерял за минуту до этого обретенное хладнокровие и по-звериному завыл. Вообще он боялся Мамочкина пуще смерти: как только тот наклонялся к нему, немец начинал мелко дрожать и умоляюще глядел на Травкина.

Когда гауптшарфюрера сбросили в озеро, Травкин связался с «Землей». Слышимость на этот раз была прекрасная, и Травкин передал все установленное им.

По голосам с «Земли» Травкин понял, что там его сообщение принято как нечто неожиданное и очень важное. В заключение с ним заговорил женский голос, и Травкин узнал Катю. Она пожелала ему успеха и скорого возвращения.

— Мы горячо обнимаем вас,— закончила она дрожащим от волнения и гордости за его успех голосом и, как будто сказав нечто имеющее прямое отношение к служебным делам, спросила: — Поняли вы меня? Как вы меня поняли?

— Я понял вас,— ответил он.

К рассвету разведчики очутились возле полустанка, в семи километрах от нужной им станции. Полустанок этот — одноэтажная кирпичная будка, окрашенная в желтый цвет,— был обнесен двойным валом из толстых сосновых бревен. Такое же укрепление с двух сторон ограждало и деревянный железнодорожный мостик невдалеке от полустанка. Это немцы охраняли свои коммуникации от набегов партизан.

На дороге к полустанку стояла длинная шеренга автомашин, хвостом достигая леса, из которого в этот ранний час выползли разведчики. В глубокой тишине слышались звонки телефонного аппарата в помещении станции и грубый немецкий голос.

Приятно было после двухдневных скитаний по лесам увидеть уходящий в туманную даль рельсовый путь, семафор, черное колено железнодорожной стрелки.

Аниканов, остановив разведчиков условным птичьим криком, подполз к заднему грузовику и заглянул в шоферскую кабину. Она была пуста. Пустыми оказались и второй и третий грузовики. Они почти доверху были завалены порожними мешками из-под муки.

Вернувшись к своим, Аниканов сообщил об этом Травкину.

— Грузнться пришли,— сказал Аиикаиов,— ждут поезда.

Решнл дождаться поезда н Травкни, но поезд все не показывался. Через некоторое время из станцноиной будки высыпали заспаиные шоферы н сталн расходиться по машииам, леинво галдя.

Из обрывков разговора, хорошо слышных в тишиие утра, Травкии уловил, что машины будут грузиться ие здесь, а на станции и сейчас троиутся в путь. Подумав мгновенне, ои решил послать на стаицию только двух разведчиков, остальиые же будут дожидаться здесь. Немцев на станцнн полным-полно, и незачем рисковать всемн людьми.

Он выделнл для этой цели Аниканова и Быкова, а после миогократиых просьб Юры Голубя назиачнл н его третьнм.

— На попутных поедем, что лн? — спросил Аннканов деловито.

Оии с Быковым н Голубем попозли к задней машине н быстро влезли в нее. Заботливо укрыв Быкова и Голубя мешкамн, Аникаиов и сам зарылся в мешки, оставнв отверстне для глаз и взяв автомат иа нзготовку.

Вскоре к грузовику нетороплнво подошел иемец-шофер. Ои сел в машииу н, дождавшись, пока тронутся переднне, включил зажиганне и нажал стартер. Мотор затарахтел.

Колоина двигалась по лесиой дороге. Машнны подскакнвали на выбоннах. Так они ехали мннут пятнадцать. Вдруг шофер затормозил.

Аинканов услышал немецкнй говор н увидел фигуры двух уцепившихся за борт, а затем прыгнувшнх в кузов немцев. На счастье разведчиков, немцы, вндимо, былн не склоины пачкать черные эсэсовскне мундиры в мучиой пыли н так н осталнсь сидеть на задием борту, держась подальше от мешков. Все же это было непрнятное соседство. Машнну подкидывало, и под мешкамн то н дело обозначалнсь очертания человеческих тел. Аниканов уже начал беспоконться. Непрошеиые попутчнки, возможно, собралнсь ехать до самой станцин, а это грознло серьезиымн осложиеннями.

Но вот раздался страшный шум, грузовнк остановнлся, вокруг иего подиялась суета, н немцы, сндевшне на борту, быстро спрыгнули на землю.

Тотчас же Аинканов услышал ровное гуденне моторов. Ои тоже ннстииктивио пригиул голову, но вдруг, улыбнувшнсь, поиял: это же наши!

И ои весело, как будто советская бомба не в снлах

причинить вред своим, сказал выглянувшим из-под мешков товарищам:

— Ребята, наши летят.

Самолетов было шесть, они делали низкие круги над лесом, угрожающе рокоча.

Аниканов осмотрелся. Немцы все попрятались в лесной чаще. Явственно доносились тревожные гудки паровозов. Станция была близко.

— За мной! — скомандовал Аниканов, и они спрыгнули.

Юркнув между машинами, разведчики очутились в кювете и, вынырнув оттуда, быстрым шагом стали углубляться в лес. Но в то мгновение, что они находились в кювете, их заметил лежащий там немец. Испугавшись, он замер, но затем поднял голову и отчаянным голосом закричал:

— Fallschirmjäger![1]

Поднялась беспорядочная стрельба. Разведчики ответили несколькими автоматными очередями.

Перескочив широкую прогалину, Аниканов увидел посеревшее лицо Голубя. Голубок падал на землю, сморщив маленький нос.

— Того немца можно было схватить...— сказал он, лежа на широкой спине Аниканова.

Это были первые после ранения и последние в его короткой жизни слова. Разрывная пуля попала ему в грудь, ниже сердца. Бедное сердце еще билось, но все слабей и слабей. Позже он очнулся еще раз, увидел над собой сосредоточенное лицо лейтенанта и большие глаза Мамочкина, из которых лились, не переставая, слезы.

В лесу начиналась гроза. Дубы, покрытые молодой листвой, гудели под порывами ветра, и тысячи ручьев забегали под ногами, подобные стайкам мышей.

Неподвижно сидя перед умирающим Голубем, Травкин ждал возвращения Аниканова, вторично ушедшего — на этот раз с Мамочкиным — к станции. Нет, Травкин после этого печального случая не хотел делить группу на две части, но Голубя, еще живого, нельзя было здесь оставить одного, а дело надо делать.

Он попытался связаться с «Землей», но безуспешно. Может быть, мешали электрические разряды. Эфир истошно кричал в трубку, время от времени сухо потрескивал.

Под ногами струились ручейки, на плечи падали тяжелые капли. Ливень смыл с окостеневшего лица мальчика следы пыли и тревог, и оно светилось в темноте.

[1] Парашютисты!

Аниканов и Мамочкин подползли совсем близко к станционным постройкам. При свете часто вспыхивающих молний они увидели два груженых состава. На платформах одного из них чернели мощные громады танков.

Паровозы пыхтели, испуская клубы пара и осыпая искрами рельсовый путь. Возле пакгаузов, огороженных колючей проволокой, сновали люди, разговаривая на осточертевшем немецком языке. Потом раздались крики часовых, отгонявших от полотна железной дороги группу крестьянок с мешками за спиной. Доносились возгласы и причитания этих крестьянок:

— Ось, бисовы души, никуды не пускають...

Аниканов был недоволен собой. И зачем он полез в этот проклятый грузовик? Может быть, не лезь он туда, Голубь был бы жив. Он, сибиряк, привычный к тайге, чего он полез в ту машину?..

Немцы разгружают танки. Видно, готовят большое наступление. А где — неизвестно. Если бы захватить еще одного, можно было бы узнать задачу эсэсовской дивизии.

«Ну, вот они, немцы, ходят,— думал Аниканов.— А кто из них знает задачу своей дивизии? Возьмешь какого-нибудь замухрышку и опять ничего не выведаешь толком».

Внимание Аниканова привлекли два тощих немца в широких черных блестящих плащах. При свете молний он видел их то вместе, то по отдельности,— они громко, отрывистыми голосами распоряжались здесь. Эти офицеры, видимо, сошли с той легковой машины, что остановилась возле задней стены ближайшего пакгауза. Ежась под потоками дождя, Аниканов подумал про Голубя: жив ли он еще? Лежит, бедняга, под дождем. Хорошо бы раздобыть для него вот такой плащ, как на этих фрицах.

— Возьмем офицера? — спросил Аниканов Мамочкина. Тот сказал:

— А лейтенант? Он не говорил, чтобы «языка» брать.

Аниканов внимательно поглядел в лицо товарища.

— Мы это мигом обтяпаем,— ласково сказал он,— а потом домой сразу.

Мамочкин вздрогнул. Они были вдвоем против сотен деловито снующих немцев. И среди этих сотен захватить — вдвоем — офицера?.. Его затрясло. А Аниканов все так же внимательно смотрел на него, повторяя:

— Да мы это мигом...

Мамочкин отчаянно махнул рукой и вдруг, набрав в

легкие воздуха, приподнялся. В восторге от себя самого, подняв лицо под хлещущие струи дождя, он начал твердить скороговоркой, как в лихорадке:

— Давай, Ваня... Давай! Ладно, Ваня. Сделаем. Неужели не сделаем?

Они поползли к машине, пролезли под проволокой и затаились. Дождь беспрерывно лил, стекая по полированному кузову машины.

— Один из этих фрицев — генерал, по-моему,— взвинчивая себя, шептал Мамочкин.

— Ясно, генерал,— успокаивающе бормотал Аникаиов. Прошло не меньше часа, прежде чем послышались шаги и один из офицеров сказал:

— Wir fahren sofort[1].

Он упал, получив от Аникаиова удар ножом в грудь. А второй, оглушенный и прижатый лицом к бурно вздымающейся груди Мамочкина, потерял сознание.

Немцы вокруг все так же сновали от пакгаузов к составам и обратно и ежились под потоками дождя.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Пятая танковая дивизия СС «Викинг» была одной из отборнейших дивизий эсэсовского отборного войска.

Под командованием группенфюрера (генерал-лейтенанта войск СС) Герберта Гилле дивизия в составе 9-го мотополка «Вестланд», 10-го мотополка «Германия», 5-го танкового полка, 5-го дивизиона самоходной артиллерии и 5-го полевого артиллерийского полка, во всем блеске своей первоклассиейшей техники, тайно сосредоточилась в этих огромных лесах с тем, чтобы неожиданным ударом деблокировать окруженный русскими город Ковель, расчленить русских на изолированные группы и, уничтожая их, отбросить на рубеж двух знаменитых рек — Стоход и Стырь.

Последнее время дивизия с обычной своей свирепостью усмиряла непокорную Югославию.

Получив сильное пополнение в людях и шестьдесят танков нового типа «тигр», о котором господин рейхсминистр Шпеер отозвался как о «короле танков», дивизия насчитывала пятнадцать тысяч человек. Полками командовали неоднократно отмеченный фюрером штандартен-

[1] Едем сейчас же.

фюрер Мюленкамп, бывший личный адъютант Гитлера штандартенфюрер Гаргайс и другие гиммлеровские волки, высоко стоящие на лестнице национал-социалистической и военной иерархии, удачливые и безжалостные интриганы.

Вслед за дивизией «Викинг» готовилась к прибытию из Франции на этот участок фронта отборная, хотя и не столь блестящая 342-я гренадерская дивизия под командованием генерал-лейтенанта Никкеля. Ей предстояло развить успех эсэсовцев.

Вся эта операция проводилась в глубокой тайне.

— Русские слишком близко прорвались к генерал-губернаторству,— сказал группенфюреру Гилле его покровитель фон дем Бах, командир корпуса СС, приняв его в своем особняке на острове Пфауенинзель близ Берлина.— Последствия, партайгеноссе Гилле, вам понятны. Это будет означать активизацию всех антигерманских сил в Европе и, пожалуй, может заставить действовать англичан и американцев... Фюрер придает вашей операции первостепенное значение. Главная квартира заинтересована в глубокой тайне данной перегруппировки. Соблюдайте все меры предосторожности.

Теперь, сосредоточив свою дивизию в сумрачных лесах западней города Ковеля, Гилле ожидал дальнейших распоряжений, полный уверенности в успехе порученной ему операции. Конечно, он знал, что его дивизия — совсем уже не та, какой она была в 1940 или даже в 1943 году. Пришлось отказаться от принципа расовой чистоты. Как это ни прискорбно, но в дивизии служили и голландцы, и венгры, и даже поляки и хорваты. Правда, эти иностранцы были проверенными сторонниками нового порядка, но все же людьми чужой крови, равнодушными к интересам империи. Кроме того, пришлось отказаться от принципа строгого физического отбора. Солдаты дивизии, воины Черного корпуса, были уже не те чуть не двухметровые великаны, которые отбирались по всей Германии. Теперь попадались такие замухрышки, что смотреть тошно.

Группенфюрер с ужасом заметил во время осмотра мотополка «Германия» несколько одноглазых, хромых и даже одного горбуна, а маленьких, щуплых солдат — больше половины полка. Да, это уже не те разъяренные кровью и легкой наживой гитлеровские ландскнехты, которые прошли с огнем и мечом Голландию, Францию и дорвались до Кавказского хребта.

Герберт Гилле с удовольствием вспоминал те времена,

кажущиеся теперь уже такими далекими. Больше всего понравился ему Кавказ — эта прекрасная южная местность была красивее и величествеииее Швейцарии. Господии группенфюрер одио время даже мечтал о спокойном месте губернатора или штатгальтера этих плодородных гориых областей и нащупывал почву для такого выгодного назначения через своих покровителей в личном штабе фюрера. К сожалению, в силу известных всему миру обстоятельств, мечты эти пришлось вскоре оставить.

Страино, но беспокойство завладело им в этот весенний деиь с самого утра. Прежде всего появилась авиация противника. Нет, она не бомбила, но она вела разведку. Русские самолеты просматривали леса, миого раз летали вдоль железной дороги, подолгу кружась иад главной стаицией выгрузки. Правда, войска были хорошо замаскированы, но беспокойство вызывал сам факт усилениой разведки русскими этих мест.

Беспокойство стало еще более ощутимым, когда сделалось известным, что ночью в районе озер был похищеи с дороги во время марша гауптшарфюрер Беннеке, уроженец Мекленбурга, ветеран и одии из храбрейших воииов мотополка «Вестланд». После долгих поисков труп его обиаружили в маленьком озере, в восьми километрах от местопребывания штаба дивизии. Господии гауптшарфюрер был заколот ножом в сердце, а голова его повреждеиа тяжелым предметом.

Не приходится удивляться, что последовавший за этой находкой иалет советских бомбардировщиков на деревню, где разместился штаб, был поставлеи группеифюрером в связь с убийством Беннеке. Ои срочно перевел штаб в лес и велел окружить его тремя рядами колючей проволоки.

К вечеру, в то время когда штабсарцт Линдеманн докладывал группенфюреру результаты вскрытия трупа гауптшарфюрера, из мотополка «Вестлаид» доложили, что недалеко от имевшего место прискорбного случая с гауптшарфюрером Виллибальдом Эрнстом Беннеке солдаты, прочесывавшие лес, нашли в густом орешнике, под кучей веток, тело, оказавшееся трупом ефрейтора из 131-й пехотиой дивизии, Карла Гилле (однофамильца комаидира дивизии «Викииг», что неприятио поразило господина группенфюрера).

Несколько поздиее позвонил по телефоиу командир мотополка «Германия» штандартеифюрер Мюллеикамп, доложивший, что в имевшей место перестрелке его солдат

с неизвестными, таинственными, одетыми в зеленое людьми, ранены двое рядовых — Гесснер и Мейссиер, причем первый, видимо, смертельно. В качестве курьеза штандартенфюрер сообщил, что солдаты в один голос говорят о том, что незнакомцы были обсыпаны... снегом.

Группенфюрер приказал тщательно расследовать эти случаи и решительно заняться поисками неизвестных, для чего выделить из каждого батальона роту, а также пустить в ход весь разведывательный отряд дивизии.

Среди солдат, как узнал с неудовольствием группенфюрер, поползли панические слухи о неких «зеленых призраках» (grüne Gespenster), или «зеленых дьяволах» (grüne Teufel), появившихся в здешних местах.

Группенфюрер Гилле не верил в трансцендентальность этих призраков. Он втолковал вызванному им начальнику разведки и контрразведки капитану Вернеру, что на войне призраков не бывает, а бывают враги, и предложил Вернеру лично возглавить операции по поимке «призраков».

Ночью на самой станции, где сгружался в то время танковый полк, часа через два после посещения станции самим группенфюрером, был убит штурмбанфюрер[1] Дилле (эта созвучность с его собственной фамилией снова покоробила господина Гилле) и похищен оберштурмфюрер[2] Артур Вендель, один из руководителей квартирмейстерского отдела дивизии. Бедный господин Дилле убит ударом ножа, причем удар нанесен с такой огромной силой, что пропорол тело штурмбанфюрера насквозь. Это случилось почти на виду у большого количества находившихся на станции офицеров и солдат.

Группенфюрер приказал посадить начальника караула и часовых на пятнадцать суток в карцер, а капитана Вернера вызвал к себе и отчитал за недостаточное рвение по розыску злоумышленников.

Крушение поезда с боеприпасами, происшедшее, скорее всего, из-за ветхости железнодорожного полотна, отравление трех солдат полка «Германия» недоброкачественной пищей, исчезновение двух солдат того же полка, дезертировавших из армии,— все эти случаи молва тоже отнесла за счет деятельности «зеленых призраков», и трудно уже было отличить правду от вымысла, досужую выдумку от реальных фактов.

[1] Майор войск СС.
[2] Обер-лейтенант войск СС.

Встревоженный возможными последствиями, группенфюрер приказал информировать штаб корпуса и командующего центральной группой армии генерал-фельдмаршала Буша в том смысле, что русские заслали в тыл германских войск соединение («Einheit») разведчиков-диверсантов, которым из-за халатного несения службы 131-й пехотной дивизией удалось проникнуть в центр расположения дивизии «Викинг» и, что вполне вероятно, выведать кое-что о целях и задачах перегруппировкн.

Подумав, господин группенфюрер написал также частное пнсьмо обергруппенфюреру фон дем Баху в Берлнн, дабы позабавить своего покровителя и одновременно обеспечить себе поддержку на случай провала операции. В берлинском резерве околачивалось немало генералов, которые охотно заняли бы место господина Гилле.

В конце следующего дня, когда группенфюрер лег отдыхать после обеда, его разбудил сильный телефонный звонок.

Капитан Вернер сообщал о только что разыгравшемся бое взвода солдат с «зелеными призраками». Взвод этот под командой унтерштурмфюрера[1] Альтенберга, прочесывая согласно приказу командира днвизии окружающую местность, набрел на одинокий сарай на опушке леса. Несколько человек вошли в сарай, но там никого не оказалось. Однако благодаря бдительности унтерштурмфюрера «зеленые призраки» были обнаружены на чердаке сарая. Да, они находились там. К сожалению, им удалось, забросав взвод Альтенберга ручными гранатами и уничтожив самого унтерштурмфюрера и семерых солдат, убежать. Но, во-первых, все находящиеся в том районе части подняты по тревоге и началась настоящая травля «зеленых призраков», которая, надо надеяться, окончится их понмкой или уничтожением; во-вторых, один нз этих бандитов попал в руки солдат. Нет, не живой, а убитый, к сожалению.

Гилле, подумав, приказал подать машину н в сопровождении конвоирующего танка отправился к месту происшествия.

На опушке леса, возле догорающего сарая, группенфюрера встретилн капнтан Вернер н эсэсовцы нз разведывательного отряда.

Не ответив на приветствия, Гнлле молча подошел к убнтому врагу. Это был молодой русский, не старше

[1] Лейтенант войск СС

двадцати трех лет, с прямыми льняными волосами и большими, широко открытыми мертвыми глазами, спокойно глядящими на господина группенфюрера. Под зеленой одеждой («боевая летняя форма советских разведчиков»,— определил группенфюрер) была надета выцветшая красноармейская гимнастерка с погонами советского младшего сержанта.

Неподалеку, положенные рядом, как в строю, со сложенными крест-накрест руками, лежали восемь эсэсовцев. Поморщившись, господин группенфюрер подумал, что пятеро из этих восьми — низкорослые, щуплые... И это солдаты Черного корпуса — СС!..

Травкин не знал, что он причинил столько хлопот такому множеству высокопоставленных лиц германской армии. Правда, шагая треугольником в обратный путь, разведчики иногда видели шныряющие группы эсэсовцев и слышали их перекличку, но не относили это на свой счет, предполагая, что эсэсовцы занимаются тактическими учениями.

К вечеру четвертого дня пребывания в немецком тылу разведчики набрели на одинокий сарай. Травкин решил дать людям часок отдохнуть, а кстати связаться по радио с «Землей». Из-за предосторожности и для лучшего наблюдения за окрестностями они забрались по прогнившей лесенке, едва не обломившейся под тяжестью Аниканова, на чердак сарая.

Приладив рацию и даже успев обменяться с «Землей» позывными, Травкин услышал восклицание Бражникова, стоявшего на часах возле выломанного в крыше сарая отверстия. Подойдя к нему, Травкин увидел идущих к сараю развернутым строем человек двадцать эсэсовских солдат.

Травкин разбудил только что заснувших тяжелым сном людей, но прыгать вниз и бежать в лес, пожалуй, было уже слишком поздно. Эсэсовцы приближались. Четверо вошли в сарай, поковыряли в навозе и вышли, но тут же вернулись, и один из них стал взбираться по гнилой лестнице, негромко ворча и ругаясь.

Травкин, сжимая в каждой руке по пистолету, перевел дыхание. На чердаке было совсем светло от многочисленных отверстий и щелей в крыше. Он посмотрел на своих людей внимательней, чем когда-либо прежде. Они были страшны. Обросшие, худые, с ввалившимися глазами, стояли они, готовые к смертному бою.

Гнилая лестница поскрипывала, немец тихо ругался.

Раздался страшный грохот. Это Аниканов швырнул в отверстие крыши противотанковую гранату на стоящих кружком возле сарая эсэсовцев. Одновременно Бражников, раскроив автоматом показавшуюся в отверстии чердака голову эсэсовца, прыгнул вниз, а вслед за ним прыгнули остальные, вздымая пыль и щебень.

С мимолетным одобрением Травкин подумал о гениальном, с точки зрения разведчика, замысле Аниканова, разметавшего гранатой врагов, стоящих снаружи, и тем открывшего путь к отступлению. С тремя эсэсовцами, находившимися в сарае, справиться было легко — напуганные взрывом, они вообще в темноте не разобрали, в чем дело.

Через минуту разведчики, сопровождаемые пулями и воплями немцев и взрывами запоздалых немецких гранат, бежали по густому ельнику. Травкин вначале не заметил отсутствия Бражникова, как не заметил и того, что Аниканов и Семенов ранены. О Бражникове ему, задыхаясь в быстром беге, сообщил Аниканов. Он видел, как Бражников упал, выбегая из сарая.

Погоня не затихала. Казалось, гонятся со всех сторон. Выстрелы и крики громким эхом отдавались по всему лесу. Затем раздался лай собак. Затем рычание мотоциклов где-то справа. Аниканов, раненный в спину, задыхался. Семенов начинал хромать все сильнее и сильнее.

Лес, промытый ливнями, сладко благоухал. Напоенные влагой листья и травы наконец сбросили с себя отдающую зимой апрельскую прохладу. Так наступала настоящая весна. Мягкий ветер, как бы тоже очищенный прошедшими ливнями, колыхал всю эту по-весеннему шуршащую массу зелени.

Шум погони притих, раненым наскоро сделали перевязки. Мамочкин вынул из-за пазухи свою последнюю флягу и поболтал ею во все стороны. Самогону оставалось малость. Он отдал флягу Аниканову.

Тут же выяснилось, что радиостанция, висевшая на спине у Быкова, расплющена десятком пуль. Она спасла Быкову жизнь, но для работы уже не годилась. Быков добил свою спасительницу прикладом автомата и обломки раскидал по кустам.

Они медленно шли, шатаясь, как пьяные.

Шедший позади с Травкиным Мамочкин внезапно сказал:

— Прошу у вас прощения, товарищ лейтенант.

Покаянно бил себя в грудь, а может быть и плача — в темноте не разобрать,— ои хрипло, вполголоса заговорил:

— Из-за меня, все из-за меия. Недаром рыбаки у нас прнметам верят. Почти всегда бывает правильно. Я тех двух лошадей не довел в деревию, а виаем сдал, за продукты...

Травкии молчал.

— Простите, товарнщ лейтенаит. Если прнду здоровым...

— Прндешь здоровым — пойдешь в штрафиую роту,— сказал Травкии.

— И пойду! С удовольствием пойду! И я знал, что вы так скажете! Зиал, что все равио вы так скажете!— восторженно вскричал Мамочкин. И ои сжал руку Травкииа в почтн нстерическом прнпадке непонятиой благодарности н самозабвениой любвн.

Звуки погонн раздались совсем рядом. Разведчики пританлнсь. С грохотом пронеслнсь мимо два броневика. Потом стало тнхо, и людн пошли дальше. Впереди темнела масснвная фнгура Аииканова. Раздвнгая могучимн плечамн ветки деревьев, он медлеиио шел вперед, огромным усилием волн отгоняя от себя туман полузабытья, одолевавший его.

И может быть, только ои, во всеоружнн своего жнзиенного опыта догадывался, что наступившая тишина обмаичнва. Правда, он не знал, что весь разведывательный отряд эсэсовской днвизни «Викннг», передовые роты подходящей ускореиным маршем 342-й гренадерской дивизин и тыловые части 131-й пехотной днвизнн подияты на иогн в погоне за иими; он не знал, что телефоиы неустаиио звонят, что рацни непрерывно разговаривают жестким шнфрованным языком, ио он чувствовал, что вокруг ннх все уже н уже стягнвается петля огромиой облавы.

Онн шлн, обессиленные, н не зналн, дойдут лн. Но не это уже было важно. Важно было то, что сосредоточившаяся в этнх лесах, чтобы нанестн удар нсподтишка по советским войскам, отборная дивнзня с грозным нмеием «Внкнг» обречеиа на гнбель. И машнны, н танкн, н бронетранспортеры, н тот эсэсовец с грозно поблескивающим пенсне, н те немцы в подводе с жнвой свнньей, н все этн немцы вообще — жрущне, горланящие, загадившне окружающне леса, все этн гилле, мюлленкампы, гаргайсы, все этн карьеристы и карателн, вешателн н убнйцы — идут по лесным дорогам прямо к своей гнбелн, и смерть опускает уже на все эти пятнадцать тысяч голов свою карающую руку.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Рация, работающая со «Звездой», стояла в уединенном блиндаже. Младший лейтенант Мещерский проводил здесь круглые сутки. Он почти не спал, изредка склоняя голову в тяжкой полудремоте, но и тогда ему мерещилось характерное хлюпанье эфира в ушах, и он вдруг просыпался, моргая длинными ресницами, и ошалело спрашивал дежурного радиста:

— Говорит, кажется?

Радистов работало трое. Но Катя, кончив свою смену, не уходила. Она сидела рядом с Мещерским на узких нарах, склонив светлую голову на смуглые руки, и ждала. Иногда она вдруг начинала сварливо спорить с дежурным, что тот якобы потерял волну «Звезды», выхватывала из его рук трубку, и под низким потолком блиндажа раздавался ее тихий, умоляющий голос:

— «Звезда», «Звезда», «Звезда», «Звезда».

По соседству с волной «Звезды» кто-то без умолку бубнил по-немецки, а чуть подальше говорила, пела и играла на скрипке Москва — вечно бодрствующая, могучая и неуязвимая.

По нескольку раз в день в блиндаж заходил командир дивизии. От овина к блиндажу и обратно сновали разведчики. Ежедневно приходил, иногда в сопровождении старшины Меджидова, лейтенант Бугорков. Он простаивал часок у стены, молчаливо наблюдал работу дежурного радиста и снова уходил.

Часто, отобрав трубку у дежурного, сидел в блиндаже майор Лихачев. Иногда на несколько минут забегал и капитан Барашкин. Он становился возле маленького оконца, барабанил пальцами по стеклу и напевал что-то из своей знаменитой тетрадки. Как-то наведались пришедшие с переднего края неразлучные капитаны Муштаков и Гуревич.

Спокойный, незаметный, чуть рябой, с выпуклым лбом над внимательными глазами, в блиндаж вошел следователь прокуратуры капитан Еськин. Он спросил Мещерского:

— Вы командир разведчиков?

— Временно замещаю его.

Следователь сказал, что он должен допросить несколько лиц по делу о незаконно взятых у крестьян лошадях. Он кратко изложил суть дела и спросил, понимает ли Мещерский все значение этого проступка, роняющего авторитет Красной Армии в глазах местного населения.

— Так вот,— продолжал следователь, не дожидаясь ответа Мещерского,— мне нужно допросить разведчиков, присутствовавших при совершении этих незаконных действий, в особенности лейтенанта Травкина и сержанта Мамочкина.

— Их сейчас здесь нет,— уже нетерпеливо возразил Мещерский.

— Никого из них?

— Никого.

Следователь с минуту подумал.

— А я должен с ними поговорить,— сказал он.— Скоро они вернутся?

— Не знаю,— ответил Мещерский медленно.

Катя, внезапно встав с места, сказала:

— А вы, товарищ капитан, лучше сходите туда, где они находятся, и допросите их.

— А где они находятся? — спросил следователь.

— В тылу у немцев.

Следователь внимательно посмотрел на Катю спокойными, лишенными юмора глазами.

Она со злой, торжествующей улыбкой выдержала этот взгляд.

Мещерский тоже улыбнулся, но вдруг подумал, что прикажи этому человеку начальство идти к немцам в тыл для допроса — и он пойдет.

На третьи сутки «Звезда» заговорила — вторично после того, как Травкин перешел фронт. Не прибегая к шифру, Травкин настойчиво повторял:

— Здесь сосредоточивается Пятая танковая дивизия СС «Викинг». Пленный девятого мотополка «Вестланд» показал, что здесь сосредоточивается Пятая танковая дивизия СС «Викинг».

Затем он сообщил состав полка «Вестланд», местопребывание штаба дивизии и подчеркнул, что части разгружаются и движутся только по ночам. И снова повторял, повторял бесчисленное количество раз:

— Здесь сосредоточивается, тайно сосредоточивается Пятая танковая дивизия СС «Викинг».

Сообщение Травкина наделало шуму в дивизии. А когда полковник Сербиченко лично позвонил командарму и полковнику Семеркину об этих данных, заволновались и в штабе армии.

Подполковник Галиев позабыл, что такое сон, отвечая на телефонные звонки из корпуса, армии и соседних дивизий. Он сразу же перестал зябнуть и куда-то закинул свою

бурку, стал криклив, требователен, весел. «Галиев почуял немца»,— говорили про него.

На тысячи карт между тем синим карандашом наносился район сосредоточения дивизии «Викинг». Из штаба армии данные эти внеочередным донесением пошли в штаб фронта, а оттуда— в Ставку Верховного Главнокомандования, в Москву.

Если в дивизии и корпусе данные Травкина были восприняты как события особой важности, то для штаба армии они имели уже хотя и важное, но вовсе не решающее значение. Командарм приказал прибывающее пополнение дать именно тем дивизиям, которые могут оказаться под ударом эсэсовцев. Он также перебросил свой резерв на опасный участок.

Штаб фронта взял эти сведения на заметку как показательное явление, доказывающее лишний раз интерес немцев к Ковельскому узлу. И штаб фронта предложил авиации разведывать и бомбить указанные районы и придал энской армии несколько танковых и артиллерийских частей.

Верховное Главнокомандование, для которого мошкой были и дивизия «Викинг», и в конечном счете весь этот большой лесистый район, сразу поняло, что за этим кроется нечто более серьезное: немцы попытаются контрударом отвратить прорыв наших войск на Польшу. И было отдано распоряжение усилить левый фланг фронта и перебросить именно туда танковую армию, конный корпус и несколько артдивизий РГК[1].

Так ширились круги вокруг Травкина, расходясь волнами по земле: до самого Берлина и до самой Москвы.

Ближайшим следствием этих событий для дивизии было: прибытие танкового полка, полка гвардейских минометов и большого пополнения людьми и техникой. Получили пополнение и разведчики.

Мещерский начал проводить усиленные занятия и полдня пропадал на переднем крае, ведя наблюдение за противником. Бугорков со своими саперами минировал местность перед передним краем. Майор Лихачев целыми днями суетился, получая новые рации, телефонные аппараты и провод. Полковник Сербиченко уехал на свой наблюдательный пункт и оттуда руководил действиями частей. Он как-то помолодел и посуровел, как всегда перед большими боями. Серьезно и подолгу изучал он только что прибыв-

[1] Резерв Главного Командования.

ше новые карты, обнимающие почти всю Польшу, вплоть до Вислы. В этих далеких краях он побывал однажды в 1920 году в составе Первой Конной армии Буденного.

В уединенном блиндаже оставалась только Катя.

Что означал ответ Травкина на ее заключительные слова по радио? Сказал ли он «я вас понял» вообще, как принято подтверждать по радио услышанное, или он вкладывал в свои слова определенный тайный смысл? Эта мысль больше всех других волновала ее. Ей казалось, что, окруженный смертельными опасностями, он стал мягче и доступней простым, человеческим чувствам, что его последние слова по радио — результат этой перемены. Она улыбалась своим мыслям. Выпросив у военфельдшера Улыбышевой зеркальце, она смотрелась в него, стараясь придать своему лицу выражение торжественной серьезности, как подобает — это слово она даже произносила вслух — невесте героя.

А потом, отбросив прочь зеркальце, принималась снова твердить в ревущий эфир нежно, весело и печально, смотря по настроению:

— «Звезда». «Звезда». «Звезда». «Звезда».

Через два дня после того разговора «Звезда» вдруг снова отозвалась:

— «Земля». «Земля». Я «Звезда». Слышишь ли ты меня? Я «Звезда».

— «Звезда». «Звезда»! — громко закричала Катя.— Я «Земля». Я слушаю тебя, слушаю, слушаю тебя.

Она протянула руку и настежь отворила дверь блиндажа, чтобы кого-нибудь позвать, поделиться своей радостью. Но кругом никого не было. Она схватила карандаш и приготовилась записывать. Однако «Звезда» на полуслове замолчала и уже больше не говорила. Всю ночь Катя не смыкала глаз, но «Звезда» молчала.

Молчала «Звезда» и на следующий день, и позднее. Изредка в блиндаж заходил то Мещерский, то Бугорков, то майор Лихачев, то капитан Яркевич — новый начальник разведки, заменивший снятого Барашкина. Но «Звезда» молчала.

Катя в полудремоте целый день прижимала к уху трубку рации. Ей мерещились какие-то странные сны, видения, Травкин с очень бледным лицом в зеленом маскхалате. Мамочкин двоящийся, с застывшей улыбкой на лице, ее брат Леня — тоже почему-то в зеленом маскхалате. Она опомнилась, дрожа от ужаса, что могла пропустить мимо

ушей вызовы Травкина, и принималась снова говорить в трубку:

— «Звезда». «Звезда». «Звезда».

До нее издали доносились артиллерийские залпы, гул начинающегося сражения.

В эти напряженные дни майор Лихачев очень нуждался в радистах, но снять Катю с дежурства у рации не решался. Так она сидела, почти забытая, в уединенном блиндаже.

Как-то поздно вечером в блиндаж зашел Бугорков. Он принес письмо Травкину от матери, только что полученное с почты. Мать писала о том, что она нашла красную общую тетрадь по физике, его любимому предмету. Она сохранит эту тетрадь. Когда он будет поступать в вуз, тетрадь ему очень пригодится. Действительно, это образцовая тетрадь. Собственно говоря, ее можно было бы издать как учебник,— с такой точностью и чувством меры записано все по разделам электричества и теплоты. У него явная склонность к научной работе, что ей очень приятно. Кстати, помнит ли он о том остроумном водяном двигателе, который он придумал двенадцатилетним мальчиком? Она нашла этн чертежи и много смеялась с тетей Клавой над ними.

Прочитав письмо, Бугорков склонился над рацией, заплакал и сказал:

— Скорее бы войне конец... Нет, не устал. Я не говорю, что устал. Но просто пора, чтобы людей перестали убивать.

И с ужасом Катя вдруг подумала, что, может быть, бесполезно ее сидение здесь, у аппарата, и ее бесконечные вызовы «Звезды». «Звезда» закатилась и погасла. Но как она может уйти отсюда? А что, если он заговорит? А что, если он прячется где-нибудь в глубине лесов?

И, полная надежды и железного упорства, она ждала. Никто уже не ждал, а она ждала. И никто не смел снять рацию с приема, пока не началось наступление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Летом 1944 года войска, сметая сопротивление слабеющей немецкой армии, проходили по польской земле.

Генерал-майор Сербиченко догнал на своем «виллисе» группу разведчиков. В зеленых маскхалатах, друг за дружкой, шли они по обочине дороги, ловкие, настороженные, готовые в любую минуту исчезнуть, раствориться в безмол-

вии полей и лесов, в иеровиостях почвы, в мерцающих теиях сумерек.

В идущем впереди разведчике геиерал узиал лейтеиаита Мещерского. Остаиовив машииу и просветлев, как всегда при виде разведчиков, геиерал спросил:

— Ну что, орлы? Варшава иа горизоите. А видали, до Берлииа пятьсот километров осталось! Чепуха. Скоро там будем.

Ои виимательио разглядывал разведчиков, потом, охваченный каким-то печальиым воспоминаиием, хотел еще что-то сказать, ио осекся и махиул рукой:

— Ну, счастливо, разведчики!

Машина тронулась, а разведчики, постояв иемиого, снова двииулись в путь.

1946

АЛЕКСАНДР ЯШИН

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Рассказ

Крупная немецкая часть, пытаясь вырваться из окружения, рывком продвинулась к западу километров на десять, и в ее расположении оказались разрозненные группы советских солдат.

В сосновом грибном бору, где раньше добывали живицу и почти на каждом стволе сохранились надрезы, похожие на оперенные стрелы, собрались перед сумерками девять рядовых бойцов. Это были люди разных возрастов, не знакомых друг другу. Измученные и растерянные, не евшие целый день, а может, и больше. У одного был автомат, у семерых винтовки и по нескольку обойм патронов, девятый даже винтовки не имел, только кинжальный штык в чехле болтался на поясе, и ни у кого ни одной гранаты.

Стрельба вокруг еще не утихла, но была редкой, приглушенной расстояниями и потому казалась незлобивой. Пушки совсем смолкли. Приближалась ночь.

Солдаты, сгрудившиеся под сосной, разговаривали шепотом, озираясь по сторонам, и первое время смотрели друг на друга вытаращенными глазами не то смущенно, не то недоверчиво.

— Что ж это, ребята? Выходит, что мы в окружении? По лесу я уже крутился — немцы везде,— сказал низкорослый солдат с рыжими редкими усиками и пилоткой вытер пот с лица.

— Влипли!..— сказал другой, высокий здоровенный детина, у которого не было винтовки, и помянул бога...

— Бога ты оставь,— заметил рыжеусый.— Винтовку бросил?

— А ты что за указ?..

— Бросил винтовку? — повторил свой вопрос рыжеусый.

— Черт ее знает где она!

— Теперь за черта принялся.

— И за тебя примусь, коли приставать начнешь.

Солдат без винтовки злился недолго, похоже было, что ему все смертельно надоело, и, махнув рукой, он произнес вдруг усталым, размягченным голосом:

— Страшно ведь было, ребята, когда один остался.

— Оно, конечно, страшно,— согласился рыжеусый.— Возьми вон немецкую,— и указал в сторону ореховых кустов.

Здоровяк глянул на него сверху, передернул губами, словно хотел выругаться опять, но, встретившись с глазами других и не найдя в них ни сочувствия, ни поддержки, тоже снял с головы пилотку и, почесав затылок, старательно протер ею лицо и шею.

— А немецкая действует? — спросил он.

— Я не проверял,— ответил рыжеусый.

Солдат без винтовки надел пилотку, при этом толстые губы его опять передернулись, и осторожно, на цыпочках, отчего стал еще выше ростом, двинулся в указанном направлении. Телосложение у него было завидное, могучее, особенно со спины, плечи широкие, прямые: грязная шинель, наверно, самого большого размера, облегала его в обтяжку.

— Не туда пошел, бери левее! — шепотом заорал рыжеусый.

Напористость этого маленького рыжего бойца покоряла, но не обижала.

Толстогубый послушно шагнул влево и наткнулся на немецкую винтовку, брошенную в кустах орешника. Вернувшись, он несколько раз, стараясь не щелкать, передернул затвор и удовлетворенно прошептал:

— Исправна!

Товарищи заметили, что руки у высокого солдата дрожат, но кто мог упрекнуть его за это, руки дрожали у многих.

— А патроны есть? — спросил рыжеусый.

— Патроны? Ни одного.

— Может, не поискал? Бросают винтовку — бросают и патроны.

Здоровяк снова поднялся на цыпочки и вернулся к кустам. Густой нежно-зеленый мох мягко прогибался, пружинил под его ногами, словно солдат шел по трясине.

Принес он сумку от советского противогаза, набитую доверху патронами.

— Слава богу, нашел.

— Ну вот — то в бога, то слава богу,— упрекнул его рыжеусый — Патроны-то немецкие?

— Немецкие.

— Наших нет?

— Нет, слава богу.

— Да ты что мелешь, очумел?.. Как твоя фамилия? — В голосе маленького солдата с рыжими усишками появилась властность командира.— Как твоя фамилия?

— Божиков.

— У тебя это что, настоящая — Божиков — или, может, прозвище?

— Настоящая. У меня и отец — Божиков.

— Вот что, Божиков. В другой такой раз не на цыпочках ходить надо, а пригибаться, да пониже? Понял?

Рыжеусый еле заметно улыбнулся, и как бы в подражание ему осторожно заулыбались другие бойцы. Наверно, это были первые солдатские улыбки в сосновом лесу за сегодняшний день.

Но в этот момент над их головами как назло качнулась сосновая ветка и цокнула белочка — цокнула резко, звонко, с вызовом.

Первым упал в мох Божиков, за ним плашмя грохнулся солдат с автоматом и еще три-четыре человека. Остальные вскинули винтовки. Рыжеусый от неожиданности, а скорее, оттого, что попадали другие, присел, но быстро овладел собою и скомандовал:

— Отставить!

Солдаты стали подниматься, неловко отряхиваясь и не глядя друг на друга.

— У, проклятая...— прошипел Божиков, подняв голову и пытаясь увидеть белку среди ветвей.— Пулю бы тебе...

— Отставить! — уже спокойно повторил рыжеусый.

Белочка цокнула еще раз и скрылась. Но оттого, что она, махонькая, беззащитная, была рядом с ними в этом таинственном лесу и, видимо, несмотря ни на что, занималась своим обычным домашним делом, осиротевшим солдатам стало легче. Один из них в шапке-ушанке вместо пилотки даже присел на моховую кочку и устало вытянул ноги.

— Что это за стрелы на соснах, будто указатели какие? — спросил он как бы про себя.

— Да, указатели... в землю указывают,— сказал другой.

— Видать, живицу наши гнали. Терпентиновый промысел был. Я сам раньше этим занимался,— разъяснил по-

жилой солдат, белобрысый, выбритый, но с такими широкими и лохматыми, тоже белесыми бровями, что казалось, будто у него есть и усы, и борода.

— Ну, что будем делать, ребята? — снова заговорил маленький рыжеусый.— Надо полагать, немцы кольцо прорвали.

В разговор начали вступать и другие бойцы.

— Немцы прорвали, а мы в кольце.

— В «котле», еще скажешь! — с упреком, но без твердости в голосе промолвил юноша с потертым комсомольским значком на гимнастерке. Он единственный из девятерых не имел шинели и выглядел поэтому особенно молодым.

— Что делать? Ничего делать не надо, все будет как будет! — сказал длинноносый в шапке-ушанке, устроившийся на моховой кочке.

— Как же они прорвали, когда мы вчера еще, по слухам, на сотню километров к Германии подались,— запротестовал пожилой солдат с большими бровями.

— Стало быть, вокруг нас двойное кольцо.

— Вот мы и отвоевали! А ведь так все хорошо шло...

— Кому-то и в последние дни войны погибать приходится.

— Веселое дело!

Рыжеусый слушал, не вмешиваясь в разговор, лишь время от времени снимал пилотку и то вытирал ею лицо, то всматривался в глубокие складки материи, словно находил в них что-то необыкновенно интересное.

Александр Залесов — так звали рыжего маленького солдата — был ротным связистом и накануне неожиданного немецкого броска находился один вдали от своего подразделения, разыскивая повреждение полевого телефонного провода. Когда немцы открыли артиллерийский огонь, он на всякий случай ускорил шаг, чтобы скорее обнаружить обрыв и восстановить линию, понимая, что, чем сильнее огонь, тем нужнее связь. Спустившись в овраг, Залесов побежал под уклон бегом и еще быстрее уходил от своих.

Повреждение он нашел — провод был перебит миной,— но когда соединил концы его и подключил аппарат, то услышал немецкую речь. Вот, значит, к чему привела артиллерийская стрельба. Пожалев, что не знает языка, Залесов снова разъединил линию, осмотрел свою винтовку и бросился назад, но было уже поздно: по полю неслись немецкие грузовики с автоматчиками.

В овраге Залесов разыскал убежище, нечто похожее на медвежью берлогу между двух вывороченных с корневищами сосен, и отсиделся в нем, выжидая и раздумывая, что делать дальше.

С начала войны Залесову не раз доводилось испытывать превратности судьбы, и сейчас он не очень волновался: все-таки настоящий фронт был уже не здесь, а где-то далеко на западе. Но осторожность никогда не мешает, и, прежде чем принять какое-либо решение, он старался понять, что же произошло.

Заволновался он, только когда услышал совсем близко треск и шум шагов и сквозь корни увидел двух немцев, идущих по его следу вдоль телефонной линии. Залесов определил, что это связисты, значит, плохо дело, если уж враг берет его работу на себя.

«Стрелять или не стрелять? — стал гадать он, а сам все больше и больше выдвигал ствол винтовки навстречу немцам.— Кажется, других поблизости нет. Если стрелять, то бежать отсюда. Куда? — спрашивал он себя и отвечал: — За овраг, в сосновый бор, там, кажется, тихо, они чужого леса не любят».

Немцы подошли совсем близко — на тридцать шагов, на двадцать шагов...

Залесов выстрелил в упор, почти не целясь, в тот момент, когда немцы шли один другому в затылок.

Они не вскрикнули и не упали, а только остановились, словно от испуга, и ошеломленно смотрели не то вперед, не то себе под ноги.

«Неужели промазал?» — подумал Залесов и выстрелил вторично.

Но и после второго выстрела немцы продолжали стоять. Залесова охватил страх. Наконец задний немец толкнул переднего, солидного, лет сорока, похожего чем-то на бухгалтера, и оба они, захрипев, свалились в траву на дно оврага.

Залесов вымахнул из своей берлоги, как медведь после выстрела выскакивает из своей, и, цепляясь за корни и сучья, кинулся на противоположный склон оврага, к сосновому бору. Телефонную вертушку он оставил в корнях сосны.

В любой трущобе Залесов чувствовал себя свободно, как дома. До войны он жил в Вологодской области, вырос в колхозе среди лесов, на малине и бруснике, потом работал на заводе «Северный коммунар» монтажником и отпуск

каждое лето проводил с ружьишком в своем родном районе.

Сейчас в бору он забрался в орешник и отдохнул, прислушиваясь и прикидывая, в какую сторону идти, чтобы за ночь вернее выбраться к своим. Так как до вечера было еще далеко, он решил осмотреть лес сейчас же и, тычась из конца в конец, набрел сначала на пятерых таких же бродяг, как он, потом к ним примкнули еще двое, а в последнюю минуту сшибся с ними совершенно растерявшийся одинокий богатырь Божиков.

Планы и настроения Залесова изменились: с компанией было, конечно, и веселее, и спокойнее. Но, присмотревшись к своим товарищам и послушав их разговоры, он понял, что полагаться можно пока только на себя.

На западной окраине бора обстановка оставалась неясной, и Залесов решил сходить туда, пока солдаты знакомятся друг с другом.

— Подождите меня здесь, ребята,— предложил он.— Справа должен быть населенный пункт, вон просвет. Может быть, там нет немцев, я взгляну — и обратно.

Никто не возразил.

— Может, кто пойдет со мной? — спросил он.

Юноша в гимнастерке, сдернув винтовку с плеча, шагнул к нему.

— Пойдешь? — спросил Залесов.

— Пойду.

Залесов уставился на его потертый комсомольский значок. «Ишь ты, не снял! — подумал он.— А может, забыл?»

— Правильно делаешь! Как звать?

— Пенкин Сергей.

Когда Залесов и Пенкин скрылись за стволами сосен, в густом подлеске, оставшиеся солдаты некоторое время молчали, прислушивались. В лесу темнело все больше, и просвет в хвое обозначился отчетливее. В вершинах появился ветерок, сосны зашумели глухо, тоскливо. Далекие винтовочные выстрелы становились все реже.

Пожилой бровастый солдат уселся на пенек, и вокруг него устроились остальные, кто на корточках, кто на узловатых корнях, выпиравших из-под земли, некоторые легли в мох. Остался стоять Божиков.

— Вот так-то оно и бывает на войне,— вздохнул бровастый.— Мы наступаем, да нас же в окружение! Давайте

знакомиться, что ли, мужики. Меня зовут Семен, фамилия Пивоваров. Я из третьей роты.

— Так мы же рядом с тобой шли,— обрадовался боец с тонким, красивым, южного типа, но очень бледным лицом. Бледность его заметна была даже в сумерках, а черные живые глаза еще больше оттеняли ее.— Ты лебедевский?

— Положим, Лебедев — это майор, а наш командир роты — Боковня.

— Значит, ты наш, лебедевский? Пивоваров, значит? А я Борьян, из второй. Не слыхал?

— Не слыхал.

— Я бывал в вашей роте. Как же ты отбился от своих?

— Положим, я не отбился. Я был не один. Да вот видишь, как случается, один уцелел. Из могилы, почитай, вылез. А может, еще и не один... Ты-то как?

— Так я же недавно из госпиталя, нога слабая. А бежать пришлось долго. Отстал и едва до лесу дополз. Дружка у меня убили...

— Да, соков еще не набрал,— пригляделся к нему Семен Пивоваров.— Что ж, Борьян, будем бороться. Правильно я понимаю твою фамилию?

— Правильно.

— Дух поднимаешь, дядя? — насмешливо спросил Пивоварова толстогубый Божиков.

— Поднимаю. Ты свои штаны подними, а то опять весь дух растеряешь.

— Ладно, ладно, агитатор! Бороться можно, когда не один, а когда один — плохо, ребята! — Божиков оглянулся на товарищей, вздохнул: — Девять человек —тоже, конечно, не войско. Немцы сейчас сами окруженные, злые, в плен брать не будут.

— Это ты верно сказал, детинушка,— поддержал его Пивоваров.— На немцев надеяться не приходится. Положим, я в плен не собираюсь: раньше охоты не имел, а теперь и подавно. А вы как, молодежь? — обратился он к сидящим вокруг него бойцам.

В стороне во мху лежал на животе, обхватив землю руками, большеголовый солдат Балюк, бывший колхозный конюх, от которого, казалось, еще и сейчас пахнет лошадиным потом. На вопрос Пивоварова он ответил:

— Нема молодежи, все в пекле побывали. А все-таки хреновое наше дело, кислое...

Тогда в первый раз подал голос солдат с автоматом.

На лице у него были следы спекшейся крови, правая щека то и дело подергивалась, сгусток крови и грязи висел на брови над правым глазом, из-за чего солдат казался кривым.

Он последним пришел в себя, только что отмяк, опомнился от перенесенного страха, но, опомнившись, сразу заговорил привычным голосом взводного оратора:

— Я Замшанин, товарищи. Главное, товарищи, без паники. Паника нам не к лицу. О нас, товарищи, помнят, нас не оставят в беде...

В каждом армейском подразделении, да в любом гражданском коллективе бывают такие свои заправские ораторы, которые нередко спасают положение на общих собраниях, на заседаниях, на митингах набором готовых фраз. Ставится какой-нибудь вопрос на обсуждение, а обсуждать-то, собственно, нечего, все ясно, читай резолюцию и голосуй, но сверху было предписано: «Обсудить!» — и председательствующий настойчиво допрашивает: «Кто хочет высказаться, товарищи? Кто берет первое слово?» Люди молчат, время идет — вот тогда-то и поднимается Замшанин, и все облегченно вздыхают. А ежели Замшанин сам не поднимается и председатель продолжает настаивать, то из зала начинают выкрикивать: «Давай Замшанина! Пусть Замшанин скажет!» — и Замшанин появляется на трибуне.

— Мы небольшой коллектив, товарищи,— привычно продолжал Замшанин, делая над собой усилие, чтобы не повысить голоса, но уже начиная размахивать руками,— мы маленький коллектив, товарищи, но мы не оторваны от родной земли. О нас помнят, нас разыскивают...

Семен Пивоваров посмотрел на его исцарапанное, перепачканное кровью лицо и спросил:

— Ты, парень, кажись, в голову ранен?

Настроение бойцов не поднялось, оратор не успел закончить своего выступления — вернулись Залесов и Пенкин. На поясе у обоих висело по гранате.

— В поселке немцы,— сказал Залесов.

У Замшанина затрепетали обе щеки.

Солдаты встали, начали нервно одергивать шинели, потуже затягивать ремни.

— Рядом с нашим леском скотный двор,— продолжал Залесов,— мы оттуда смотрели. Пенкин вот нашел две гранаты... Ну, что будем делать?

Все молчали.

Тогда опять заговорил Замшанин. Говорить ему было трудно, он начал заикаться.

— Главное, т-товарищи, надо выждать, п-переждать без паники. Немцы о-окружены, боевой дух у них по-по-подорван, моральный уровень на на-нашей стороне...

— Подожди ты со своим уровнем... автомат! — перебил его пожилой солдат Семен Пивоваров и, оглянувшись вокруг, обратился к рыжеусому Залесову: — Говори сам, тебе виднее!

Он сказал это как бы от имени всех, и остальные молчанием своим присоединились к его словам.

Произошло очень важное: был избран командир.

С этой минуты осиротевшие солдаты перестали быть толпой.

Командиром стал самый невидный на первый взгляд, самый щупленький из них. Его никто не подбирал, не навязывал, не назначал. Никакой отдел кадров не составлял на него анкет, не интересовался его родственниками...

Его выдвинули обстоятельства и такие личные черты характера, которые еще не успели проявиться, но уже были ощутимы для всех. Солдаты почувствовали, что именно он и есть тот самый человек, которому отныне вверяют они свою жизнь, свою судьбу, и приняли его как своего вожака.

— Тебе виднее, — повторил Семен Пивоваров, — ты командир.

Залесов никогда раньше не бывал на положении командира, если не считать, что на Вологодском машиностроительном заводе доводилось ему возглавлять бригаду монтажников-электриков. Когда Пивоваров назвал его командиром, он принял это как должное, потому что сам чувствовал, что именно ему придется думать за других. Да, в общем-то, и спокойнее все-таки, отдавать свою жизнь в руки малознакомых людей тоже не хочется...

— Что ж, ребята, делайте как знаете, — сказал он. — Буду за старшего, но смотрите!.. Зовите меня Залесовым. Я связист, лебедевский.

— Тоже лебедевский! — шепнул своему соседу Борьян.

Солдаты запомнили, что фамилия рыжеусого Залесов, но звать его отныне стали только командиром и чем строже, чем подчеркнутее придерживались этого, тем спокойнее становилось у них на душе: дух армейской дисциплины постепенно входил в их взаимоотношения.

Почувствовал перемену в своей судьбе и сам Залесов,

и хотя у него уже было принято решение, как лучше поступить в сложившейся обстановке, но сейчас он медлил приказывать, как бы собираясь с силами и внутренне сосредоточиваясь.

«Ну и воинская часть у меня, ого! — думал он, начиная присматриваться к каждому бойцу отдельно.— Чего-то они стоят? Что это за люди? Наверно, из новичков, из необстрелянных... Вот, скажем, этот верзила, Божиков. Винтовку-то бросил? Ведь бросил, поди? А еще огрызается».

«Или вот этот, с лицом, вымазанным кровью... Своей или чужой кровью? Вроде канцеляриста, а с автоматом... Одним глазом совсем не видит, не продерет его никак, и щеки дергаются. На что-то он годится? Что может?»

«В шапке-ушанке — тоже воин, вырядился! Не винтовку, так пилотку потерял. Худой, словно лопата, а нос — для семерых рос, одному достался. Держится от всех в стороне: обопрись на такого!»

«Борьян — этот как будто ничего! Глаза ясные, умные Но — бледный, словно на том свете побывал. Слаб, наверно, на апельсинах вырос, кишка у него тонкая, южная...»

«Положиться можно разве что на бровастого дядю: он, кажется, мужик серьезный, самостоятельный. Да еще на Пенкина со значком. Интересно все-таки, помнит он об этом значке или нет? Ведь со значком и в лапы к немцам попасть может».

Нравился Залесову еще большеголовый Балюк. Обстоятельный, неторопливый, он в разговор вступал редко, но если уж начинал говорить, то обязательно высказывал какие-нибудь хозяйственные соображения. Хороший мужик! Но медлительный, вот что плохо! Неповоротлив!

— Ты чего в землю вцепился? — обратился он к нему.

— Хреновое наше дело,— отозвался Балюк.— Сколько опять народу зазря полегло. А лошадей?.. Шарахнет ее, беднягу, разворотит, чем ей поможешь, кроме пули?

— Ты кем до войны-то был?

— Конюхом. В колхозе.

— А понятно...

Балюк неторопливо, как-то неповоротливо поднялся с земли и поддел ногой брошенный противогаз.

— А сколько всякого железа ржавеет вокруг — уму непостижимо,— вздохнул он.— И все это может погибнуть ни за понюшку табака. Одних противогазов можно бы насобирать целый воз, а это ведь брезент...

— Ну вот, нашел время добро считать да лошадей жа-

леть,— перебил его Замшанин.— Мы небольшой коллектив, товарищи, о нас помнят, нас разыскивают. И мы должны об этом помнить, вот что главное.

Последний солдат, Иванов, который ни разу и ничем еще не заявлял о себе, был Залесову чем-то близок и понятен с первого взгляда. Совершенно непримечательный, он был невысок ростом, но широк и, видимо, очень силен: из-за огромных бицепсов руки его не прилегали к бокам, а висели чуть оттопыренные и подтянутые в локтях и вызывали в памяти клешни краба. Лицо у Иванова было скуластое, нос приплюснут, глаза робкие, добрейшие. Он принадлежал к тому типу людей, которые сами всегда держатся в тени, но без которых нельзя обойтись ни в каком серьезном деле, потому что они терпеливо и безропотно тянут любой воз. Обнесут его чаркой водки на пиру — он не обидится, обделят куском хлеба в голодный день — он промолчит и все равно пойдет на работу. Какой он был до войны, таким остался и на фронте. Только в мирное время его звали Иваном, а на фронте стали звать Ивановым. Трудно сказать, когда наступает у такого Ивана предел выносливости и долготерпения, но предел этот, надо полагать, все-таки есть.

На этого человека можно полагаться при любых условиях, нужно только умело командовать им. А будет ли Залесов умелым командиром — он еще и сам не знал.

«Да, войско!» — заключил он свои наблюдения.

А вслух сказал:

— Нам нельзя упускать ночь, ребята. Если наши начнут сжимать кольцо, сожмется оно и вокруг нас. Будем искать брешь. Сейчас в любом направлении — свои, не сорок первый год. Проверить винтовки, примкнуть штыки, у кого есть! Пойдем лесом вправо. Друг друга из виду не упускать. Стрелять без дела нельзя. Заметил что — замри. Обо всем сообщать мне. Вперед — двух бойцов.

Залесов передохнул и, наклоняясь к лицам людей, чтобы получше рассмотреть их — в лесу было уже темно,— остановился перед Замшаниным.

— Ты... какой? У тебя автомат? Вот, давай...

Замшанин замер.

— Разрешите, я пойду впереди, товарищ командир! — торопливо попросил Пивоваров.

— Ты? — повернулся к нему Залесов.— Ты — правильно!

— Разрешите и мне, товарищ командир! — выступил

вперед Борьян. Черные глаза его даже во тьме поблескивали, а бледность теперь не была заметна.

Залесов осмотрел его с головы до ног и подумал: «А он ничего, не робок. Вот тебе и на апельсинах вырос...»

— Не ранен? — спросил он.

— Сейчас нет. Было — зажило.

— Правильно, иди! Друг друга видеть, нас — слышать! Двинулись! Божиков, сейчас темно, не пригибайся!..

Кому не приходилось в детстве хоть раз очутиться ночью на кладбище? Пусть ты был не один, а с товарищами или с отцом, все равно — каждое дерево протягивало к тебе свои страшные ручищи, а корни, горбатясь из-под земли, старались сбить тебя с ног, каждый куст казался привидением, каждый камень — живой горой. Холодный пот проступал у тебя на лбу, холодные мурашки сновали по спине, все существо напрягалось настолько, что крикни в этот момент филин над твоей головой или промелькни летучая мышь перед глазами — и лишился бы ты рассудка на всю жизнь...

Солдаты шли по глухому бору почти на ощупь.

Вершины сосен шумели широко, заунывно, и от этого глухого вершинного шума, как от волчьего воя, становилось тревожно на душе: что там впереди — ничего не разберешь.

Не раз какие-то большие сонные птицы грузно, без крика, срывались с деревьев и в темноте, ломая сучья, сбивая хвою, со стуком летели вдаль.

Тяжелый, огромный Божиков с ходу рухнул в старую угольную яму и, поминая всех святых, застонал, будто его насквозь проткнули штыком. Соседями Божикова с флангов были Замшанин и Балюк. Замшанин вскрикнул и бросился в сторону, а Балюк, казавшийся до этого медлительным, не раздумывая метнулся к Божикову на выручку, еще не зная, с кем ему придется иметь дело. С трудом разглядев товарища в яме, он вытащил его, ощупал руки, ноги — цел! — и каждый снова занял свое место в ряду.

О приближении немцев Залесова предупредил Пивоваров. Он их не то что услышал, он почувствовал близость врага каким-то своим безошибочным чутьем старого солдата.

Вслед за ним подошел к командиру и Борьян.

— Идут! — хрипло выдохнул он.

Немцы хлынули навстречу советским бойцам волной по всему лесу. Они двигались на запад, в сторону поселка.

Первая мысль Залесова была: «Наши жмут!» — и, когда бойцы сгрудились вокруг него, он сказал:

— Если устоим, ребята, наши подкатятся.

Но еще не раздалось ни одного выстрела, еще Залесов не успел принять никакого решения — а может быть, именно поэтому! — все его солдаты начали торопливо отходить назад. Попятился вместе с ними и Залесов.

Остановились они около угольной ямы, где Балюк шепнул Залесову:

— Здесь можно засесть, товарищ командир!

И первый спрыгнул в широкую и длинную прямоугольную яму. В такие ямы заводят танки, когда нужно бывает превратить их в долговременные огневые точки.

— Сюда, ребята! — сказал Залесов и также спрыгнул в яму, края которой были ему по плечи.

Один Пивоваров не спустился за ним, а залег сбоку ямы, за старой мшистой колодой.

Огонь открыли по команде Залесова, когда толпа немцев придвинулась к ним почти вплотную. Первый залп был дружный. «Очень хорошо!» — удовлетворенно подумал Залесов. Среди винтовочных выстрелов резко выделился стрекот замшанинского автомата.

Ночной лес вздрогнул и загудел, как от разрывов многотонной бомбы. Затем во всех концах его началась беспорядочная пальба, словно на вершины сосен стала сыпаться выброшенная к небу глубинная земная порода.

Немцы всполошились и, видимо, ничего не могли понять. Автоматы их застрочили и справа, и слева, и где-то очень далеко впереди советских бойцов, и совсем рядом, будто бы даже сверху.

Залесов снова подумал о том, что на немцев наседают советские части, но тут же сообразил, что эту стрельбу вызвали они сами, что, пока они не сделали первого залпа, в лесу было тихо, значит, немцев никто не преследовал.

Эта догадка ошеломила Залесова, он перестал стрелять и остановил других. Последним замолк судорожно стучавший автомат Замшанина.

В разных концах леса вспыхнули осветительные ракеты, и кое-где немцев стало хорошо видно. Залесов успел заметить несколько фигур даже сзади себя, за своей спиной.

— Бежим! — крикнул ему сверху перегнувшийся над ямой Пивоваров. — Это могила!

Залесов уперся прикладом винтовки в дно ямы и, хватаясь за траву и корни, полез на переднюю осыпающуюся стенку.

— За мной, ребята, вперед! — крикнул он.

Бойцы один за другим выбирались из ямы, но бросались бежать не вперед, а назад: впереди была неизвестность, а сзади, где они только что шли, места казались уже своими, почти родными.

— За мной! — крикнул еще раз Залесов, выкарабкавшись наконец из ямы, и далеко от себя метнул рубчатую гранату, но и сам кинулся бежать не вперед, а назад, следом за своими солдатами.

Оторвавшись от немцев и выйдя на опушку бора, солдаты разглядели впереди длинное бревенчатое здание колхозной молочнотоварной фермы под черепицей, с черными выбитыми окнами вдоль всей стены. Это был тот самый скотный двор, к которому уже подходили Залесов и Пенкин. За ним, среди полей, примерно в километре от леса, обрисовывалась деревня с куполообразными вершинами деревьев.

— Ну, давай, ребята,— сказал Залесов, указывая на скотный двор.— Иного выхода нет. Заберемся на сеновал. Там переждем, посмотрим...

По картофельным грядкам бойцы гуськом перебежали ко двору. Он был пуст. Не уцелело ни одних ворот, ни одного стойла. В окнах выбиты не только стекла, но даже рамы. На земляном полу лежал тонким слоем мелкий сухой навоз. Скотом здесь уже и не пахло.

Снаружи двора стояла ветхая приставная лестница. Залесов приметил ее еще раньше. Он знал также, что на потолке, под крышей двора, есть сено, и сейчас, не задумываясь, кинулся туда. За ним поднялись остальные бойцы. Лестницу втащили за собой. Скрипучую дощатую дверцу прикрыли изнутри.

Первые минуты все — как упали в сено кто куда, прижав винтовки к телу,— так и лежали, не шевелясь и тяжело дыша. Можно было подумать, что это косари, вымотавшись за день, вернулись с дальнего сенокоса в свою избушку и завалились спать, не раздеваясь и не поужинав, каждый со своей косой под боком.

На сеновале было так темно, что Божкову показалось, будто он опять свалился в угольную яму.

— А ничего, воевать можем! — неопределенно прошептал он.

Постепенно привыкая к темноте, бойцы начали осматриваться.

Черепичная крыша была не новой. Плитки местами сдвинулись либо рассыпались, и на скатах крыши образовались просветы в виде прямоугольников и квадратиков.

Через них бойцы обнаружили — впервые за сегодняшний вечер,— что на небе есть звезды. Каждый прямоугольник походил на маленькую карту ночного звездного неба.

Отдышавшись и привыкнув к темноте, первый поднялся на ноги Залесов. Под коньком крыши он выпрямился и мог ходить серединой сеновала в полный рост.

Но когда поднялся и выпрямился Семен Пивоваров, он ударился головой о слегу.

Божиков встал — совсем разогнуться не смог.

В противоположном конце сеновала Залесов увидел большую дыру под ногами: должно быть, через нее когда-то сбрасывали сено скоту. Он запомнил ее.

Зашевелились и остальные бойцы, но разговаривать даже шепотом пока никто не решался. Только Пенкин вдруг ахнул:

— Балюка нет!

— Как Балюка нет? — ужаснулся Залесов.— Где Балюк?

Балюка не было, и никто не знал, куда он делся, где отстал от группы, когда. Может быть, его захватили немцы?!

«Балюка нет... Балюка!..» — бессмысленно повторял про себя Залесов, и холодок все больше проникал в его сердце.

Исчезновение Балюка Залесов воспринял как второе свое поражение.

Между тем Пенкин, дрожа словно от мороза, приник спиной к дверце и, дернув за шинель Залесова, показал рукой на свою гранату, как бы спрашивая, не бросить ли ее в случае чего. Залесов понял, но думать сейчас о гранате, о стрельбе было, конечно, бессмысленно, и потому, наклонившись к Пенкину, шепнул так, что услышали все:

— Голову оторву!

Затем он подобрался к одному из мерцающих в крыше прямоугольников и, просунув руку через щели меж досок и осторожно расшатав черепичные плашки, вынул две из них. Просвет в сторону леса стал теперь шире, и Залесов, не высовывая головы, смог разглядеть боровую опушку.

Такое же окно он проделал в крыше и со стороны поселка.

В поселке не было ни одного огонька, контуры домов едва различались. Но Залесов знал, что там были немцы, вечером он их видел.

Немцы наконец появились и на боровой опушке. Залесов понял это по тому, как Семен Пивоваров вдруг резко отшатнулся от смотрового окна.

Бойцы почувствовали и поняли, что вот наступило то самое страшное, что должно было наступить и что иногда называют судьбой. Сейчас немцы были со всех сторон, цепь сомкнулась, узел затянут.

Все замерли. Стало так тихо, что даже сено перестало шуршать.

У Замшанина открылся рот, словно он приготовился произнести речь, но ни одно слово не могло сорваться с его языка. Глаз, который был залеплен кровью и грязью, тоже наконец открылся и блестел тревожно, дико.

Залесов припал к отверстию в черепице.

Темная громада бора показалась еще темнее. «Где они там, ничего не вижу! А не Балюк ли это?..» — подумал он и в тот же миг заметил, как на картофельном поле обозначились две живые тени, две фигуры, потом три, потом еще две и опять три.

Немцы появились на тех самых грядках, по которым несколько минут тому назад сам он, Залесов, со своими бойцами перебегал от леса к скотному двору.

«След они, что ли, чуют? А может, захватили Балюка?..»

Пригибаясь к земле точно так же, как только что пригибался он сам, немцы метнулись к скотному колхозному двору, под крышей которого, на сеновале, теперь сидел он со своими товарищами.

Правая рука Залесова судорожно сжимала винтовку, а указательный палец привычно нащупывал спусковой крючок.

«Неужели обнаружили?..»

В памяти Залесова за какую-то долю секунды пронеслись зеленые волока, его босоногое детство среди болот и заливных лугов, охота на глухарей, потом учеба на курсах электромонтеров, убогая жактовская комнатка в кружевном деревянном домике на заречной стороне в Вологде, бесконечная паутина проводов, развешанных им при перестройке завода, мелькнул старый рабочий-пасечник, который сунул ему при отправке на фронт на дорогу бидончик свежего

меда из собственного улья, молодая жена, совсем еще девочка, так и не сумевшая поцеловать его на прощанье, потому что стыдилась целоваться при людях, и еще многое, многое другое, далекое и близкое, и, наконец,— совсем рядом тонущие женщины на переправах у горящего города Сталинграда — самое жуткое из всего, что он видел до сегодняшнего дня.

Александр Залесов и после все равно никогда бы не смог вспомнить всего, что промелькнуло в этот миг в его возбужденном сознании и о чем он пожалел, а чему порадовался, потому что в видении этом было не только то, как он жил и что делал в жизни, но и то, как хотел жить и что мечтал еще сделать.

Несколько немцев вошли в скотный двор. Сверху, с сеновала, голоса их были отчетливо слышны, хотя разговаривали они с опаской, почти шепотом.

«Боятся! — догадался Залесов.— Тоже боятся! Они же тоже в окружении!»

Он поднял руку, предупреждая еще раз своих, что двигаться нельзя.

А от сосновой опушки отделялись все новые и новые людские тени и, уже минуя скотный двор, бесшумно скользили дальше, в сторону поселка. Наконец затих разговор и в скотном дворе.

«Ушли или нет? Ах, если бы знать язык! А ведь можно было узнать, учился...» — продолжал думать Залесов.

И вдруг где-то там, около поселка, раздался сухой, как щелчок в лоб, винтовочный выстрел. За ним — второй. Потом застучали автоматы в разных местах. В небо взвилась осветительная ракета, и Пивоварову, который следил за поселком, показалось, что дома в нем стали прозрачными, словно они были не настоящие, а игрушечные, из плексигласа.

Он тронул командира за рукав: взгляни, дескать! — и уступил ему свое место. Залесов взглянул на поселок, а потом, обернувшись, пристально посмотрел в глаза старого солдата и увидел в них под широченными и пышными, словно усищи, бровями отблески света и самый настоящий озорной смех, лукавую, с огоньком, издевку.

— Что? — спросил он шепотом.— Ужели наши?

Пивоваров кивнул в сторону деревни, откуда вместе со стрельбой неслись уже крики, и ответил глазами, но так, что командир понял его: «Передрались немцы. Сами себя бьют».

В эту минуту Замшанин обрел наконец дар речи и шепнул со злобой, должно быть, в адрес командира:

— Завел к немцам в плен!

Его услышал Пивоваров.

— Если еще пикнешь — пристрелю! — пригрозил он.

Стрельба и крики в поселке скоро умолкли, ракета в небе погасла, и тревожная тишина опять поглотила все вокруг.

Прошло минут пять, а может быть, час и пять минут, а тишина оставалась тишиной. Бойцы понемногу выходили из оцепенения, зашуршало сено, кто-то вздохнул, кто-то тихонько, будто в рукав, высморкался.

«Если теперь лес опустел, то можно уходить. Сидеть до утра здесь нельзя. Почему же все-таки они оставили лес? Ведь стрельбы не было, значит, их никто не преследовал? И где Балюк?..»

Залесов думал обо всем этом и переглядывался с Пивоваровым.

Пивоваров, должно быть, думал о том же, потому что скоро он предложил:

— Надо, товарищ командир, разведать.

— Надо,— согласился Залесов.

— Разрешите мне пойти, товарищ командир? — попросил солдат в шапке-ушанке, длинноносый и худой, как лопата.— Губкин я. В разведке бывал, не беспокойтесь. В штрафбате служил.

— В штрафбате? — насторожился Залесов и про себя подумал: «Хорошо это или плохо, что он служил в штрафном батальоне?»

— Не беспокойтесь, товарищ командир! — повторил Губкин.

— Ладно, иди!

— Разрешите и мне, товарищ командир? — зашептал Борьян, поднимаясь с сена.

Но Залесов заметил, что Борьян при этом резко припал на раненую ногу, и потому отмахнулся от него.

Поднялись также Пенкин и Божиков, но Залесов опередил их.

— Иванов, пойдешь? — спросил он, разыскивая глазами солдата, у которого оттопыренные руки напоминали клешни краба.

— Мне что, я пойду,— выдвинулся из темноты Иванов.— Только у меня патронов не осталось. Нож бы хоть дали...

Залесов уставился на Замшанина. Тот, решив, что хотят послать в разведку и его, начал медленно подыматься с полу, словно готовился выслушать смертный приговор.

— Патроны есть? — спросил его Залесов.

— Есть немного.

— Отдай автомат Иванову, возьми его винтовку.

Замшанин обрадованно протянул свой автомат, но, чтобы скрыть свою радость, предложил:

— Может быть, лучше мне пойти, товарищ командир?

Залесов ему не ответил.

Иванов от автомата отказался, взял несколько обойм патронов у Борьяна и Пенкина.

— Идите вдвоем, ребята,— сказал Залесов Иванову и Губкину.— Проверьте — что в лесу. Может, Балюка обнаружите. Но долго ходить нельзя, время не ждет. Если ввяжемся мы — действуйте по обстановке. Поддержите с тылу в случае чего. Ясно?

Разведчики спустились с сеновала во двор без лестницы, сквозь дыру. Божиков помогал им, придерживая каждого за руку, как недавно Балюк помогал ему выбраться из угольной ямы.

— Главное, ребята, чтобы вместе, не поодиночке,— сказал он им на прощание.

Через смотровое отверстие в крыше Залесов проследил, как Иванов и Губкин, пригнувшись, пересекли картофельное поле и скрылись в лесу.

«Ясно?» — только что спрашивал он их, а для самого Залесова ничего не было ясно. Не слишком ли торопливо согласился он стать командиром? Не чересчур ли понадеялся на себя? Залесову уже казалось, что никто не выбирал его за старшего, а сам он вызвался, сам захотел власти. Вот Пивоваров и опытнее, и умнее его, а ведь не полез вперед, не напрашивался в вожаки. А ему, наверно, впрямь все ясно и все видно, что делать надо.

Залесов ежился от тягостных раздумий, переступал с ноги на ногу, всматриваясь в безысходную темноту ночи, и то и дело снимал с головы пилотку и вытирал ею лицо. Из-за того, что бойцы все больше полагались на своего командира — а он это видел и чувствовал! — все больше верили в него, Залесову становилось еще тревожнее и труднее. Но ведь об этом не скажешь!

— Отдыхайте, ребята, кто сумеет,— предложил он как можно спокойнее.— Будем ждать разведчиков. В окна смотреть поочередно!

Божиков взял в рот сухой стебелек сена и, с хрустом перекусывая его, проговорил сквозь зубы:

— Наши теперь спят, наверное. Нажрались и спят. А мы тут...

— Жри сено и молчи! — зыкнул на него Пивоваров.

— Боковня не спит,— возразил Божикову Борьян.— Он не такой. Солдаты могут и спать, а Боковня не спит.

— Положим, и нам спать не придется,— вздохнул Пивоваров и тоже положил в рот сухую былинку и стал жевать ее.

— А мы и не будем спать, товарищи,— обрадованно заговорил Замшанин. Он снова ожил, так как появилась возможность разговаривать. Без этого он даже думать переставал.— У нас подобрался хороший коллектив, товарищи. А коллектив — это сила. Что такое человек, когда он один? А в коллективе он — звено в цепи. Его связывает дисциплина сверху донизу. Коллектив — это все за одного, товарищи...

— Послушай, Замшанин,— остановил его Божиков, и толстые губы его передернулись от гнева.— Когда я остался в лесу один, у меня тоже душа в пятки ушла. Но ты все-таки помолчи. Давай лучше в другой раз, в другом месте.

— Разве ты считаешь, что у нас теперь такое положение?..

— Ничего я не считаю, помолчи!

— Уважь человека, пожалуйста,— попросил и Борьян.— Время не то.

— Время не то, время не то, а кто может знать, когда оно будет т о?

— Надо ворочать мозгами, ребята, у кого голова на плечах есть. Командиру одному трудно,— сказал Пивоваров, не стесняясь, что Залесов его слышит.— Положение у нас действительно...

— А что положение? Выходить надо, и все! — решительно заявил Борьян. Он лежал на сене и осторожно почесывал раненую ногу.— Вернутся вот Губкин да Иванов и — хлынем. Трудно бывает, когда не знаешь, что трудно, когда не приготовишься. А когда приготовишься, то ничего.

Божиков уловил в этих словах что-то, касающееся непосредственно его, и обрадовался.

— Я же об этом и говорил,— сказал он, хотя никто не помнил, чтобы он говорил что-нибудь подобное.— Вот остался я один и думаю: конец! Даже винтовку потерял.

Конец — и все. И уж ничего хорошего не ждал. А тут вижу, не я один болтаюсь. И вот нас уже много. Потом и командир, слава богу... Когда думаешь, что конец,— конца не будет.

Божиков все еще не мог успокоиться из-за того, что предстал перед товарищами в самом невыгодном для него свете — без винтовки и когда у него руки дрожали и зуб на зуб не попадал.

— Это ты как в воду смотрел,— поддержал его Пивоваров.— Никогда ничего нельзя знать наперед.

После пережитых за день волнений и долгого вынужденного молчания бойцов неудержимо потянуло на разговоры. Каждому хотелось говорить — о чем угодно, пусть шепотом, либо слушать, как разговаривают другие, только бы не испытывать больше ощущения одиночества.

Пивоваров начал вдруг рассказывать длинную фронтовую историю:

— Был у нас на Ленинградском фронте комиссар из моряков. Подошли немцы к Ленинграду, а у него там семья. И начал он горячиться. Лезет везде сам, словно один хочет остановить фрицев. Где огонь, там и комиссар.

Говорили, будто немцы прозвали наших моряков черными дьяволами. А мы нашего комиссара сами черным дьяволом звали. Носился он по «пятачку» — мы тогда в районе фортов были — в черном бушлате, в каждом кармане по немецкому пистолету, на шее немецкий автомат — все трофеи сам добывал. Черного — его далеко видно. Ну, думаем, конец человеку, погибнет от прицельной пули. А его никакая не брала... Мина ударит рядом — он стоит. Снаряд разорвется — стоит. Словно завороженный. Даже хохочет. Только рот у него все больше кривился. Страшно было смотреть на такую храбрость.

— Тихо! — предупредил Пенкин, наблюдавший за лесом, и поднял руку.

Слушатели пригнулись, замерли, взялись за винтовки. Так просидели с минуту, даже спины уставать стали.

— Что там? — спросил наконец Залесов.— Не наши ли?

— Ничего нет, товарищ командир. Показалось.

— Тогда рассказывай, Семен.

Пивоваров продолжал:

— Ну вот, значит, пошла о нем по всему «пятачку» слава, что пули немецкие его не берут. Многих это успокаивало тогда, время такое было. Представили комиссара к награде, к другой. А награды нам в то время не прихо-

дили, не было общего успеха. Ну, решили наградить комиссара отпуском. Пусть, дескать, к семье в Ленинград съездит. А может, и поберечь хотели, чтобы раньше времени сгоряча не погиб.

Прорвался он в Ленинград по заливу на торпедном катере. Пришел в свою квартиру, а квартира пустая, холодная, семья-то уже эвакуировалась. Остался на ночь в своей тихой квартире, истопил печку пожарче, лег спать и умер от угара. Вот где конец-то его был. И наше дело, по-моему, такое: ничего нельзя сказать заранее.

— Спасибо, друг, хорошо утешаешь,— с серьезным видом поблагодарил Борьян Пивоварова.— Совсем хороший конец получился, дух поднимает.

После рассказа Пивоварова бойцы наперебой стали вспоминать разные истории к случаю, и выходило, что теперешнее их положение не такое уж страшное. Все-таки немцы ведь тоже в кольце и никуда им не деться.

А Залесов слушал и думал о своем:

«Сейчас попасться к немцам в руки — все равно что от угара умереть. Даром они в могилу не пойдут. Бывают такие: живут — людей казнят, подохнут — еще тысячи за собой в землю тянут. Что-то надо придумать. «У кого есть голова на плечах?..» Что-то надо делать. А они на меня надеются, я — командир...»

— Как там в лесу?

— Ничего не видно, товарищ командир.

— А в деревне?

За деревней следил в это время Замшанин.

— Над деревней царит ночь, товарищ командир,— начал докладывать он.— Если принять во внимание обстоятельства, которые складывались там с полчаса тому назад, и то, что сейчас, ни в одном доме не слышно ни звука и никакого передвижения не замечается, то...

— Огней нет? — перебил его Залесов.

— Нет, товарищ командир.

— Ну и все.

«Что-то надо предпринять,— продолжал он думать.— Что-то надо говорить ребятам. Какой я к черту командир, ничего придумать не могу! В лесу немцы, конечно, застряли, потому что в деревне началась перестрелка, это их испугало. Сколько их там, в лесу? А Иванов и Губкин все еще ничего не дают о себе знать».

— Теперь я вам расскажу историю, ребята. Про самого себя,— начал Борьян.— Была у меня девушка в Сталин-

граде. Аня Рыжманова. Красавица и душа. Ну, хорошо. Ушел я на фронт, а она там осталась в тылу. Сталинград тогда глубоким тылом был. Послала она мне фотокарточку: сидит на дереве, а кругом вода. Волга разлилась. Сидит в купальном костюме, будто из сказки или из картинки. Очень хорошо. А я в окопах. Переживаю за нее — как да что, дождется ли? Не ей страшно за меня, а мне за нее. А может, и она за меня боялась, только ведь в окопах — кому я нужен? Ладно — хорошо. Ранили меня и послали в глубокий тыл, в Сталинград. Еду я в Сталинград, к Ане, а немцы за мной. Только добрался, разыскал свою Аню да на учет встал как выздоравливающий, а они — с воздуха...

— Ты был в Сталинграде? — вдруг, оживляясь, спросил командир.

— Был, с начала до конца. А что?

— Хорошо. И я был.

— Совсем хорошо! Ну вот... А они — с воздуха. За одну ночь весь город подожгли. Выскочили мы с Аней, бежим по огню, а я спрашиваю: «Ты куда?» Она мне: «С тобой!» — «Хорошо,— говорю,— но я же в свою часть, а тебе на переправу надо».— «Тогда,— говорит,— я в райком пойду».— «Все равно,— говорю,— за Волгой жить будешь».

И вдруг как вспомню, что у меня в комнате остался мешок, полный табаку и папирос,— это я для Ани скопил. Как же, думаю, она без табаку жить будет — ведь на табак все выменять можно. И уж не замечаю, что дома горят, что бомбы падают, стон стоит вокруг. Помню только, как долго я копил этот табак, и как трудно мне было не курить, и что Аня без табаку остается. Беги, говорю, скорей, спасай, а то сгорит. Мне нельзя, в часть надо.

Хорошо. Посмотрела она на меня так, повернулась и пошла назад.

И сразу между нами стена упала, кирпичная, наверно, от бомбы.

Тут только я и вспомнил, и понял — как она на меня посмотрела. Опомнился — и бегом за ней: на смерть, думаю, послал. А бегом-то уже нельзя, ползти надо. Ну, хорошо. Ползал я, ползал за ней, по переулкам, в обход. Ни Ани, ни домика не нашел. «Поздно хватился»,— думаю.

Вернулся в свою часть. А она там. Бросила мне мешок с табаком. «Возьми!» — говорит.

И ушла.

С тех пор ничего о ней не знаю. Слышать обо мне не хочет.

— За Волгу-то переправилась ли? — спросил Божиков.

— Переправилась.

— А говоришь, ничего не знаешь. Вот кончится война, приедешь и женишься на ней.

— Она уже второй раз замужем,— вздохнул Борьян.

— Это от обиды,— вздохнул и Божиков.

Похоже было, что он от всего сердца пожалел товарища.

«Что же мне делать? — думал между тем Залесов.— Ребята подобрались все-таки боевые. Вот и Борьян в Сталинграде был. Но неужели они не понимают, куда мы попали? Что это — беспечность? Благодушие? Зачем он про табак рассказывал?..»

— Товарищ командир,— обратился к нему Замшанин,— а как вы к табачку относитесь? Может быть, можно по цигарочке? У меня трубка, я бы трубочку...

— Ты что, очумел?! — ткнул его в бок Пивоваров.

И Залесов не стал отвечать Замшанину.

«Значит, этот ничего не понимает. А другие? Может быть, рукой махнули на все? Как же мне расшевелить их? Взять да прямо и сказать: выхода у нас, ребята, нет. Утра ждать нельзя: обнаружат, выкурят. Что нас может спасти? Бог?..»

— Давайте, ребята, разговаривать начистоту,— решился наконец Залесов.— Что может спасти нас? Случай? Случай нас завел сюда. Может, случай и выведет?

— Удаль! — подсказал Пенкин.

— Удаль — дело хорошее. Только шапками мы никого не закидаем. Да и шапок у нас мало. Надо готовиться к бою, товарищи! У кого есть бумага? Надо записать адреса друг друга. Кто будет жив, расскажет об остальных.

Говорил он это, а сам думал: «Правильно ли я делаю, что говорю об этом? Но что же мне еще говорить? Чертов я командир! Надо разозлить всех, чтобы знали, на что идут...»

— Как же так, записать адреса? — жалобно застонал Замшанин, обращаясь то к одному, то к другому.— Нас должны спасти, товарищи. Надо подождать до утра. О нас помнят, о нас нельзя забыть, товарищи...

— Нас и не забудут. Но до утра сидеть нельзя. Пойдем напролом, другого выхода я не вижу. И куда бы мы ни пробились — всюду выйдем к своим.

Залесов сам не знал точно, что значит идти напролом. «Напролом» — это еще не план. Как напролом, куда напролом, когда?

Но он думал: «Если не сказать вот так прямо — хуже будет. Расшевелить надо всех...»

— А Губкина и Иванова бросим? — настороженно спросил Пивоваров.

Наступило долгое молчание.

— Как же так? — протянул еще раз Замшанин и тоже умолк.

Залесов внимательно всматривался в лица бойцов, старался заглянуть каждому в глаза и жалел, что из-за темноты не всех видит.

Ему пришла в голову мысль, что выходить из окружения одному, пожалуй, было бы проще и легче. Но ведь это если бы он был один. А он не один, и хорошо, что не один. До чего же все-таки трудно быть командиром.

— Только напролом, ребята,— повторил Залесов еще тверже,— другого выхода не вижу. Может, и умереть придется. Пишите записки, если есть куда, но без соплей. Иванов и Губкин той порой подойдут. Понял, Замшанин, соплей не пускать! — обратился он особо к Замшанину.— Держись, брат!

— Я держусь, товарищ командир,— совершенно растерянно произнес Замшанин, и у него опять задергались обе щеки.

Залесов ошибался, предполагая, что бойцы настроены благодушно. Тревога жила в душе у каждого, только друг перед другом они старались скрывать ее.

Напряжение особенно нарастало из-за того, что Иванов и Губкин долго не возвращались. О них думали все время, а Балюка уже перестали считать живым.

Семен Пивоваров, сидя, поставил винтовку промеж колен и, оперевшись на нее, низко опустил голову. Лицо его скрылось за густыми, широкими бровями.

— Да,— вздохнул он,— так я, братцы мои, ордена и не получил. Послали бы домой орден в случае чего. Все-таки...

В голосе его была тоска и обида: немало времени, видимо, ждал он этого ордена, и нелегко он ему достался. И о доме своем вспомнил солдат: о жене, вечной своей печальнице, о малых своих («Не голодают ли они теперь в колхозе?»), о двух старших сынах, которые тоже где-то воюют («Живы ли?»), вспомнил и вздохнул.

А Залесов сразу ухватился за его слова:

— Выйдем, ребята, все с орденамн будем. И Замшаннн получнт, н Пенкнн, н Божнков, н Борьян — все получнм. Ну как, ребята?

— Что — как? — тнхо спроснл Борьян.— Ордена-то, может, н получим. А то меня в четверг в партню должны прннимать.

— В партию? — так же тнхо переспросил его Залесов.

«Вот у всякого своя жнзнь, свон планы,— думал он,— н все это вдруг может навсегда оборваться... Была девушка, любнл, а табак все дело нспортнл. Конечно, не табак вниноват, парень сглупнл, но ведь он хорошего хотел, он любнл эту сталннградскую девушку Аню. «Снднт,— говорнт,— на дереве, а кругом вода, Волга разлнлась...» Да, так-то вот оно н бывает... А я думал, он слаб. Хромой, рана, вндно, еще не зажнла, а перед товарнщамн держнтся, не хочет показать, что больно. Крепкнй парень! О партнн вспомннл, не бонтся... Наверно, готовнлся, мечтал, значнт. Главное, чтобы у человека мечта была, вера. А до четверга еще дожнть надо. Доживем лн? Жалко парня».

— Ребята, есть у нас кто-ннбудь коммуннсты? — спроснл Залесов, подняв голову н обводя всех глазамн.

Солдаты промолчалн.

— А ты, Пенкнн?

— Я только комсомолец, товарнщ команднр.

— Былн, да поубнвалн всех,— сказал Замшаннн.

— Губкнн, кажется, состоял.

— Жалко! — сказал Залесов.

«Жалко,— продолжал думать он.— Еслн бы коммуннсты былн, может, его прннялн бы сейчас, здесь. Это ведь делается: перед боем прнннмают людей в партню. Вроде как нсповедь перед нспытаннем. А хорошо было бы это для Борьяна, раз мечтал человек. Ну, ннчего не поделаешь...»

Сам Залесов в партнн не состоял. Еслн бы ему когда-ннбудь предложнлн вступнть в партню, он, может быть, и подал бы заявленне. Но ему не предлагалн ннгде, нн разу. А додуматься до этого сам не успел.

— Товарнщ команднр,— неожнданно обратнлся Борьян к Залесову,— а может быть, все-такн можно, а? Может, вы меня однн прнмете? Меня еще до госпнталя хотелн прннять, да вот раненне помешало.

Лнца Борьяна почтн не было вндно, но глаза его блестелн, н голос был такой хороший, сердечный.

— А н вправду, товарищ командир,— поддержал его Пенкнн.— Обстановка у нас особенная, необычная, ннкто

бы вас не осудил. А на Борьяна это знаете как может повлиять? Вы, может быть, ему жизнь спасете.

Остальные бойцы прислушивались к разговору.

Залесов понял, что его все почему-то посчитали коммунистом, и смутился.

— Я бы вас не подвел, товарищ командир,— снова стал просить Борьян.— Ведь такое дело... Я бы хоть знать стал... это ведь вроде крещения на жизнь и смерть.

— Понимаю, Борьян, только не так это все просто. Не могу я. Дело за малым, видишь ли...

Залесов хотел уже сказать, что он сам не член партии, но молодой, горячий Пенкин перебил его:

— Да можно, товарищ командир, можно! Вы не сомневайтесь, мы вас поддержим в случае чего. Расскажем, как дело было. Это же не на гражданке.

«Верят! — с радостью подумал Залесов.— Как же я обману их теперь, если они верят? А правду открыть тоже не хочется. Такая правда перед боем может оказаться хуже лжи».

— Ну как, товарищ командир? — настаивал Пенкин.

— Не егозись, дай подумать. Не могу я, понимаете вы или нет?

Тогда опять заговорил Замшанин. Конечно, он не навязывал никому никаких решений, нет, он только из чувства искренней доброжелательности к товарищу Борьяну захотел высказать товарищу командиру свои личные соображения по затронутому вопросу:

— А почему не можете, товарищ командир? Ведь Борьяна все равно в четверг должны утвердить, и, значит, он уже, если можно так выразиться, почти состоит в партии.

«А может, и впрямь можно? — начал соглашаться Залесов.— Ну обману я его, но разве такой обман во вред? Борьян, может быть, сегодня смерть примет. Ему же легче будет, если я его обману. Это святая ложь. Какое тут преступление, если он душу очистит, если он орлом в бой пойдет? Напролом так напролом!»

И Залесов решился.

— Что же, Борьян, дело, брат, тут действительно такое необычное,— сказал он.— Приму я тебя один, пускай мне нагорит. Дам я тебе справку, и будешь ты членом партии.

— Я в кандидаты подавал,— поправил его Борьян.

— Ну да... понятное дело, в кандидаты,— смутился Залесов.— А выберемся — и примут тебя в члены. В бой мы с тобой пойдем вместе. Давай бумагу.

— У меня есть бумага, товарищ командир! — сказал Замшанин и достал из внутреннего кармана шинели несколько сложенных в осьмушку потертых листков и вечное перо.

— Спасибо, товарищ командир! — взволнованно сказал Борьян; в голосе его появилась какая-то мягкость, теплота, которой, казалось, трудно было ожидать от этого резкого востроглазого человека с бледным лицом.— Я пойду в бой рядом с вами, товарищ командир, на меня можете положиться.

— Очень хорошо,— сказал Залесов.— Так оно и будет.

— Что мне писать?

— Это уж я напишу. Ты свое заявление составил. Дай-ка сюда принадлежность.

Вокруг Залесова сгрудились бойцы, даже дежурные наблюдатели отвернулись от окошек и смотрели в его сторону.

Писать было не на чем и темно. Кто-то подал командиру черепичную плашку. Залесов встал, подвел Борьяна к отверстию в крыше, положил ему на спину глиняную плашку оборотной стороной и при тусклом свете мерцающего звездного неба, почти на ощупь, написал следующее:

«Настоящим удостоверяю, что тов. Борьян пошел в бой коммунистом. Нас было девять человек. Прошу оформить ему документы.

Командир группы
Залесов А. Я.»

Окончив писать и перечитав текст, чтобы не допустить каких-нибудь грамматических ошибок, для чего ему пришлось почти вплотную припасть глазами к написанному, Залесов отдал справку Борьяну и сказал:

— Держи!

— Понимаете, что вы для меня сделали?! — громко, не считаясь с предосторожностью, ответил Борьян.

— Понимаю, Борьян, очень хорошо понимаю!

— Вы теперь вроде как мой крестный.

Они обнялись.

Борьян распахнул шинель и, сложив справку, упрятал ее в левый нагрудный карман гимнастерки.

После этого к нему шагнул Пенкин:

— Поздравляю, друг, от всей души поздравляю!

Борьян широко улыбался.

Залесов заметил, что хорошее настроение передалось и другим бойцам и даже ему самому...

А затем произошло такое, что снова повергло Залесова в смятение: Семен Пивоваров вдруг вытянулся перед ним по привычке старого бывалого солдата и заявил:

— Нельзя ли и мне, товарищ командир? Вы теперь не один, вас двое... Вместе с вами буду...

Залесов снял пилотку с головы и, вытирая ею, как платком, лицо и шею, не отрываясь смотрел на Пивоварова расширенными глазами.

«А вдруг все захотят вступить в партию, что тогда? — думал он.— Обманывать людей? И что у этого Семена на душе? Может, он в свою просьбу всю жизнь вкладывает, может, прикидывал так и эдак? А может быть, готовился к смерти и, как бы прозревая и внутренне очищаясь от всяких обид и мелких помыслов, просит принять его в партию?.. А может быть, с именем партии у него связано все, чем жил, все, о чем мечтал, все лучшее, что видел и хотел видеть вокруг себя? Ведь и в плен взять могут, а не боится...»

И вот Залесову показалось, что он нащупывает настоящий план спасения себя и своих товарищей, план атаки, что он понял наконец, что значит идти напролом. А ложь его — это ложь во спасение.

— Можем и тебя принять, Семен,— ответил он старому солдату.— Ты правильно понял: сейчас я уже не один. Мы будем принимать тебя вдвоем с Борьяном. Как ты, Борьян?

— А разве я могу уже принимать? — удивился Борьян.

Пивоваров взял у Замшанина листок бумаги.

— Подожди, Семен,— остановил его Залесов.— Раз такое дело, я составлю общий документ. И будем действовать, как положено. Рассказывай пока о себе, кто ты есть. Правильно я делаю, Борьян?

— Правильно, товарищ командир!

Пивоваров растерялся. Что он может рассказать о себе?.. В партию он не собирался вступать, но уж раз такое положение... Ему всегда представлялось, что в партию могут вступать лишь люди видные, занимающие какой-нибудь служебный пост, а он просто русский мужик и в своем колхозе даже бригадиром ни разу не был и грамотой настоящей не владеет.

— О чем же мне говорить? — спросил он.

— Говори, откуда ты. Говори, что знаешь.

— Ну, мне скоро будет пятьдесят лет. Ярославский я. Жил все годы в деревне, потому здоровый. Воюю третий

раз, лет десять на войне провел. Еще при царе воевал. Но тогда я был несознательный.

— А сейчас как? — спросил Замшанин.

— Сейчас ничего. Лучше стало. Вот к ордену меня представили. Все понимаю. Два сына тоже воюют. Немцев мы, конечно, опять побьем. Ежели домой ворочусь, буду опять в колхозе работать и малых своих поднимать. Надо, чтобы все выучились, в люди вышли. И колхоз поднять надо. Так я понимаю. Вот товарищ командир говорит, что сейчас напролом пойдем. И я пойду, это уж точно, товарищ командир! А там видно будет. Может, и умрем, тогда вы напишите моим...

Пивоваров замолчал, переложил винтовку из одной руки в другую.

— Все? — спросил Залесов.

— А чего еще? Ничего я такого не сделал, чтобы... А там видно будет.

— Мы тебя принимаем в Коммунистическую партию, товарищ Пивоваров, как советского воина и колхозника! — объявил Залесов и про себя подумал: «Верят, верят! Теперь мы выйдем из окружения!» — Борьян, согласен? — добавил он.

Залесову все еще не хватало убежденности в том, что он поступает правильно, что расчет его верен — только так можно выйти из окружения. Продолжая следить за собой и за своими солдатами, он искал новых и новых подтверждений, что он не делает ничего плохого. А раз уж начал делать, раз уж решился, то пусть никто не сможет упрекнуть его в недобросовестности.

— Дай-ка мне, Замшанин, листок побольше.

Залесов опять подошел к мерцающему просвету звездного окна и, как в первый раз, положив черепичную плашку на спину Борьяна, стал писать, произнося каждое слово вслух:

«Майору тов. Лебедеву.

Нас оцепили немцы в скотном дворе. Будем прорываться.

Перед боем вступаем в великую партию коммунистов...»

— Ничего не видно,— поднял он голову.

— Товарищ командир, у меня есть фонарик,— сказал Замшанин.— Давайте мы вас прикроем.— И показал ему металлическую трубочку со стеклом на конце.

Залесов подумал и согласился:

— Немецкий? Пускай светит. Только осторожнее.

Он устронлся в сене на полу, положнв черепнчную плашку с листом бумаги на колено. Замшаннн стал ему подсвечнвать, раскниув над ннм полы своей шинелн, как наседка крылья.

У отверстня в крыше остался стоять Борьян.

— Так... вступаем в великую партню коммунистов...— повторнл вслух Залесов.— Дальше: «Еслн погнбнем, просим утверднть заочно. Да здравствует наша Роднна!» Правильно я пншу, товарнщи?

— Кажись, все так!

— Первым ставлю фамилню Борьяна. Как твон ннициалы?

— Ашот Гургеновнч.

— Так. «Борьян А. Г.» Распншись! И адрес давай.

Борьяи подошел, расписался и вернулся на свой наблюдательный пост.

— Второй — Пивоваров Семен...

— Ивановнч,— подсказал Пивоваров.

— «Пивоваров С. И.». Распншись!

Пивоваров расписался.

— Вот иас уже трое,— удовлетворенно подытожнл Залесов. Он и впрямь начииал вернть всему, верить, что н сам является коммуннстом.— Трое. Да еще Губкнн вериется. Теперь мы выйдем.

Но когда н Пенкии заговорнл о вступленнн в партню, Залесов опять нспугался:

«Так и есть!.. Теперь н Божиков захочет. А ведь онн нз другнх частей, наверно... Скорей бы уж возвращалнсь Иванов и Губкнн!»

Едва ои подумал об этом, как в лесу, где-то совсем близко, раздался нстошиый вопль иемца, словио ему прнставнлн нож к горлу, затем крикн немцев же и, наконец, длииная тяжелая русская браиь.

Бойцы повскакали со своих мест и схватились за вннтовки. У Замшаиина выпал фонарик нз рук, н сено под ногами иа мгиовение словио вспыхиуло. Залесов наступнл на фонарик сапожищем, свет хрустнул и потух.

— Это Балюк выразился,— прошептал Божиков,— я узиал его голос.

— Живой?! — удивился н обрадовался Пенкин.

— Живой, слава богу! — подтвердил Божиков.

По лесу разиесся выстрел, за иим почти сразу второй, многократно повторенный эхом, потом заработали автома-

ты, словио кто-то начал торопливо бить в днище пустой бочки.

— Значит, ие схватили. Совсем хорошо! — заключил Борьян.

Стрельба быстро отдалялась влево, стаиовясь все глуше и тише.

— Гоият! — сказал Пивоваров, будто речь шла об охоте.— Надо бы уходить, товарищ командир.

— А Губкииа с Иваиовым бросим? — возразил иа этот раз Пеикии.

Залесов промолчал.

Тогда Пеикии сиова подступил к нему:

— Примите скорее и меия, товарищ комаидир. Тогда пойдем.

И, ие дожидаясь, когда Залесов что-иибудь ответит, ои, поглядывая изредка на Пивоварова и Борьяиа, начал торопливо, заучеиио рассказывать о себе. Видио было, что в комсомоле ему иередко приходилось заполиять всевозможные аикеты.

— Я родился в тысяча девятьсот двадцать четвертом году в колхозе «Сибирский мерииос» Рубцовского района Алтайского края. Отец мой чабаи, мать рядовая колхозница...

Напористости Пеикииа ие противились, ио бойцы прислушивались больше к затихающей стрельбе в бору, чем к его рассказу.

— ...средиюю школу я ие окоичил, пошел иа войиу...

— Добровольцем? — спросил кто-то.

При других обстоятельствах, когда Пеикииу приходилось говорить об этой поре, он сам, без всяких вопросов и с гордостью, сообщал, что пошел иа фроит добровольцем. Это, в сущиости, так и было. Но сейчас утверждать, будто он ие простой солдат, а какой-то особенный солдат-доброволец, зиачит, попросту бахвалиться перед товарищами. Ведь все равно срок его призыва подходил и ои так или ииаче был бы мобилизоваи, только, может, иа иесколько месяцев позже. Теперь вопрос товарищей показался ему упреком за все его прежиее неиужное, мелкое бахвальство, и Пеикии, смутившись, ответил:

— Что зиачит добровольцем? Все пошли, и я пошел.

— Ушел или иет? — раздумчиво спросил вдруг Залесов о Балюке.

— Ушел, иаверио. В лесу темио,— так же тихо, будто про себя, промолвил Пивоваров.

— Я рассказал почти все, товарищи,— продолжал Пенкин.— На фронт попал я не сразу, был несколько месяцев на лагерной подготовке. Боялся, что совсем воевать не придется, но вот пришлось. Ну, там у меня было такое... Но я, товарищи, не пощажу жизни своей...

— Можно мне вопрос? — поднял руку, как на собрании, Замшанин.— Мне хочется знать, как вел себя товарищ Пенкин в комсомоле. Чего-то он тут не договаривает, как мне показалось.

Пенкин смутился еще больше, и Залесов, заметив это, поддержал Замшанина:

— Правда, Пенкин, скажи-ка не по анкете, а по душам, что ты за человек, как сам себя понимаешь?

Пенкин сам уже почувствовал, что не все сказал о себе, не всю душу открыл. Но как рассказать о том, что он по-новому вспомнил только сегодня и что лишь сегодня осознал и поставил себе в вину как тяжелый проступок?

— Вот, товарищи,— начал он совсем не тем бодрым голосом, каким передавал анкетные данные из своей биографии, а робким, беспомощным, когда вскрывают самые затаенные уголки души.— Вот я думал, что все у меня в жизни хорошо. Но Борьян тут говорил о Сталинграде, о случае с табаком, и я понял свою подлость.

И Пенкин коротко, но откровенно рассказал, как на исповеди, историю своих отношений с девушкой-одноклассницей, тоже Аней.

Вся история с Аней промелькнула, пронеслась в памяти Пенкина мгновенно, эту свою биографию он вспомнил разом, всю, до мельчайших подробностей, а своим товарищам рассказал, хоть и с предельной откровенностью, очень коротко. Лишь сегодня, после рассказа Борьяна, он почувствовал всю меру своей вины перед Аней и понял силу любви ее. Он также осознал, что сам любит Аню, и уже не смерти своей боялся теперь, а боялся, что Аня может не узнать, что ныне он совсем не такой, каким был раньше.

— Подлец я, ребята, вот как я себя понимаю теперь! — заключил Пенкин свою исповедь, и солдаты словно притихли после таких его слов.

— Но я, товарищи, клянусь, что не пощажу жизни своей...— заторопился Пенкин, видимо испугавшись, что откажут ему в приеме в партию.

— Нашел о чем вспоминать! — брезгливо заметил Замшанин.

«А все-таки он чистый человек,— решил про себя За-

лесов, внимательно выслушав покаянный рассказ Пенкина.— Только это ведь мне так кажется. А что скажут другие?»

Вначале, когда речь шла о Борьяне, ну, о Пивоварове еще, Залесов пошел на сделку со своей совестью, оправдываясь тем, что использует своеобразный тактический прием перед боем, из которого, возможно, никто не выйдет живым. Но сейчас, когда солдаты стали открывать друг перед другом святая святых своей души, Залесов снова оробел. Правильно ли он делает, играя на лучших человеческих чувствах?

«Правильно ли я делаю? — вопрос этот мучил его все больше и больше.— Может быть, теперь уже можно, уже пора открыть ребятам всю правду? Нет, нельзя! — тотчас отвечал он сам себе.— Нельзя, не имею права».

— Пощадишь ты жизнь или не пощадишь — это один разговор,— сказал Божиков Пенкину,— а только напиши ей письмо. А домой вернешься — женись на ней, сукин ты сын. Если б с моей дочкой сделал такое, гад!..

Залесов оглядел солдат:

— Ну как, товарищи?

— Так он же теперь понимает все. Можно! — поддержал Пенкина Борьян.

— Значит, принимаем? — спросил еще раз Залесов и, занося впотьмах фамилию Пенкина на бумагу, добавил, обращаясь к нему: — Кровью врагов ты должен смыть с себя это пятно!

— Смою, товарищ командир! — ответил Пенкин, ставя свою подпись на листе.

— Ну, кто еще?.. Божиков, и ты хочешь? — вдруг предложил сам Залесов.

— Не откажитесь и от меня, товарищ командир. Я всю жизнь плотничал на производстве и дома строил, а теперь вот четвертый год воюю. Промашка с винтовкой, конечно, была, только я винтовку не бросил, а сам не помню, как все вышло... один ведь остался. Со всеми вместе хочу.

Приняли и Божикова.

Когда он расписывался, Залесов сказал:

— Вернемся с войны — жить будет, пожалуй, негде. Тебе поклонимся, нам по избе построишь. Если уцелеем..

Замшанин задавал вопросы и Божикову. Но сам вступать в партию не стал. Нет, он не отмолчался. Он просто заявил, что не считает для себя возможным пользоваться

особымн обстоятельствамн, не хочет ннкакнх поблажек, поэтому оставляет о себе вопрос открытым.

Солдатам от этих слов его стало как-то ие по себе. Онн поннмающе переглянулнсь друг с другом н даже насторожнлнсь. «Боишься, оратор? — словио говорнлн онн.— Это тебе не речугн пронзиосить!»

А Залесов сказал с облегчеииeм:

— Очень хорошо!

Прнпав еще раз глазамн к лнстку, заполненному фамнлнямн н домашннмн адресамн, он распнсался сам: «Команднр группы Залесов А. Я.»,— а вннзу, прнкрывая на всякнй случай бумагу рукой, добавнл на ощупь: «Прошу прннять н меня».

— Вот, товарнщн, это теперь как наша вторая прнсяга,— сказал он, складывая лнсток н пряча его во внутреннний карман шинелн.— Заметьте все, куда кладу.

— Уходнть надо, товарнщ командир! — еще настойчнвей предложил Пнвоваров.— Нашн услышат, и соеднннмся в лесу.

Но Залесов не ответил ему. Он медлнл. После всего, что произошло, он вернл в своих товарнщей, н этой веры уже ннчем нельзя было поколебать. Этн воины нсповедовались в своих слабостях н утверждалнсь в своей снле, они самн для себя открывалн нстнннные ценностн жнзнн, каждый знал, иа что он ндет н что от него требуется.

И все-такн Залесов медлнл, словно он ждал какого-то снгнала нзвне.

Этот снгнал нзвне накоиец был дан.

— Немцы! — зашептал Борьян.— Идут сюда.

На этот раз предупрежденне оказалось серьезным.

Залесов вскочнл:

— Сколько?

— Не внжу.

— Прнготовнться! Спускай лестннцу!

Божиков осторожно открыл наружную дверцу сеновала, прн этом дверца чуть скрнпнула, н он помянул бога.

Пнвоваров н Пенкни вскннулн прнставную лестннцу н легко, бесшумно опустнли ее однім концом на землю.

На сеновале стало светлей н повеяло свежнм смолнстым воздухом.

Залесов осмотрел всех. Рыжеватость его редких усов прн открытой дверце стала заметна. Говорнл он по-прежнему шепотом, но теперь резко, уверенио.

— Слушайте, ребята! Нам сейчас умирать не положе-

но,— сказал он.— Понимаете, чего сейчас каждый из нас стоит?!

Никаких других громких слов он не произнес, но бойцы поняли, о чем он думал и что хотел сказать.

— Пенкин, как ты?

— Я здесь, товарищ командир! — вынырнул из темноты Пенкин.

— Что там у тебя, Борьян?

— Кажется, пятеро, товарищ командир.

— Пятеро? Если войдут во двор — не выпускать. Я спрыгну в том конце в дыру. Пенкин и Пивоваров — по лестнице вниз и в ворота. Остальные за ними. Потом все вместе — в лес. Никого не оставлять, выручать друг друга.

Возможно, что немцы услышали скрип дверцы, когда ее открывал Божников, а может быть, просто захотели проверить, есть ли кто в скотном дворе, только вдруг сухая автоматная очередь резанула воздух и пули тугой струей ударили по бревенчатой стене.

Никто не вскрикнул, не шевельнулся, лишь у Замшанина открылся рот и задергались обе щеки. Залесов бросился к нему:

— Что у тебя? Опять щеки заиграли?

Этот окрик, должно быть, взбодрил Замшанина, он сумел овладеть собой и ответил почти спокойно:

— Ничего-го, товарищ командир, эт-то только щеки.

— Гляди у меня! — на этот раз уже пригрозил Залесов.

Борьян поднял руку: больше разговаривать было нельзя.

Внизу у самой лестницы раздался легкий свист. Пивоваров и Божников одновременно высунули в открытую дверцу стволы винтовок, но там оказались не немцы, а Губкин, Иванов и Балюк. Борьян их не заметил.

— Тихо! — шепнул Губкин.— За нами идут.

По лестнице они не поднялись, а исчезли за стеной двора так же незаметно, как и появились.

Немцы подходили ко двору.

Залесов выхватил у Замшанина автомат, сунул ему в руки винтовку и, перебежав легкими, быстрыми шагами в другой конец двора, склонился над широкой дырой, через которую раньше кидали скоту сено.

В пустом дворе было светлей, чем на чердаке,— свет проникал в окна с обеих сторон и в распахнутые ворота.

Немцы подошли ко двору почти неслышно, а, заглянув в него и убедившись, что там никого нет, залопотали громко, чему-то радуясь. Все они были с автоматами.

«Эх, знать бы язык!» — досадовал опять Залесов и, приготовившись к прыжку и еще раз взглянув на своих, решительно нажал на спусковой крючок автомата, направив его ствол в сторону ворот, в группу немцев.

Короткий стук автомата еще не замолк, а Залесов уже был во дворе и, дико крича, бежал к немцам, не видя их. Он сам бы не смог сказать, как он прыгнул, когда и что при этом почувствовал — упал или не упал, да и вообще прыгал ли он.

В следующий момент Залесову показалось, что он все еще стреляет, но уже по своим, так как в воротах двора стояли Пивоваров, Борьян, огромный Божиков, а хладнокровный, неторопливый Балюк снимал с немца автомат и планшетку.

Но Залесов больше не стрелял.

И никто не стрелял, просто в ушах у Залесова гудело от первой его автоматной очереди.

И немцы не сделали ни одного выстрела.

Боевые стычки, подобные этой, почти всегда совершаются так молниеносно, что потом никто из участников не может толком понять и рассказать, *как* все произошло.

Живых немцев осталось двое. Они не сразу пришли в себя.

— Не трогать! — приказал Залесов, уже не шепотом. Теперь все стали говорить громко.

Балюк по-хозяйски собрал автоматы и запасные обоймы к ним, нашел несколько гранат. Бойцы расхватали автоматы, но винтовок своих никто не бросил. Только Божиков хотел было закинуть свою немецкую винтовку на сеновал, но тоже раздумал.

— Долго тебя по лесу-то гоняли. Я уж думал — все, отвыражался,— обернулся он к Балюку.

— Кто кого гонял...

В планшете оказались какие-то карты и тетради, и Балюк надел его на себя.

Один немец, опомнясь, вдруг вскинул руки: сдаюсь, мол!

— Догадался! — сказал Залесов и попробовал объяснить пленным жестами, что, если они побегут, он их пристрелит.

— Карашо! — сказал немец.

— Ага, понимает. Будет не хорошо, а плохо'

— Карашо! — сказал немец.

— Пойдете с нами, в плен,— приказал Залесов.— Понятно?

— Они не возражают, товарищ командир, они согласны! — засмеялся Пенкин, который не знал, куда деть свою радость оттого, что все произошло так быстро и просто.

Да и остальные бойцы кипели от возбуждения. Сейчас это был действительно уже боевой отряд, а не группа случайно попавших в беду людей.

Той порой в поселке поднялся переполох. Над домами опять взлетела и повисла «люстра». Редкая, беспорядочная стрельба из винтовок перешла в беспрерывную трескотню нескольких пулеметов. Куда они бьют, нельзя было понять, но вот ударил миномет, и стало ясно, что немцы берут под обстрел скотный двор.

Первые две мины легли далеко в стороне от двора, третья — почти за стеной.

Надо было срочно уходить.

Немцы, прислушавшись к стрельбе в поселке, перекинулись друг с другом несколькими фразами.

— Пристрелю! — рявкнул Залесов.— Свяжите им руки!

Вязать было и нечем, и некогда.

— По-русски понимаете? — спросил Залесов немца, который перед этим говорил «карашо».— Сколько ваших в деревне?

— Карашо! — ответил немец.

— В лесу немцы есть?

— Карашо! Плен, плен карашо!

— Пошли, ребята! Балюк и Губкин, смотреть за ними! Планшетку беречь, может, там что-нибудь и важное есть.

Перед тем как выйти из ворот двора, кто-то, кажется, Божиков, обратил внимание командира на то, что один из трех подбитых немцев начал шевелиться.

Залесов оглянулся, но тут же бросил на ходу:

— Не трогать! Свои подберут. Пошли!

Очередная мина ударила в крышу, когда все они — девять советских солдат и два пленных немца — были уже на картофельном поле. Осколков посыпалось сверху столько, что, казалось, никто из них не уцелеет. Правда, это были черепичные осколки.

Дальше произошло следующее.

Добравшись до сосновой опушки, Залесов не пошел по

старому следу, не стал углубляться в лес, в полную темноту, а круто повернул влево, и скоро перед солдатами открылся приречный луг. Пока все было тихо, и Залесов решил, что отсюда следует избрать направление и двигаться, ориентируясь по звездам, только прямо, чтобы не закружиться.

Прямо — значит к реке. До реки, окаймленной кустарником — из-за этого-то ее и разглядели,— надо было метров полтораста пройти по открытой местности. Примерно на половине пути стоял большой стог сена. Значит, первый бросок — к стогу. И только бегом.

Так и сделали.

До стога они не добежали, началась стрельба. Почему-то всем показалось, что бьют из стога, навстречу им, и солдаты, не сговариваясь, повернули влево, в обход стога. На стрельбу не отвечали, торопились скорее добраться до берега.

— Быстро, быстро! — покрикивал Залесов.

Но быстро не мог бежать Борьян, он снова сильно захромал. Тогда Иванов на ходу стащил с него винтовку и автомат, а Залесов и Пенкин подставили ему свои плечи.

— Не надо, вы только мешаете мне! — отбивался Борьян, а сам все больше отставал.

Иванов взвалил на себя еще две винтовки — Пенкина и Залесова, те, в свою очередь, почти подняли Борьяна, и он лишь изредка успевал толкать землю одной ногой.

— Быстро, быстро! — повторял то и дело Залесов.— Подними обе ноги, Борьян, легче будет.

Первая группа солдат вместе с пленными уже приближалась к реке.

В этот миг над лесом, в том самом месте, где все они только что были, взвилась ракета. Луг сразу ярко зазеленел, и впереди бегущих появились их длинные тени. Кое-где трава не была скошена, Залесов увидел много перестоявших ромашек и огромного Божикова, который несся к ним навстречу уже от реки.

— Стреляют сзади, в стогу никого нет! — крикнул Пенкин.

— Давайте за стог. Быстро, быстро! — распорядился Залесов, увлекая за собой Пенкина и Борьяна.

Борьян с каждой секундой становился тяжелее. Залесов начинал задыхаться. Особенно трудно было ему из-за того, что Борьян время от времени резко отталкивался от земли своей здоровой ногой. Один раз он оттолкнулся

так, что Залесов почувствовал боль во всем теле и свалился. Вместе с ним упали и Борьян, и Пенкин.

Но Пенкин и Борьян тотчас же вскочили, а Залесов подняться уже не смог.

Когда подоспевшие Божиков и Пенкин потащили его к стогу, он сказал:

— Подними обе ноги, Борьян, не толкай больше.

Еще он сказал:

— Быстро, быстро!

И затих.

Отстреливаясь из-за стога, солдаты оттащили раненого командира к реке и под прикрытием берега с полчаса поочередно несли его на руках вдоль самой кромки воды. Реку переходили вброд, место оказалось неудачным, глубоким, на середине реки Залесова подмочили, и он пришел в сознание.

— Несете? — сказал он, глядя в звездное небо.

— Несем, товарищ командир! — ответил ему Пивоваров.

— Немцев не отпустили?

— Будьте спокойны, не отпустим.

Борьяна через реку тоже перенесли на руках.

Люди вымотались и на противоположном берегу в густой заросли ивняка присели, чтобы передохнуть и перевязать командира. Ранен он был в бок, навылет.

Когда тронулись дальше, на земле остались две винтовки.

Балюк заволновался:

— Подберите... пригодятся!

— Патронов же нет.

— Все равно бросать нельзя добро!

Удивительно, как этот хозяйственный человек умел следить за собой даже в таких условиях. Уж, казалось, и бежали сломя голову, и ползли, и в реке выкупались, у Замшанина снова лицо и руки исцарапаны. Губкин потерял шапку-ушанку, а на нем все по-прежнему было в порядке: ни одной оторванной пуговицы на шинели, ремень не сдвинут в сторону, волосы не выбиваются из-под пилотки и даже вымок он как будто меньше, чем другие.

Заречные немцы не преследовали советских солдат, но на этом берегу их опять обстреляли. Кажется, сразу с двух сторон, с флангов, но точно понять откуда — было невозможно. Пивоваров повернул всю группу в высокую переспевшую рожь.

Идти надо было спешно, и обязательно пригнувшись.

и обязательно вразброд, чтобы не промять слишком заметную широкую дорогу.

— Вот в такую рожь и комиссар наш тогда кинулся,— напомнил Губкин о бесстрашном ленинградском моряке.

Залесова теперь несли на божиковской шинели, она была шире и длиннее прочих. Из-за того, что шли пригнувшись, солдаты быстро уставали и часто сменяли друг друга, лишь Пенкин не уступал своего места никому. Иванов тащил на себе вооружение четырех-пяти человек. Борьян шел сам, опираясь на палку, тяжело хромая.

Мягкие влажные колосья касались лица командира, и он то приходил в сознание, то начинал бредить.

Однажды он попросил:

— Не трогайте усов моих, ребята, я их всю войну отращиваю. Ничего, что рыжие...

— О чем вы, товарищ командир? — встревоженно склонился над ним Пенкин.

— Правильно я сделал, ребята?

— Правильно, товарищ командир, все правильно!

Залесов вдруг словно бы узнал Пенкина:

— А, это ты? Несешь?

— Все несем, товарищ командир. Вынесем, лежите спокойно.

— Крестники мои! — сказал Залесов и опять закрыл глаза.

Поле оказалось бесконечно широким, а с разных сторон то и дело раздавалась стрельба, и Пивоваров начал бояться, что они не успеют выбраться из ржи до рассвета.

— Быстро, быстро! — торопил он совершенно выбивающихся из сил людей и сам хватался за шинель, на которой лежал Залесов.

За полем, в овраге, у тихо звеневшего ручейка, они еще раз присели отдохнуть. Залесова бережно положили в мягкую траву, где было посуше.

Он попытался подняться, но не смог:

— Все мои здесь?

— Все, товарищ командир.

— Выйдем?

— Полагаю, скоро выйдем, не сомневайтесь! — ответил Пивоваров.

— Бросьте меня... если умру. А сейчас... несите. Выйти надо!

Потом он подозвал к себе Пивоварова и слабеющим голосом сказал ему на ухо:

— Семен! Возьми у меня документ. Передай его комиссару Лебедеву. Скажи ребятам, чтобы не обижались.

Пивоваров осторожно достал с его груди слипшийся, мокрый листок, развернул и мельком прочитал последнюю фразу: «Прошу принять в партию и меня».

— Ничего не надо говорить, товарищ командир. Выйти надо. Все жить будем! — сказал он и затем скомандовал: — Коммунисты, поднимайсь! Быстро, быстро!

На рассвете они оказались среди своих. Каким образом это произошло, никто не заметил, и после каждый рассказывал о переходе по-своему. Больше и азартнее других рассказывал Замшанин, создавая впечатление, что именно он-то и был самым главным организатором и вдохновителем перехода, самым находчивым и решительным.

Завидев советских солдат, Пивоваров закричал Залесову:

— Мы у себя, товарищ командир! Вышли!

Залесов медленно открыл глаза, чуть заметно улыбнулся и тихо, как бы про себя, сказал:

— Свободны! Правильно я сделал!

«Правильно,— подумал и Пивоваров.— Жив бы только остался...»

Залесова сдали в санбат.

Публикация Натальи Яшиной

ВАСИЛИЙ СУББОТИН

КАК КОНЧАЮТСЯ ВОЙНЫ

Рассказы шестидесятого года

СЕРОЕ ЗДАНИЕ

Когда наступил рассвет, все, кто был в доме Гиммлера, подошли к окнам, надеясь увидеть рейхстаг. Но ничего не увидели: мешало какое-то здание.

Неустроев тоже глядел из-за подоконника. (Окно в подвале было высоко.) Он видел немногое. Справа — деревья парка, еще голые, темные. Тянет апрельской влагой, прошлогодним прелым листом. Слева виден ров. Еще не совсем рассеялся туман. С крыши капает... Неустроев увидел и это четырехугольное невысокое здание, также прикрытое деревьями. Здание ему показалось не очень большим. Правда, над ним купол и башни по бокам, но ничего особенного оно собою не представляет.

Бойцы, столпившиеся тут же, были озадачены. Там, где ждали увидеть рейхстаг, никакого рейхстага не было.

Но другой комбат — Давыдов — сказал, что из подвала плохо видно, и повел командиров наверх. Осмотреться. Оттуда им яснее будет, как действовать дальше.

Они поднялись повыше на два этажа и стояли, прячась за косяк. От Шпрее еще наползал туман. Насквозь промокший парк был пуст. И было тихо. И тут увидели то, чего раньше не могли рассмотреть,— увидели, что площадь вся изрыта траншеями... Увидели бронеколпаки на углах, танки. В глубине парка — самоходки. Афишная тумба. Еще какое-то сооружение, похожее на трансформаторную будку, вероятно укрепленное. Кроме рва, впереди был еще и канал, заполненный водой. Да и это здание с башнями отсюда, с высоты, выглядело внушительнее, не то что из подвала, когда первый этаж был скрыт...

Прибежал связной. Неустроева вызывали. Комдив Шатилов запрашивал, почему он не наступает.

«Товарищ «семьдесят семь»! Мешает серое здание».

«Постой, постой... Какое здание?»

«Прямо перед нами! Буду обходить справа».

Неустроев, лежавший у телефона в углу подвала, и комдив у себя на НП, в Моабите, оба склонились над картой...

Пришел командир полка Зинченко. Он разместил свой штаб за рекой — рядом со швейцарским посольством.

«Что тебе мешает? Давай карту». Они вымеряли и прикидывали. Мост Мольтке... Шпрее... Дом Гиммлера...

«Неустроев! Да это — рейхстаг».

А ему и в голову не приходило, что это четырехугольное серое здание, этот дом перед окнами (до него так близко!) и есть тот рейхстаг, к которому они стремятся. А ему казалось, что до рейхстага еще надо идти да идти.

Над ребристым его куполом была площадка, и на ней — шпиль. Перед фасадом — густые, готовые вот-вот распуститься деревья — не обломанные и не обожженные...

Но видели это лишь немногие и лишь этим ранним утром. Через час началась артподготовка, по рейхстагу ударили «катюши» и орудия — дальние и прямой наводки, и он мгновенно стал таким, каким у нас его знают по снимкам, появившимся после войны.

НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ...

Немногие знают: после того как мы водрузили знамя на рейхстаг, бои в рейхстаге шли еще два дня и две ночи.

Полторы тысячи немцев, уже в дни штурма Берлина переброшенные сюда с Балтики, засели в подвалах рейхстага. Они забрасывали нас фаустами. Этого сильного реактивного оружия в подвалах у них было много. Но когда стало ясно, что вернуть рейхстаг им не удастся, они подожгли его. А может, он и сам загорелся от тех же фауст-патронов.

Он горел так, как горит всякий дом, а гореть в рейхстаге было чему — горела мебель, краска стен, вспучивался и полыхал паркет; дым, а потом пламя показались из окон, из пробоин. Горстка людей — около трехсот бойцов, лишь немногим больше! — сражалась в горящем здании.

Но не только в этом был драматизм положения.

Утром первого мая — на тысяча четыреста десятый день войны — сводка Совинформбюро сообщила, что нашими

войсками в центре Берлина взято здание германского рейхстага и водружено Знамя Победы. Об этом же было сказано Сталиным в его первомайском приказе.

В Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке служили молебны. В эфире — стоило включить рацию — слышался колокольный звон... А в это время в горящем здании рейхстага, в тесном коридоре, прижатые огнем к стене, рукавами закрывая глаза, стояли наши бойцы.

Комбату было передано, что он может вывести людей. «Выйдете из рейхстага, займите круговую оборону, а как только здание прогорит, станете брать его снова».

Но выходить уже было некуда. Собравшиеся в одной узкой комнате задыхавшиеся от дыма бойцы, натянув противогазы — у немногих они оказались,— лежали на полу. Пламя уже врывалось сюда.

И что-то с треском рухнуло. Из провала в стене повалил желтоватый дым. Но это была, как они увидели, не новая опасность, это было — спасение...

И через этот неожиданный, вдруг открывшийся пролом бойцы перебрались в соседнее, уже выгоревшее помещение.

Немцы не смогли добиться ничего. И знамя не сгорело, все так же оставалось над рейхстагом, оно лишь слегка закоптилось.

Когда огонь начал понемногу стихать, все выходы из подвалов были опять блокированы...

Наступило утро второго мая.

ПОЛКОВНИК БЕРЕСТ

Из глубины подвала вдруг выкинули белый флаг.

На лестнице, на нижней площадке, появился офицер. Шинель распахнута, в руке — парабеллум. Он заявил, что немецкое командование готово начать переговоры. Но с офицером в высоком ранге.

На лестницу к немцам отправился Берест...

Берест — замполит командира батальона. Лейтенант. Да и в этом звании он лишь несколько дней: приказ пришел, когда мы вступали в Берлин. Только вчера Берест был младшим. Но уже несколько месяцев работал заместителем у Неустроева... Вот только не знаю, как они «срабатывались», очень уж это были разные, крепкие и твердые характеры.

Алексею Берёсту было двадцать... Всего двадцать лет. Совсем недавно он ходил в комсомольцах.

Он и отправился туда.

Сам собой пал на него выбор. Скорее всего, это Берест и сказал, что пойдет он.

Солдат полил ему из фляги, и он смыл копоть с лица. Всегда он выглядел подчеркнуто аккуратным. Даже после этих двух ночей белела у него полоска подворотничка. Вчера, на площади, он лежал в одной воронке с бойцами. Потом с двумя разведчиками — Кантарией и Егоровым — он «устанавливал» знамя... Теперь, вот уж сутки, он был здесь, вместе со всеми.

Поверх гимнастерки Берест надел чужую чью-то кожаную длинную куртку. Капитан Матвеев, политотделец, отдал свою фуражку — новую, с малиновым околышем.

Неустроев тоже пошел. Но не стал ничего надевать, а даже телогрейку с себя сбросил, чтоб ордена были видны. У Береста наград было не густо, а у Неустроева — много... Так — солиднее!

Третьим они взяли с собой солдата из недавно освобожденных на Одере военнопленных. Он знал по-немецки.

Внизу их уже ждали. Здесь было светло. Горели факелы! Сразу их окружили немецкие солдаты. Парабеллумы в руках. На касках маскировочные сетки.

К Бересту и его спутникам подходил немец. Берест вгляделся: оберст! Полковник. С ним были двое моряков. Курсанты. И переводчица — женщина в желтой куртке.

Солдаты-немцы расступились, дав им дорогу.

Полковник протянул было руку. Но Берест поднес свою к фуражке и сказал: «Полковник Берест».

И так, в черной своей кожанке, приподняв голову, он стоял, высокий, молодой... Заместитель командира — комиссар! Видный. Широкоплечий. Уверенный в себе. Кто-то из немцев сказал: «Молодой, а уже полковник!»

На Неустроева они почти не смотрели. Он стоял незаметно. Только ордена блестели. И немцы поглядывали на его грудь. (Рядом с Берестом низкорослый Неустроев выглядел маленьким.) Когда Берест к нему обращался, комбат старательно щелкал каблуками...

— Я предлагаю вам сдаться! — сказал Берест немцам.— Вы находитесь в подвалах. Положение ваше безвыходное...

Но те ответили:

— Еще неизвестно, кто у кого в плену... Вас здесь

триста человек. Когда вы атаковали — мы подсчитали... Нас — в десять раз больше.

— Сложите оружие,— сказал Берест.— Мы вас отсюда не выпустим...— И взглянул на часы, показав, что он на этом желает закончить разговор.

Представитель немцев опять стал доказывать Бересту, что это он, Берест, у них, у немцев, в «клещах»... И неожиданно потребовал, чтобы им дали возможность уйти в район Бранденбургских ворот...

Берест с трудом себя сдерживал. Он был молод — ему было только двадцать. И он забыл, что он дипломат!

— Зачем мы пришли в Берлин,— сказал он,— чтобы вас, гадов, выпустить?.. Если вы не сдадитесь, мы вас переколотим!..

Немецкий оберст запротестовал:

— Господин полковник! Так не полагается разговаривать с парламентерами!

Берест его не слушал...

Моряки молчали, желтая переводчица нервничала.

Полковник-немец заговорил вдруг по-русски, и даже сносно:

— Нам известно наше положение, и мы хотим сдаться... Но ваши солдаты возбуждены... Вы должны их вывести и... выстроить. Иначе мы не выйдем!

— Нет! — ответил Берест ему.— Не для того я пришел в Берлин из Москвы, чтобы выстраивать перед вами своих солдат... Даже если вас две тысячи, а нас двести человек...

— Что ж,— сказал немец,— я доложу, что вы предлагаете нам проходить через ваши боевые порядки.

Задерживаться дольше не было смысла. Берест козырнул. Неустроев — тоже.

Солдат-переводчик и Неустроев, следом за Берестом поднимаясь по лестнице, слышали, как «полковник» Берест бормотал про себя: «Гадюка! Гадюка!»

Немцы, оставшиеся в подземельях рейхстага, сдались той же ночью. К утру.

Переговоры о их сдаче вел с ними уже старший сержант Сьянов.

ВСТРЕЧА

Немного утихло, и мы начали осваиваться в рейхстаге, разбираться в его бесконечных лестницах и переходах.

В большом, уходящем под самый купол зале заседаний — светло. Купол пробит, и над ним ничего, кроме неба, нет... А внизу — нагромождение камня, кирпича и обвалившиеся балконы... Лазишь, как по холмам.

Потом, по темному коридору, заставленному «чучелами» закованных в латы рыцарей, перехожу в другую, не тронутую огнем часть здания. Она лучше сохранилась, хотя и здесь те же пробитые стены и пахнет гарью. Пожилой автоматчик с большими усами развалился в кресле.

Пока лишь успел отоспаться; грязен и небрит. Один только автомат, приставленный к креслу, чист. Но как он сидит!.. Во рту у него толстая, надолго свернутая самокрутка.

Глядя, как он развалился в кресле, я не мог удержаться н спросил:

— Ну, как дела?.. — спросил я у него.

— Все в порядке. Сижу — в рейхстаге...

Он посмотрел на меня и усмехнулся, поннмая сам значительность того, что он сидит в рейхстаге и как он выглядит в своей просоленной пилотке и выгоревшем обмундировании в этом кресле.

— Сижу вот...— ответил он и опять, по-своему, затаенно, усмехнулся.

Я узнал этого бойца. Это же ротный писарь Гаркуша... Мой старый знакомый! Полтора года назад, зимой сорок четвертого — это было еще в Калннннской области,— он участвовал в атаке и ворвался в блиндаж, полный немцев. Бывают такие писаря! И он, вижу, узнал меня... Да, это он, Гаркуша. Тот самый Григорий Гаркуша...

Значит, и он в рейхстаге.

Я вышел на площадь. Было тепло, было теплое солнечное утро. Близко у входа стояли обломанные, искореженные липкн. Они оживали...

На рейхстаге — над куполом — развевалось знамя.

1960

ЕВГЕНИЙ НОСОВ

КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ

Рассказ

Весна сорок пятого застала нас в маленьком подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона секло сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым, озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.

После сырых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах,— после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показалась нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную умиротворенную невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша недвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежачим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешенье

снега; двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек; белые гипсы, белые бинты, белые халаты сестер и врачей и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки. Белое, белое, белое... Какое-то изнуряющее, цинготное состояние от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь пропитались желто-зеленой жижей тлеющих под ними ран. От них неистребимо тянуло сладковатым духом тления, воздух в палате стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть как-то его уснастить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачихи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергивали их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрацем, как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинили,— журила умывавшая нас по утрам старая нянька тетя Зина.— Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте... С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал подкошенный пулей или осколком, страшная мясорубка крутилась на предельных оборотах, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И, может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все — и медперсонал, и мы, ране-

ные, со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточнопрусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже маломальского городишки. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении среди этих мрачных болот Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Вместе с жаждой победы росло и простое любопытство — посмотреть на страну, сумевшую заглотить чуть ли не половину России. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю нас уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — очередь непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его крестец, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, на котором с каждой

минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расползался незнакомый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал что-то в цинковый тазик, пододвинутый к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямлялся и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском рукомойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было и не было условий, чтобы щадить нас этикой милосердия.

Обработанный солдат какие-то минуты еще оставался в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормошить, приговаривая:

— Солдат, а солдат... Солдат, а солдат...

Она произносит это с механической однотонностью, как говорила уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, и после меня — тем, что длинной вереницей лежали за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везли сюда, и многим другим, которые в этот час находились к западу от сосновой рощи, были еще целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра, через неделю...

— Солдат, а солдат...

Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил

место другому. Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят, сестра ребром ладони смахивает в таз темные студенистые сгустки, оставшиеся после него на клеенке, другая сестра поливает стол горячей водой из голубого домашнего чайника, третья затирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони.

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посередине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для разжижки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и, когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным одноколейным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на нары консервную жестянку, служившую заместо лазаретной утки.

В Россию ехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезла едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги, и было щемяще-радостно узнавание родной стороны по бабьим и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим!» — и, пытаясь пошутить, весело повести торговлю, должно

быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: «Самосадик я садила, сама вышла продава-а-ть...»

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от пекла войны.

— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась и тоска и зависть.

Войска восточнопрусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Информбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что, хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло...

— На войне, как в шахматах,— сказал Саша.— Е-два — е-четыре, бац! — и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой. К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе с высоко задранной ногой.

— Теперь мат будут ставить без нас,— задумчиво продолжал он.

— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед Бородухов.

— Да как-то ни то ни се... Шел-шел и никуда не дошел... Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить.

— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще и два аршина схлопотать... Под самый конец.

Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала, как веревочный гамак. Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закряхтев, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, слов-

но пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролегала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворочало, перебило, нарушило и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупповских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу мопра. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих попахивало собственным трупным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя собственную смерть понять и допустить по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание. Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее, не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое, доступное червю и мухе. Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах, похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, хотя страху нагоняла изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, меж тем как проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали у орудия. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым

же выстрелом сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметая из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще ликовало чувство торжества, а, быть может, в это самое мгновение я даже хохотал над удиравшими танкистами и непроизвольно закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями. Видно, в мире все построено на таких вот непредвиденных подножках судьбы.

— А ты не балуй на войне,— резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь.— Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копёшкин. У Копёшкина перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копёшкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолетом». Копёшкин, как нам удалось у него дознаться, числился в обозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, летом, если позволяли фронтовые условия, гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, коптерское имущество, патронные цинки.

— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.

— Дак какие медали...— слабым, сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копёшкин.— За езду рази дают...

— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?

— Как не видел... За четыре-то года... Повида-а-ал...

— Стрелять-то хоть доводилось?

— Дак и стрелял... А то как же... В окруженье однова попали... Вот как насел немец-то, вот как обложил... Дак и стрелял, куда денешься.

— Убил кого?

— А шут его разберет... Нешто там поймешь... Темень, пальба отовсюдова.

— Небось перепугался?

— Дак и страшно... А то как же...

— Это где ж тебя так разделало?

— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда... Поехали за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею... Куда колеса, куда что... Обоих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было... А тут вот и получилось нескладно...

В последние дни Копёшкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром, он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, сбрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.

— Ты давай ешь,— наставлял его Бородухов.— Перемогайся, парень. Вон скоро и война кончится. Пошто уж теперь зазря гибнуть-то.

Копёшкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, и сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.

— Ему бы клюквы надавить,— говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копёшкина сестру с тарелкой на коленях.— Да где ж ее взять. Нежели посылку из дому затребовать. У нас ее сколь хошь. Вот как добро жар утушает, клюква-то.

Как-то раз на имя Копёшкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадочной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спросил Бородухов.

Подернутые температурным нагаром губы Копёшкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?

Копёшкин с трудом пригнул два непослушных желтосизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.

— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

— Сам хочет, сам,— догадался Самоходка.

— Ежели может, дак пусть сам,— сказал Бородухов.— Своими-то глазами лучше.

Косячок развернули и вставили ему в руки.

Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копёшкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал... Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, надписанными послюнявленным чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень».

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж с тем, чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито медицинской комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие там были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места пользовались привилегией: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и детским выражением округлого лица, на котором примечательны и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза, и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже будучи коротко остриженным под машинку, был золотисторыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу,— рассказывала нянька,— а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сынок, стоишь, говорю я ему, давай, милай, помогну. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся... Все, бывало, стоит, ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как тяжело переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копёшкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.

— Что ему? — поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копёшкина.

— Спрашивает у Михая, что видно за окном,— разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

— Солнце вижу... Поле вижу...— не оборачиваясь, ответил Михай.

— Далеко, спрашивает,— переводил я шепот Копёшкина.

— Поле? А там... За рекой.

— Какое оно? — говорит.— Что посеяно?

— Зеленое. Хлеб будет.

Копёшкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виднелось нам, лежащим у дальней стены, очистившемуся, синему, высокому, чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.

— Дома, люди...

— Девчата ходят?

— Ходят.

— Красивые? — допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

— Ему теперь не до девок,— сказал Бородухов.

— Эх, братья-славяне! — с горькой веселостью воскликнул

нул Самоходка.— Мне бы девчоночку! Дошкандыбаю до своей матушки-Волги — такие страданья разведу, елки-шишки посыпятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливчиков — Саенко и Бугаёв — почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они рассовывали по карманам курево, спички, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаёв левую,— упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветреной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и, когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганской трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

— Нэ надо... Что тебе стоит?

— Не положено. Кто-нибудь схватит пневмонию. Разве вам мало форточки?

— А! — морщился молдаванин.— Ты послуша́й, послуша́й... Птица поет.

Михай культей обнимал Таню за плечи и подводил к подоконнику:

— Слышишь, как поет? А ты говоришь — форто́чка!

Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.

Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы.

Мрачиые руииы, разверстые утробы подвалов, толпы оборваииых, чумазых, перепугаииых гитлеровцев с задраииыми руками, белые флаги и простыии иа балкоиах и в окиах домов... Но все-таки ие верилось, что это и есть коиец.

И действительио, войиа все еще продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще?! Это ежемииутиое ожидаиие коица взвиичивало всех до крайиости. Даже раиы в последиие дии почему-то особеиио доиимали, будто иа изломе погоды.

От иечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, ио все во мие было иасторожеио — и слух, и иервы. Саеико и Бугаёв отсиживались в палате, деловито и скучио шуршали газетами. Бородухов, иаладив иглу, прииялся чииить распоровшийся бумажиик. Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыию, чтобы ие заметила дежуриая сестра. Валялся иа койке Михай, разбросав по подушке культи, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все иасторожеиио поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошел восьмой деиь мая и томительио-тихий вечер.

А иочью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в луииых столбах света, цепляясь за спиики кроватей, промелькиул в исподием белье Саеико, подсел к Бородухову.

— Спишь?

— Да иет...

— Кажется, Дед приехал.

— Похоже — ои.

— Чего бы ему иочью...

По госпитальиому коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридориой пустоте все отчетливей слышался сдержаииый голос иачальиика госпиталя полковиика Тураицева, или Деда, как иазывали его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Тураицева все побаивались, ио уважали: был ои строг и даже суров, ио считался хорошим хирургом и в тяжелых операциях иередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате одии кавалерийский старшииа, иосивший Золотую Звезду, благодаря чему получавший всяческие поблажки — лежал в отдельиой палате, ие позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее,— подиял шум из-за того, что ему досталась заштопаииая пижама. Ои иакричал иа кастеляишу, скомкал белье и швыриул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались,

почему этот казак поднял тарарам: донец похаживал в общежитие к ткачихам, а потому не хотел появляться перед серпуховскими девчатами в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав, в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста: «Чтобы носить эту Звезду,— сказал он ему,— одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слушали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий, сухой бас, казалось, просверливал стены:

— ...Выдать все чистое — постель, белье.

— Мы ж тильки змэнилы.

— Все равно сменить, сменить.

— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.

— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.

— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба...

— Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

— Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохы.

— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то... День! День-то какой, голубчик вы мой!

— Та ж яснэ дило...

Шаги и голоса отдалились.

— Бу-бу-бу-бу...

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри, гулкими толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на моем виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.

— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он.— Это,

братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как об сук, потерся глазами о правый обрубок руки.

— Михай, победа! — ликовал Саенко.

Спрыгнул с койки Бугаёв, схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.

— Сашка, просинсь!

Бугаёв запрыгал к Сашиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаёва за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаёв, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная... Победа, а ты дрыхнешь... Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался... Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня... нога привязана...— сопел Самоходка.— Я бы тебе... перо вставил, куда надо...

— Бросьте вы, дьяволы,— окликнул Бородухов.— Гипсы поломаете.

— А, хрен с ними! — тряхнул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притоптывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:

Эх, милка моя,
Юбка лыковая!

Бугаёв, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубнами, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.

У меня теперь нога
Тоже липовая...

За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.

— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты.— Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали, и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего, резиновым набалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.

— Это что еще такое? Сейчас же по местам! — Но

губы ее иикак ие складывались в обычиую строгость. Наша милая, терпеливая, измучеииая бессоиииицами сестреика! Тоиеиькая, чуть ли ие дважды обериутая полами халата, перехвачеииая пояском, оиа все еще держала руку иа выключателе, вглядываясь, что мы иатворили.— Куда это годится, все перевериули вверх диом. Взрослые люди, а как дети... Бугаёв! Подиимите подушку. Саеико! Сейчас же ложиться! Здесь Аиатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит.

Таия подсела к Копёшкииу и озабочеиио потрогала его пальцы.

— Спите, спите, Копёшкии. Я вам сейчас атропиичик сделаю. И всем иемедлеиио спать!

Но иикто, казалось, ие в силах был утихомирить пчелиио загудевшие этажи. Где-то кричали, топали иогами, выстукивали морзяику иа батарее. Аиатолий Сергеевич ие вмешивался: иавериое, поиимал, что сегодия и ои был ие властеи.

Меж тем за окиом все чаще, все гуще взлетали в иебо пестрые, ликующие ракеты, и от них по стеиам и лицам ходили цветиые всполохи и причудливые тени деревьев.

Город тоже ие спал.

Часу в пятом под хлопки ракет во дворе произительио заверещал и сразу же умолк госпитальиый поросеиок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способеи хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или меиее иестыдиую одежку — пижамиые штаиы или какой-иибудь халатишко, а ииые и просто в одиом исподием белье,— повалили иа улицу. Саеико и Бугаёв, распахиув для иас оба окиа, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышио, как госпитальиый садик иаполиялся бурливым гомоиом людей, высыпавших из соседиих домов и переулков.

— Что там, Михай?

— Аяй-яй... — качал головой молдоваиии.

— Что?

— Цветы иесут... Обиимаются, вижу... Целуются, вижу...

Люди ие могли иаедиие, в своих домах переживать эту ошеломляющую радость и потому, должио быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отиошеиие к войие и победе. Кто-то сиизу заметил высуиувшегося Михая, послышался девичий возглас: «Держите!» — и в квадрате окиа мелькиул подброшеииый букет. Михай, позабыв, что у иего иет рук, протяиул к цветам куцые пред-

плечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми руками.

— Да миленькие ж вы мои-и-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, увидевшая беспомощного Михая.— Ох да страдальцы горемычныи-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а...

— Мам, не надо...— долетел взволнованно-тревожный детский голос.

— Ой да сиротинушки вы мои беспонятныи-и-и! — продолжала вскрикивать женщина.— Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

— Ну не плачь, мам... Мамочка!

— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится,— уговаривал старческий мужской голос.— Мало ли что...

— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечныи-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Музыка звучала торжественно и сурово. Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы святой ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острие, пронизывал хор:

Идет война народна-йа-я-я...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку, и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдованин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за нами песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что про-

щаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас.

Оркестр смолк, и сразу же без роздыха, лихо, весело трубы ударили «Яблочко». Дробно застучали каблуки.

Эх, Гитлер-фашист,
Куда топаешь?
До Москвы не дойдешь —
Пулю слопаешь...

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.

И уж совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка,—
Ненаглядного ждала
Своего дружочка!
Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их...

Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался: видно, замполит и сам порядочно волновался. Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в десятом в нашу дверь несмело постучали.

— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.

— Разрешите?..

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь.— Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии,— сказал Саша Самоходка.— На нас одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверяю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек

новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестием по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков... Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящевом носу.— Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.

— Все будет в лучшем виде,— приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михае сверкающие пуговицы.— Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку... Прекрасно! Можете удостовериться.— Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя.— Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

— Как — «чину»? — не понял Михай.

— Сержант? Старшина?

— Нэ-э...— замотал головой Михай.

— Он у нас рядовой,— подсказал Саша.

— Это ничего... Если правильно рассудить — дело не в чине.

Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришпилил их к широким плечам Михая.

— Желаете с орденами?

— У него при себе нету,— ответил за Михая Самоходка.— Сданы на хранение.

— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?

— Не надо...— покраснел Михай.— Чужих не надо.

— Какая разница? Если у вас есть свои, то — какая разница? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге.— Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, не хочу.

— Скромность тоже украшает... Так... Одну секундочку... Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

— Отечественная, папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— И Славу повесь.

— Можно и Славу. Можно и полного кавалера,— нимало не смутившись, предложил старичок, видимо поняв, что Саша все обращает в шутку.

— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму,— изумленно хохотал Самоходка.— Как же меня с такой ногой? Койка будет видна.

— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке.— Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеваным горящим немецким танком.

— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка.— А гранату не дашь? Противотанковую?

— Этого не держим,— улыбнулся старичок.

На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения. Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивался и устраивал перекур.

— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.

— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?

— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имел благодарности.

— Тоже «в боевой обстановке»?

— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не полезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья.— Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря — нагрудника с пуго-

вицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

— Тогда давайте вы.— Старичок цепким взглядом окинул Копёшкина, должно быть прикидывая, какую можно к нему применить декорацию и бутафорский реквизит, чтобы и этому неподвижному солдату придать бравый вид.

— К нему, дед, не лезь,— сказал строго Бородухов.

— Но может, он желает?

— Ничего он не желает... Не видишь, что ли?

— Понимаю, понимаю.— Старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки.— Хотя можно было и его... Что-нибудь придумали бы... У меня, знаете, были очень трудные случаи...

— Давай, давай...

— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много другой работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что поделаешь. Теперь нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

— Трупоед...— сплюнул Бородухов.

Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце. Саенко и Бугаёв вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом зареванная по случаю праздника, с распухшим носом тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие.— Концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки.— Суп-то нынче добрый... Ох ты, господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то этажам выбегала, сколь носилок перетаскала — и ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои... Да неужто, думаю, все уже кончилося? Аж не верится. Какую долю вытерпели, какого сапустата одолели. Как вспомню, как вспомню...

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтеся на здоровье, уж теперь недолго осталося...

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно

протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

— Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

— З победою вас, товаришчи,— поздравил он усталым, по-детски тонким голоском.— Скильки вас у палати?

— Семеро осталось.

— Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядись.

— Есть распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку.— Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.

— Ни, хлопци. Нема время.— Он вытер рукавом халата потный лоб.— У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, вино это досталось ему нелегко.

— Так вы давайте... А то суп охолонет.

— Спасибо.

— Було б за що.

Он ушел.

Саенко медленно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди. Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало торжественное, как волнующее таинство.

Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.

— Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли...— предложил Саенко.

— Да, давайте.

— Пусть сперва Михай,— сказал Бородухов.

— Верно, пусть он сперва. А то как же ему...

— Это само собой.— Бугаёв взял Михаев стакан.— Ты давай присядь, а то не дотянусь.

Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.

— Ну, браток... За Победу?

— Ага.

— Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

— Ну ничего... поехали.

Мы смотрели, как Бугаёв, осторожно наклоняя стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.

— Во, парень,— удовлетворенно сказал он.— Это дело. Ничего, наловчишься...— Бугаёв вытер пижамным рукавом Михаев подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить.— Я знал одного такого, как ты, так он приспособился зубами брать стакан за край и высасывал все до донышка.

— Вино пить можно. А как теперь его делать будешь! — Михай тряхнул узлами рукавов.— Вину руки нужны.

— Ничего, братка! Не падай духом. Жинка поможет.

— Аяй-ай-ай...— Михай покачал головой.

— Ну, будет, будет про это...— прервал Бородухов и степенно провозгласил: — Давайте, робяты, за дальнейшую нашу жисть выпьем... Как она дальше пойдет... Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копёшкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки. Копёшкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.

— Ты ему винца вплесни,— посоветовал Саенко.

— Вы что, смеетесь?

— А что? Пусть солдат разговеется.

— Ему же нельзя.

— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

— Не говорите глупостей.

— Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету.

— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку,— решительным тоном сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.

— Не выпишут — убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!

— По дороге потеряешь,— усмехнулась Таня.

— Честное гвардейское, не потеряю! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться.— Саша заметно окосел, да и все тоже порозовели, заблестели

глазами.— Ребята, поехали? — говорил Саша, хмельной и добрый.— Нашими дружками будете. Такую свадьбу сварганим. Эх, и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко! А внизу Волга. Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароходы идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

— Не-е, я домой.

— Что у тебя там? Успеешь.

— Как что? — Михай вскинул рыжие брови.— Как что? Не был — не говори.

— Нет, брат,— Самоходка мечтательно уставился в потолок.— Где Волга не течет, там не жизнь.

— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Не пил.

— Квас, знаю.

— Что понимаешь? — горячился Михай.— Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую.— Он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке.— Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду не пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — качала головой Таня, насильно вливая Копёшкину бульон.— Ну съешьте еще хоть ложечку. Горе мне с вами...

— А у нас на Мезени пиво теперь варят.— Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая донышко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют,— сказал Саенко.

— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодку да по Мезени. А пиво я люблю, чтоб с брусникою.— Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену.— Благо! Давно не пивал.— И добавил, задумавшись: — Поди, теперь не из чего варить...

Таня кое-как покормила Копёшкина и, сама больше намучившись, ушла. Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где

жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаёвым, стали рассказывать о Сибири. Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаёв — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле,— думал я, слушая разговоры.— Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетелись по русской земле...»

— Тише, ребята...— Бородухов первый заметил, как Копёшкин зашевелил пальцами.— Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

— Пить?

Копёшкин отрицательно пошевелил кистью руки.

— Утку?

Копёшкин поморщился.

Припрыгал Саенко, наклонился над ним.

— Ты чего, друг?..

Копёшкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

— Так, так... Ага, понял...— Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копёшкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну и что там у вас?

— Хорошо тоже...— разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копёшкина.

— Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копёшкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копёшкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копёшкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые... И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза эта где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Ну, а где эта самая мордва?.. Я и прежде почти никогда не вспоминал, что есть такая территория в России, хотя когда-то

сдавал экзамены по географин. Сдал да тут же н позабыл... Где-то там в иеведомом краю стонт и копёшкинская деревеиька с загадочным иазванием — Сухой Житень, вполне реальная, зримая, н для самого Копёшкииа являет оиа собой центр мнроздания. Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов, вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотииой, ранний соловей иегромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую иеделю треинровал левую руку и, размышляя о копёшкинской земле, машинальио черкал караидашом по клочку бумагн. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцамн по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся н вложил эту иеказистую картинку в руки Копёшкина. Тот, почувствовав прнкосиовение к пальцам, разлепил веки н долго с осмыслеииым виимаиием разглядывал рисуиок. Потом прошептал:

— Домок прибавь... У меия домок тут... На дереве...

Я поиял, забрал листок, пририсовал иад деревом скворечиик н вернул картинку.

Копёшкии, одобряя, еле заметно закивал восковым, заострнвшимся носом.

Ребята сиова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашнной и Бородуховой койками, шумио рубились в домнио, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный, Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошиой лысиие, что тут же нсполнялось Бугаёвым с особым пристрастием под дружиый хохот. Михай в домино не играл и, уеднившись у окна, опять пел в закатиом отсвете солица, как всегда, глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальиие вечереющие холмы. Пел ои сегодия как-то особеиио грустно и тревожно, тяжко вздыхал между песнями и иадолго задумывался.

Прнслоненная к рукам Копёшкнна, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарнсовал иечто похожее иа его родную избу. Мие казалось, что Копёшкин тихо разглядывал рисуиок, вспомииая все, что было одному ему дорого в том далеком н иеизвестиом для остальиых Сухом Жнтие.

Но Копёшкнна уже не было...

Ушел ои иезаметио, одиноко, должно быть, в тот час,

когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.

В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголовье участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает чели от э т и х берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копёшкина, уложили все это в носилки, накрыли простыней и унесли.

Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать кулаками подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже н и ч т о... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копёшкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое ничто, именуемое прахом... «И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной.— Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле?» Эта его возможность появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он наконец родился... Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие... Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт. Потом его останки свезут на серпуховское кладбище, где для таких, как он, госпиталь арендует угол, и там закопают — без речей, без почетного караула, без прощальных залпов — закопают, так сказать, «в рабочем порядке», как обычно хоронили по лазаретам ничем не отличившихся солдат.

— Ох ты, грехи наши тяжкие...— проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарами картинку с копёшкинской избой и прислонила ее к нетронутому стакану с

вином.— Вот и пожар затушили, а, видно, чадить еще долго будет. Уж больно раскочегарено...

Мы промолчали: разговаривать ни о чем не хотелось.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копёшкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой,— такая и стоит она где-то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копёшкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копёшкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь тоже знает о победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется...

Странно и грустно представить себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них.

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копёшкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил напоследок,— сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне.— Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном, кажется,— сказал Саша.

— Ну... Прости-прощай, брат Иван.— Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копёшкин. Вино густо окрасило белую накрахмаленную наволочку.— Вечная тебе память.

Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

1969

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Рассказ

Евгении Григорьевне Левицкой,
члену КПСС с 1903 года

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров,— но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащили тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, видавший виды

«виллис», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде,— часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый муж-

ɩина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском·
— Здорово, браток!
— Здравствуй.— Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.
Мужчина наклонился к мальчику, сказал:
— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.
Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс её, спросил:
— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?
С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.
— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.
Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:
— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагнешь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком.— Он помолчал немного, потом спросил: — А ты что же, браток, свое начальство ждешь?
Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил:
— Приходится ждать.
— С той стороны подъедут?
— Да.
— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?
— Часа через два.
— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый что

конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милок, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только, гляди, ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник

был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны небось глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный

как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит...

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легкости, нальет граненый стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу как миленький. А скажи она мне, хмельному, слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так и бывает в иных семьях, где жена дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через года́ еще две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю.

Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки ее уговаривают, и я — ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... не увидимся... мы с тобой... больше... на этом... свете...»

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал и подбородок, дрожали твердые губы...

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал крученку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез... По большей части такой я ее и во сне всегда вижу... Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно,

дескать, ему, тяжело, того и гляди, убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудящую женщину как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по легкости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить, потому что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему.— Я должен проскочить, и баста!» — «Ну,— говорит,— дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать,

чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыплет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось... Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует,— сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина вся в клочья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный, потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, нелегкое это дело — понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.

Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу,

сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот,— думаю,— и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается»,— соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу,— а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я — и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из

последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что мы все промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит, и пухнет, и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света невзвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вздребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была,

вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу,— говорит,— осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Това-

рищи,— говорит,— остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет,— думаю,— не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну,— думаю,— не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну,— говорю,— держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» А сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык на боку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками, и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и пожмет

мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров,— сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас — и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетела клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях, сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать...

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде как есть одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не впору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы.

Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждого из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый; и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навыкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матерщинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли,— идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был, гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руку прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругался. Он матерщинничает почем зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает... Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет,— уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель, москвич, злился на него страшно. «Когда он ругается,— говорит,— я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали,

что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою... Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно,— говорю,— герр комендант, много».— «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься».— «Воля ваша»,— говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук стакан взял и закуску, но как только услыхал эти слова,— меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю:

«Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью»,— говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдемте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хоть я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два Железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость»,— и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом,

иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло...

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну»,— говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сало, сам понимаешь,— только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером — шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него под воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе — и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и, знаешь, браток, как сердце забилось? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездил, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли... Ну, думаю, ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял по дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул — и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовые тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры парабеллум, сунул к себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скорень-

ко напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор идет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск

съездишь, а когда вернешься к нам,— посмотрим, куда тебя определить.

И полковник и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях...

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их,

дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.

Мы закурили. В залитом полой водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик.— Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт, и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и

особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись... Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то знал... Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению,— он когда-то приглашал меня к себе,— вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике, на краю города. Он хотя и имел инва-

лидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился — кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте».— «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали».— «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого».— «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порозь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел,— побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоим глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты,— говорит,— с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швей-

ную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютился, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось»,— говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался».— «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память как летняя зарница: вспыхнет, накоротке

осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног... Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем,— он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером,— и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти,— сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться,— слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять... Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть — они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни оха, ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...

1956

СОДЕРЖАНИЕ

МЫ — СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

★

Повести и рассказы
о Великой Отечественной войне

Составитель Валерий Федорович Заливако

Редактор **Ю. Бондарев**
Художник **В. Тё**
Художественный редактор **Г. Саленков**
Технический редактор **В. Котова**
Корректоры **Т. Воротникова, И. Рудакова**

ИБ № 3553
Сдано в набор 06.05.85. Подписано к печати 17.10.85 А13576 Формат 84×108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1 Усл печ л 26,04 Усл краск-отт 26,04 Уч.-изд. л 28,58. Тираж 300 000 экз. Заказ № 380 Цена 2 р 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007 Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.